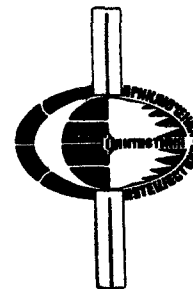


14



НТОЛОГИЯ



**Библиотека
современной
фантастики**

**Антология
советской
фантастики**

МОСКВА 1967

● **ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“**

14
ТОМ

Составитель
Д. БИЛЕНКИН

Художник

Е. ГАЛИНСКИЙ

Редколлегия:

К. АНДРЕЕВ,

А. ГРОМОВА,

Г. ГУСЕВ,

И. ЕФРЕМОВ,

С. ЖЕМАЙТИС,

Е. ПАРНОВ,

А. СТРУГАЦКИЙ.

Фантастика родилась вместе с искусством. Некоторые горячие головы утверждают даже, что она появилась раньше. Во вся-

ком случае, вся известная нам первобытная мифология, весь народный эпос, если можно так выразиться, дышат ею. И позднее влияние фантастики сказывается на всей истории мировой литературы. «Одиссея» и «Махабхарата», «Парсифаль» и «1001 ночь», «Гаргантюа» и «Дон-Кихот», «Гулливер» и «Фауст», «Шагреневая кожа» и «Вий», «Легенда о Данко» и «Человек-невидимка», «Война с саламандрами» и «Маленький принц» — попробуйте представить себе, что случилось бы с этими творениями, если бы их лишили воздуха фантастики...

М. Горький страстно доказывал, что искусство имеет право на преувеличение, что Геркулесы, Прометеи, Дон-Кихоты, Фаусты не «плоды фантазии», а вполне закономерная и необходимая трансформация реальных фактов. Казалось бы, зачем доказывать само собой разумеющееся? Затем, что с давних пор делались (и делаются) попытки расчленить нерасчленимое, противопоставить реальное фантастическому в литературе как «серьезное» «несерьезному», принизить фантастику, сведя ее до положения «несерьезной», «развлекательной» литературы. Да и самое фантастику не раз пытались подразделить на касты. Эти тенденции тоже прослеживаются в истории.

Так, официальная мифология — это в глазах античного мира очень серьезно. А скажем, роман утописта тех времен Ямбула о сказочном острове, где нет ни богатых, ни бедных, ни рабовладельцев, ни рабов — это так... фантастика. А между прочим, Аристоник, вождь одного из народных восстаний, потрясших Римскую империю, пытался основать на Земле то самое «Государство Солнца», которое рисовал в своем романе Ямбул.

Идиллические повести о пейзажах и куртизанах, далеких от действительности, как небо от земли, — это в глазах светского общества два-три века назад было изящной словесностью. А «Иной свет, или космическая история об империях и государствах Луны» Сирано де Бержерака — всего лишь развлекательной фантастикой. Теперь же без этой фантастики трудно представить полностью философскую мысль Западной Европы того времени.

Сотни бездарнейших романов, претендовавших на художественное обобщение реальной жизни и отвергнутых жизнью сразу же после появления на свет божий, — это было в глазах критиков XIX века высокой литературой. А Жюль Верн и Камилл Фламмарин — это же для детей!

Но, во-первых, это не в большей степени для детей, чем Гюго и Войнич, Диккенс и Марк Твен. Во-вторых, среди детей, запоем читавших Жюль Верна и Фламмарина, были Циолковский и Эйнштейн.

История повторяется. «Гиперболоид инженера Гарина» — это так... фантастика. А вот «Хлеб» или «Иван Грозный» — это, конечно же, произведения настоящей литературы, ничего общего с фантастикой не имеющие.

И так далее. Разумеется, мы здесь изрядно обеднили реальный процесс, иной раз было и наоборот. Но сделали мы это намеренно, чтобы лишний раз подчеркнуть в общем очевидную мысль: ценность произведений определяется не их принадлежностью к тому или иному роду литературы. Касты столь же противопоставлены искусству, как и жизни. Изъять элемент фантастики из литературы, выделить его в виде дистиллята или, того хуже, отвести ему третьестепенную роль столь же нелепо, сколь невозможно исключить, допустим, кислород из кругооборота элементов на нашей планете.

Существует тысяча определений фантастики. Не хочется давать здесь тысяча первого, потому что опыт показывает: определения эти страдали и страдают односторонностью, неполнотой. При каждом из них какая-то часть фантастики, не по принципиальным, а по чисто формальным соображениям, оказывается на положении

«нижней расы», а то и вовсе за бортом. Пострадавшей же в конечном итоге становится вся фантастика в целом.

Кроме того, стираются временные грани в развитии фантастики. Между тем она отнюдь не одинакова в разные исторические эпохи. Это естественно: ведь и литература в целом не оставалась одной и той же в разные времена!

Сказанное вовсе не отрицает необходимости специального литературоведческого анализа произведений фантастики. Напротив, есть основания подозревать, что многие беды этой последней как раз и коренятся в слабой разработанности ее теоретической базы. Разве есть у нас капитальные исследования, посвященные мировой фантастике вообще, и советской в особенности? Разве есть книги, рассказывающие об истории, об особенностях, о тенденциях развития фантастики — советской в первую очередь?

Несколько интересных книг К. Андреева, Е. Брандиса и В. Дмитриевского, Ю. Казарлицкого и еще двух-трех литературоведов — книг, посвященных творчеству отдельных фантастов или отдельным проблемам фантастики. Несколько статей с различной постановкой вопроса о фантастике в целом. Вот пока и все наше богатство.

Не удивительно, что при такой нехватке серьезных критических работ даже в толстом литературном журнале может появиться статья о фантастике столь удивительно беспомощная и субъективная, что применительно к поэзии, скажем, она выглядела бы просто скверным анекдотом. Надо надеяться, что это явление временное и настоящее литературоведение фантастики еще впереди.

Эта статья далека от претензии хоть в какой-то степени восполнить пробелы серьезного литературоведческого анализа произведений советской фантастики. Хотелось бы лишь еще раз подчеркнуть, что фантастика есть неотъемлемая часть литературы. Как и любой другой области литературы, ей присущи свои специфические способы художественного отражения и познания действительности. И в том числе такая специфическая черта, заметно присутствующая именно современной фантастике, как отражение и познание действительности в тенденциях ее развития.

Сколь многогранна жизнь, столь же многогранна и литература и ее ветвь — фантастика. Произведения фантастики бывают прогрессивными и реакционными, талантливыми и бездарными, умными и глупыми. Фантастика может принимать сотни ликов, как и любое иное творение искусства.

Что такое фантастика?

Утопический роман? Да. Антиутопия? Да. Занимательная популяризация научных знаний и возможных достижений науки среди детей? Да. Художественное осмысление сложнейших социологических проблем, стоящих перед человечеством и понятных только взрослым? Да. Тончайший психологический роман, построенный на той же основе? Да.

Этот перечень можно продолжить.

Можно ли отнести к прогрессивной фантастике роман, в котором фигурируют «ненаучные», «иррациональные» элементы до «нечистой силы» включительно? Смотря по тому, во имя чего автор эти элементы вводит и какие идеи он в своем романе отстаивает (вспомним хотя бы фантастические произведения Гоголя). Соответствует ли нормам социалистического реализма фантастический роман о гибели человечества, о торжестве злых сил? По-моему, соответствует, если он способствует развитию у людей чувства ответственности за судьбы человечества, будит ненависть к силам реакции, зовет к борьбе за победу добра над злом.

Ибо звать к борьбе за лучшее будущее, за коммунизм может не только живописное изображение коммунистического общества, но и картина того, какое ужасное будущее ждет людей, если продлятся дни умирающего общественного строя.

Ценность того или иного произведения фантастики определяется не особенностями построения сюжета, не жанровой принадлежностью, не окраской фабулы в те или иные тона — от радостно-победных до трагических включительно, не тем, что изображает писатель-фантаст, а тем, как, с каких позиций, во имя чего он пишет. Идейная и художественная глубина, оригинальность мысли, совершенство исполнения — вот критерии оценки

каждого произведения литературы вообще и фантастики в частности.

Нас должны беспокоить не вопросы, о чем и для кого писать фантастам, справедливо отмечал в свое время И. А. Ефремов, а «наиболее передовые вопросы современности», которыми интересуется громадная читательская аудитория Советской страны. Несравненно важнее, подчеркивал он, каков тот компас, которым руководствуется фантаст в своем видении грядущего мира. С этой позиции образы борьбы за становление высшей формы социального устройства — коммунистического общества — должны составлять ведущую линию советской фантастики. Параллельно этому наша фантастика должна вскрывать возможности столкновения коммунистического мира, его общественного сознания с отживающими, но злобными и вредоносными идеями империализма, крайнего индивидуализма, мещанского соперничества в обладании вещами.

Мы говорили о том, что фантастика не остается одной и той же в разные эпохи. На первый план в ней обязательно выдвигаются черты, отвечающие определенным потребностям данного времени. Современная фантастика — прямое порождение эпохи борьбы мировых систем капитализма и социализма в условиях разворачивающейся на наших глазах научно-технической революции, точнее — социально-экономических изменений, связанных с этой революцией. Отсюда — выдвижение на первый план той разновидности фантастики, которая условно именуется научной. Отсюда же — повышенный интерес к проблемам будущего Земли и человечества.

На обеих этих особенностях современной фантастики стоит остановиться подробнее.

К научной фантастике часто относят только те произведения, сюжет которых не выходит за рамки научно объяснимого, рационального. За пределами этой категории остаются тогда произведения, где науке отводится роль некоей волшебной палочки, вдруг без всякого объяснения создающей невероятную ситуацию, или произведения, где действие разворачивается под влиянием иррациональных сил. Подобного рода классификация имеет те преимущества, что она позволяет хотя бы в первом приближении

определить характер того или иного произведения. Нельзя же на самом деле сваливать в одну кучу «Маленького принца» и «Соляриса», «Гулливера» и «Туманность Андромеды» только потому, что и то и другое фантастика! Кроме того, как уже упоминалось, элементы фантастики присутствуют во многих произведениях художественной литературы, которых к фантастике обычно не относят. Поэтому до тех пор, пока мы не определили, какие элементы являются главными, ведущими, какие второстепенными, вспомогательными, несут ли они научно обусловленный характер или суть плоды ничем не сдерживаемой авторской фантазии, ориентироваться в современной (да и не только в современной) фантастике затруднительно.

Однако такая классификация весьма условна, схематична и недостаточна, поскольку с развитием фантастики все большее число произведений никак не укладывается в рамки либо рационального, либо иррационального.

Действительно, куда прикажете отнести фантастический роман, в котором иррациональное служит лишь художественным приемом для утверждения вполне рациональной концепции? И наоборот, роман, построенный целиком на рациональной основе, но подводящий читателя к выводам, ничего общего с наукой не имеющим, к мистике, скажем? Или роман, который сегодня представляется «ненаучным», а завтра оказывается даже и не фантастическим? Ну, а если фантастика (научная или ненаучная — все равно) лишь художественный прием автора юмористического или сатирического произведения?

Сама по себе недостаточность приведенной классификации еще полбеды. Беда начинается тогда, когда эта классификация становится основой для разделения фантастики независимо от идейной и художественной ценности, от «сверхзадачи» того или иного произведения на первосортную («научную») и второстепенную («ненаучную») или, еще того хуже, имеющую право на существование и такового не имеющую.

Словно забывают о том, что и Гёте, и Гоголь, и Бальзак (скажем, в «Шагреневой коже») широко использовали

иррациональное, а иногда прямо-таки нечистую силу. Что знаменитая «Машина времени» абсолютно ненаучна. Что сюжет «Аэлиты» с позиций рационального просто смехотворен, а тем не менее «Аэлита» навечно зачислена в списки сокровищ научной фантастики.

И вовсе нелепа мысль, иногда высказываемая, будто бы научная фантастика куда более служит прогрессивным началам по той единственной причине, что она научна. Будто бы нет научных концепций, служащих реакционным целям, будто бы нет в буржуазной литературе реакционных произведений, построенных по всем правилам научной фантастики! И наоборот. Это примерно то же самое, что обсуждать, какой системы пистолет лучше служит целям прогресса — маузер или браунинг?

Видимо, повторяю, нужна большая литературоведческая работа над созданием надежного путеводителя по Стране Фантастики, где были бы четко очерчены области, районы и округа этой теперь поистине великой литературной державы, где была бы четко определена мера, какую следует мерить каждое произведение фантастики в соответствии с тем, что хотел сказать автор, что он действительно сказал и как сказал.

Теперь об отображении в современной фантастике будущего Земли и человечества.

Нашему времени присущи небывалые масштабы научно-технических и социально-экономических изменений. Человечество сегодня как бы на гребне стремительно несущейся волны, отделяющей настоящее от будущего. В потоке событий будущее то и дело переходит в настоящее, становится чем-то вроде постоянной составной части настоящего. Вот почему современная фантастика, тесно связанная с научно-технической революцией, не просто ориентирована на будущее: сохраняя преемственность традиций, она в еще большей степени, чем раньше, показывает через призму будущего окружающее нас настоящее.

Кстати, это обстоятельство в значительной мере объясняет растущую популярность фантастики. В современных условиях многое зависит от умения взгляды в тени развития, от «раскованности» мышления, от быстроты овладения новым, прогрессивным, от способности

ориентироваться в сложных, подчас неожиданных ситуациях, преподносимых научно-техническим прогрессом. Фантастика — одно из наиболее действенных для воспитания этих качеств орудий искусства, ибо все перечисленное здесь составляет живую душу ее произведений. Фантастике (но не всей, конечно) весьма присуща тема героики. На Западе это обстоятельство не без успеха используется для фабрикации «суперменов» — литературных кумиров обывателя. В социалистическом обществе героический пафос фантастики открывает блестящие возможности для воспитания в человеке подлинного величия души и разума.

Все это привлекает к фантастике все более и более широкий круг читателей с разными запросами, с разным уровнем подготовки. Все это порождает обилие задач, стоящих перед современной фантастикой, предопределяет ее разнообразие, многогранность, злободневность сюжетов, даже относящихся, казалось бы, к далекому будущему или к иному миру.

Как социолога, занимающегося проблемами социальной прогностики, меня прежде всего интересует в научной фантастике художественное изображение разных сторон будущего. Ведь будущее — заповедное поле фантастики, доступное только ей и никакому другому жанру литературы (кроме разве научно-художественного, но это особая статья). Меня очень огорчает, что поле это фантасты пока что освоили слабо. Но было бы странно судить о фантастике в целом только на этом основании.

Во-первых, как мы уже установили, фантастика связана не только с будущим. Конечно, теперь, когда поверхность земного шара досконально исследована почти во всех закоулках, когда одно только слабое подозрение, что в каком-нибудь озере уцелел зауряднейший ихтиозавр, вызывает неописуемый ажиотаж, — теперь фантастике на «таинственных островах» и в «затерянных мирах» не разгуляться. Открыть новую «Плутонию» или Землю Санникова сложно. Поневоле приходится все чаще стартовать в будущее — земное или космическое, все равно. Однако существует множество фантастических произведений, действие которых разворачивается в прошлом и настоящем.

Разве «Янки при дворе короля Артура» не фантастика, так сказать, обращенная в прошлое и тем не менее актуальная по сей день? А «Гиперлоид инженера Гарина»? Когда он создавался — это была животрепещущая, сиюминутная современность. Теперь это для нас — абсолютное прошлое. И тем не менее это самая настоящая научная фантастика, волнующая нас и сейчас. А «Человек-амфибия»? А «Лезвие бритвы»? Каждый может найти десятки произведений такого типа в последних сборниках фантастики.

Во-вторых, в каком бы времени ни разворачивалось действие фантастического романа — безразлично в прошлом, настоящем или будущем, — интерес к нему всегда связан только с проблемами настоящего, современного, сегодняшнего дня.

Смешно искать в нынешних фантастических романах более или менее достоверное изображение общества будущего. Для этого необходимо разворачивание целого нового комплекса научных исследований в области конкретных аспектов будущего Земли и человечества — исследований, опирающихся на положения исторического материализма и развивающихся в тесной связи с теорией научного коммунизма. Такие исследования в настоящее время только-только начинают разворачиваться. Ясно, что без опоры на их данные создать художественные произведения о будущем хотя бы такой же степени достоверности, как, скажем, «Айвенго» или «Петр Первый», о прошлом попросту невозможно. Я верю, что со временем такие романы, повести и рассказы обязательно появятся. Но пока что условий для их создания нет.

Поэтому ни один писатель-фантаст, пребывая в трезвом уме и твердой памяти, вовсе и не претендует на то, чтобы излагать живописную «историю будущего». Когда в фантастическом романе изображается общество XXI или XXXI века, речь идет о не менее важном, чем научно-художественный взгляд в будущее. Речь идет о проблеме социального идеала, на который ориентируются уже сегодня, о борьбе вокруг кардинального, злободневнейшего вопроса — каким должен быть следующий шаг в истории человечества и каким должен быть для этого человек сегодняшнего дня. Словом, будущее служит лишь худо-

жественным фоном для разработки проблем настоящего и грядущего средствами фантастики. Сплошь и рядом поэтому изображение будущего в фантастических романах сугобо условно, явно гротескно, аллегорично, иногда нарочито абсурдно. Можно ли всерьез воспринимать такую фантастику, пусть даже первоклассную научную фантастику высокого художественного и идейного уровня, как попытку изобразить достоверные картины будущего?

Мы говорили о том, что социальная прогностика, как новый комплекс научных дисциплин по проблемам конкретных аспектов будущего, только еще начинает развиртываться в полную силу. Тем не менее уже и сейчас ее данные убедительно свидетельствуют о том, что «проникнуть» в детали будущего научным или художественным взором весьма не просто. Да, мы знаем о том, что будущее принадлежит коммунизму, что научный анализ тенденций развития человеческого общества обязательно приводит к выводу о неизбежности смены капиталистического способа производства коммунистическим. Но как конкретно будет развиртываться дальше процесс смены капитализма социализмом и коммунизмом? Как конкретно, говоря словами Маркса, завершится предыстория и начнется подлинная история человеческого общества? Какое будущее ожидает человечество хотя бы, скажем, в следующем веке?

Судя по данным демографической прогностики, мир 2000 года будет вдвое более плотно населенным, чем современный: вместо 3,5 миллиарда на Земле будет жить примерно 6—7 миллиардов людей.

Исследования в области научно-технической прогностики приводят к выводу, что эти 6—7 миллиардов людей будут потреблять минимум в пять раз большее количество энергии, чем сейчас, не говоря уже о том, что открытие способа управления термоядерной реакцией может вообще предоставить в распоряжение людей практически неограниченное количество баснословно дешевой энергии.

Мощная энергетическая база откроет новые горизонты в части добычи сырья и производства самых разнообразных веществ, — возможно, вплоть до синтетических материалов с заранее заданными свойствами, изготовленными

из практически неограниченных запасов неорганического сырья, то есть, пользуясь образным выражением Д. И. Менделеева, из земли, воды, воздуха.

Дальнейший процесс автоматизации и кибернетизации общественного производства на столь мощной топливно-энергетической и материально-сырьевой базе в принципе способен привести к изобилию важнейших материальных благ и в то же время к значительному сокращению рабочего дня, допустим, до 4—5 часов в день.

Сельское хозяйство при таких условиях также в принципе способно дать людям в десятки раз больше продуктов питания, чем сейчас.

Располагая подобным технико-экономическим потенциалом, человечество в состоянии будет ежегодно закладывать сотни новых городов, озеленять миллионы гектаров пустынь, прорезать каналами целые материки и перегораживать плотинами морские проливы.

Наконец, есть все основания полагать, что к 2000 году Луна, Марс и, возможно, Венера покроятся научно-исследовательскими станциями землян. Весьма вероятно, что космонавты развернут исследования на ближних подступах к некоторым другим планетам солнечной системы.

Опираясь на эти данные, можно с известной долей основания представить себе великолепные сотнеэтажные дворцы XXI века, утопающие в море зелени, глядящиеся в зеркало бассейнов, каналов и озер. И квартиру тех времен: с ванной-бассейном, с громадным телевизионным экраном во всю стену, который создает полный эффект присутствия и в ложе театра, и на трибуне стадиона, и в лекционном зале, и в кругу друзей.

Можно представить богатый выбор роскошной одежды из синтетики, которая, подобно бумажной салфетке, выбрасывается в мусоропровод после одноразового употребления. И богатый выбор копеечных обедов из вкуснейших блюд — копеечных благодаря синтетическим продуктам питания, неотличимым от натуральных.

Наконец, можно представить пассажирскую ракету, доставляющую вас за полчаса на другой конец света. И автомобиль (или самолет), движущийся по заданному

маршруту без непосредственного участия человека — под управлением электронного диспетчера. И атомовоз или атомоход, перевозящий грузы со скоростью 200—300 километров в час.

Озелененная Сахара и города в Арктике под гигантским колпаком из пластика, дождь по заказу и искусственные плавучие острова в океане, регулирование вулканического режима Земли и начало планомерного освоения Марса — все это в принципе не выходит за рамки строго научных данных.

Но у будущего в его конкретных аспектах имеются и другие стороны — грозные и загадочные.

Сейчас на Земле накоплено столько ядерного оружия, что каждый город, каждый населенный пункт можно «перепачтать» бомбами не один, а несколько раз подряд.

Давно признано, что при первом же обмене ядерными ударами погибнут сотни миллионов людей. А многие из оставшихся в живых позавидуют мертвым, ибо будут умирать медленной, мучительной смертью под воздействием радиации и радиоактивных осадков. Ученые предвидят в этих условиях даже опасность физического и умственного вырождения всего человечества в целом. Между тем, помимо ядерного оружия, имеется еще оружие химическое и бактериологическое.

И что тревожнее всего — ядерное, химическое, бактериологическое оружие грозит постепенно «расползтись» по всему свету. К нему тянут руки и боннские реваншисты, и марионеточные диктаторы, и самые разнообразные «гориллы» реакционной военищины. Опасность ядерного конфликта возрастает, на что специально указывали представители коммунистических и рабочих партий, собравшиеся в Карловых Варах в апреле 1967 года.

Американский империализм ведет во Вьетнаме самую странную, самую грязную, дозированную войну, которая в любой момент может перерасти в мировой пожар.

Может ли не поднять голос против такой опасности добросовестный ученый — и прежде всего ученый-марксист? Может ли не поднять голос подлинный художник вообще и писатель-фантаст в частности?

Сейчас на Земле из трех с половиной миллиардов людей по меньшей мере два редко наедаются досыта. В свою

очередь, из них примерно половина хронически голодает, а несколько сот миллионов из этих голодающих, по существу, умирают мучительной голодной смертью, питаясь впроголодь далеко не каждый день. И каждый день на земном шаре погибают от голода тысячи и тысячи человек!

При существующей мировой системе капитализма с ее неоколониализмом, гонкой вооружений, погоней за сверхприбылями никаких радужных перспектив на улучшение во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки не открывается. Скорее даже наоборот: при стремительном росте населения жизненный уровень народных масс там и сям неуклонно понижается.

Так что же, значит, на Земле к 2000 году вместо двух миллиардов будет голодать четыре или пять? И вместо полумиллиарда людей будет умирать голодной смертью миллиард?

Может ли писатель-фантаст не поднять голос против этой опасности?

А о каком подъеме уровня культуры в глобальном масштабе может идти речь, если почти половина населения Земли неграмотна? Причем половина — это в среднем. В Азии неграмотно почти две трети населения. В Африке — почти три четверти.

Мы говорили о том, что автоматизация и кибернетизация общественного производства ведет к сокращению рабочей недели, высвобождает миллионы и миллионы работников. При одних социальных условиях это может означать появление новых миллионов учащихся и студентов, педагогов и врачей, работников науки и искусства. При других — миллионы новых безработных, миллионы человеческих трагедий.

Мы говорили о цветном стереоскопическом телеэкране во всю стену. Этот экран может открыть широкий доступ каждому ко всем сокровищам искусства и науки, может стать советником и учителем, гидом в увлекательном путешествии или окном к другу. Опять-таки при определенных социальных условиях. А при других — опиумом, изо дня в день часами одурманивающим миллионы людей не хуже любого сильнодействующего наркотика.

Ну, а растущая преступность? А растущие алкоголизм

и наркомания? А деморализация молодежи? А десятки тысяч убитых и миллионы раненых каждый год при катастрофах на дорогах Соединенных Штатов, Англии, Франции, ФРГ, Италии, Японии и многих других стран? И еще десятки тысяч убитых, миллионы искалеченных каждый год на заводах, фабриках, рудниках — жертвы чудовищной эксплуатации, отсутствия элементарной охраны труда? Ведь этот перечень можно продолжать без конца...

Опираясь на эти данные, можно с не меньшей долей основания представить себе варварское истребление людей по последнему слову науки и техники, миллионы изможденных от голода людей за колючей проволокой концентрационных лагерей и миллионы других людей, сытых, имеющих, может быть, даже собственный дом и автомашину, но низведенных до уровня животных. Людей, которые несколько часов в день заняты отупляющим, изматывающим трудом живых роботов и которые остальное время убивают с помощью алкоголя, наркотиков, телевизионного дурмана. Можно представить свирепую полицейскую диктатуру, располагающую новейшими средствами слежки, подглядывания, подслушивания, может быть, даже чтения мыслей. И человека, затравленного электронными жандармами. И сожжение книг. И истребление памятников культуры. Нет такой выдумки писателя-фантаста — самой мрачной, самой злоедейской, самой изощренной, которая не могла бы стать действительностью при торжестве, пусть временном, сил реакции, всего, что связано с попытками продлить жизнь умирающего общественного строя.

Прогрессивные силы мира ведут борьбу за то, чтобы такое будущее никогда не стало действительностью. Писатель-фантаст, сражающийся в рядах прогрессивных сил, располагает могучим идейным оружием в этой борьбе — двуострым мечом фантазии. Он может противопоставить проклятому будущему капиталистического мира светлое будущее коммунизма, ради которого стоит жить и ради которого, если нужно, стоит отдать жизнь. И он может яркими красками художника показать, в какую пропасть ведет человечество капитализм, чтобы раскрыть глаза обманутым, чтобы побудить задуматься приученных не

задумываться, чтобы удесятерить силы мира, прогресса, социализма.

Тупить этот двуострый меч фантазии, запрещать писателю-фантасту действовать той или другой его разящей гранью — значит наполовину разоружить наши силы, соответственно увеличивая силы противника.

Мы говорили о светлом будущем, во имя которого трудятся наши писатели-фантасты. Мы говорили о проклятом будущем, которым угрожает человечеству империализм и против которого всеми имеющимися средствами могут и должны бороться наши писатели-фантасты. Существует еще одно будущее — далекое, таинственное, загадочное, непознанное. Будущее, которое шаг за шагом раскрывает наука и которое наши писатели-фантасты должны осветить лучом искусства.

Какое будущее ожидает человечество в условиях полностью автоматизированного и кибернетизированного общественного производства, в мире «умных машин», способных взять на себя всю тяжесть физического и большей части современных видов умственного труда? В мире кибернетических организмов, способных помочь человеку полностью освоить его родную планету, а затем, возможно, и всю солнечную систему? В мире кибернетических организмов, способных существовать в масштабах миллиардов земных и световых лет, способных осваивать галактику и метagalaxy? Какова она, наша вселенная? В чем смысл существования человечества? В чем смысл жизни человека? К чему приведет встреча с высокоразвитыми цивилизациями иных миров и состоится ли она?

На эти вопросы и многие другие еще нет достаточно полного и убедительного ответа. И пока существует человек, он будет искать ответа на них. Он обязан их искать, если он хочет идти вперед не вслепую. Обязан искать с помощью фантастики в том числе.

Ясно одно: чтобы завоевать будущее, достойное человечества, нужна борьба с силами реакции, угнетения, милитаризма, под знаменем прогресса, мира, гуманизма, нужна борьба за коммунистическое будущее, за расцвет человеческой личности, возможный только в условиях коммунистического будущего.

Вот почему в центре внимания каждого советского фантаста — пишет ли он о прошлом или о настоящем, о светлом будущем или об угрозе этому будущему — всегда остается одно: судьбы современного человечества в самых различных аспектах. Вот почему каждое подлинно художественное произведение фантастики не исчерпывается «острым сюжетом», «научной идеей» или «картинной будущим», а всегда сводится к одному: к художественному раскрытию тех или иных граней сложного образа человека сегодняшнего дня как атома современного человечества.

Чтобы успешно справляться с такой задачей, фантастике, как и всей литературе, противопоказаны шаблоны, схемы, проторенные пути, бюрократическая регламентация того, что писать и как писать. Недостаточно призывать к тому, чтобы у нас было больше фантастов — хороших и разных. Чтобы быть хорошей, фантастика должна быть разной.

В XIV и XV томах «Библиотеки современной фантастики» представлены писатели, очень непохожие друг на друга и по своей тематике, и по своему творческому почерку, и по своему художественному видению тех или иных аспектов современной жизни, тех или иных конкретных аспектов будущего. Наряду с другими томами «Библиотеки», посвященными произведениям отдельных советских фантастов, эти тома дают более или менее наглядное представление о том, какова современная советская фантастика. Или могут служить хорошим ответом на измышления, появляющиеся еще кое-где за рубежом, будто советские фантасты «по заданию свыше» рисуют одними и теми же красками одни и те же картины будущего. Вместе с тем эти тома наглядно показывают, как советские фантасты всем богатством своей художественной палитры сражаются за лучшее будущее.

XIV том открывается рассказом Г. Альтова «Ослик и аксиома». Это самая типичная, самая откровенная, самая стопроцентная научная фантастика сегодняшнего дня. Рассказ до предела насыщен научно-фантастическими идеями (самопреобразующиеся материалы, оригинальная идея решения противоречия, порождаемого парадоксом относительности времени, и т. д.). Чуть ли не каждая но-

вая страница открывает здесь какую-то неожиданную грань новых возможностей научно-технического прогресса. При всем том рассказ отнюдь не простая иллюстрация этих возможностей. В центре внимания автора вовсе не просто наука и техника будущего. Красная нить повествования — размышления о творчестве ученого, создающего будущее. Рассказ воспринимается как поэма об ученом-первопроходце, о тех безыменных разведчиках науки, которые прокладывают дорогу армаде современных научно-исследовательских институтов.

В основе рассказа Е. Войскунского и И. Лукодьянова «Прощание на берегу» тоже научно-фантастическая идея — идея победы над старостью. Но и здесь на первом плане подвиг ученого, описанный с большой лиричностью и теплотой.

Может показаться, что суть рассказа С. Гансовского «День гнева» — в идее создания человекоподобных роботов. Но сразу же убеждаешься, что это не так, что главное здесь — проблема морали. Не человекообразное чудовище, а бесчеловечный интеллект — вот что страшно. Отсюда вопрос об ответственности ученого, вопрос о праве на существование общественного строя, который создает роботов в облике человека. Вопросы не новые. Но здесь они поставлены с такой остротой, напряженностью, полемичностью, что достигается полный «эффект присутствия»: да, такое возможно — мало того, такое уже есть. Бесчеловечная цивилизация! С таким будущим, уготованным человечеству отживающим строем, нужно бороться не на жизнь, а на смерть.

Небольшая повесть Г. Гора «Мальчик» — произведение скорее философское. Человек шагнул в мир новых представлений о времени и пространстве. Он очутился перед лицом космоса, вечные загадки природы, бытия приобретают новую окраску. Наступает конец старого, привычного мира. Обычная жизнь оказывается пронизанной веяниями новых далей, озаренной грядущим...

«Снежок» Е. Парнова и М. Емцева. Что это, очередная история с «машиной времени»? Нет, главное здесь — опять-таки человек сегодняшнего дня. Человек, размышляющий о закономерности своих поступков, своего поведения. Человек, оказавшийся как бы перед своей

юмористическим размышлением насчет того, что и в будущем, видимо, останется в ходу тезис «Прошлое было лучше» («Мореплавание невозможно» и «Потомки делают выводы» Р. Подольного).

На страницах очень смешной повести Н. Разговорова «Четыре четыре» снова оживает конфликт между физиками и лириками — на этот раз доведенный до полного абсурда. Физики изгнали лирику... Это оказывается не только смешным, это наводит на некоторые раздумья. Подкупает тесное содружество в этой повести юмора и лирики, объединяющихся, если можно так выразиться, под знаменем воинствующего гуманизма.

Мертвый хватает живого — это древнее изречение вполне подошло бы в качестве эпиграфа к повести Д. Биленкина «Космический бог», — это уже в следующем, пятнадцатом томе. Новые времена, новая техника, новый театр действий, но где-то на Земле сохранился еще старый общественный строй, и в канун победы новых социальных отношений повторяется попытка повернуть историю вспять — с помощью новых средств. Какие диверсии старого мира могут оказаться возможными в недалеком будущем? Вопрос далеко не праздный — ведь они будут и похожи и непохожи на современные. И очень хорошо, что наша фантастика проникает в эту сторону будущего. Но повесть Д. Биленкина не просто повесть-предупреждение, она еще и утверждение обреченности отживающего строя, утверждение, сделанное языком фантастики.

Еще одна тема того же плана: техника, лишенная высокой моральной основы, бесчеловечна, больше того — античеловечна, даже если применяется, казалось бы, на благо людей. Голый рационализм, точнее, бездумный рационализм, в равной степени губителен и для личности и для общества. Рассказ И. Варшавского «Тревожных симптомов нет» раскрывает это предельно ярко и убедительно.

Другой рассказ того же автора «Секреты жанра» — едкая пародия на псевдолитературные поделки, обильным потоком заливающие западную фантастику.

Важное место в современной фантастике закономерно принадлежит теме антимилитаризма. Советские писате-

ли-фантасты создали на эту тему немало произведений. Рассказ С. Гансовского «Полигон» относится, по-моему, к лучшим ее образцам: неожиданный поворот сюжета, напряженность повествования, и за всем этим — обличение реакционной военщины с ее звериной психологией хищника, довольно урчащего на трупе жертвы и отчаянно мечущегося в поисках спасения, когда неизбежна близкая гибель.

Антифашизм, по понятным причинам, еще одна ведущая тема современной советской фантастики. Повесть «В круге света» А. Громовой решает эту тему своеобразно: сюжет максимально приближен к реальности, собственно фантастике отводится, казалось бы, чисто вспомогательная роль. Результатом оказывается впечатление достоверности, историчности повествования. В то же время фантастическое «зерно» сюжета позволяет вести психологический анализ философии крайнего индивидуализма такими приемами, которые недоступны «обычной» повести того же плана.

«Уравнение Максвелла» А. Днепров тоже произведение воинствующе антифашистское, но решенное в ином плане, характерном для творчества этого писателя-фантаста. Проблема искусственного форсирования способностей человеческого мозга, больше того, проблема управления психикой и мышлением человека вообще — как они рисуются в свете данных современной нейробиологии — служат автору фоном, на котором разыгрывается рецидив человеконенавистнического изуверства недобитых гитлеровских последышей. Если дать возродиться «коричневой чуме», напоминает читателю повесть, может повториться Освенцим на уровне несоизмеримо более высоких достижений науки и техники.

И еще одно произведение в том же плане — антифашистский (точнее, антиквислинговский) памфлет Л. Лагина «Майор Велл Эндью».

Последний раздел тома вряд ли можно отнести к научной фантастике в строгом смысле этого слова. Это просто сказки. Или почти сказки. И все же это первоклассная фантастика, не имеющая ничего общего ни с мистицизмом, ни вообще с какими бы то ни было антинаучными построениями. Научная основа здесь как бы

подразумевается сама собой, а ничем не скованный полет фантазии автора служит особым целям — проложить дорогу к уму и сердцу читателя словами Возвышенного и Забавного, Героического и Комического. Причем большей частью имеется в виду очень сложный читатель: как говорится, от семи и до семидесяти лет.

Рассказы этого раздела доступны пониманию ребенка. И в то же время их с удовольствием прочтет взрослый.

В рассказе Г. Альтова «Икар и Дедал» далекое прошлое как бы подает руку далекому будущему. Оживает древнегреческая легенда, относящаяся... к третьему тысячелетию нашей эры. И здесь нет никакой натяжки, ибо через всю эту маленькую поэму в прозе проходит мысль о непреходящих ценностях рода человеческого — о любви и дружбе, о радости творчества и безумстве храбрых, о жизни-подвиге и о вечном движении вперед и выше, все вперед и выше.

Рассказы «Девочка, с которой ничего не случилось». К. Булычева и «Молекулярное кафе» И. Варшавского вполне можно включать в сборники, рассчитанные на ребят дошкольного возраста. Их забавную увлекательность способны, кажется, по достоинству оценить даже воспитанники младшей группы детского сада. Вместе с тем каждый из рассказов имеет свой особый подтекст, предназначенный для сугубо взрослой аудитории: светлый гуманизм безбоязненного мира будущего у К. Булычева, несовместимость жизни «на всем готовеньком» с натурой человека и человечества во все времена и прошлого и будущего у И. Варшавского.

Все как в сказке и в рассказе В. Григорьева «Рог изобилия». Не сказочна только сама обстановка действия. Наоборот, она подчеркнута обыденна. Столкновение сказочного с обыденным кончается гибелью сказки, но только потому, что в обыденности присутствует некий «товарищ Паровозов», способный задушить какую угодно сказку. Однако при столкновении этих двух начал вспыхивает огонь сатиры, и сказка вновь торжествует над обыденницей Паровозовых — смехом.

При отборе рассказов и повестей естественным было желание дать самое лучшее, возможно шире показать многогранность советской фантастики, полнее представить

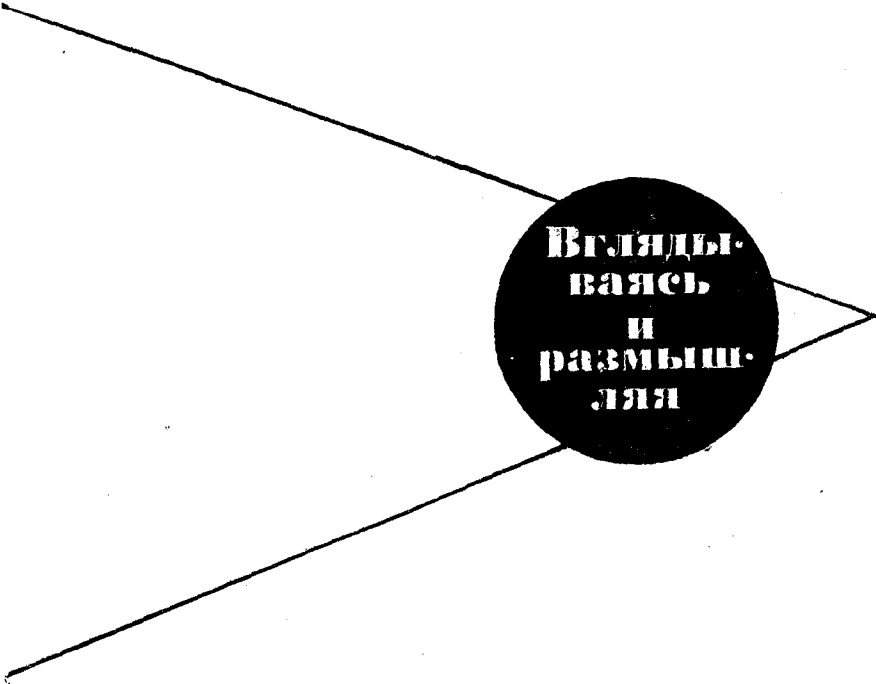
творчество советских писателей-фантастов. Подчас эти мотивы вступали в противоречие друг с другом, тем более что даже в двух томах «нельзя объять необъятное» и чем-то надо было жертвовать. Думаю, что право судить, насколько успешным оказался опыт, следует предоставить читателю.

Тема разбита на пять разделов — «Вглядываясь и размышляя», «Зов космоса», «С улыбкой», «Скрещивая шпаги», «Почти сказка». Разумеется, это деление в достаточной мере условно. Конечно, советские писатели-фантасты «скрещивают шпаги» с чуждыми взглядами и идеями, с конкретным злом не только в «соответствующем разделе». И нет, пожалуй, рассказа, где бы автор не вглядывался в тенденции настоящего и не размышлял над путями будущего. И юмор присутствует не только в разделе «С улыбкой». И тема космоса звучит не в одних лишь «космических произведениях»... Все это так. Но такое деление, вовсе не связанное с какими-то догматическими «от сих и до сих», позволяет выделить в каждом случае преобладающую сторону произведений, оттенить некоторые особенности советской фантастики.

Еще одно необходимое замечание. За исключением А. Казанцева, Г. Гуревича, Л. Лагина, В. Сапарина, пожалуй, все писатели-фантасты, представленные в двух томах, выражаясь аллегорически, люди 50-х (многие даже 60-х годов). Особняком стоит Г. Гор, опытный, давно сложившийся писатель, в фантастику, однако, пришедший сравнительно недавно. В таком подборе нет произвола — после длительного застоя советская фантастика начала интенсивно развиваться лишь с конца 50-х годов. Поэтому ее становление и становление подавляющего большинства писателей-фантастов — фактически итог последнего десятилетия. Прогресс, достигнутый за это время, несомненен. Заметны, однако, и некоторые недостатки. У западной фантастики к концу 50-х годов был уже давний и непрерывный литературный опыт — такого опыта поколение современных советских фантастов не имело. Это, конечно, сказывается. И тем не менее... Впрочем, на книжной полке читателя уже стоят тома зарубежной фантастики, и это обстоятельство избавляет нас делать за

него сопоставления. Одно несомненно: кривая литературного мастерства советских писателей-фантастов резко идет вверх, и на путях дальнейшего развития советской фантастики можно ожидать появления в недалеком будущем многих новых талантливых произведений высокого литературного достоинства.

*И. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА,
доктор исторических наук*



**Вглядывайся
и
размышляя**

ОСЛИК И АКСИОМА

Старый серый ослик Иа-Иа стоял один-одинешенек в заросшем чертополохом уголке Леса, широко расставив передние ноги и свесив голову набок, и думал о Серьезных Вещах.

А. Милн, Винни-Пух

То, о чем я хочу рассказать, началось с небольшой статьи, написанной для «Курьера ЮНЕСКО».

Я изрядно помучился с этой статьей, уж очень невыигрышной была тема. Ну что можно сказать — на трех страничках! — о прошлом, настоящем и будущем машин?..

Недели две я просто не знал, как подступиться к статье, а потом нашел любопытный прием: пересчитал мощность всех машин на человеческие силы, на прислуживающих нам условных рабов. Киловатт заменяет десять крепких рабов, в общем-то простая арифметика.

Я взял жалкие цифры конца XVIII века — они немногим отличались от нуля — и проследил их судьбу: мучительно медленный, почти неощутимый рост на протяжении столетия, затем подъем, становящийся все круче и круче, почти вертикальный взлет после второй мировой войны (десятки и сотни условных рабов на человека) и, наконец, нынешний год, к которому каждый из нас стал богаче римского сенатора.

«Размышления рабовладельца» (так я назвал статью) были отосланы, но меня не оставляло какое-то смутное чувство неудовлетворенности. Оно не проходило, и, разозлившись, я переворочил заново все цифры.

Нет чувства острее, чем то, которое испытываешь, приближаясь к открытию. Наверное, это передалось нам от очень далеких предков, умевших в хаосе пер-

вобытного леса ощутить странное и молниеносно настроить каждый нерв, каждую клеточку еще не окрепшего мозга в такт его едва различимым шагам.

Теперь я могу объяснить все в нескольких словах, будто и не было долгих, временами казавшихся безнадежными поисков.

Жизнь машины, любой машины, становится слишком короткой: в среднем около трех-четырех лет. Машина могла бы жить раз в восемь или десять дольше, но наука открывает новые, более совершенные принципы — приходится менять всю нашу технику.

Промежутки между открытиями укорачиваются, и неизбежно наступит время, когда мы должны будем менять машины (подчеркиваю — все машины, весь огромный технический мир) ежегодно, потом ежечасно, ежеминутно. А иначе — куда денется стремительно нарастающая лавина открытий?..

Быть может, я не нашел бы ответа на этот вопрос. Скорее всего не нашел бы. Есть вопросы, имеющие ехидное свойство появляться задолго до того времени, когда на них можно ответить. Но однажды, листая «Вопросы философии», я обратил внимание на заметку, густо усыпанную примечаниями и оговорками редакторов. В заметке говорилось о принципах дальнего прогнозирования. Речь шла о возможности уже сегодня решать на аналоговых машинах задачи, подобные тем, с которой я столкнулся.

В первый момент меня поразила даже не сама заметка, а подпись. Статья была написана Антенной; я не видел его четырнадцать лет, со школьных времен.

* * *

В нашем классе он был самый высокий, но Антенной его прозвали не за рост. Он вечно таскал в карманах кучу радиохлама и каждую свободную минуту собирал приемники. Делал он это как-то машинально. Он мог смотреть кинокартину или ехать в трамвае, а руки его в это время работали сами по себе: что-то отыскивали в карманах, что-то с чем-то соединяли, наматывали, прилаживали — и вдруг все эти фитюльки, болтавшиеся на разноцветных проводах, оживали, на-

чинали шипеть, свистеть, а потом сквозь плотный шум пробивался голос диктора. Антенна что-то менял, подкручивал: шум таял, исчезал — и возникала прозрачная, чистая музыка.

Не помню ни одного случая, чтобы у Антенны не хватило материала. Он мог пустить в дело любую вещь. Как-то он собрал приемник из двух радиоламп, мотка проволоки, моей собственной вечной ручки и старого велосипедного насоса.

Антенна приехал с Урала. Мы тогда были в восьмом классе, и первое время все выпрашивали у него приемники. Он отдавал их, несколько не жалея. Вообще Антенна был хорошим парнем — так считали все, и только он сам, кажется, иногда огорчался, что его вечно тянет лепить приемники. Он именно так и говорил — «лепить». Ему нельзя было играть в футбол: в самый отчаянный момент он вдруг подбирал обрывок какого-нибудь провода и принимался его рассматривать. Даже в воротах Антенну невозможно было поставить, потому что он сразу начинал возиться со своим радиохламом, а это плохо, когда у вратаря заняты руки. Мы играли на пустыре, за стройкой, и Антенна обычно сторожил портфели. Он сидел на траве, поглядывал на игру и собирал очередной приемник.

Работали приемники лучше заводских, хотя вид у них был не слишком красивый. Антенна почему-то не признавал футляров и коробок, приемники получались у него открытыми. Начинка висела на проводах, как гирлянда елочных игрушек. Но если Антенне давали футляр, он не спорил и сразу же принимался за работу. Сначала за Антенной ходила целая очередь, а потом мы привыкли. И он делал что хотел: соберет какую-нибудь замысловатую схему, разберет и начинает собирать новую...

Он учился с нами только год; потом его семья переехала куда-то на Алтай. Весь этот год мы с Антенной сидели за одной партой; мне нравилось следить, как он работает. Именно тогда я всерьез задумался о своем будущем. Сейчас, к тому же в беглом пересказе, это звучит наивно: задумался о своем будущем. Но так было. Я не хотел отставать, на то имелась мас-

са причин, и выбрал химию, к которой Антенна был совсем равнодушен. Для химии потребовалась физика, для физики — математика, а в математике я однажды натолкнулся на математические основы социологии.

Наука о Человеке — так я определяю предмет социологии. Океан живых цифр, то взметающий громадные валы, перед которыми ничто любое цунами, то дробящийся на мириады капелек, расцветенных удивительными красками нашего мира. Никакая другая наука не отражает столь полно все человеческое — историю, взлеты, падения, ум, глупость, горе, счастье, труд, нравы, преступления, подвиги...

* * *

Я нашел Антенну без всякого труда — по телефонной книге. Раньше мне просто не приходило в голову, что он в Москве и все так элементарно: взять трубку, позвонить, договориться о встрече.

* * *

Мы сидим в кафе-мороженое «Арктика» у огромного окна, за которым бесшумно кружатся фиолетовые от рекламных огней хлопья снега. Зал почти пуст, в дальнем углу официантки не спеша пьют чай.

— Любопытно, — вяло говорит Антенна. — Насчет машин очень любопытно. Да, вот что... Забыл спросить: ты не видел Аду Полозову? Интересно, как она...

Что ж, все закономерно. Ада должна интересоваться Антенну больше, чем мои рассуждения о машинах.

Однажды я разбил свои часы. Разбил капитально, в ремонт их не брали. Выручил Антенна: он втиснул в часовой футляр безбатарейный приемник, настроенный на «Маяк». Я узнавал время по радио; это не очень удобно, зато оригинально.

И вот тогда я допустил ошибку. Я показал эти часы Аде. Она занималась фехтованием, очень гордилась этим, говорила, что фехтование вырабатывает характер. Безусловно, вырабатывает. Даже в избытке. Она сняла свои часики и стукнула их о подоконник — эффектно и точно. Не помню, какой марки были эти часики. Маленькие, овальные. Кажется, «Капелька».

«Можно не спешить, — великодушно сказала Ада, — несколько дней я обойдусь без часов, но мне хотелось бы иметь приемник с двумя диапазонами».

Зимних каникул у Антенны в тот раз не было. Даже Новый год он не встречал. Когда он появился после каникул, Ада сказала, что вид у него немножко дикий и задумчивый, как у поэта Роберта Рождественского. Но «Капельку» Антенна принес в полном порядке. С двумя диапазонами. Часы тоже работали.

... — Мы с ней переписывались, — рассказывает Антенна. — Почти полгода. Она писала, что хочет стать укротительницей. А что? По идее подошло бы, правда?

По идее Ада вполне могла стать укротительницей. Но она стала стюардессой. Дальние линии: Москва — Дели, Москва — Рим, Москва — Токио... Она погибла в Гималаях.

Да, конечно, у нее была «Капелька» первого выпуска. Очень маленькие часики, похожие на кашлю застывшего янтаря.

Антенна водит пальцем по синему пластику стола, рисуя растаявшим мороженым аккуратную восьмерку.

— Вот ведь как получилось, — говорит, наконец, Антенна. — Гималаи... Далеко.

Ну, не очень-то далеко. За эти годы я побывал во многих странах: что в наше время расстояния? Милан и София — социологические конгрессы. Коломбо — международный симпозиум. Оттава — конференция по применению в социологии электронных вычислительных машин. Париж и Лондон — дискуссионные встречи с западными социологами. Туристские поездки: Египет, Польша, Куба, Болгария. В международный социологический год работал в Западной Сибири и в Монголии.

Антенна ошеломлен. Он спрашивает о египетских пирамидах, и я рассказываю, хотя мысли мои упорно возвращаются к Аде. Почему? Это бессмысленно, ненужно. На эти мысли давно наложено табу. Сейчас я их выключу. Возьму и выключу. Пирамиды? Так вот пирамиды. Издали чувствуешь себя обманутым:

ждал чего-то более громадного. Но по мере того как подъезжаешь ближе, пирамиды растут, поднимаются вверх, вверх, в самое небо — это производит подавляющее впечатление.

Антенна внимательно слушает, потом говорит:

— А все-таки странно, что ты бросил химию и занялся социологией.

Ничуть не странно. В этом мире вообще все закономерно. Моя бабушка с материнской стороны была чистокровной цыганкой. У меня такая наследственность: стремление предвидеть будущее. Так что социологией я занялся совсем не случайно.

Антенна недоверчиво улыбается. Ладно, я могу объяснить по-другому:

— Если бы существовал двухмерный мир, тамошним обитателям, наверное, очень хотелось бы хоть одним глазком заглянуть в третье измерение. Что там? Как там?.. В нашем трехмерном мире просторнее. Как отметил поэт, есть разгуляться где на воле. Но встречаю люди, которым обязательно надо высунуть нос в будущее. Взять и высунуть. Что там? Как там?..

Антенна охотно согласился:

— Это верно. Очень хочется заглянуть в будущее...

Мы уже два часа сидим в этом холодильнике (здесь по крайней мере тихо), и я никак не могу освоиться с тем, что Антенна не сделал карьеры (я имею в виду научную карьеру и вкладываю в это слово хороший, честный смысл). Антенна был самым талантливым в нашем классе. Бывает, что человек еще в детстве становится выдающимся музыкантом; Антенна обладал столь же ярко выраженным «электронным» талантом. И вот теперь, с первых минут встречи, я почувствовал, что удивительный талант Антенны не исчез. Но Антенна работает рядовым инженером на заводе игрушек. Это было бы нормально, тысячу раз нормально, если бы не талант, совершенно исключительный талант Антенны...

Внешне Антенна мало изменился: длинный, тощий, по-мальчишески угловатый и застенчивый.

Он говорит о телевидении. Некоторые факты я уже знаю. Но в изложении Антенны они звучат иначе.

Он относится к приемникам, как к живым существам; ему жаль их — они живут все меньше и меньше.

Четверть века существовало черно-белое телевидение, затем появилось цветное ТВ — и сотни миллионов вполне работоспособных приемников были выброшены на свалку. Их сменили полмиллиарда цветных телевизоров. Эти массивные добротные ящики могли бы работать пятнадцать или двадцать лет. Но прошло всего четыре года, и они безнадежно устарели: началась эра «стерео». Заводы выпустили уже свыше миллиарда «стерео». Сегодня «стерео» нарасхват. А через год или два они тоже пойдут на свалку — обязательно появится нечто новое.

— Спрашивается, кто на кого работает? — Антенну удивляет эта мысль, он шепчет, шевеля губами: — Вот именно. В конце концов это вопрос о смысле жизни. Машины слишком быстро стареют, мы работаем, чтобы построить новые, а они стареют еще быстрее... И никто этого не замечает, у человечества пока хватает других забот.

Хватает. А когда этих забот не хватало? Закономерность еще не бьет в глаза, в этом все дело. Она вылезет где-то в XXI веке, и тогда придется решать: непрерывно менять технику, менять каждый день, безжалостно выбрасывая миллиарды новых машин только потому, что они морально устарели, или смириться с тем, что наука все дальше и дальше будет уходить от техники, производства, жизни. А зачем тогда наука? Познание ради самого процесса познания?..

— Технику надо перестраивать, — без особой уверенности говорит Антенна. — Она должна быть приспособлена к постоянной перестройке. Как ты думаешь?

Хотел бы я знать, как перестраивать гигантские домны, мартены, конвертеры, если, например, открыт способ прямого восстановления металла из руды? Надо менять все — до последнего винтика! Проще и выгоднее строить заново.

— Странно, — говорит Антенна, глядя в окно.

За стеклом вспыхивают и гаснут желтые огни автомобильных фар. Точка, тире, точка...

— Странно... Мы не виделись столько лет... Стейка, которую ты читал, давно устарела. Там были только предположения. Понимаешь, год назад я вылепил прогнозирующую машину...

* * *

Я достаточно хорошо представляю трудности связанные с машинным прогнозированием. Скажи кто-нибудь другой, что такая машина уже существует я счел бы это шуткой. Но в Антенну трудно верить.

Я иду выпрашивать чаю, в этой холодильной фирме чай вне закона. Кажется, девушки приняли Антенну за какого-то выдающегося спортивного деятеля. Он включает проигрыватель, а у нас на столе появляются горячий чай и домашнее печенье.

Такое печенье я ел у Антенны, когда у него был день рождения. Мы всем классом подарили ему микроскоп. Не совсем новый (мы покупали его в комиссионном), но очень внушительный, с тремя объективами на турели. Антенна был чрезвычайно доволен микроскопом и все пытался объяснить нам, что размер приемников и контрольно-измерительной аппаратуры должны по идее стремиться к нулю. Его никто не слушал — мы танцевали.

К весне он стал собирать очень маленькие приемники, ребята называли их микробными. Приемники были не больше маковых зернышек и ловили только Москву. Когда их клали в пустую спичечную коробку и, приоткрывая, настраивали ее на резонанс, звук получался довольно громкий.

Как-то Антенна принес спичечную коробку, набитую совсем уж миллимикробными приемниками, мы ухитрились их рассыпать. Все полезли рассматривать, Антенну толкнули. Когда коробка упала, ветер подхватил приемнички, они сразу же полетели. Слово кто-то подул на одуванчик. Мы бросились закрывать окна. В первый момент мы даже не сообразили, что приемнички продолжают работать и звук почему-то становится сильнее... Скандал был грандиозный.

...— Прогнозирование обычно рассчитано на благо

получную кривую. — Антенна рисует на столе линию, плавно поднимающуюся вверх. — А развитие идет иначе: кривая, разрыв, более крутой участок, соответствующий появлению чего-то принципиально нового, потом снова разрыв и снова кривая идет круче. Все дело в том, что прогнозирующая машина... ну, ты сам знаешь, она должна смотреть далеко вперед. За все эти разрывы, прямо сюда, — он показывает на верхний участок кривой. — Без машины человеку пришлось бы ворошить гигантский объем информации, преодолевать множество привычных представлений. Помнишь, как Эдгар По описывал будущее воздухоплавание? Громадный воздушный шар на две тысячи пассажиров... Очень характерная ошибка. Мы поневоле прогнозируем количественно: увеличиваем то, что уже есть. А надо предвидеть новое качество. Надо знать — когда оно появится и что даст. Согласен?

Я отвечаю, что да, согласен, и спрашиваю, почему он работает на заводе игрушек.

— Выкладывай, что случилось?

— Ничего. Ничего особенного. Учился в аспирантуре. Потом ушел. А на заводе... что ж, на заводе хорошо. Работа интересная. И потом барахолка там богатейшая, — он оживился, — могу брать, что нужно.

Ясно. Этот непротивленец получил барахолку и счастлив. Я возьму Антенну в свою лабораторию. Ну конечно! Как я об этом сразу не подумал.

— Значит, ты работаешь дома?

— Так даже удобнее. Никто не отвлекает.

Он многословно расписывает преимущества работы в домашних условиях. Не знаю, на кого я больше зол — на Антенну или на тех неизвестных мне людей, которые обязаны были разглядеть его талант.

— Сборка прогнозирующей машины на дому. Двадцатый век. Декларь!

— Так ведь она не очень сложная. Вот разработать алгоритм было действительно трудно, а машина... По идее первая машина всегда проста. Усложнение начинается потом. Знаешь, первый радиотелескоп в Гарварде сколотил плотник из досок, и стоило это всего четыреста долларов. А первые вычислительные

машины были сделаны из детского «Конструктора»... В общем это не важно. Мы как-то сумбурно говорим, я ведь еще не сказал главного. Понимаешь, какая история: я решал на машине другую задачу, совсем другую. Но ответ, кажется, подойдет и для твоей задачи...

— Какую задачу ты решал?

— Видишь ли, машина у меня небольшая, я втиснул ее в одну комнату... С самого начала пришлось лепить машину в расчете на вопрос, который меня интересовал. Элементы памяти очень емкие, на биоблоках, лучшие из существующих. И все равно на шестнадцати квадратных метрах много не разместишь. Отсюда узкая специализация: машина рассчитана только на один вопрос. Летом я начал ее разбирать...

— Стоп! Какой вопрос ты задал машине?

— Видишь ли, — Антенна мнетя, заглядывает мне в глаза, — я долго выбирал, ты не думай, пожалуйста, что это фантазерство. Я искал узловую проблему...

— А конкретно?

— Проблема возвращения. Полеты к звездам. Ну, ты должен знать. Классическая проблема возвращения: на корабле прошло пять или десять лет, а на Земле — сто или двести. Вернувшись, люди попадают в чужой мир. Им трудно, может быть, даже невозможно жить в этом мире. И потом они прибыли с открытиями, которые на Земле давно уже сделали без них. Полеты лишаются смысла.

— Классическая проблема возвращения... Допустим. Но почему ею нужно заниматься в одиночку?

— А что здесь делать коллективу? Ну что бы делал институт?

— Устраивают же на эту тему конференции...

— Нет, ты что-то путаешь: были конференции по межзвездной связи. А перелеты на межзвездные дистанции считаются неосуществимыми. Практически неосуществимыми. О чем мы говорим! Нет ни одного института, ни одной лаборатории, ни одной группы, которые специально бы занимались этой проблемой. Да и как заниматься? Сначала надо найти какие-то

опорные идеи. Найти, развить, доказать, что это не бред.

— Ты можешь работать над другой проблемой, а в свободное время...

— Нет! — Антенна протестующе взмахивает руками. — Нельзя отвлекаться, надо думать на полную мощность.

* * *

В автобусе на запотевшем оконном стекле Антенна чертит схему, объясняя устройство своей машины. За стеклом мелькают приглушенные снегом ночные огни, и от этих огней, от их движения схема кажется объемной, работающей, живой.

Теперь я не сомневаюсь в машине. Непонятно другое: если машина была собрана, если она работала, почему все так тихо?

— А как же? — удивляется Антенна. — По идее и должно быть тихо. Ну, представь себе начало века. Авиация делает первые шаги. Неуклюжие самолеты наконец-таки поднимаются в воздух... Представляешь, ко всеобщему восторгу, они взлетают на сто или даже на двести метров. И вот появляется дядя вроде меня и начинает толковать, что через сорок или пятьдесят лет винтомоторные самолеты устареют, наступит эра реактивной авиации. Кого заинтересовало бы такое общение?..

Он вдруг замолкает, потом спрашивает, глядя в сторону:

— Ада летала на реактивных?

Вообще да, на реактивных. Но там, в Гималаях, разбился вертолет. Осваивали новую линию.

Этот автобус еле тащился. Уж он-то устарел не только морально.

— А почему ты решил строить прогнозирующую машину? — спрашиваю я.

— Просто однажды я подумал: интересно, каким будет двадцать первый век? Ведь это интересно; ты же сам говорил, что иногда хочется высунуть нос в четвертое измерение.

Вот оно что. В один прекрасный день Антенна, вечно занятый своей электроникой, оглянулся и с уди-

влением заметил, что вокруг целый мир, который — о великое открытие! — даже имеет свое прошлое и будущее... Прошлое, разумеется, мрачно: граждане не умели делать простых супергетеродинных приемников. Зато впереди великое будущее. Все станет подвластным радио: радиоастрономия, радиохимия, радиобиология, может быть, даже радиоматематика?.. И Антенна выбрал самый простой способ увидеть этот радиомир: построил прогнозирующую машину.

— Нет же, совсем не так!

На нас оглядываются: уж очень энергично Антенна машет своими длинными руками.

— Нет... Мне захотелось узнать, что будут делать люди. Вот! Тут множество проблем, но все они в конечном счете сводятся к одной. Ну, понимаешь, как меридианы пересекаются на полюсе. Вопрос в том...

— Быть или не быть. Знаю. Тише.

Мальчишка, восторженный мальчишка. Есть логика в том, что он попал на завод игрушек.

— Ты послушай. Либо доступный нам мир ограничен солнечной системой и остается только благоустраивать этот мир, либо возможны полеты к звездам, и тогда открыт безграничный простор для деятельности человека.

— Мягко говоря, вопрос не слишком актуальный. Так сказать, не животрепещущий.

— Почему? Вся история человечества — это процесс расширения границ нашего мира. Научились строить корабли — завоевали океан. Изобрели самолет — завоевали воздух. Создали ракеты — началось завоевание солнечной системы... А если дальше нет пути? Ведь это надо знать...

Что ж, в конечном счете Антенна прав: наш мир может существовать только в развитии. Если он замкнется в каких-то границах, вырождение неизбежно. Со времен Уэллса на эту тему написана бездна романов. Но нам еще ох как далеко до границ солнечной системы! Перед нами тысячи других проблем — накопленных, неотложных...

А впрочем, кто знает. Меридианы на экваторе параллельны друг другу: они, наверное, не подозревают

о существовании полюса и думают, что пересекутся где-то в бесконечности. Очень может быть, что проблема возвращения станет актуальной значительно раньше, чем мы думаем.

С чего я, собственно, взял, что Антенна неудачник? Пожалуй, он нашел задачу по своему таланту — вот в чем дело.

— Пришлось бросить аспирантуру, — рассказывает Антенна. — Мой шеф заявил, что двадцать первый век, звездолеты и все такое прочее — это детские игрушки, а тема должна быть реальной. Ладно, я подал заявление: «Прошу отпустить на завод игрушек». А потом решил, что и в самом деле нужно пойти на такой завод.

— И тогда, — говорю я бесцветным голосом летописца, — тогда началась эра электронной игрушки...

— Нет, при чем здесь электроника! — перебивает Антенна. Он хороший парень, ему очень хочется рассеять мое заблуждение. — Электронные игрушки — это чепуха, понимаешь, чепуха. Подделка сегодняшней техники. А хорошая игрушка должна быть прообразом машин, которые появятся через сотни лет.

Я пренебрежительно фыркаю. Теперь Антенна просто сгорает от желания втолковать мне что к чему.

— Это же закономерность! Вспомни хотя бы турбинку Герона. Игрушка! А разве гироскоп не был игрушкой, волчком? Или первые роботы, ведь это были забавные механические игрушки. Разве не так? Пойми ты наконец: машина почти всегда появляется сначала в виде игрушки. Игрушечные самолеты, например, взлетели раньше настоящих. Если я хочу сегодня заниматься машинами двадцать первого века, мне надо делать игрушки.

— Боюсь, это будут сложные игрушки.

— Нет, по идее хорошая игрушка всегда проста. Поэтому она долго живет. Скажем, калейдоскоп — ведь так просто...

Автобус останавливается, мы проталкиваемся к выходу. Детские игрушки как прообраз техники будущего. Ну-ну... Я начинаю понимать, почему Антенна не удержался в аспирантуре.

Мы идем по мокрой от тающего снега улице, и Антенна, досадливо отмахиваясь от бьющих в лицо снежинок, говорит об игрушках. Где-то вдалеке звучит музыка. Ритмично кружатся снежинки, кружатся, летят, исчезают в темноте. Вот так — под музыку — летели миллимикробные приемнички, когда Антенну толкнули и коробка упала.

Это было на большой перемене, все бросились закрывать окна, а Антенна пошел к доске и стал писать формулы. Потом он заявил, что нам крышка, поскольку помещение настроено на резонанс. Он даже объяснил ход решения, чтобы мы не сомневались. Никто и не сомневался, прекрасно слышалась оперная музыка. Римский-Корсаков, «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Я хотел сбежать домой за пылесосом, но было уже поздно, перемена кончилась. Географу (он отличался изрядной доверчивостью) мы заявили, что это громкоговоритель в доме напротив. Пол-урока мы продержались. «Происходит что-то страшное, — сказал в конце концов географ. — Музыка идет у меня с левого рукава. Если рукав поднести к уху, музыка заметно усиливается...» Фехтование развивает феноменальную выдержку: Ада совершенно спокойно ответила, что надо подуть на рукав и звук исчезнет. Звук как бы улетит, сказала она. Но географ уже вдумчиво поглядывал на Антенну, и дальше все пошло как положено: Антенна встал и, виновато моргая честными своими глазами, признался.

Я это «Сказание» хорошо запомнил. Там есть такое место, хор дружины Всеволода «Поднялась с полночи», это просто могуче срезонировало...

Летом, уже после того, как Антенна уехал, я несколько раз заходил в школу. В нашем классе сделали ремонт. Покрасили, побелили. Но когда на улице не очень шумели и в коридоре никто не разговаривал, слышно было, как работают рассыпанные весной приемнички. Где-то они еще оставались! Звук был очень тихий и потому таинственный: шепотом говорила женщина и тревожно играла далекая музыка.

Прогнозирующая машина выглядит вполне благообразно. Гладкая зеленая панель из стеклопластика поднимается от пола до потолка, оставляя узкий проход к окну. Начинка машины находится там, за панелью, а на самой панели только щит с двумя десятками обычных контрольных приборов и стандартным акустическим блоком от электронного анализатора «Брянск».

— Летом я кое-что разобрал, — говорит Антенна, — сейчас она не работает, но решение записано на магнитофоне, мы прокрутим.

— Решение... Слушай, оно без всех этих условных нуль-транспортировок, настоящее решение?

— Да. Она выдала отличную идею, совершенно неожиданную. Конечно, это лишь идея, но...

— А зачем понадобилось разбирать?

— Ну... Она прогнозировала только конечный результат.

Ах, какая нехорошая машина! Она прогнозировала только конечный результат. Все-таки Антенна варвар.

— Она говорила «что» и не говорила «как», — старательно втолковывает Антенна. — И потом энергия... Она брала уйму энергии, у меня уходила на это половина зарплаты.

В машине почти сорок кубометров. Антенна мог вместить туда чудовищно много. Считается, что такую машину удастся построить лет через пятьдесят, не раньше. Мне приходят на память слова Кюан-Дойля: «Впрочем, никто не понимает истинного значения того времени, в котором он живет. Старинные мастера рисовали харчевни и святых Севастьянов, когда Колумб на их глазах открыл Новый Свет».

— А почему бы тебе не перейти в мою лабораторию?

Антенна не любит, не умеет отказывать — и сейчас ему не так просто сказать «нет».

— Ты не обижайся... У тебя мне пришлось бы заниматься такими машинами... Нет, ты, пожалуйста, правильно меня пойми и не обижайся. Машина —

пройденный этап; она дала идею, и теперь я иду дальше. В сущности, машину можно совсем разобрать, она уже не нужна. Я хочу заниматься только проблемой возвращения...

Знаешь, кого я недавно видел в кинохронике? — спрашивает Антенна. Вероятно, ему кажется, что он только переводит разговор на другую тему. — Архипыча. Вот. Он большими делами заворачивает... Толковый парень, а?

Тоже новость: я знал, что Архипыч пойдет в гору. Он великий артист, наш Архипыч. Всю жизнь он играет большого организатора. Боже, какие вдохновляющие речи он произносил на школьных воскресниках!

— Пойдем, — Антенна тянет меня за рукав. — Я научу тебя варить кофе. Понимаешь, я сделал в этой области эпохальное открытие: кофе надо варить на токах высокой частоты...

Теперь я знаю, как выглядит жилище человека, занятого классической проблемой возвращения. Одна комната отдана прогнозирующей машине, другая превращена в нечто среднее между мастерской и лабораторией.

Антенна живет в кухне. Собственно, ничего кухонного здесь нет. Кухня переоборудована в маленькую комнатку: тахта, кресло, крохотный столик. На стенах шесть огромных цветных снимков: заря, облака, радуга, снова облака...

Облака хороши. Но жизнь у Антенны нелегкая, это очевидно. Зарабатывает он раз в пять меньше, чем мог бы, и работает раза в два больше, чем должен был бы. Впрочем, без всякого ханжества я могу сказать: дело даже не в этом. Самое трудное в положении Антенны — сохранить веру в необходимость своей работы. Ведь было бы страшной трагедией проработать вот так лет тридцать, а потом увидеть, что все это мираж.

Я с трудом представляю такой образ жизни. Вот Антенна приходит с завода и принимается за классическую проблему возвращения. Проблему, считающуюся нерешимой. День за днем, год за годом — вне мира науки. Никто не вникает в его работу. Никто не может сказать — верны его идеи или нет. Не с кем по-

спорить и поделиться мыслями, потому что специалисты по межзвездным перелетам появятся лишь в следующем веке.

Вряд ли я смог бы так работать.

Но вот у меня возникает странная мысль. Почему я не могу так? Где, когда разошлись наши пути?

Кандидатская диссертация, добротные научные работы, почти готовая докторская диссертация — я делал, что мог. Все правильно. Так почему, черт побери, я завидую Антенне? Глупость, «завидую» совсем не то слово, в нем нехороший привкус. Просто появилась странная мысль. Я действительно делал, что мог. А он делает невозможное. Дороги расходятся там, где один выбирает достижимую цель, а другой наперекор всему — логике, черту, дьяволу — идет к невозможному.

Так или не так?

Не могут же все идти к невозможному. А собственно, почему? Быть может, именно в этом и состоит пафос великих революций, поднимающих всех, всех, всех на штурм невозможного? Придется подумать. Да, у Антенны талант, это так. Но главное в другом: Антенна замаяхнулся на невозможное...

А снимки на стенах хороши. Они как окна, открытые в головокружительно глубокое небо.

— Я сейчас работаю над небом, — говорит Антенна. — Понимаешь, по идее это будет целый набор игрушек... Ну, чтобы можно было сделать небо не хуже настоящего. И вот облака пока не удаются. Оптикой я занялся совсем недавно, там хитрейшая механика. Облака получаются как вата — серые, скучные...

Значит, облака пока не удаются. А что удастся?

— Что удастся? — переспрашивает Антенна и сразу забывает о высокочастотном кофе. — Сейчас увидишь. Я покажу тебе радугу, это интересно...

В тот день, когда мы с Адой пошли в «Художественный», а потом пережидали в метро дождь и я поцеловал Аду, была радуга. Единственная радуга, которую я запомнил на всю жизнь. Другие радуги вспоминаются как-то вообще, они похожи друг на друга, а та совсем особенная. Неужели я говорил Антенне?.. Нет, просто совпадение. Это было в девятом классе,

когда Антенна уехал. Ну да, почти через год после его отъезда.

Антенна ставит лампу в угол, на пол. Потом отходит на середину комнаты, достает из кармана серебряный цилиндрик, резко им взмахивает, словно встряхивая термометр.

Вспыхивает алая дуга, похожая на плотную прозрачную ленту. Дуга быстро приобретает глубину, становится воздушной. Внутренний край ее зеленеет, расплывается и почти одновременно проступает третий цвет — фиолетовый.

Это колдовство, невозможное колдовство...

Передо мной пылает великолепная многоцветная радуга.

Все предметы в комнате теряют очертания, куда-то отступают. Они исчезают, их просто не существует. Реальна только эта радуга — влажная, пронзительно чистая, выкованная из чистейших красок.

Она вот-вот исчезнет. Она дрожит от малейшего движения воздуха. Мерцают и дышат нежные краски. В них шум уходящей грозы, тревожные всполохи молний над горизонтом, отблески солнца в пенистых дождевых лужах.

Я протягиваю руку. «Не надо!» — вскрикивает Антенна. На мгновение радуга загорается ослепительным медно-желтым огнем и сразу же исчезает.

— Ее нельзя трогать, — виновато говорит Антенна. — Если не трогать, она держится долго, минут пятнадцать-двадцать. Было еще полярное сияние, но его забрал соседский мальчишка.

Комната, в которой мы варим кофе, изрядно загромождена. Книжные полки вдоль двух стен (на полках попеременно — книги и игрушки). Объемистый электронно-вычислительный сундук; на нем спит ободраный пятнистый кот. Верстак, заваленный инструментами. Стол с какой-то полусобранной электронной тумбой.

Я копаюсь в книгах. Хаос. Только на одной полке порядок: здесь книги, относящиеся к проблеме возвращения. Я беру наугад томик в аккуратном муаровом переплете и открываю там, где лежит закладка.

«Все эти проекты путешествий по вселенной — за исключением полетов внутри солнечной системы — стоит выбросить в мусорную корзину».

Ого, как энергично! «Радиоастрономия и связь через космическое пространство» Парселла. Ладно, возьмем что-нибудь другое.

«Нельзя обойти эти трудности, и нет никакой надежды преодолеть их...»

Это монография Хорнера о межзвездных перелетах. Что еще? Фантастический роман.

«При гигантском разрыве во времени теряется сам смысл полетов: астронавт и планета начинают жить несообщающейся, бесплодной друг для друга жизнью».

— Ободряющее чтение. Зачем ты это коллекционируешь?

— А как же! — удивляется Антенна. — Надо знать, что думают другие...

Думают! Меня в таких романах раздражает, что там как раз не думают. Автор долго заверяет, что вот академик А. сверхгениалец, а профессор Б. сверхмудр, затем они начинают говорить — и какое же это наивное вяканье!

— Тут есть свои трудности, — говорит Антенна. — Современник Эдгара По мог поверить в воздушный шар на две тысячи человек и не поверил бы в самолет. Он даже не стал бы это читать: сложно, непонятно, утомительно. Видишь, какая хитрость... Наивные идеи оказываются художественно убедительнее, в них легче поверить. Возьми, например, наш разговор. Наверное, со стороны это выглядит скучновато. Как раз потому, что мы всерьез пытаемся высунуть нос в будущее.

Возможно. Куда занимательнее, если Антенна сделает десяток роботов и они взбунтуются, а мы станем палить в них. И тут обязательно появятся пришельцы из космоса. И выяснится, что это они перехватили управление роботами. А Антенна окажется не Антенной, а человеком, прибывшим к нам из будущего на машине времени, чтобы предупредить о коварных пришельцах. Вот будет славно!..

Я машинально перебираю книги. «Черное облако» Хойла.

«Мало интересного можно придумать, например, о машинах. Очевидно, что машины и различные приборы будут с течением времени делаться все сложнее и совершеннее. Ничего неожиданного здесь нет».

Не знаю, какое отношение это имеет к межзвездным перелетам. Но вообще Хойл прав. К сожалению, это аксиома: ничего сверхнеожиданного в развитии машин не предвидится. Меняются двигатели, улучшается автоматика, синтетические материалы постепенно вытесняют металл... Что еще? Да и вообще — что такое неожиданное? Вот если бы все машины стали жидкими, вот тогда...

— Ты поройся вот там, — Антенна показывает на верхнюю полку. — Посмотришь Сережкину книгу, он за нее доктора получил. Ничего нельзя понять — латынь и все такое прочее. Восходящее светило хирургии... Там и обе твои книги.

Антенна учился с нами всего год, а помнит почти всех; этого я не ожидал.

Значит, Сережка-доктор стал доктором. Хорошо! Исцелитель и благодетель бродячих собак нашего района...

Не так просто добраться до верхней полки, она под самым потолком. Я взбираюсь на подоконник — и вижу микроскоп. Он стоит в самом углу, за книгами. Добрый старый микроскоп, подаренный Антенне четырнадцать лет назад.

В тот раз, когда мы рассыпали приемнички и из-за этого сорвались уроки, завуч произнес громовую речь. В ней упоминались четверки по поведению и была нарисована довольно убедительная картина нашего мрачного будущего. В заключение завуч запретил Антенне делать маленькие приемники. «Мы оборудуем тебе герметичный закуток в мастерской, — сказал завуч. — Там, пожалуйста, делай что хочешь. А без спецусловий разрешаю собирать только крупные приемники. Размером с книжный шкаф, не меньше».

С этого времени Антенна начал как-то странно поглядывать на книжные шкафы. На автобусы и троллейбусы он тоже смотрел странно. А один раз я видел,

как он странно смотрит на высотный дом на площади Восстания.

Однажды, когда мы возвращались из школы, Антенна сказал:

— Знаешь, можно вылепить такой большой приемник, что он одновременно окажется и самым маленьким.

Я решил, что Антенна изобрел надувной приемник. В самом деле, почему бы при появлении завуча не увеличивать размеры приемника?

Мы пришли к Антенне домой, и тут выяснилось, что дело не в надувных приемниках. Антенна выгрузил из карманов свой радиохлам, повозился минут двадцать, потом объявил:

— Сейчас ты сидишь внутри трехлампового приемника. Брось книгу, ведь это такой момент...

Он был очень доволен собой, а это случалось редко.

— Вот, квартира вместо коробки. Обе комнаты, кухня и ванная. Все очень просто. Были бы лампы и провода, схему можно собрать из любых предметов. Видишь, цветочные горшки? Они вместо сопротивлений...

И я понял, что Антенна не шутит. Приемник и в самом деле большой, а места не занимает. Правда, звук был какой-то скрипучий. Антенна бегал по комнатам, растягивал провода, вытаскивал продукты из холодильника, который тоже входил в схему...

Мы не стали делать уроки, а отправились бродить по городу, и Антенна придумывал разные приемники. Сначала он прикидывал, удастся ли превратить в приемник школьное здание. Тут, однако, возникли трудности с крышей. Антенна сказал, что она сделана не из того материала и вообще лучше использовать более крупные детали. Мы пошли к метро — выбирать подходящий микрорайон. Но по дороге Антенна заявил, что ничего не получится: от транспорта и вообще от линий электропередач будет масса помех. Мы немного посидели в садике, и Антенна, чтобы рассеяться, сделал приемник из четырех березок, двух скамеек и цветочной клумбы.

— Это все-таки больше книжного шкафа, — ска-

зал он. — И вообще пустяки, продержится до первого дождя. Или до утра. Роса утром будет. Давай послушаем спортивные известия...

* * *

Антенна сидит на низенькой скамеечке в конце коридора, под вешалкой. В руках у него что-то вроде микророяля: черная плоская коробка с маленькими белыми клавишами. В противоположном конце коридора, на полу, чайное блюдце с серым, как пепел, порошком. Из порошка торчат три короткие медные проволоочки. На пороге, выжидающе глядя на блюдце, стоит тощий исцарапанный кот.

— Дистанционное кормление диких зверей? — спрашиваю я.

— Да, зверей, — машинально отвечает Антенна. Он старательно нажимает клавиши: так начинающий пианист разыгрывает гаммы.

Серый порошок на блюдце шевелится, ползет вверх по проволочкам, и они сразу становятся похожими на узловатые корни... Корни быстро срастаются, образуя какую-то фигурку. Еще мгновение, порошок взвихривается — и застывает.

На блюдце стоит медвежонок.

Я беру статуэтку в руки, у нее твердая шероховатая поверхность. Внутри статуэтка полая, это чувствуется по весу.

— Положи, еще не все...

Я кладу медвежонка на блюдце. Антенна нажимает на клавиши — и медвежонок рассыпается: снова горстка серого порошка и три короткие медные проволоочки.

— А теперь будет осел, — торжественно объявляет Антенна. — То есть не осел, а такой небольшой ослик.

Появляется ослик. Довольно похожий.

— Пока только две программы, — вздыхает Антенна. — Вообще это тоже будет целый набор: Винни-Пух, Кролик, Пятачок, Тигра и остальные. Пока вот выпускаем ослика Иа... Можно еще заставить его ходить. Правда, ходит он неважно.

Серый ослик, забавно покачиваясь, медленно идет на негнущихся ногах. К нему бесшумно устремляется кот. Одной рукой я успеваю оттолкнуть кота, другой подхватываю ослика.

Кажется, я догадываюсь, как это устроено. Серый порошок скорее всего какой-нибудь ферромагнитный сплав. Магнитное поле заставляет частицы порошка расположиться в определенном порядке, спрессовывает их, получается прочная фигурка.

— Почти так, — подтверждает Антенна. — Сейчас странно — почему это не придумали раньше... Понимаешь, в первом приемнике Попова был когерер. Ну, такая стеклянная трубка с железными опилками. Под действием радиоволн опилки слипались. Выходит, принцип был известен еще в прошлом веке.

— Запятая игрушка...

— Игрушка? — Он с недоумением смотрит на меня. — Но ведь так можно менять машины.

— Так? Ну, нет!

Я популярно объясняю: современная машина, например, автомобиль, сделана из множества различных материалов. В том числе — немагнитных.

Антенна сразу уступает.

— Я просто подумал... Попытаешься, может быть, машины потому и сложны, что в них множество различных материалов?.. Но вообще-то я не спорю.

Я внимательно рассматриваю ослика. Прочно сделано! Трудно поверить, что он может ходить.

А ведь это мысль!

Машина, сделанная из серого порошка и электромагнитного поля, будет чрезвычайно простой. Ей, например, не нужны винтовые соединения, не нужны шарниры: под действием поля металл может мгновенно менять форму... Меняющийся металл — вот в чем дело.

— Худсовет не утвердил медвежонка, — говорит Антенна. — Сказали, что это формализм. Почему, мол, медвежонок серый. А что я мог ответить? В дальнейшем, используя этот принцип, можно будет лепить и бурых и черных медведей, а пока только так. Ведь и радуга основана на том же принципе...

Определенно, это мысль!

Потребовался бы довольно сложный механизм, чтобы ослик мог ходить. А тут ничего нет! Магнитное поле исчезает на сотую долю секунды, порошок начинает рассыпаться, но вновь возникает поле, подхватывает порошок, и он затвердевает — уже в другом положении. Как на двух соседних кинокадрах: ослик сделал какую-то часть шага...

Мы создали сложнейшую технику, наша цивилизация обросла миллионами всевозможных приборов, машин, сооружений. Казалось, с машинами не может быть ничего неожиданного. Они будут становиться сложнее, совершеннее — и только. Чуть! Мы рисуем харчевни и святых Севастьянов, а кто-то в это время открывает новый мир...

Меняющийся мир, дело не только в машинах. Весь мир! В нем все будет способно к постоянному изменению: дома, мосты, города, корабли, самолеты...

— Ну, мы смонтировали на заводе приличную установку, — продолжает Антенна. — Не дистанционную, там это не нужно. И выпускаем. В «Детском мире» на витрине точно такой ослик... Вот и кофе готов. Я принесу магнитофон, послушаешь ответ машины.

* * *

Мы пьем кофе, сваренный токами высокой частоты. Он не лучше обычного. Но Антенна им явно гордится, и я хвалю: отличный кофе, совершенно особенный кофе, пожалуй, такого мне еще не приходилось пить...

— Какое у тебя напряжение в сети? — спрашивает Антенна. — Я обязательно сделаю тебе такую кофеварку.

— Напряжение...

К черту кофеварку! Вот здесь висела радуга. Она светилась изнутри и была совсем живая. Ни за что не спрошу, как это делается. Колдовство. Грустное колдовство. Эта радуга напоминает мне ту, давнюю, хотя они совсем непохожи.

В тот день мы пошли с Адой в «Художественный» на дневной сеанс, чтобы проверить ее идею о телепатии. Идея казалась мне вполне правдоподобной. Опы-

ты, говорила Ада, ставились на одном человеке, поэтому результат получался неопределенный. Надо взять пять-сот или тысячу, чтобы сложением усилить слабый эффект. Конечно, при опыте люди должны одновременно думать о чем-то одном. В «Художественном» шел шведский детективный фильм, это было очень удачно: преступник там неожиданно врывается в купе поезда, стрелял в сыщика — и зал «синхронно и синфазно» замирал от ужаса. Мы сидели в углу, на нас не обращали внимания. Ада заткнула уши руками и закрыла глаза. Она должна была телепатически уловить этот контрольный момент. На экране мчался поезд, сыщик ходил по вагонам, а я смотрел на Аду, на ее лице мелькали тени...

Опыт в тот раз не получился. Аде надоело закрывать уши, и она сказала, что не обязательно сидеть так с самого начала, достаточно подготовиться, когда приблизится время. Картину мы знали только по пересказам и, конечно, пропустили контрольный момент.

Потом мы прятались в метро от дождя. Мы ездили наугад по разным линиям и все смотрели на входящих, гадая по их лицам и одежде — кончился ли дождь. Бывают же дожди, которые идут долго! Но этот кончился через час или полтора. Вышли мы на «Измайловской» и сразу увидели радугу. Она висела над непросохшим еще проспектом, похожая на гигантский арочный мост. Под мостом бесшумно скользили колонны мокрых автомобилей. Ада сказала, что радугу лишь слегка наметили неяркими акварельными красками. Я согласился, хотя радуга была очень ясная. Особенно ее верхняя часть. И только у основания, там, где арка опиралась о крыши далеких домов, краски действительно были мягкие, приглушенные воздушной дымкой...

* * *

Межзвездные перелеты считались неосуществимыми прежде всего с точки зрения энергетики. Нужны миллионы тонн аннигиляционного горючего, чтобы разогнать до субсветовой скорости крохотную капсулу с одним-двумя космонавтами. Для хранения горючего

(надо еще научиться его получать!) потребуются какие-то специальные устройства, имеющие немалую массу и, следовательно, вызывающие необходимость в расходе дополнительного горючего. А чтобы разогнать это дополнительное горючее, опять-таки нужно новое горючее...

Машина не решала эту часть проблемы. Антенна исходил из того, что корабль будет непрерывно получать энергию с Земли.

«Энергетический запрет» межзвездных перелетов возник, когда лазерная техника была еще в пленках. Впрочем, уже тогда говорили о возможности использования лазеров для связи с кораблями. Разумеется, совсем не просто перейти от информационной связи к энергетической. Тут есть свои трудности, но в принципе они преодолимы. По мере развития квантовой оптики будет увеличиваться мощность, которую способны передавать лазеры. К тому же для разгона или торможения корабля — одного только корабля, без этих колоссальных запасов горючего — требуется не так уж много энергии. «Я выбрал этот вариант из уважения к закону сохранения энергии», — сказал Антенна. Что ж, с этим можно согласиться.

Но остается главное: классическая проблема возвращения. Время идет по-разному на Земле и на корабле; нужно принять это или спорить с теорией относительности. Машина не спорила. Теперь я понимаю, что она и не могла спорить, она не была на это рассчитана.

Вот ответ, я переписал его с магнитофонной ленты.

«Корабль: перестройка в полете на основе полученной с Земли информации. Цель — возвращение корабля на Землю неустаревшим. Экипаж: постоянный контакт с Землей, усвоение с помощью гипнопедии возможно более широкой информации о жизни на Земле, овладение новыми профессиями. Специальные передачи, подготавливающие к восприятию новой эпохи.

Антенна пояснил эту идею таким примером.

Допустим, три каравеллы уходят в кругосветное плавание, которое продлится несколько лет. Допустим

такие, что на берегу за это время пройдут века. Каравеллы выходят в океан, и через месяц или два моряки получают с голубиной почтой чертежи усовершенствованной парусной оснастки. На ходу начинается изготовление новых парусов. Еще через три месяца голубиная почта (к концу путешествия ее сменит радио) приносит описание навигационных приборов, изобретенных после отплытия эскадры. С точки зрения моряков время на берегу идет быстро: все чаще и чаще приходят сообщения о новых открытиях и изобретениях. Пристав к какому-то острову, мореплаватели берутся за переустройство кораблей. И вот уже нет каравелл: от острова отплывают два брига. А свободные от вахты моряки изучают схемы первых, еще неуклюжих, паровых двигателей, и боцманы роются в своем хозяйстве, прикидывая, из чего можно будет сделать гребные колеса...

Применительно к каравеллам этот мысленный эксперимент выглядит фантастично. Иное дело — космические корабли, поддерживающие связь с Землей, соединенные с ней информационным и энергетическим мостами. Пусть к родным берегам вернется не атомоход, а каравелла с паровым двигателем. Все равно: люди, построившие этот двигатель, будут ближе к атомному веку, чем к эпохе, в которую они начинали плавание.

Я думаю, коэффициент перестройки может быть очень высок. Если бы речь шла только о корабле, коэффициент был бы близок к единице. Сложнее с людьми. Экипаж Магеллана, пожалуй, еще мог бы освоить паровую технику, но как бы эти люди, исправно верящие в догматы церкви, восприняли мир без религии?..

Впрочем, современный человек значительно лучше подготовлен к возможным изменениям. Мы с детства привыкаем к жизни в меняющемся мире. Тем более это должно быть присуще звездоплавателям XXI века.

И все-таки это будет титанический труд — вот так лететь к звездам.

Я вспоминаю наивную фантастику. Автоматы ведут корабль. Экипаж мирно дремлет в анабиозных ваннах: пусть скорее проходит время... Медленно текут пустые годы... Воздушный шар на две тысячи персон!

Все будет иначе.

Каждодневный труд — в стремительном темпе, чтобы не отстать от земного времени, чтобы освоить и использовать новые знания. Вот почему машина упомянула про гипнопедию: нужен максимум новых знаний в считанные минуты. Скорее всего это будет даже не гипнопедия. Разумеется, не гипнопедия: тут требуются принципиально новые, еще не открытые средства обучения. И не только обучения, но и вообще освоения полученной с Земли самой разнообразной информации. Эти средства должны создать для космонавтов «эффект присутствия», как можно полнее связать их с меняющейся Землей.

Удивительный будет полет! Сейчас даже трудно представить.

Год за годом — перестройка корабля. Перестройка исследовательского оборудования. Короткие часы отдыха. Сеансы «телесна» (сегодня еще нет подходящего термина), когда за несколько минут человек переживает земную неделю с ее событиями, впечатлениями, новыми знаниями...

Материалы, собранные на чужих планетах, не будут лежать мертвым грузом: постоянно обновляемые знания обеспечат цепную реакцию исследований.

И когда такой корабль вернется на Землю, сделанные экипажем открытия не окажутся устаревшими. Они будут на уровне нового времени.

* * *

— Вот видишь, — Антенна показывает штамп на левом заднем копыте ослика. — Артикул 2908, цена тридцать две копейки. Конечно, у ослика Иа должен быть унылый вид, но худсовет счел, что это излишне.

— Переходи ко мне. У нас нет худсовета. Серьезно говорю: переходи в мою лабораторию.

— Не-ет. Ну что я буду там делать?

— Да хотя бы меняющиеся машины. Возьмешь для начала какую-нибудь простую машину и...

— Нет. Я хочу заниматься проблемой возвращения. Меняющиеся конструкции — только часть этой проблемы.

— Все равно. Хватит кустарничать...

Я пытаюсь убедить Антенну. Я выкладываю довод за доводом. И не сразу, oh как не сразу приходит мысль: да ведь это жестоко! Для меня наш спор только логическая перестрелка, а Антенна защищает свои жизненные позиции. Как я об этом не подумал сразу! Таким людям, как Антенна, больше всего портят кровь не враги, а благожелатели. Хотят, чтобы все было нормально, обычно, как положено. Какая глупость спасать Антенну от того, что делает его жизнь исключительной!

— Ты, пожалуйста, не обижайся, — говорит Антенна. — Я тебе все объясню.

Ну, ну, объясняй.

— Смотри. Вот фронт науки, он идет вперед, — Антенна берет кофейные чашки и показывает, как это происходит. — Можно двигаться с этим фронтом. А можно уйти в десант и высадиться где-то далеко-далеко.

— И давно ты... высадился?

— Нет. Лет шесть.

— А сколько нужно ждать, пока фронт подойдет?

Антенна недоумевающе смотрит на меня.

— Не знаю... Какое это имеет значение?

Я ничего не отвечаю. У меня просто не хватает духа сказать: «Ты далеко высадился, дружище. Слишком далеко от сегодняшнего фронта науки. Наверное, на расстоянии целой жизни».

Антенна по-своему истолковывает мое молчание и говорит, что, конечно, сделано пока мало.

— В сущности, это лишь краешек идеи, — говорит он. — До полного решения проблемы еще очень далеко. Как от простенького стробоскопа до «Латерны магии». Вот, кстати, еще один пример: кино тоже началось с игрушки, ведь стробоскоп был детской игрушкой!..

Послезавтра я вылетаю в Прагу. Почему я об этом подумал? Ах да, «Латерна магия». Что ж, на симпозиуме много работы, но «Латерну» я, пожалуй, еще раз посмотрю. Я припоминаю программу симпозиума: да,

на третий день можно будет выкроить время для «Латерны». Антенна, конечно, не видел «Латерны», можно и не спрашивать.

— Так я тебе не досказал, — продолжает Антенна. — Значит, на худсоветы меня спрашивают: «А разве этот ваш Иа никогда не был веселым?» Я отвечаю: «Был. Однажды он подумал, что у Пятачка в голове только опилки, да и те, очевидно, попали туда по ошибке. От этой мысли ему стало весело». Ну, а они мне говорят...

* * *

Не так просто отыскать ослика. Он в глубине витрины. Серый скромный ослик, не идущий ни в какое сравнение с блестящими лакированными автомобилями и яркими пластмассовыми кораблями.

Игрушка.

Жаль, что Антенна не перейдет в мою лабораторию. Жаль. Время одиночек в науке миновало.

А собственно, почему?

В первооснове совершенно верная мысль, не надо только доводить ее до абсурда. Да, время одиночек миновало: в том смысле, что Антенна не смог бы собрать свою машину, не используя труд и идеи других людей. Над повышением емкости машинной памяти работали десятки институтов, они создали биоблоки, которые Антенна применил в своей машине. Однако выбирать дальнейшие проблемы и искать их решение чаще всего приходится в одиночку. Антенна прав: тут просто еще нечего делать целому коллективу. Это дальняя разведка, и незачем (да и невозможно) ходить в нее всей армией.

Нет, время таких одиночек не миновало!

Чем быстрее наступает наука, тем важнее для нее разведка. Но даже при самой совершенной организации науки разведке будет нелегко. Она отыскивает десять разных путей, а наука потом выбирает один наилучший... Один разведчик объявляется гением, девять — неудачниками. Это несправедливо, ах как несправедливо! Худо было бы науке без этих неудачников, отдающих жизнь, чтобы наступающая армия знала дороги, по которым нельзя идти. Впрочем, десятого

тоже считают не слишком удачливым: опередил свое время, не был признан...

Не беда, разведка! Иди вперед, остальное неважно.

А ослика напрасно поставили так далеко. Он совсем неплох, у него лукавая физиономия. Когда-нибудь эта игрушка преобразует мир.

Салют, разведка! Иди вперед, остальное неважно.

...Третий час ночи, я стою здесь уже минут двадцать, со стороны это должно выглядеть странно. И поскольку в этом мире все закономерно, появляется милиционер. Молоденький и вежливый. Он доброжелательно смотрит на меня и на витрину.

Сумасшедший день. Сегодня я далеко высунул нос в четвертое измерение. Многое мне еще не ясно, но я начинаю понимать главное. Машины приобретут бессмертие. Машины — в широком смысле слова: от величайших инженерных сооружений до безделушек. Весь мир созданной нами техники. Он будет рассыпаться в пепел, прах — и тут же возникать снова: разумнее, сильнее, красивее. Архитектура, которая была застывшей музыкой, превратится в живую музыку!.. Меняющийся мир будет бесконечно шире, ярче. И что особенно важно: человек в этом мире перестанет зависеть от множества быстро стареющих вещей.

— Видите ослика? — спрашиваю я милиционера. — Вон там маленький серый ослик... Артикул 2908. Цена тридцать две копейки. У него великое будущее.

— У осликов это бывает, — соглашается милиционер. — У них иногда бывает очень большое будущее.

Он умен, этот парень. Я поясняю, что речь идет не об ослах. Серый ослик не имеет к ним решительно никакого отношения. Просто в нем воплощено научное открытие.

— Об открытиях как-то удобнее размышлять днем, — осторожно замечает милиционер.

Вот это уже заблуждение! День слишком конкретен. Днем удобнее наблюдать, экспериментировать, вычислять. Ночью — искать общие закономерности, делать выводы. Что ж, это мысль! Днем вы ясно видите множество окружающих вас предметов, взгляд не проникает вдаль, кругозор, в сущности, ограничен несколь-

кими десятками метров. Ночью иначе: темнота скрывает все обыденное, привычное, и взгляд беспрепятственно устремляется вперед. Горизонт теряет резкие очертания, уходит в глубь бездонного неба. И уже не стены комнаты, не фасады двух-трех ближайших зданий, а само звездное небо становится границей вашего мира...

Пора идти. Может быть, превратить ослика в медвежонка? В кармане у меня лежит коробочка с клавишами. Нет, не падо. Не буду огорчать этого симпатичного парня.

Я прощаюсь и иду вниз, в сторону улицы Горького. Падает мягкий теплый снег. На витрине, среди нарядных игрушек, остался невзрачный серый ослик, у которого великое будущее.

ЕВГЕНИЙ ВОЙСКУНСКИЙ,
ИСАИ ЛУКОДЬЯНОВ

ПРОЩАНИЕ НА БЕРЕГУ

...Встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на порохи и загадочный шепот неисследованного.

Александр Грин

Белый дизель-электроход медленно приближался к скалистому берегу.

На палубе толпились пассажиры — веселые, хорошо одетые. Они переговаривались, смеялись, предвкушая купание и отдых, и любовались дельфинами, которые то и дело выпрыгивали из сине-зеленой воды.

Платонов ничем не отличался от курортников. Он подумал об этом и усмехнулся своим невеселым мыслям.

Берега раздвинулись. «Федор Шаляпин», миновав клинок мыса, вошел в широкую бухту. Сразу открылся город.

С любопытством глядел Платонов на живописно раскиданные по скалам желтоватые дома и буйную тропическую зелень. Белый конус маяка на краю дамбы был прочно впечатан в голубое небо. Над гаванью, над стеклянным кубом морского вокзала, над черепичными кровлями домов дрожало марево знойного дня.

«Ну, здравствуй, старина Кара-Бурун», — мысленно сказал наплывавшему городу Платонов. Скажи он это вслух, приветствие могло бы прозвучать излишне фамильярно, так как он никогда прежде не бывал в этом городе. Но мысль тем и хороша, что никто ее не слышит.

Кара-Бурун был построен на месте древнего греческого поселения. Он знал времена расцвета, бурно наживаясь на заморской торговле, знал и упадок, ког-

да торговля хирела и фрахт переключивал в более удачливые портовые города. Немыми свидетелями далеких времен высились над городом, на скалистых холмах, полуразрушенные сторожевые башни — из их бойниц, нацеленных в море, теперь выглядывали не мушкоты, а веселые ветки дикого орешника.

Кара-Буруп был неприступен с суши и труднодоступен с моря — обстоятельство, сыгравшее немало важную роль в дни героической обороны от фашистского десанта во время Великой Отечественной войны.

Но уже давно не дымили крейсера на рейде Кара-Буруна. Теперь его морской порт посещали только пассажирские суда в курортный сезон, длившийся, впрочем, добрых десять месяцев в году. Волны курортников скатывались в город и, наскоро поцеловав фотоаппаратами и пожужжав кинокамерами, заполняли электропоезда, которые уносили их в Халцедоновую бухту с ее прекрасными пляжами, многоэтажными пансионатами, стеклобетонными соляриями и аэрациями, с десятками кафе и автоматов-закусочных.

В Кара-Буруне жили служащие районных учреждений, врачи, работники курортного управления и фабрики сувениров. Значительную часть населения города составляли отставные военные моряки, посвятившие свой досуг разведению клубники и рыболовному спорту.

Кроме того, здесь жил Михаил Левитский — племянник Платонова.

Своего племянника Платонов видел в последний раз лет тридцать назад. Михаил был тогда еще совсем малышом. От покойной сестры Платонов знал, что племянник сделался врачом и обосновался в Кара-Буруне. Больше он не знал решительно ничего о своем единственном родственнике. Что он за человек? Когда-то Янина, покойная сестра, говорила Платонову, что Михаил умный мальчик. Но достаточно ли у него ума и такта, чтобы воздержаться от назойливых расспросов? Ведь бывает ум головы и ум сердца. Платонов при нынешних обстоятельствах предпочел бы второе.

«Федор Шалипин» медленно подходил к стенке гавани, и Платонов видел пеструю толпу встречающих.

Где-то в толпе был и Михаил Левитский — курортный врач, сын Янины, умный мальчик.

Шумная компания парней и девушек с рюкзаками за плечами проталкивалась сквозь плотную стену пассажиров к трапу. Один из них, светловолосый крепыш, сосед Платонова по каюте, хлопнул его по плечу и сказал:

— Ну что, встретимся в Халцедоновой?

— Обязательно встретимся, — ответил Платонов и добавил мысленно: «Никогда мы с тобой не встретимся, дружок».

И еще он подумал: если племянничек мне не понравится, то и дьявол с ним — здесь, должно быть, подгорода промышляет сдачей квартир.

В гостиничное одиночество Платонову не хотелось.

У Михаила Левитского выдался хлопотливый день. С утра — обычная трехминутка, затянувшаяся на тридцать пять минут, затем обход отделения, которым он заведовал в гериатрическом санатории «Долголетие», потом прием больных.

Михаил был гериатром — специалистом по лечению старости. Он хорошо знал стариков — их особые болезни, возрастные изменения состава их крови и состава кожного сала, их нелегкие характеры. Больше часа он провозился с новой пациенткой: Михаил считал, что в первую очередь надо заняться ее сердечно-сосудистой системой, а пациентка настаивала, чтобы немедленно занялись ее морщинами.

К двум часам, бросив дела, он побежал на пристань встречать дядю.

Он, конечно, знал, что у него есть дядя по имени Георгий Платонов, родной брат его матери. Но никогда, ни единого разу Платонов не напоминал о своем существовании. И вдруг эта телеграмма: «Встречай...»

Михаил стоял у трапа и хмуро оглядывал сходящих на пристань пассажиров «Шалипина». Как выглядит Платонов, он не знал, но справедливо полагал, что мифическому дядюшке за семьдесят, никак не меньше. Если бы этот вздорный старик догадался прислать фото-

телеграмму со своим портретом... Да куда там — разве догадается? Он-то хорошо знает стариков — их упрямство и скупость.

Пассажиры спускались по трапу сплошным потоком, затем потекли тоненьким ручейком, и, наконец, трап опустел. Ни одного старика или достаточно пожилого человека не прошло мимо Михаила.

Он задрал голову и крикнул человеку в белой форменной фуражке, который помахивал трубкой, облокотясь на фальшборт «Шалыпина»:

— Все сошли? Может, кто-нибудь спит в каюте?

— Мы всех разбудили, — с достоинством ответила фуражка.

Михаил повернулся, чтобы пойти прочь, и увидел стоящего рядом человека. Это был высокий мужчина лет сорока, его серые глаза смотрели из-под козырька кепи на Михаила спокойно и чуть-чуть насмешливо.

— И вы никого не дождались? — спросил Михаил.

— По-видимому, дождался, — ответил незнакомец. — Вас зовут Михаил Левитский, и вы должны были встретить своего дядю, не так ли?

— Верно, — удивленно сказал Михаил. — Только мы разминутись...

— Не разминутись. — Незнакомец усмехнулся. — Здравствуй, племянничек. Я-то сразу увидел, как ты похож на свою мать.

— Позвольте!.. Вы Георгий Платонов? Но ведь вам, по-моему...

— Ты прав, мне действительно много лет. Но, как видишь, я хорошо сохранился. Найдется у тебя в доме комната для меня?

— Комната?.. — Михаил был настолько смущен неожиданной молоджавостью дядюшки, что не сразу понял смысл вопроса. Тут же он спохватился: — Да, конечно, комната готова.

— Ну, так пошли.

У Платонова было два чемодана, довольно тяжелых, Михаил схватил тот, что побольше, но дядюшка мягко отстранил его:

— Возьми второй. Не в обиду будь сказано, я покрепче тебя.

Они прошли в широко распахнутые двери морского вокзала, над которыми висел плакат «Добро пожаловать в Кара-Бурун», и Михаил, хоть и был несколько ошарашен, не преминул обратить внимание дяди на главную достопримечательность города:

— Как вам нравится наш вокзал?

— Стекло, прохлада и зелень, — одобрительно отзывался тот.

Они вышли на привокзальную площадь, и Платонов невольно остановился.

Зеленой стеной стояли пальмы и панданусы. Влево уходила набережная, застроенная нарядными разноцветными домами, могучие платаны сплели над ней потолок, и синяя тень вперемежку с солнечными пятнами лежала на асфальте. Улица плавно закруглялась, повторяя изгиб бухты.

За бульваром и набережной город сразу принимался карабкаться на скалы. Платонов с любопытством разглядывал горбатые мостики и каменные лестницы, игрушечные вагончики фуникулеров, бамбуковую рощицу на склонах одного из оврагов. Зеленые, желтые, синие краски были чистыми и яркими до звона.

Да, он правильно сделал, что приехал сюда. Этот странный город вполне подходил для его цели.

— Пойдемте, дядя Георгий, — сказал Михаил, с некоторой запишкой произнося эти слова «дядя Георгий».

Он повел благоприобретенного родственника направо — там была старинная арка, а за ней крутая дорога, выложенная плитами. «Трехмильный проезд», — прочел Платонов на табличке. Из щелей между плитами лезла неистребимая трава. Михаил вошел в роль гида, рассказывал, как сложно строить в Кара-Буруне, прижатом скалами к морю, и каких огромных трудов стоили здесь водопровод и канализация.

Они забирались все выше. Справа, в просветах орешника, синело море, залитое солнцем, а слева тонули в зелени садов желтые домики. Михаил вспотел, у него стало перехватывать дыхание от подъема, от чемодана и оттого, что он много говорил. Искоса он поглядывал на Платонова: тот шел ровным шагом, уве-

систый чемодан; по-видимому, не очень отягощал его. Семьдесят с лишним лет? Ну, если так, то он, Михаил Левитский, специалист по старикам, никогда еще не видывал такого старика.

Им навстречу спускалась процессия. Под пение скрипок и валторн, под рокот барабана шли загорелые юноши и девушки в венках из белых и красных цветов.

— Что это? — спросил Платонов, отходя к обочине дороги. — Не в честь ли моего приезда?

— Нет, — серьезно сказал Михаил. — Это в честь очередного выпуска бальнеологического техникума. Сегодня будет большое гуляние. Состязания в плавании и стрельбе из лука, ну и так далее. А теперь нам навстречу.

Они поднялись по крутой лестнице, вырубленной в скале, и вышли на улицу Сокровищ Моря.

— Вот наш дом, — сказал Михаил и показал на небольшой коттедж, крытый разноцветной черепицей, с верандой, оплетенной виноградом.

Прежде чем войти в садовую калитку, Платонов оглянулся. Внизу лежало огромное море — синее и прекрасное, на горизонте слитое навеки с голубизной неба.

И снова он сказал себе, что не ошибся, приехав сюда.

Комната ему понравилась. В открытое окно заглядывали ветки черешни, лился тонкий запах цветов из сада.

— Спасибо, Михаил, — сказал Платонов, поставив чемоданы в угол. — Этот стол слишком хорош и хрупок для меня, — нет ли другого, попроще? Мне, видишь ли, придется немного повозиться с химическими реактивами.

— Хорошо, я поставлю другой. — Михаила помолчал, ожидая, что Платонов разовьет свою мысль о занятиях, но дядюшка не выказывал такого намерения, и тогда Михаил предложил: — Пойдемте освежимся под душем.

В летней душевой, устроенной в углу сада, он с невольным любопытством поглядывал на мускулистое

тело Платонова — с любопытством гериятра, специалиста по старикам. Нет, больше сорока этому странному дядюшке не дашь никак. Правда, внешность бывает обманчивой. Сделать бы ему анализ крови да просветить сердце.

Платонов фыркнул под прохладной струей, бил себя ладонями по груди и плечам. На груди у него, среди рыжеватой растительности, розовели старые, давно затянувшиеся шрамы. И по спине поперек лопаток тянулся широкий шрам с зубчатыми краями. Михаил вдруг смутно припомнил: мать когда-то рассказывала, что дядя Георгий был летчиком во время войны.

— У вас в городе, — сказал Платонов, — наверное, сильно изнашивается обувь, да?

— Обувь? — переспросил Михаил. — Да, изнашивается, конечно. А что?

Платонов не ответил. Он пофыркнул еще немного и принялся крепко растирать мохнатым полотенцем.

— Это память о фашистах, — сказал он, похлопав себя по груди. — Пулеметная очередь. Впрочем, ему пришлось хуже. Ох и давно это было — за много лет до твоего рождения... У тебя есть семья?

— Да. Сын, как всегда, на море. А жена скоро придет с работы и накормит нас обедом. Может, хотите пока перекусить?

— Нет, я не голоден. И давай-ка, Михаил, договоримся сразу: мой приезд ничего не должен изменить в вашем домашнем укладе. Я не хочу стеснять вас.

— Вынисколько нас не стесните. Наоборот, я очень рад, что...

— Ну-ну, — Платонов поднял руку ладонью кверху. — Эмоции — вещь зыбкая, не будем их касаться.

Они вышли из душевой в сад и направились к дому. Хлопнула садовая калитка, раздался быстрый топот ног, из-за цветочной клумбы выбежал чернявый мальчик лет тринадцати.

— Папа! — закричал он еще издали. — Я поймал вот такую ставриду! — Он широко развел руки и смущенно умолял, исподлобья поглядывая на незнакомца.

— Игорь, познакомься с дядей Георгием, — сказал Михаил.

— Здравствуй, Игорь, — серьезно, без обычной взрослой снисходительности к ребенку сказал Платонов и пожал узкую руку мальчика. — Где же ты оставил свою ставриду?

— У Филиппа, он ее выпотрошит и зажарит на углях. Филипп говорит, что он не видывал таких крупных ставрид. А вы долго будете у нас жить?

— Не очень. — Платонов постучал указательным пальцем по выпирающей ключице мальчика. — Хочешь мне немного помочь?

— Да, — сказал Игорь.

Вечером они обедали на веранде.

— Положить вам еще мяса? — спросила Ася, жена Михаила Левитского. Она избегала обращения «дядя Георгий», его молодежеская внешность почему-то вызывала у нее неприязненное недоверие.

— Нет, спасибо, — сказал Платонов. — И мясо и овощи превосходны. Вы прекрасная хозяйка, Ася.

Женщина сухо поблагодарила и поставила перед гостем компот из черешни.

— Мама, — сказал Игорь, болтая ногами, — завтра мы пойдем с дядей Георгием к устью Лузы.

— Очень рада. Но почему бы вам просто не съездить в Халцедоновую бухту? Там пляжи лучше оборудованы.

— Э, Халцедонка! Милльон человек под каждым тентом.

— И все же это лучше, чем тащиться тридцать километров по жаре к Лузе.

— Ну, раз так далеко, то мы можем просто немного побродить по окрестностям, — сказал Платонов, уловив некоторое недовольство в тоне женщины.

— Нет, нет! — воскликнул Игорь. — Вы же сами говорили, что хотите сделать большой переход в этих ботинках.

— Что еще за ботинки? — спросила Ася.

Платонов посмотрел на круглое лицо женщины, на ее поджатые губы.

— Просто хочу разносить новые ботинки. Ваши каменистые дороги очень располагают к этому.

— А я уж было подумала, не работаете ли вы в обувной промышленности.

— Некоторое отношение к ней я имел. Если можно, налейте еще компоту.

— Пожалуйста, — Ася налила ему компоту из кувшина. — А где вы работаете теперь?

— Моя специальность — биохимия. Я должен завершить кое-какие исследования, а потом я собираюсь уйти... выйти на пенсию.

— Вы прекрасно выглядите для пенсионного возраста.

— Да, многие это находят, — спокойно сказал Платонов.

Он молча допил компот, затем поблагодарил хозяйку и, сославшись на усталость, ушел в свою комнату. Ася проводила его долгим взглядом.

— Игорь, — сказала она, — отнеси посуду в кухню. Постой. Зачем дядя Георгий посылал тебя в город?

— Он дал мне список разных деталей, и я сбежал на набережную в радиомагазин. Дядя Георгий научит меня паять.

— Это хорошо, — одобрил Михаил. — Может, он приохотит тебя к технике. А то только и знаешь книжки читать да рыбу удить со своим Филиппом. Ну, ступай. Осторожно, не разбей посуду. — И когда мальчик, схватив поднос с тарелками и стаканами, умчался в кухню, Михаил тихо сказал жене: — Ася, я хочу тебя попросить... Мне кажется, не следует задавать ему никаких вопросов.

— Почему это? — Ася так и вскинулась, плетеное кресло закрипело под ее полным телом. — Что он за птица такая? Ты говорил, ему за семьдесят, а он выглядит как твой ровесник.

— Ну, Ася, это не резон, чтобы плохо к нему относиться.

— Пускай не резон. Но только не люблю, когда человек напускает на себя таинственность.

— Ничего он не напускает. Ты слышала, ему нужно завершить какую-то работу.

— Вот что я скажу тебе, Михаил. Пусть он лучше делает свои опыты в другом месте. Мало ли — взорвется у него что-нибудь или, чего доброго, дом подожжет... Я попрошу у нас в курортном управлении путевку для него в пансионат.

— Нет, — сказал Михаил решительно, и она удивленно на него посмотрела. — Нет, Ася, он будет жить у нас сколько захочет. Он родной брат покойной мамы. Кроме нас, у него совсем нет родных.

— Как хочешь. — Ася поднялась и щеточкой смахнула крошки со скатерти на подносик. — Как хочешь, Миша. Но мне это не нравится.

В темное небо с шипением взлетела ракета и выпала прямо в ковш Большой Медведицы пригоршню зеленых и белых огоньков. И тут же понеслась новая ракета, и еще, и еще. В небе закрутились красные спирали, и пошел разноцветный звездный дождь.

Михаил вспомнил, что не полил сегодня фруктовые деревья. Он спустился в сад и направился в хозяйственную пристройку за поливным шлангом. Свернув за угол дома, Михаил остановился в тени черешни.

Платонов стоял в темной комнате перед открытым окном. Сподохи ракет освещали его лицо, обращенное к небу. На этом словно бы окаменевшем лице резко были прочерчены жесткие складки, идущие от крыльев носа к уголкам твердых губ, и углубление на крутом подбородке. Лицо было спокойно, но Михаилу почудилась в нем какая-то безмерная усталость, — такое выражение бывает у людей, которые уже ничего не ждут.

Михаил сделал шаг назад, ракушки скрипнули у него под ногами, и тут Платонов увидел его.

Увидел и улыбнулся.

— Большое гуляние в Кара-Буруне, — сказал он.

— Да, — сказал Михаил. — У нас всегда так отмечают выпуск бальнеологического техникума.

Вот уже две недели, как Платонов жил в доме своего племянника Михаила Левитского. Он вставал с

рассветом и будил Игоря, спавшего в саду на раскладушке. Они выпивали по стакану холодного молока и уходили в горы — Михаил и Ася в это время еще досматривали последние сны.

Платонов надевал для утренних прогулок новые коричневые ботинки на желтой подошве, а мальчику давал такие же ботинки, но изрядно поношенные. Игорю они были несколько велики, и он надевал три пары носков, чтобы ноги не болтались в ботинках, и стойчески терпел неудобства тяжелого снаряжения.

Часа через три они возвращались, тщательно счищали с ботинок дорожную пыль и столь же тщательно взвешивали их на чувствительных весах. Затем Платонов ставил свои ботинки в особый ящик, на дне которого лежал войлок, пропитанный каким-то раствором, и от которого шли провода к прибору, собранному в первый же день по приезду. Ботинки же Игоря после взвешивания отправлялись в обыкновенную картонку.

Потом друзья — а они действительно стали друзьями, насколько это возможно при подобном различии возрастов, — съедали завтрак, оставленный Асей, и некоторое время работали. Платонов писал, а Игорь решал задачи, заданные дядей, или перематывал катушки, или читал что-нибудь свое. Иногда Игорь, грызя карандаш над трудной задачей, взглядывал на дядю и замечал, что он не пишет, а сидит, уткнув лицо в ладони, но ни разу мальчик не решился потревожить его раздумья.

На пятый день Платонов получил на почте две посылки, присланные из Ленинграда до востребования. Они с Игорем с трудом дотащили их вверх по лестнице: на улицу Сокровищ Моря такси не ходили.

Через день пришла еще одна тяжелая посылка. Платонов забросил ботинки в угол и больше не надевал их во время утренних прогулок, и Игорь тоже вернулся к своим удобным сандалиям. Теперь комната Платонова была заставлена приборами и опутана проводами, и всюду, как муравьи, шевелились стрелки на циферблатах. Платонов все дольше засиживался за работой. Иногда он переставал писать и говорил Игорю:

— Пойди в сад, дружок, разомнись маленько. Мне надо остаться одному.

Игорь забирался с книжкой в гамак и терпеливо ждал. Обычно дядя около трех часов выходил на веранду, щурился от солнца, делал несколько приседаний, и это означало, что рабочий день окончен и можно идти на море. Но однажды дядя что-то уж очень заработался: шел пятый час, а он все не появлялся на веранде. Игорь тихонько подошел к двери, прислушался. Из комнаты не доносилось ни звука. Игорю почему-то стало не по себе, он резко толкнул дверь...

Платонов ничком лежал на полу. Игорь с криком кинулся тормошить его, перевернул на спину. Платонов открыл глаза, затуманенные беспамятством.

— Отстегни, — прохрипел он.

Игорь сорвал с его запястий и щиколоток тугие резиновые манжеты с проводами. Дядя медленно поднялся, повалился в кресло.

— Что вы делаете с собой? — беспокойно спросил Игорь.

— Ничего... Выключи рубильник. — Он помолчал. Дыхание стало ровным. — Ну вот и все. Бери удочки, пойдем на море.

Неподалеку от арки Трехмильного проезда среди нагромождения прибрежных скал был небольшой треугольник, засыпанный крупной галькой. Игорь давно облюбовал это местечко для купания и рыбной ловли. Сюда он и приводил дядю Георгия. Они купались и сидели в тени скалы, глядя на море, и Игорь закидывал свои лески.

— Почему вы не хотите загорать? — спросил как-то Игорь, поглядев на белую кожу дяди Георгия.

— Мне это не очень-то полезно, — ответил Платонов. — Зато ты загораете за нас обоих.

Игорь посмотрел на свой коричневатый живот.

— У меня загар держится круглый год. Филипп говорит — если как следует прокалишься солнцем, тебя никакая болезнь не возьмет. А вам из-за старых ран нельзя загорать, да?

— Отчасти. Но главным образом потому, что я сам старый.

— Ничего вы не старый, вы лучше меня плаваете, особенно баттерфляем. Дядя Георгий, оставайтесь у нас навсегда, ладно?

— Ладно, дружок. Подсекай, у тебя клюет.

По дороге домой они заворачивали к Филиппу. Естественный грот в большой скале Филипп так ловко оборудовал под свою мастерскую, что казалось, именно от этого прочно обжитого места пошел город Кара-Бурун.

Стенки грота были увешаны фотографиями, вырезанными из журналов. Подбор был очень строгий — корабли и красавицы. Сам Филипп прежде был матросом и много плавал по морям — этим и объяснялась его приверженность к корабельной тематике. Что до второго раздела картинной галереи, то им Филипп отдавал дань, как он пышно выражался, «вечному и нетленному идеалу красоты».

В Кара-Буруне быстро протирались подошвы, и у старого Филиппа было много работы. Он совмещал ее с рыбной ловлей, пристраивая под скалой удочки с колокольчиками. Он хорошо знал людей и обувь — по истертой подошве он умел определить характер ее владельца. Кроме того, он умел говорить, не выпуская гвоздей изо рта.

Бывало, Платонов приносил бутылку красного вина, Филипп зажаривал ставриду на углях, и они пировали. Постукивая молотком, правя нож на закройной доске, Филипп рассказывал о людях, кораблях и подошвах.

— Все отцветает в мире — и деревья и женщины, — провозглашал он. — Одно только море нетленно и вечно, потому что никто не может его вышить, даже всемогущее время.

И он победоносно оглядывал своих собеседников, как бы говоря: «А ну, что вы можете возразить на это?»

Платонов не возражал, а Игорь высказывался в том духе, что если пройдут миллиарды лет, то море в конце концов может очень даже просто испариться.

— Никогда этого не будет, — убежденно говорил Филипп и, вынув изо рта очередной гвоздь, вгонял его

в подошву. — Ты хороший мальчик, но ты психологически не подготовлен. — И он одним ударом молотка вбивал следующий гвоздь.

Иногда Платонов и Игорь совершали походы в Халцедоновую бухту по старой лесной дороге. Впрочем, до курорта они не доходили. Платонов глядел издали на белые паллионы, пестрые тенты и пляжи, кишачие людьми, и они поворачивали обратно.

Они предпочитали другую дорогу в бухту — ту, по которой ходили электропоезда. Эта дорога была прорублена в горном кряже. Ущелье, пересеченное ажурными фермами моста электрички, прорезало скалистый мыс и выходило к морю крутым обрывом. Дальше по краю обрыва шел узкий карниз, пройти по нему было нелегко. Отсюда, сверху, были хорошо видны длинные желтые пляжи Халцедоновой бухты.

Однажды они решились пройти по узкому карнизу. Игорь медленно шел впереди, а Платонов — шаг в шаг — продвигался за ним с вытянутой рукой, готовый в любой момент поддержать мальчика, если он оступится.

— Хватит, Игорь, — сказал он наконец. — Дальше совсем непроходимо. Остановись.

Они прислонились спинами к шершавой и теплой от солнца скале и долго смотрели на море, лениво колыхавшееся внизу, под обрывом.

— Здесь хорошо, — тихо, как бы про себя, сказал Платонов.

— Вы бы смогли прыгнуть отсюда вниз головой? — спросил мальчик.

— Не знаю. Пойдем-ка обратно.

Они вышли к Трехмильному проезду в том самом месте, где стоял памятник над братской могилой моряков, оборонявших Кара-Бурун во время войны.

— Дядя Георгий, расскажите о войне.

— Я много тебе рассказывал, дружок. Ну, если ты хочешь...

И он — в который уже раз! — принялся рассказывать о воздушных боях, и о танковых сражениях, и о подводных лодках, и о фашистах, которых, если люди хотят жить счастливо, нельзя терпеть на планете.

И так, разговаривая, они неторопливо поднялись по ступенькам, вырубленным в скале, на улицу Сокровищ Моря.

— Какое сегодня число? — спросил вдруг Платонов, открывая садовую калитку.

— Семнадцатое августа. Эх, жаль, скоро уже в школу!

— Уже семнадцатое, — негромко сказал Платонов и вошел в сад.

Ася была любопытной женщиной. Тайна, окружавшая Платонова, не давала ей покоя. А тут еще Шурочка Грекина, сотрудница по курортному управлению, со своими страшными историями. В Ленинграде, рассказывала Шурочка, недавно произошло кошмарное преступление: неизвестный вошел в ресторан «Север» и выстрелил в люстру; пуля перебила трос, и огромная люстра рухнула, задавив насмерть двадцать человек, сидевших за столиками; преступник, пользуясь темнотой и паникой, скрылся.

Вечно эта Шурочка такое преподнесет, что ходишь сама не своя.

Правда, вскоре выяснилось, что ничего подобного в Ленинграде не происходило. Бухгалтер управления, ездивший туда навестить сына-студента, не слыхивал о побоище в ресторане «Север». Более того, он утверждал, что в этом ресторане люстры нет вовсе, а освещение, как он выразился, производится посредством настенных бра.

Но почему-то подозрения Аси только усилились: бывает же так, что мыслям, принявшим определенное направление, трудно свернуть в сторону.

Она, конечно, помнила совет мужа не докучать гостю вопросами, но расспрашивать сына никто запретить ей не мог. Игорь не делал тайны из того, что знал, но знал-то он слишком мало, а вернее — не знал ничего.

Был тихий вечер. В черном небе всюду расплывались звезды, и в просветах между листвой деревьев была видна серебряная дорожка, положенная на море луной.

Михаил Левитский сидел на веранде и читал газету, изредка комментируя напечатанное одобрительным или ироническим «хм». Ася накрыла на стол и кликнула Игоря.

— Чего, мам? — Игорь появился с книгой в руке.

— Что делает дядя Георгий?

— Работает.

— Заработался совсем. И что он без конца пишет, и днем и ночью, хотела бы я знать?.. Позови его пить чай.

Платонов вышел на веранду. Он был необычно оживлен.

— Чай — это хорошо, — проговорил он, садясь на свое место. — Вечный и нетленный напиток, как сказал бы наш друг Филипп. Что пишут в газете, Михаил?

— Да так, все то же. — Михаил отложил газету. — Бурение сверхглубокой на плато Цион продолжается. Международный симпозиум физиологов. Опять упоминают о загадочной смерти профессора Неймана.

— Дай-ка газету. — Платонов пробежал отчет о симпозиуме. — Ты прав, все то же. О, клубничное варенье, превосходно! Ну, Михаил, как поживают твои старички?

«Что это с ним? — подумал Михаил. — Нервное возбуждение или просто хорошее настроение?»

Он стал рассказывать о новейших методах лечения старости в санатории «Долголетие», и Платонов слушал и задавал вопросы, свидетельствующие о знании предмета, и Ася все подкладывала ему клубничного варенья.

— Да, — сказал Платонов задумчиво. — От Гиппократа и до наших дней люди бьются над проблемой долголетия... — Он посмотрел на Михаила, прищурив глаз. — Скажи-ка, племянник, в чем заключается, по твоему, основная причина старения?

— Сложный вопрос, дядя Георгий... В общем я согласен с мнением, что старость — постепенная утрата способности живого вещества к самообновлению. Ведь общее развитие жизни связано с неизбежностью смерти, а что-то должно ее подготовить... — Михаил отки-

нулся на спинку кресла, в голосе его появилась лекторская нотка. — Вы, наверное, знаете, что интенсивность обмена веществ у девятилетнего ребенка достигает пятидесяти процентов, а у старика в девяносто лет снижается до тридцати. Изменяется прием кислорода, выделение углекислоты, подвижные белки приобретают более устойчивые формы... Ну и все такое. Я хочу сказать, что организм в старости приспосабливается к возрастным изменениям, и мы, гериатры, считаем своей главной задачей стабилизировать возможно дольше это приспособление.

— Верно, Михаил. Но не приходило ли тебе в голову, что организм... Впрочем, ладно, — прервал Платонов самого себя. — Все это слишком скучная материя для Аси.

— Да нет, пожалуйста. Я привыкла к таким разговорам, — сказала Ася. — Все хочу вас спросить: вы работаете в Ленинграде?

— Недалеко от него — в Борках. Это научный городок...

— Ну как же, — сказала Ася, — кто не знает Борков! У нас в прошлом году лечился один крупный физик из Борков. Чудный был дядя, веселый и общительный, мы все прямо влюбились в него.

Платонов внимательно посмотрел на нее и встретил испытующий ответный взгляд.

— Ася, — сказал он, усмехнувшись какой-то своей мысли, — Ася и Михаил. Я сознаю, конечно, что веду себя не слишком вежливо. Свалился с неба дядюшка, живет третью неделю и хоть бы три слова рассказывал о себе и о своей работе... Нет, нет, Михаил, помолчи, я знаю, что это именно так, хотя я очень ценю твою деликатность. Ну что ж. Пожалуй, пора мне кое-что рассказать...

Он помолчал немного, потер ладонью лоб и начал:

— Это пришло мне в голову много лет назад, а точнее — на третьем году войны. Вас тогда и в помине не было, а я был молод и здоров как бык. Все началось с пустяка. Впрочем, в то время это для меня

были не пустяк... Помнишь, Михаил, как у Диккенса? Королевский юрисконсульт спросил Сама Уэллера, не случилось ли с ним в то утро чего-нибудь исключительного. А Сэм говорит: дескать, в то утро, джентльмены присяжные, я получил новый костюм, и это было совсем исключительное и необычное обстоятельство для меня. Так вот, в то утро я получил на складе новое кожаное пальто — реглан, как их называли, и это было для меня тоже исключительное событие. Мы, молодые летчики, любили щегольнуть.

Я прицепил к реглану погоны, пришил петлички, и тут меня и вызвали, а четверть часа спустя я был уже в воздухе. Так и не переоделся в летное. А еще через четверть часа я нос к носу столкнулся с фашистом и пошел в лобовую атаку. Тебе, Игорь, я рассказывал это девятнадцать раз, и ты знаешь: здесь все на нервах. Кто первый не выдержит, отвалит в сторону, тот и получит очередь в незащищенное место. Ну, сблизимся, он у меня ракурсом ноль в кольцах коллиматорного прицела — значит, и я у него тоже. Тут мне и досталось. Я сгоряча в первый момент не почувствовал, жму вперед на него. А это, знаете, доли секунды. Он отвалил вверх, показал брюхо, и я ему всадил в маслорадиатор. Он задымил, это я еще видел. Задымил и пошел вниз. А как я посадил машину — не помню. Ребята говорили, полная кабина крови на стекла. Словом, каким-то чудом я сел. Вытащили меня — и в госпиталь. Шесть дырок в груди, сквозные. Ну ладно. Полежал я, все зажило. Выписываюсь. Иду в каптерку. А мой новый реглан — до сих пор злится, как вспомню... Впереди-то дырки маленькие, а на спине все разворотило. Я и думаю: что за чепуха, на мне все дырки зажили, а на реглане так и зияют... Улавливаешь мысль, племянник?

— Пока нет, — произнес Михаил.

— Я тоже не сразу понял. Только задумываться начал. Конечно, война, не до того, а я все же нет-нет да и подумаю. Начал книжки специальные почитать. А после войны ушел в запас, поступил на химический факультет — тогда-то и занялся всерьез. Понимаешь, вот, скажем, кожаная обувь. Изнашиваются

подошвы. А живой человек ходит босиком, тоже протирает кожу, а она снова нарастает. И я подумал: нельзя ли сделать так, чтобы неживая кожа, подошва, тоже восстанавливалась?

— Напрасный труд, — улыбнулся Михаил. — Кожа для подметок теперь почти не применяется. Синтетика...

— Поди ты с синтетиками! — Платонов даже поморщился. — Экий ты, братец... Я же тебе про философскую проблему толкую. Ну-ка посмотри на явление износа с высоких позиций. Все случаи можно свести к двум категориям. Первая — постепенный износ, постепенное изменение качества. Пример — ботинки. Хотя из кожи, хотя из синтетики. Как только ступил в новых ботинках на землю — начался износ. Точно определить, когда они придут в негодность, трудно. Индивидуальное суждение. Один считает, что изношены, и выкидывает. Другой подбирает их и думает: фу, черт, почти новые ботинки выбросили, дай-кося поношу...

Михаил коротко рассмеялся.

— Теперь возьми вторую категорию: ступенчатый износ, — продолжал Платонов. — Пример — электрическая лампочка накаливания. Вот я включаю свет. Можешь ли ты сказать, сколько часов горела лампочка? Когда она перегорит?

— Действительно, — сказал Михаил. — Лампочка вроде бы не изнашивается. Она горит, горит — и вдруг перегорает.

— Именно! — Платонов встал и прошелся по веранде, сунув руки в карманы. — Вдруг перегорает. Ступенька, скачкообразный переход в новое качество... Разумеется, подавляющее большинство вещей подвержено первой категории износа — постепенной. И я стал размышлять: можно ли перевести подошвенную кожу в условия износа второй категории — чтобы ее износ имел не постепенный характер, а ступенчатый? Скажем, так: носишь ботинки, носишь, а подошва все как новая. Затем истекает некий срок — и в один прекрасный день они мигом разваливаются. Никаких сомнений, можно ли их носить еще. Как электрическая лампочка — хлоп, и нет ее...

Платонов внезапно замолчал. Он облокотился на перила и словно высматривал что-то в темноте сада.

— Мысль интересная, — сказал Михаил. — Вещь все время новая до определенного срока.

— И вы сделали такие ботинки, которые не изнашиваются? — спросила Ася.

— Да.

— Но как вы этого добились? — заинтересованно спросил Михаил.

— Долгая история, дружок. В общем мы после многолетних опытов добились, что кожа органического происхождения сама восстанавливает изношенные клетки. Но... видишь ли, подошва не такая уж важная проблема. Дело в принципе, а он завел меня... и других... довольно далеко... — Платонов выпрямился. — Ну, об этом как-нибудь в другой раз.

— Хотите еще чаю? — сказала Ася. — Я сразу подумала, что вы изобретатель. Выходит, можно делать и пальто и другие вещи, и они все время будут как новые?

— Можно делать и пальто... Ну, я пойду.

— Опять будете работать всю ночь?

— Возможно.

Тут у садовой калитки постучали. Игорь побежал открывать.

— Это дом Левитских? — донесся до веранды высокий женский голос.

— Да, — ответил Игорь.

— Скажите, пожалуйста, у вас живет Георгий Платонов?

У Платонова взлетели брови, когда он услышал этот голос. Он медленно спустился с веранды и шагнул навстречу стройной молодой женщине в сером костюме, которая вслед за Игорем шла по садовой дорожке.

— Георгий!

Она кинулась к нему и уткнулась лицом ему в грудь, он взял ее за вздрагивающие плечи, глаза его были полузакрыты.

— Зачем ты приехала? — сказал он. — Как ты меня нашла?

Женщина подняла мокрое от слез лицо.

— Нашла — и все...

— Пойдем ко мне, поговорим.

Он взял ее за руку и повел в свою комнату, на ходу пробормотав извинение.

— Пожалуйста, — откликнулась Ася. Поджав губы, она посмотрела на мужа. — Ну, что ты скажешь?

— Какое у нее лицо, — тихо проговорил Михаил.

— Хотя бы поздоровалась с нами... Однако у твоего старого дядюшки довольно молодые знакомые, ты не находишь?

— Может быть, это его жена...

— Жена? Значит, по-твоему, он сбежал от жены? Какой милый, резвый дядюшка!

— Перестань, Ася. Разве ты не видишь, у них что-то произошло.

— Вижу, вижу. Я все вижу. — Ася принялась споласкивать стаканы.

Михаил спустился в сад, вынес из пристроечки шланг и приладил его к водяной колонке. Он старался не смотреть в окно Платонова, но боковым зрением видел, что там не горит свет.

Тугая струя била из шланга, земля, трава и деревья жадно пили воду, и Михаил не жалел воды, чтобы они напились как следует.

Потом он вернулся на веранду, снова сел за прибранный стол, и Ася сказала:

— Надо идти спать.

Он не ответил.

— Что с тобой, Миша? Ты меня слышишь?

— Да. Мне не хочется спать.

Она подошла к нему сзади и обвила полными руками его шею.

— Я бы хотела, чтобы он поскорее уехал, Миша. Не сердись на меня, но мне кажется... он вносит в нашу жизнь какую-то смуту... Так спокойно было, когда мы его не знали...

Он поглядел ее по руке.

Послышались шаги. Ася отошла к перилам веранды и скрестила руки на груди. Что еще преподнесут эти двое?..

Тихо отворилась стеклянная дверь. Платонов и женщина в сером костюме вышли на веранду.

— Я должна извиниться перед вами, — сказала женщина, на милом ее лице появилась смущенная улыбка ребенка, знающего, что его простят. — Меня зовут Галина Куломзина, я некоторое время была ассистенткой Георгия Ильича в Борках.

Михаил поспешно подвинул к ней плетеное кресло.

— Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо. Я привыкла заботиться о Георгии и... Словом, я приплыла сюда на «Балаклаве» и обошла весь город. У вас такой чудесный город, только очень устаешь от лестниц...

— Это верно. — Михаил улыбнулся. — К Кара-Буруну нужно привыкнуть.

— Я не знала, где остановился Георгий, и спрашивала буквально у всех встречаемых, описывала его внешность. Смешное и безнадежное занятие, не правда ли?.. Я даже ездила в Халцедоновую бухту и обошла все пансионаты. Наконец меня надоумили пойти в курортное управление. К счастью, одна женщина, задержавшаяся там на работе, знала, что к одной из ее сотрудниц... к вам, — она улыбнулась Асе, — приехал погостить родственник...

«Это Шурочка», — подумала Ася и сказала вслух:

— Все хорошо, что хорошо кончается.

— Да... Я безумно устала, но, слава богу, я нашла его. — Галина долгим взглядом посмотрела на Платонова, неподвижно стоявшего у перил.

— Налить вам чаю? — спросила Ася.

— Минуточку, Ася, — вмешался Платонов. — Прежде всего: нельзя ли снять для Галины комнату здесь по соседству?

Ася изумленно посмотрела на него.

— Сейчас уже поздновато, — произнесла она с запинкой. — Но... почему бы вашей... ассистентке не остаться у нас? Игорь спит в саду, его комната свободна.

— Конечно, — сказал Михаил. — Располагайтесь в комнате Игоря.

— Благодарю вас. — Галина вздохнула. — Я так устала...

— Кстати, куда это Игорь запропастился? — Ася поглядела в сад. — Игорь!

После того как незнакомая женщина кинулась к дяде Георгию, Игорь тихонько отступил в тень деревьев. Он пробрался в дальний угол сада и сел на выступ скалы. Смутное ощущение предстоящей разлуки охватило его. И Игорь подумал, что никогда и ни за что не женится, потому что там, где появляется женщина, сразу все идет кувырком.

А наутро Платонов исчез.

Первым это обнаружил Игорь. За три недели он привык, что дядя Георгий будил его ни свет ни заря, но в это утро он проснулся сам. По солнцу Игорь определил, что обычный час пробудки давно миновал. С неприятным ощущением некоей перемены он, тихонько ступая босыми ногами, вошел в дом и приоткрыл дверь комнаты Платонова.

Дяди не было. Приборы все были свалены в углу в беспорядке.

Ясно. Ушел в горы один.

Горшей обиды ему, Игорю, никто и никогда не наносил. Чтобы не заплакать, он поскорее залез на ореховое дерево, самое высокое в саду, и стал смотреть на море, голубое и серебряное в этот ранний час. Из бухты выходил белый теплоход, медленно разворачиваясь вправо.

«Балаклава», — подумал Игорь. И он представил себе, как в один прекрасный день он уплывет на белом теплоходе из Кара-Буруна, а потом приедет в Борки и будет жить у дяди Георгия и помогать ему в работе. И он все время поглядывал на дорогу — не возвращается ли дядя Георгий, и заранее представлял себе, как он сухо ответит на дядино приветствие и немного поломается, перед тем как принять предложение идти на море.

Тут на веранду вышла та, вчерашняя. На ней был легкий сарафан — белый с синим. Она озабоченно поглядела по сторонам и ушла в дом. Потом на веранде появился отец. Он тоже огляделся, поправил виноградную плеть и позвал:

— Игорь!

Игорь неохотно откликнулся.

— Ну-ка, живо слезай, — сказал отец. — Ты видел утром дядю Георгия? Нет? Куда же он ушел?

Голос у отца был необычный, и Игорь понял: что-то произошло.

Потом они все стояли в комнате дяди Георгия. Михаил вертел в руках большой заклеенный пакет, на котором было четко написано: «Михаилу Левитскому. Вскрыть не ранее чем утром 24 августа». Это значило — завтра утром...

Вещей Платонова в комнате не было, он унес оба чемодана. Только приборы остались, да пустой ящик из-под ботинок, да две-три книжки.

— Он что же, уехал не попрощавшись? — Ася покачала головой. — Не сказав ни слова...

Галина смотрела на пакет в руках Левитского. Не мигая, не отрывая взгляда, смотрела на пакет, в ее светло-карих глазах была тревога.

— Уехал? — растерянно сказал Игорь.

И тут он вспомнил про «Балаклаву», недавно отплывшую из Кара-Буруна.

— Сейчас узнаем, — сказал Михаил и подошел к телефону, не выпуская пакета из рук.

Он позвонил диспетчеру морского вокзала, и тот согласился запросить «Балаклаву» по радио.

— Михаил Петрович, — сказала Галина высоким звенящим голосом, — очень прошу вас, вскройте пакет.

— Нет, Галина, — ответил он, — этого сделать я не могу.

— Странные все-таки манеры, — пробормотала Ася. — В таком преклонном возрасте выкидывать такие номера...

Галина посмотрела на нее.

— Простите за неуместное любопытство... Вы просто не представляете, как это важно... Вы знаете, сколько лет Георгию... Георгию Ильичу?

— Могу вам ответить, — сказал Михаил. — Дядя Георгий на двенадцать лет старше своей сестры, моей покойной матери. Ему семьдесят три — семьдесят четыре.

— Семьдесят... Боже мой!.. — прошептала Галина и сжала ладонями щеки.

Теперь настал черед Аси удивиться.

— Вы работаете с ним вместе и не знаете, сколько ему лет?

— Он никогда не говорил... Я работала с ним долго, четыре года... Но старики говорили, что он выглядел точно так же много лет назад. Я только знала — он старше Неймана...

— Дядя Георгий работал с Нейманом? — изумился Михаил.

— Да.

— Но позвольте... Я хорошо знаком с работами профессора Неймана. Он занимался проблемой долголетия, и это меня весьма интересовало как геронтолога. Но ведь дядя Георгий работал совсем в другой области. Он говорил об износе материалов — что-то о переводе постепенного износа в ступенчатую категорию. Что здесь общего?

— Не могу сейчас... Не в состоянии говорить об этом... — На Галине прямо лица не было. — Но именно со ступенчатого износа они начали свое сумасшедшее исследование... — Она отвернулась к окну.

— Что все-таки произошло с Нейманом? — спросила Ася с интересом. — В газетах писали — загадочная скоропостижная смерть, ничем не болел... Милочка, да что с вами? — вскричала она, увидев, что Галина плачет. — Ну, пожалуйста, успокойтесь. Игорь, быстро воды!

— Не надо. — Галина прерывисто вздохнула. — Кажется, самые тяжкие мои опасения... Михаил Петрович, вскройте пакет!

Михаил медленно покачал головой.

Тут зазвонил телефон, и он проворно снял трубку.

— Доктор Левитский? — услышал он. — Говорит диспетчер морского вокзала. Я связался по УКВ с «Балаклавой». В списках пассажиров Георгий Платонов не значится.

— Благодарю вас, — сказал Михаил и положил трубку. — На «Балаклаве» его нет.

— Значит, он здесь! — воскликнул Игорь.

— Да, из Кара-Буруна можно уехать только морем, — подтвердила Ася. — Милая, не надо волноваться...

— Я пойду. — Галина направилась к двери. — Пойду его искать.

— Я с вами! — встрепнулся Игорь.

— Минуточку. — Михаил встал у них на пути, его сухое тонкогубое лицо выглядело очень озабоченным, очень серьезным. — Послушайте меня, Галина. Давайте рассуждать логично. Георгий ушел с чемоданами — а они довольно тяжелы, — естественно, он не станет бродить с такой поклажей по городу. Скорее всего он остановился в гостинице или сдал чемоданы в камеру хранения вокзала. Я гораздо быстрее наведу справки по телефону, чем вы — рыская по городу. Прощу вас, наберитесь терпения. В городе всего три гостиницы.

Галина кивнула, отошла к окну.

— Игорь, тебе следовало бы пойти умыться, — негромко сказал Михаил и снял трубку.

Он позвонил в отель «Южный» и в другие две гостиницы, и отовсюду ответили, что — нет, Георгий Платонов у них не останавливался.

Михаил взглянул на часы, позвонил в санаторий «Долголетие» и попросил у главврача разрешения задержаться на час. Затем он вступил в сложные переговоры с администрацией морского вокзала, в результате которых выяснил, что человек по имени Георгий Платонов сегодня утром не сдавал в камеру хранения двух больших чемоданов.

Все это время Галина неподвижно стояла у окна, а Игорь, и не подумавший идти умываться, машинально листал книжки, оставленные дядей Георгием.

— Остается Халцедоновая, — сказал Михаил и вызвал коммутатор курорта.

— Тише! — вдруг крикнула Галина. — В саду кто-то ходит... — Она высунулась в окно.

Да, скрин ракушек под ногами...

Галина побежала на веранду, все последовали за ней.

По садовой дорожке к веранде шел грузный человек в белой сетке и грубых холщовых штанах, в сан-

далиях на босу ногу. Пот приклеил к его лбу прядь седых волос, крупными каплями стекал по темно-медному лицу.

— Филипп! — Игорь понесся навстречу старому сапожнику.

— Здравствуй, мальчик, — сказал Филипп, пересиливая одышку. — Здравствуйте все.

Он поднялся на веранду и сел на стул. Четыре пары встревоженных глаз в упор смотрели на старика.

— Было время, когда крутые подъемы вызывали у меня желание петь, — сказал Филипп, шумно и часто дыша.

— Вы видели дядю Георгия? — нетерпеливо спросил Игорь. — Где он?..

— Я копал под скалой червей для наживки, а солнце еще не встало, — сказал Филипп и почесал мизинцем лохматую седую бровь. — Тут он и пришел. В руках у него было по чемодану, а в зубах травинка. «Филипп, я собираюсь уехать, могу я на время оставить у вас чемоданы?» Ну, если в них нет атомной бомбы, — так я ему сказал, то поставьте их в тот уголок, под красавицей Гоффи. Мы сели и позавтракали помидорами и сыром. Он ел мало, а говорил еще меньше. — Филипп сделал паузу и долгим одобрительным взглядом посмотрел на Галину. — Сколько вам лет, спросил он меня, и я сказал: человеку не надо знать, сколько ему лет, потому что...

— Где он? — прервала его Галина. — Если вы знаете, то просто скажите: где он?

Филипп покачал головой.

— Слишком просто, красавица, — сказал он. — Но вы узнаете все, что знаю я. Человек, который вас так интересуется, вынул из чемодана ботинки и подарил их мне. Они не знают износа, сказал он, и это лучшее, что я могу вам подарить как специалисту. Я взял ботинки и, поскольку я не верю в вечность подошвы...

— Боже мой, неужели нельзя по-человечески сказать: где он?

— По-человечески? Ага, по-человечески... Ну, так он попрощался со мной за руку и пошел по Трехмильному проезду вверх. Прогуляться — так он сказал.

Я начал работать и размышлять: что же такое было у него на лице? Оно мне показалось странным. И я решил прийти сюда и сказать вам то, что вы слышали. По-человечески... Принеси мне воды, сынок.

— Мама вам принесет! — Игорь уже сбежал с веранды. — Я знаю, где его искать! — донесся голос мальчика уже из-за деревьев. — Я найду!

Хлопнула калитка.

Филипп напился воды, посмотрел на Галину, кивнул и направился к калитке, и ракушки захрустели под его грузными шагами. Михаил пошел проводить старика.

— Доктор, я все хочу попросить вас, — сказал Филипп, берясь за щеколду, — дайте мне что-нибудь, чтобы я меньше потел во сне.

Игорь бежал по шероховатым плитам Трехмильного проезда, жесткая трава, торчащая из щелей, царапала его босые ноги. Он выскочил из дому в одних трусах, даже панамы не успел надеть, и теперь солнце начинало припекать ему голову.

Он очень торопился.

Дорога становилась все круче. Игорь запыхался и перешел с бега на быстрый шаг. Он старался экономно и правильно регулировать дыхание — как учил его дядя Георгий. Четыре шага — вдох, четыре шага — выдох.

Игорь и сам не знал, что заставляло его так торопиться. До сих пор он жил в окружении вещей и явлений ясных и привычных, как свет дня. Но последние события — приезд незнакомой женщины, непонятное бегство дяди Георгия, визит Филиппа — сбили мальчика с толку. Ему хотелось одного: вцепиться в сильную руку дяди Георгия, и тогда снова все будет хорошо и привычно.

Трехмильный проезд кончился. Влево уходила лесная дорога в Халцедоновую бухту, но Игорь знал, что дядя не любил этой дороги: он всегда предпочитал держаться ближе к морю. И Игорь без колебаний пошел направо по узкой тропинке, зигзагами сбегавшей

к ущелью. Некоторое время он шел в тени моста электрички, продираясь сквозь кусты дикого граната, потом, лавируя между стволами орехов, поднялся по противоположному склону ущелья и вышел к крутому обрыву над морем.

Он чуть-чуть передохнул и потер большой палец ноги, больно ушибленный о корень дерева.

Затем Игорь двинулся по узкому карнизу — однажды они с дядей Георгием проходили здесь. Он старался не смотреть вниз, где под обрывом синело море, он медленно шел, прикасаясь левым плечом к скале и осторожно перешагивая кустики ежевики, тут и там стелющиеся по карнизу. В одном месте он увидел примятый кустик и раздавленные ягоды — это окончательно утвердило его в мысли, что дядя Георгий недавно здесь прошел.

Да, он недалеко. Наверное, за тем выступом, за которым сразу открывается вид на пляжи Халцедоновой. Еще десяток метров...

Дикий грохот и вой возникли так неожиданно, что Игорь вздрогнул. Это электричка, перелетев по стальному мосту через ущелье, мчалась по дороге, прорубленной в скалах, выше карниза, прямо над головой мальчика. Игорь знал, что отсюда электричку не увидит, но невольно задрал голову — и в тот же миг его правая нога встретила пустоту.

Он сорвался...

Его рука отчаянно цеплялась за карниз, но соскользнула с гладкого закругленного камня, и тут Игорь почувствовал, что живот прижат к колючему кусту. Он успел вцепиться руками в куст и повис над обрывом, тщетно пытаясь нащупать ногами опору.

— Дядя Георгий-и-ий!

— И-и-и... — откликнулось горное эхо.

Незадолго перед этим Георгий Платонов прошел по карнизу к тому месту за выступом скалы, откуда была видна Халцедоновая бухта.

Здесь он остановился, прижался спиной к теплому камню, сдвинул кепи на затылок.

Здесь никто его не видел, и ему не приходилось думать о выражении своего лица.

Он был один — наедине со своими мыслями.

Перед ним лежало огромное море, согретое южным солнцем. Он видел зеленые склоны гор, желтые пляжи и белые здания. В двух часах ходьбы его ждала прекрасная женщина...

Но он был уже бесконечно далек от всего этого.

Он знал, что напрасно тянет время, но никак не мог оторваться от своих мыслей о Галине.

Пойми, я должен был бежать от тебя. Ты мешала мне. Я нуждался хоть в каком-нибудь душевном равновесии, чтобы закончить работу. Но ты мне мешала, и вот я тайком уехал — бежал от тебя. Так было лучше — лучше для нас обоих. А потом ты бы все поняла из моих записок, которые Михаил перешлет в Борки. И время залечило бы рану.

Но ты разыскала меня.

Ты разыскала меня.

Ну как объяснить тебе, моя единственная, что я уже не принадлежу жизни? Да, я здоров и силен, несмотря на мои семьдесят четыре. Мои движения точны, мышцы налиты силой, и сердце пульсирует ровно. Но через несколько часов... Через десять часов двадцать минут...

Бедняга Нейман, ему было лучше, ведь он не знал.

Открытый мною закон кратности обмена неотвратим и точен. Ничто не спасет меня. Ничто и никто, даже ты. Но все же... Безумный опыт, который я здесь проделал, дает какую-то возможность... Нет, не мне. Другим, кто будет после меня... Может быть, им удастся, следуя моим указаниям, нарушить кратность обмена... И значит, я не зря поработал здесь, в тишине и покое...

В тишине и покое?

Не надо обманывать себя. Покоя не было.

Но я не знал, что встречу здесь этого мальчика.

Если бы я знал...

Довольно тянуть.

Платонов смотрит на часы. Бежит по кругу секундная стрелка, исправно отсчитывая время.

Надо решаться.

Грохочет над головой электричка. Она везет к бархатным пляжам веселых, нарядных мужчин и женщин.

Ну, Георгий Платонов, может, ты оторвешь, наконец, спину от теплой скалы?

— Дядя Георги-ий!..

Игорь? Как он сюда попал?

Голос мальчика, зовущий на помощь, мгновенно возвращает Платонова к жизни. Торопливо он продвигается по карнизу, боком огibtает выступ... Глаза его расширяются при виде мальчика, висящего над обрывом.

— Держись, Игорь! Я иду!

Корни куста не выдержали, поддались... Игорь, не выпуская из рук колючих веток, полетел вниз.

— А-а-а-а... — Голос его замер.

В тот же миг Платонов резко оттолкнулся от карниза и бросил свое тело в воздух. Синее море надвигалось на него. Сведя вытянутые руки перед головой, он, как нож, без брызг вошел в плотную воду, зашумевшую мимо ушей.

— Придется немного потерпеть, — сказал Михаил.

Мальчик кивнул. Пока отец промывал его ободранные грудь и живот, смазывал мазью и перевязывал, Игорь не издал ни звука. Он лежал, стиснув зубы и крепко держась левой рукой за руку дяди Георгия. Не вскрикнул, не застонал. Только в глазах у него были боль и крик.

— Ну вот и все. — Михаил укрыл сына простыней. — Молодец, Игорь. Теперь постарайся уснуть.

Он приложил ладонь ко лбу мальчика, потом отошел от койки и сделал знак жене: пойдём, ему надо отдохнуть. Ася со вздохом поднялась.

— Легче тебе, сыночек?

— Да, мама, — шепнул Игорь.

Он все еще не отпускал руки дяди Георгия, неподвижно сидевшего возле койки. Ася задернула штору и вышла вслед за Михаилом из комнаты.

Платонов поднял голову, взгляд его остановился

на Галине. Он устало улыбнулся ей и подумал: «Она смотрит на меня почти враждебно».

Через некоторое время Игорь уснул. Но как только Платонов осторожно попробовал высвободить руку, мальчик встрепенулся и сжал его пальцы еще сильнее.

И так было несколько раз.

Текло время, в комнате стало сумеречно: там, за окном, солнце клонилось к закату. Платонов украдкой взглянул на часы. Галина сидела напротив, лицом к лицу, и он встретил ее отчаянный взгляд и тихонько покачал головой.

Наконец ему удалось высвободить затекшую руку. Игорь ровно дышал во сне. Платонов обнял Галину за плечи, и они вышли на веранду.

Ася захлопотала, побежала в кухню, вернулась с подносом. От запаха еды Платонов ощутил легкое головокружение.

— Не суетись, Ася, — сказал он. — Обед никуда не уйдет. Посиди спокойно... Что пишут в газетах, Михаил?

— Не знаю. — Левитский поднял брови. — Я не читал сегодня.

Вечерний ветерок зашелестел в листве деревьев. Снизу, из города, донеслись пение скрипок, сухой говор барабана.

Платонов выпрямился, скрипнуло плетеное кресло.

— Ну что вы уставились на меня? — сказал он грубовато. — Эка невидаль: старикан, который зажил на свете...

Никто ему не ответил. Только Ася несмело сказала:

— Георгий Ильич, вы, наверно, голодный...

— Если хочешь, налей мне компоту.

Он принялся пить компот.

Галина резко поднялась.

— Георгий...

— Сядь, Галя, — прервал он ее. — Прошу тебя, сядь, — мягко повторил он. — Знаю, что должен сказать вам... Я хотел опередить свой час, но Игорь помешал мне... Послушай, Михаил, ты хорошо знаешь стариков, знаешь эти проклятые возрастные изменения, старческие болезни, слабость. Этот постепенный и не-

отвратимый износ организма. Дряхлеющий человек — черт возьми, что может быть печальней! — Упрямый огонек, хорошо знакомый Галине, зажегся в его серых глазах. — Возня с кожей и другими материалами навела меня на мысль о переводе износа живого организма в ступенчатую категорию. Человек не должен изнашиваться постепенно, как башмак. Пусть он, достигнув зрелости, сохранит ее в состоянии полного расцвета — до последнего мгновенья. До последнего вдоха!

Платонов встал и прошелся по веранде. Затем он снова опустился в кресло и продолжал уже спокойно:

— Я многие годы бился, изучая мозг. Потом мы стали работать с Нейманом. Мы установили: чтобы стабилизировать организм в фазе зрелости, надо разгрузить некоторые группы клеток мозга. Чтобы они тратили не одну свою биоэлектрическую энергию, а получали бы часть энергии извне, в виде периодической зарядки... Впрочем, в моих записях вы найдете все — и теоретические посылки и описание нашей установки. Мне пришлось повторить первоначальные опыты с ботинками. Конечно, это скорее для душевного равновесия... Потом мне прислали приборы, и тогда... Ну, словом, я торопился закончить работу до двадцать третьего августа — и я успел, как видите... Михаил, передай мой пакет Галине, она увезет его в Борки.

— Значит, вы... — начал Михаил глухим голосом.

— Да. Нам не оставалось ничего другого, как испытать на себе. И мы это сделали — Нейман и я. Была очень важна дозировка — мы собрали ее в виде одного заряда. Ты помнишь, Галя, в прошлом году мы повторили...

— Я помню! — вскричала она. — Да если бы я знала, что вы затеяли, я бы разбила магнитный модулятор!

Она зарыдала. Ася молча гладила ее по плечу.

— Ужасно... — прошептал Михаил.

— Ужасно? Нет, дорогой племянник, это прекрасно! — с силой сказал Платонов. — Похож я на твоих

стариков? То-то же! Мне за семьдесят, а я здоров и полон сил. Ужасно другое... Мне удалось сформулировать одну задачу для электронно-счетной машины, и она... Совершенно неожиданно для меня она вывела закон кратности обмена. Она безжалостно, с точностью до минуты сообщила продолжительность эффекта... Я ничего не сказал Нейману: его час оказался ближе моего... Да, Нейман был счастлив: он не знал.

Платонов вдруг направился к двери и распахнул ее. За дверью, в коридорчике, стоял Игорь — белели бинты на его коричневом теле. В руке у него была зажата книга.

— Ты подслушивал? — тихо спросил Платонов.

Мальчик смотрел на него тревожными глазами. Словно кто-то подтолкнул его — он бросился к Платонову и судорожно вцепился в него.

— Не уезжайте!.. — кричал он. — Дядя Георгий, не уезжайте! Не уезжайте!!

Платонов гладил его по голове.

— Ну, ну, Игорь, с чего ты взял?.. Ну-ка успокойся. Будь мужчиной. Никуда я не уезжаю...

Он повел его в комнату и велел лечь.

— Ты давно проснулся?

— Нет, — прошептал Игорь. — Недавно... Я зажег свет, хотел почитать, а потом...

— Вот и хорошо. А теперь спи, дружок. Книжку дай сюда. Что это?

— Это ваша. Вы ее оставили... «Портрет Дориана Грея».

— Вот как! Ну, Игорь, покойной ночи.

— Покойной ночи, дядя Георгий.

Платонов вернулся на веранду. Задумчиво полистал истрепанные страницы, потом вынул авторучку и машинально написал на титульном листе: «Будущему ученому Игорю Левитскому в память о нарушителе законов природы Георгии Платонове. Не бойся того, что здесь написано».

Он положил книгу на стол, взглянул на часы.

— Мне пора...

Он пожал трясущуюся руку Михаила. Ася с плачем кинулась ему на шею.

— Мы никогда... никогда... — Михаил пытался что-то сказать, язык его не слушался.

— Все-таки хорошо, что я повидал вас, — сказал Платонов. — Хорошо и плохо... Ну, прощайте. Пойдем, Галина, проводи меня.

Они сидели на камне, еще хранящем тепло ушедшего дня. Море с шорохом набегало на крохотный пляжик,жатый скалами. Справа виднелись городские огни, освещенный куб морского вокзала, цепочка огней на набережной.

— Мы часто купались здесь с Игорем.

Галина не ответила. Она, казалось, окаменела.

Платонов притянул ее к себе.

— Будь умницей, Галина... Продолжай работать. Продолжай работать, слышишь? Со старостью надо бороться, но только так, чтобы это не было противоестественно в круговороте природы. Ты слышишь меня?.. Ступенчатый износ — правильная идея. Но человек не должен знать своего часа. Это мешает жить... Ты слышишь? Поезжай в Ленинград к Зыбину, отдай ему запись последнего опыта. Там указан путь... Галя, очнись! Слушай! Я нащупал возможность нарушить кратность обмена. Ты с Зыбиным обязана довести это до конца.

Он встал, снял с руки часы, взглянул на них еще раз — и с силой ударил о камень. И отшвырнул в море.

— Я иду, Галя... Жизнь вышла из океана. Мы носим океан в своей соленой крови. Я хочу, чтобы это произошло в море...

— Не пушу! — крикнула Галина, изо всех сил обхватив его руками. — Не пушу, не пушу! — иступленно повторяла она.

Он гладил ее по голове, по плечам. Лицо его было запрокинуто вверх, к звездному рою, но он не видел звезд: он крепко зажмурил глаза.

Потом он решительно отвел ее руки. Быстро сбросил одежду и вошел в теплую черную воду. Зашуршала галька.

Женщина, рыдая, бросилась за ним.

— Будь умницей, Галина. У меня мало времени, а я хочу доплыть до выхода из бухты...

Стоя на берегу, она еще видела некоторое время его голову и руки — мерно появляющиеся и исчезающие. Потом темнота скрыла его, но еще долго слышала женщина в ночной темноте тихий плеск воды под его руками.

СЕВЕР ГАНСОВСКИЙ

ДЕНЬ ГНЕВА

Председатель комиссии. Вы читаете на нескольких языках, знакомы с высшей математикой и можете выполнять кое-какие работы. Считаете ли вы, что это делает вас Человеком?

Отарк. Да, конечно. А разве люди знают что-нибудь еще?

(Из допроса отарка. Материалы Государственной комиссии)

Двое всадников выехали из поросшей густой травой долины и начали подниматься в гору. Впереди на горбоносом чалом жеребце лесничий, а Дональд Бетли на рыжей кобыле за ним. На каменистой тропе кобыла споткнулась и упала на колени. Задумавшийся Бетли чуть не свалился, потому что седло — английское скаковое седло с одной подпругой — съехало лошади на шею.

Лесничий подождал его наверху.

— Не позволяйте ей опускать голову, она спотыкается.

Бетли, закусив губу, бросил на него досадливый взгляд. Черт возьми, об этом можно было предупредить и раньше! Он злился также и на себя, потому что кобыла обманула его. Когда Бетли ее седлал, она надула брюхо, чтобы потом подпруга была совсем свободной.

Он так натянул повод, что лошадь залясала и отдала назад.

Тропа опять стала ровной. Они ехали по плоскогорью, и впереди поднимались одетые хвойными лесами вершины холмов.

Лошади шли длинным шагом, иногда сами переходя на рысь и стараясь перегнать друг друга. Когда кобылка выдвигалась вперед, Бетли делались видны загорелые, чисто выбритые худые щеки лесничего и его

угрюмые глаза, устремленные на дорогу. Он как будто вообще не замечал своего спутника.

«Я слишком непосредствен, — думал Бетли. — И это мне мешает. Я с ним заговаривал уже раз пять, а он либо отвечает мне односложно, либо вообще молчит. Не ставит меня ни во что. Ему кажется, что если человек разговорчив, значит он болтун и его не следует уважать. Просто они тут в глуши не знают меры вещей. Думают, что это ничего не значит — быть журналистом. Даже таким журналистом, как... Ладно, тогда я тоже не буду к нему обращаться. Плевать!..»

Но постепенно настроение его улучшалось. Бетли был человек удачливый и считал, что всем другим должно так же правиться жить, как и ему. Замкнутость лесничего его удивляла, но вражды к нему он не чувствовал.

Погода, с утра дурная, теперь прояснилась. Туман рассеялся. Мутная пелена в небе разошлась на отдельные облака. Огромные тени быстро бежали по темным лесам и ущельям, и это подчеркивало суровый, дикий и какой-то свободный характер местности.

Бетли похлопал кобылку по влажной, пахнущей потом шее.

— Тебе, видно, спутывали передние ноги, когда отпускали на пастбище, и от этого ты спотыкаешься. Ладно, мы еще столкнемся.

Он дал лошади повод и нагнал лесничего.

— Послушайте, мистер Меллер, а вы и родились в этих краях?

— Нет, — сказал лесничий, не оборачиваясь.

— А где?

— Далеко.

— А здесь давно?

— Давно, — Меллер повернулся к журналисту. — Вы бы лучше потише разговаривали. А то они могут услышать.

— Кто они?

— Отарки, конечно. Один услышит и передаст другим. А то и просто может подстеречь, прыгнуть сзади и разорвать... Да и вообще лучше, если они не будут знать, зачем мы сюда едем.

— Разве они часто нападают? В газетах писали, таких случаев почти не бывает.

Лесничий промолчал.

— А они нападают сами? — Бетли невольно оглянулся. — Или стреляют тоже? Вообще оружие у них есть? Винтовки или автоматы?

— Они стреляют очень редко. У них же руки не так устроены... Тьфу, не руки, а лапы! Им неудобно пользоваться оружием.

— Лапы, — повторил Бетли. — Значит, вы их здесь за людей не считаете?

— Кто? Мы?

— Да, вы. Местные жители.

Лесничий сплюнул.

— Конечно, не считаем. Их здесь ни один человек за людей не считает.

Он говорил отрывисто. Но Бетли уже забыл о своем решении держаться замкнуто.

— Скажите, а вы с ними разговаривали? Правда, что они хорошо говорят?

— Старые хорошо. Те, которые были еще при лаборатории... А молодые хуже. Но все равно, молодые еще опаснее. Умнее, у них и головы в два раза больше. — Лесничий вдруг остановил коня. В голосе его была горечь. — Послушайте, зря мы все это обсуждаем. Все напрасно. Я уже десять раз отвечал на такие вопросы.

— Что напрасно?

— Да вся эта наша поездка. Ничего из нее не получится. Все останется, как прежде.

— Но почему останется? Я приехал от влиятельной газеты. У нас большие полномочия. Материал готовится для сенатской комиссии. Если выяснится, что отарки действительно представляют такую опасность, будут приняты меры. Вы же знаете, что на этот раз собираются послать войска против них.

— Все равно ничего не выйдет, — вздохнул лесничий. — Вы же не первый сюда приезжаете. Тут каждый год кто-нибудь бывает, и все интересуются только отарками. Но не людьми, которым приходится с отарками жить. Каждый спрашивает: «А правда, что они

могут изучить геометрию?.. А верно, что есть отарки, которые понимают теорию относительности?» Как будто это имеет какое-нибудь значение! Как будто из-за этого их не нужно уничтожать!

— Но я для того и приехал, — начал Бетли, — чтобы подготовить материал для комиссии. И тогда вся страна узнает, что...

— А другие, вы думаете, не готовили материалов? — перебил его Меллер. — Да, и кроме того... Кроме того, как вы поймете здешнюю обстановку? Тут жить нужно, чтобы понять. Одно дело проехаться, и другое — жить все время. Эх!.. Да что говорить! По-едем. — Он тронул коня. — Вот отсюда уже начинают места, куда они заходят. От этой долины.

Журналист и лесничий были теперь на крутизне. Тропинка, змеясь, уходила из-под копыт коней все вниз и вниз.

Далеко под ними лежала заросшая кустарником долина, перерезанная вдоль каменистой узкой речкой. Сразу от псе вверх поднималась стена леса, а за ней в необозримой дали — забеленные снегами откосы Главного хребта.

Местность просматривалась отсюда на десятки километров, но нигде Бетли не мог заметить и признака жизни — ни дымка из трубы, ни стога сена. Казалось, край вымер.

Солнце скрылось за облаком, сразу стало холодно, и журналист вдруг почувствовал, что ему не хочется спускаться вниз за леспичим. Он зябко передернул плечами. Ему вспомнился теплый, нагретый воздух его городской квартиры, светлые и тоже теплые комнаты редакции. Но потом он взял себя в руки. «Ерунда! Я бывал и не в таких переделках. Чего меня бояться? Я прекрасный стрелок, у меня великолепная реакция. Кого еще они могли бы послать, кроме меня?» Он увидел, как Меллер взял из-за спины ружье, и сделал то же самое со своим.

Кобыла осторожно переставляла ноги на узкой тропе.

Когда они спустились, Меллер сказал:

— Будем стараться ехать рядом. Лучше не разго-

варивать. Часам к восьми нужно добраться до фермы Стеглика. Там переночуем.

Они тронулись и ехали около двух часов молча. Поднялись вверх и обогнули Маунт-Беар, так что справа у них все время была стена леса, а слева обрыв, поросший кустарником, но таким мелким и редким, что там никто не мог прятаться. Спустились к реке и по каменистому дну выбрались на асфальтированную, заброшенную дорогу, где асфальт потрескался и в трещинах пророс травой.

Когда они были на этом асфальте, Меллер вдруг остановил коня и прислушался. Затем он спешился, стал на колени и приложил ухо к дороге.

— Что-то неладно, — сказал он, поднимаясь. — Кто-то за нами скачет. Уйдем с дороги.

Бетли тоже спешился, и они отвели лошадей за канаву в заросли ольхи.

Минуты через две журналист услышал цокот копыт. Он приближался. Чувствовалось, что всадник гонит воею.

Потом через жухлые листья они увидели серую лошадь, скачущую торопливым галопом. На ней неумело сидел мужчина в желтых верховых брюках и дождевике. Он проехал так близко, что Бетли хорошо рассмотрел его лицо и понял, что видел уже этого мужчину. Он даже вспомнил где. Впрочем в городке возле бара стояла компания. Человек пять или шесть, плечистых, крикливо одетых. И у всех были одинаковые глаза. Ленивые, полузакрытые, наглые. Журналист знал эти глаза — глаза гангстеров.

Едва всадник проехал, Меллер выскочил на дорогу.

— Эй!

Мужчина стал сдерживать лошадь и остановился.

— Эй, подожди!

Всадник огляделся, узнал, очевидно, лесничего. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Потом мужчина махнул рукой, повернул лошадь и поскакал дальше.

Лесничий смотрел ему вслед, пока звук копыт не затих вдали. Потом он вдруг со стоном ударил себя кулаком по голове.

— Вот теперь-то уже ничего не выйдет! Теперь на-верняка.

— А что такое? — спросил Бетли. Он тоже вышел из кустов.

— Ничего... Просто теперь конец нашей затее.

— Но почему? — Журналист посмотрел на лесни-чего и с удивлением увидел в его глазах слезы.

— Теперь все кончено, — сказал Меллер, отвернул-ся и тыльной стороной кисти вытер глаза. — Ах, гады! Ах, гады!

— Послушайте! — Бетли тоже начал терять терпе-ние. — Если вы так будете нервничать, пожалуй, нам действительно не стоит ехать.

— Нервничать! — воскликнул лесничий. — По-ва-шему, я нервничаю? Вот посмотрите!

Взмахом руки он показал на еловую ветку с крас-ными шишками, свесившуюся над дорогой шагах в три-дцати от них.

Бетли еще не понял, зачем он должен на нее смот-реть, как грянул выстрел, в лицо ему пахнул поро-ховой дымок, и самая крайняя, отдельно висевшая шишка свалилась на асфальт.

— Вот как я нервничаю. — Меллер пошел в оль-шаник за конем.

Они подъехали к ферме как раз, когда начало тем-неть.

Из бревенчатого недостроенного дома вышел высо-кий чернобородый мужчина со всклокоченными воло-сами и стал молча смотреть, как лесничий и Бетли расседлывают лошадей. Потом на крыльце появилась женщина, рыжая, с плоским, невыразительным лицом и тоже непричесанная. А за ней трое детей. Двое мальчишек восьми или девяти лет и девочка лет тринадцати, тоненькая, как будто нарисованная ломкой линией.

Все эти пятеро не удивились приезду Меллера и журналиста, не обрадовались и не огорчились. Просто стояли и молча смотрели. Бетли это молчание не по-правилось.

За ужином он попытался завести разговор.

— Послушайте, как вы тут управляетесь с отарка-ми? Очень они вам досаждают?

— Что? — чернобровый фермер приложил ладонь к уху и перегнулся через стол. — Что? — крикнул он. — Говорите громче. Я плохо слышу.

Так продолжалось несколько минут, и фермер упор-но не желал понимать, чего от него хотят. В конце концов он развел руками. Да, отарки здесь бывают. Мешают ли они ему? Нет, лично ему не мешают. А про других он не знает. Не может ничего сказать.

В середине этого разговора тонкая девочка встала, запахнулась в платок и, не сказав никому ни слова, вышла.

Как только все тарелки опустели, жена фермера принесла из другой комнаты два матраца и принялась стелить для приезжих.

Но Меллер ее остановил:

— Пожалуй, мы лучше переночуем в сарае.

Женщина, не отвечая, выпрямилась. Фермер по-спешно встал из-за стола.

— Почему? Переночуйте здесь.

Но лесничий уже брал матрацы.

В сарае высокий фермер проводил их с фонарем. С минуту смотрел, как они устраиваются, и один мо-мент на лице у него было такое выражение, будто он собирается что-то сказать. Но он только поднял руку и почесал голову. Потом ушел.

— Зачем все это? — спросил Бетли. — Неужели отарки и в дома забираются?

Меллер поднял с земли толстую доску и припер ею тяжелую крепкую дверь, проверив, чтобы доска не со-скользнула.

— Давайте ложиться, — сказал он. — Всякое быва-ет. В дома они тоже забираются.

Журналист сел на матрац и принялся расшнуровы-вать ботинки.

— А скажите, настоящие медведи тут остались? Не отарки, а настоящие дикие медведи. Тут ведь во-обще-то много медведей водилось, в этих лесах?

— Ни одного, — ответил Меллер. — Первое, что отарки сделали, когда они из лаборатории вырвались,

с острова, — это они настоящих медведей уничтожили. Волков тоже. Еноты тут были, лисицы — всех в общем. Яду взяли в разбитой лаборатории, мелкоту ядом травили. Здесь по всей округе дохлые волки валялись — волков они почему-то не ели. А медведей собирали всех. Они ведь и сами своих даже иногда едят.

— Своих?

— Конечно, они ведь не люди. От них не знаешь, чего ждать.

— Значит, вы их считаете просто зверями?

— Нет. — Лесничий покачал головой. — Зверьями мы их не считаем. Это только в городах спорят, люди они или звери. Мы-то здесь знаем, что они и ни то и ни другое. Понимаете, раньше было так: были люди, и были звери. И все. А теперь есть что-то третье — отарки. Это в первый раз такое появилось, за все время, пока мир стоит. Отарки не звери — хорошо, если б они были только зверьями. Но и не люди, конечно.

— Скажите, — Бетли чувствовал, что ему все-таки не удержаться от вопроса, бапальность которого он понимал, — а верно, что они запросто овладевают высшей математикой?

Лесничий вдруг резко повернулся к нему.

— Слушайте, заткнитесь насчет математики наконец! Заткнитесь! Я лично гроша ломаного не дам за того, кто знает высшую математику. Да, математика для отарков хоть бы хны! Ну и что?.. Человеком нужно быть — вот в чем дело.

Он отвернулся и закусил губу.

«У него невроз, — подумал Бетли. — Да еще очень сильный. Он больной человек».

Но лесничий уже успокаивался. Ему было неудобно за свою вспышку. Помолчав, он спросил:

— Извините, а вы его видели?

— Кого?

— Ну, этого гения, Фидлера.

— Фидлера?.. Видел. Я с ним разговаривал перед самым выездом сюда. По поручению газеты.

— Его там, наверное, держат в целлофановой обертке? Чтобы на него капля дождя не упала.

— Да, его охраняют. — Бетли вспомнил, как у него проверили пропуск и обыскали его в первый раз возле стены, окружающей Научный центр. Потом еще проверка, и снова обыск — перед въездом в институт. И третий обыск — перед тем как впустить его в сад, где к нему и вышел сам Фидлер. — Его охраняют. Но он действительно гениальный математик. Ему тринадцать лет было, когда он сделал свои «Поправки к общей теории относительности». Конечно, он необыкновенный человек, верно ведь?

— А как он выглядит?

— Как выглядит?

Журналист замялся. Он вспомнил Фидлера, когда тот в белом просторном костюме вышел в сад. Что-то неловкое было в его фигуре. Широкий таз, узкие плечи. Короткая шея... Это было странное интервью, потому что Бетли чувствовал, что проинтервьюировали скорее его самого. То есть Фидлер отвечал на его вопросы. Но как-то несерьезно. Как будто он посмеивался над журналистом и вообще над всем миром обыкновенных людей там, за стенами Научного центра. И спрашивал сам. Но какие-то дурацкие вопросы. Разную ерунду, вроде того, любит ли Бетли морковный сок. Как если бы этот разговор был экспериментальным — он, Фидлер, изучает обыкновенного человека.

— Он среднего роста, — сказал Бетли. — Глаза маленькие... А вы разве его не видели? Он же тут бывал, на озере и в лаборатории.

— Он приезжал два раза, — ответил Меллер. — Но с ним была такая охрана, что простых смертных и на километр не подпускали. Тогда еще отарков держали за загородкой, и с ним работали Рихард и Клейн. Клейна они потом съели. А когда отарки разбежались, Фидлер здесь уже не показывался... Что же он теперь говорит насчет отарков?

— Насчет отарков?.. Сказал, что то был очень интересный научный эксперимент. Очень перспективный. Но теперь он этим не занимается. У него что-то связанное с космическими лучами... Говорил еще, что сожалеет о жертвах, которые были.

— А зачем это все было сделано? Для чего?

— Ну, как вам сказать?.. — Бетли задумался. — Понимаете, в науке ведь так бывает: «А что, если?..» Из этого родилось много открытий.

— В каком смысле «А что, если?»

— Ну, например: «А что, если в магнитное поле поместить проводник под током?» И получился электродвигатель... Короче говоря, действительно эксперимент.

— Эксперимент, — Меллер скрипнул зубами. — Сделали эксперимент — выпустили людоедов на людей. А теперь про нас никто и не думает. Управляйтесь сами, как знаете. Фидлер уже плюнул на отарков и на нас тоже. А их тут расплодилось сотни, и никто не знает, что они против людей замышляют. — Он помолчал и вздохнул. — Эх, подумать только, что пришло в голову! Сделать зверей, чтобы они были умнее, чем люди. Совсем уж обалдели там, в городах. Атомные бомбы, а теперь вот это. Наверное, хотят, чтобы род человеческий совсем кончился.

Он встал, взял заряженное ружье и положил рядом с собой на землю.

— Слушайте, мистер Бетли. Если будет какая-нибудь тревога, кто-нибудь станет стучаться к нам или ломиться, вы лежите, как лежали. А то мы друг друга в темноте перестреляем. Вы лежите, а я уж знаю, что делать. Я так натренировался, что, как собака, просыпаюсь от одного предчувствия.

Утром, когда Бетли вышел из сарая, солнце светило так ярко и вымытая дождиком зелень была такая свежая, что все ночные разговоры показались ему всего лишь страшными сказками.

Чернобородый фермер был уже на своем поле — его рубаха пятнышком белела на той стороне речки. На миг журналисту подумалось, что, может быть, это и есть счастье — вот так вставать вместе с солнцем, не зная тревог и забот сложной городской жизни, иметь дело только с рукояткой лопаты, с комьями бурой земли.

Но лесничий быстро вернул его к действительности. Он появился из-за сарая с ружьем в руке.

— Идемте, покажу вам одну штуку.

Они обошли сарай и вышли в огород с задней стороны дома. Тут Меллер повел себя странно. Согнувшись, перебежал кусты и присел в канаве возле картофельных гряд. Потом знаком показал журналисту сделать то же самое.

Они стали обходить огород по канаве. Один раз из дому донесся голос женщины, но что она говорила, было не разобрать.

Меллер остановился.

— Вот посмотрите.

— Что?

— Вы же говорили, что вы охотник. Смотрите!

На лысенке между космами травы лежал четкий пятипалый след.

— Медведь? — с надеждой спросил Бетли.

— Какой медведь? Медведей уже давно нет.

— Значит, отарк?

Лесничий кивнул.

— Совсем свежие, — прошептал журналист.

— Ночные следы, — сказал Меллер. — Видите, засырили. Это он еще до дождя был в доме.

— В доме? — Бетли почувствовал холодок в спине, как прикосновение чего-то металлического. — Прямо в доме?

Лесничий не ответил, кивком показал журналисту в сторону канавы, и они молча проделали обратный путь.

У сарая Меллер подождал, пока Бетли отдышится.

— Я так и подумал вчера. Еще когда мы вечером приехали и Стеглик стал притворяться, что плохо слышит. Просто он старался, чтобы мы громче говорили и чтобы отарку все было слышно. А отарк сидел в соседней комнате.

Журналист почувствовал, что голос у него хрипнет.

— Что вы говорите? Выходит, здесь люди объединяются с отарками? Против людей же!

— Вы тише, — сказал лесничий. — Что значит «объединяются»? Стеглик ничего и не мог поделать. Отарк пришел и остался. Это часто бывает. Отарк приходит и ложится, например, на заправленную постель

в спальне. А то и просто выгонит людей из дому и занимает его на сутки или на двое.

— Ну, а люди-то? Так и терпят? Почему они в них не стреляют?

— Как же стрелять, если в лесу другие отарки? А у фермера дети, и скотина, которая на лугу пасется, и дом, который можно поджечь... Но главное — дети. Они же ребенка могут взять. Разве уследишь за малышами? И кроме того, они тут у всех ружья взяли. Еще в самом начале. В первый год.

— И люди отдали?

— А что сделаешь? Кто не отдавал, потом раскался...

Он не договорил и вдруг уставился на заросль ивняка шагах в пятнадцати от них.

Все дальнейшее произошло в течение двух-трех секунд.

Меллер вскинул ружье и взвел курок. Одновременно над кустарником поднялась бурая масса, сверкнули большие глаза, злые и испуганные, раздался голос:

— Эй, не стреляйте! Не стреляйте!

Инстинктивно журналист схватил Меллера за плечо. Грянул выстрел, но пуля только сбила ветку. Бурая масса сложилась вдвое, шаром прокатилась по лесу и исчезла между деревьями. Несколько мгновений слышался треск кустарника, потом все смолкло.

— Какого черта! — Лесничий в бешенстве обернулся. — Почему вы это сделали?

Журналист, побледневший, прошептал:

— Он говорил, как человек... Он просил не стрелять.

Секунду лесничий смотрел на него, потом гнев его сменился усталым равнодушием. Он опустил ружье.

— Да, пожалуй... В первый раз это производит впечатление.

Позади них раздался шорох. Они обернулись.

Жена фермера сказала:

— Пойдемте в дом. Я уже накрыла на стол.

Во время еды все делали вид, будто ничего не произошло.

После завтрака фермер помог оседлать лошадей. Попрощались молча.

Когда они поехали, Меллер спросил:

— А какой у вас, собственно, план? Я толком и не понял. Мне сказали, что я должен проводить тут вас по горам, и все.

— Какой план?.. Да вот и проехать по горам. По-видать людей — чем больше, тем лучше. Познакомиться с отарками, если удастся. Одним словом, почувствовать атмосферу.

— На этой ферме вы уже почувствовали?

Бетли пожал плечами.

Лесничий вдруг придержал коня.

— Типе...

Он прислушивался.

— За нами бегут... На ферме что-то случилось.

Бетли еще не успел поразиться слуху лесничего, как сзади раздался крик:

— Эй, Меллер, эй!

Они повернули лошадей, к ним, задыхаясь, бежал фермер. Он почти упал, взявшись за луку седла Меллера.

— Отарк взял Тину. Поташил к Лосиному оврагу.

Он хватал ртом воздух, со лба падали капли пота.

Одним махом лесничий подхватил фермера на седло. Его жеребец рванулся вперед, грязь высоко брызнула из-под копыт.

Никогда прежде Бетли не подумал бы, что он может с такой быстротой мчаться на коне. Ямы, стволы поваленных деревьев, кустарников, канавы неслись под ним, сливаясь в какие-то мозаичные полосы. Где-то веткой с него сбило фуражку, он даже не заметил.

Впрочем, это и не зависело от него. Его лошадь в яростном соревновании старалась не отстать от жеребца. Бетли обхватил ее за шею. Каждую секунду ему казалось, что он сейчас будет убит.

Они проскакали лесом, большой поляной, косогором, обогнали жену фермера и спустились в большой овраг.

Тут лесничий спрыгнул с коня и, сопровождаемый фермером, побежал узкой тропкой в чащу редкого молодого просвечивающего сосняка.

Журналист тоже оставил кобылу, бросив повод ей на шею, и кинулся за Меллером. Он бежал за лесником, и в уме у него автоматически отмечалось, как удивительно переменился тот. От прежней нерешительности и апатии Меллера не осталось ничего. Движения его были легкими и собранными, ни секунды не задумываясь, он менял направление, перескакивал ямы, подлезал под низкие ветви. Он двигался, как будто след отарка был проведен перед ним жирной меловой чертой.

Некоторое время Бетли выдерживал темп бега, потом стал отставать. Сердце у него прыгало в груди, он чувствовал удушье и жжение в горле. Он перешел на шаг, несколько минут брел в чаще один, потом услышал впереди голоса.

В самом узком месте оврага лесничий стоял с ружьем наготове перед густой зарослью орешника. Тут же был отец девушки.

Лесничий сказал раздельно:

— Отпусти ее. Иначе я тебя убью.

Он обращался туда, в заросль.

В ответ раздалось рычание, перемежаемое детским плачем.

Лесничий повторил:

— Иначе я тебя убью. Я жизнь положу, чтобы тебя выследить и убить. Ты меня знаешь.

Снова раздалось рычание, потом голос, но не человеческий, а какой-то граммофонный, вяжущий все слова в одно, спросил:

— А так ты меня не убьешь?

— Нет, — сказал Меллер. — Так ты уйдешь живой.

В чаще помолчали. Раздавались только всхлипывания.

Потом послышался треск ветвей, белое мелькнуло в кустарнике. Из заросли вышла тоненькая девушка. Одна рука была у нее окровавлена, она придерживала ее другой.

Всхлипывая, она прошла мимо трех мужчин, не поворачивая к ним головы, и побрела, пошатываясь, к дому.

Все трое проводили ее взглядом.

Чернобородый фермер посмотрел на Меллера и Бетли. В его широко раскрытых глазах было что-то такое режущее, что журналист не выдержал и опустил голову.

— Вот, — сказал фермер.

Они остановились переночевать в маленькой пустой сторожке в лесу. До озера с островом, на котором когда-то была лаборатория, оставалось всего несколько часов пути, но Меллер отказался ехать в темноте.

Это был уже четвертый день их путешествия, и журналист чувствовал, что его испытанный оптимизм начинает давать трещины. Раньше на всякую случившуюся с ним неприятность у него наготове была фраза: «А все-таки жизнь чертовски хорошая штука!» Но теперь он понимал, что это дежурное изречение, вполне годившееся, когда в комфортабельном вагоне едешь из одного города в другой илиходишь через стеклянную дверь в вестибюль отеля, чтобы встретиться с какой-нибудь знаменитостью, — что это изречение решительно неприменимо для случая со Стегликом, например.

Весь край казался пораженным болезнью. Люди были апатичны, неразговорчивы. Даже дети не смеялись.

Однажды он спросил у Меллера, почему фермеры не уезжают отсюда. Тот объяснил, что все, чем местные жители владеют, — это земля. Но теперь ее невозможно было продать. Она обесценилась из-за отарков.

Бетли спросил:

— А почему вы не уезжаете?

Лесничий подумал. Он закусил губу, помолчал, потом ответил:

— Все же я приношу какую-то пользу. Отарки меня бояться. У меня ничего здесь нет. Ни семьи, ни дома. На меня никак нельзя повлиять. Со мной можно только драться. Но это рискованно.

— Значит, отарки вас уважают?

Меллер недоуменно поднял голову.

— Отарки?.. Нет, что вы! Уважать они тоже не могут. Они же не люди. Только бояться. И это правильно. Я же их убиваю.

Однако па известный риск отарки все-таки шли. Лесничий и журналист оба чувствовали это. Было такое впечатление, что вокруг них постепенно замыкается кольцо. Три раза в них стреляли. Один выстрел был сделан из окна заброшенного дома, а два — прямо из леса. Все три раза после неудачного выстрела они находили свежие следы. И вообще следы отарков попадались им все чаще и чаще с каждым днем...

В сторожке, в сложенном из камней маленьком очаге, они разожгли огонь и приготовили себе ужин. Лесничий закурил трубку, печально глядя перед собой.

Лошадей они поставили напротив раскрытой двери сторожки.

Журналист смотрел на лесничего. За то время, пока они были вместе, с каждым днем все возрастало его уважение к этому человеку. Меллер был необразован, вся его жизнь прошла в лесах, он почти ничего не читал, с ним и двух минут нельзя было поддерживать разговора об искусстве. И тем не менее журналист чувствовал, что он не хотел бы себе лучшего друга. Суждения лесничего всегда были здравы и самостоятельны; если ему нечего было говорить, он молчал. Сначала он показался журналисту каким-то издерганным и раздражительно слабым, но теперь Бетли понимал, что это была давняя горечь за жителей большого заброшенного края, который по милости ученых постигла беда.

Последние два дня Меллер чувствовал себя больным. Его мучила болотная лихорадка. От высокой температуры лицо его покрылось красными пятнами.

Огонь прогорел в очаге, и лесничий неожиданно спросил:

— Скажите, а он молодой?

— Кто?

— Этот ученый. Фидлер.

— Молодой, — ответил журналист. — Ему лет тридцать. Не больше. А что?

— То-то и плохо, что он молодой, — сказал лесничий.

— Почему?

Меллер помолчал.

— Вот они, способные, их сразу берут и помещают в закрытую среду. И нянчатся с ними. А они жизни совсем не знают. И поэтому не сочувствуют людям. — Он вздохнул. — Человеком сначала надо быть. А потом уже ученым.

Он встал.

— Пора ложиться. По очереди придется спать. А то отарки у нас лошадей зарежут.

Журналисту вышло бодрствовать первому.

Лошади похруывали сеном возле небольшого прошлогоднего стойла.

Он уселся у порога хижины, положив ружье на колени.

Темнота спустилась быстро, как накрыла. Потом глаза его постепенно привыкли к мраку. Взошла луна. Небо было чистое, звездное. Перекликаясь, где-то наверху пролетела стайка маленьких птичек, которые в отличие от крупных птиц, боясь хищников, совершают свои осенние кочевья по ночам.

Бетли встал и прошелся вокруг сторожки. Лес плотно окружал поляну, где стоял домик, и в этом была опасность. Журналист проверил, взведены ли курки у ружья.

Он стал перебирать в памяти события последних дней, разговоры, лица и подумал о том, как будет рассказывать об отарках, вернувшись в редакцию. Потом ему пришло в голову, что, собственно, эта мысль о возвращении постоянно присутствовала в его сознании и окрашивала в совсем особый цвет все, с чем ему приходилось встречаться. Даже когда они гнались за отарком, схватившим девочку, он, Бетли, не забывал, что как ни жутко здесь, но он сможет вернуться и уйти от этого.

«Я-то вернусь, — сказал он себе. — А Меллер? А другие?..»

Но эта мысль была слишком сурова, чтобы он решил сейчас додумывать ее до конца.

Он сел в тень от сторожки и стал размышлять об отарках. Ему вспомнилось название статьи в какой-то газете: «Разум без доброты». Это было похоже на то, что говорил лесничий. Для него отарки не были людьми, потому что не имели «сочувствия». Разум без доброты. Но возможно ли это? Может ли вообще существовать разум без доброты? Что начальнее? Не есть ли эта самая доброта следствие разума? Или наоборот?.. Действительно, уже установлено, что отарки способнее людей к логическому мышлению, что они лучше понимают абстракцию и отвлеченность и лучше запоминают. Уже ходили слухи, что несколько отарков из первой партии содержатся в военном министерстве для решения каких-то особых задач. Но ведь и «думающие машины» тоже используются для решения всяких особых задач. И какая тут разница?

Он вспомнил, как один из фермеров сказал им с Меллером, что недавно видел почти совсем голого отарка, и лесничий ответил на это, что отарки в последнее время все больше делаются похожими на людей. Неужели они в самом деле завоюют мир? Неужели разум без доброты сильнее человеческого разума?

«Но это будет не скоро, — сказал он себе. — Даже если и будет. Во всяком случае, я-то успею прожить и умереть».

Но затем его тотчас ударило: дети! В каком мире они будут жить — в мире отарков или в мире кибернетических роботов, которые тоже не гуманны и тоже, как утверждают некоторые, умнее человека?

Его сынишка внезапно появился перед ним и заговорил:

«Папа, слушай. Вот мы — это мы, да? А они — это они. Но ведь они тоже думают про себя, что они — мы?»

«Что-то вы слишком рано созреваете, — подумал Бетли. — В семь лет я не задавал таких вопросов».

Где-то сзади хрустнула ветка. Мальчик исчез.

Журналист тревожно огляделся и прислушался. Нет, все в порядке.

Летучая мышь косым трепещущим полетом пересекла поляну.

Бетли выпрямился. Ему пришло в голову, что лесничий что-то скрывает от него. Например, он еще не сказал, что это был за всадник, который в первый день обогнал их на заброшенной дороге.

Он опять оперся спиной о стену домика. Еще раз сын появился перед ним и снова с вопросом:

«Папа, а откуда все? Деревья, дома, воздух, люди? Откуда все это взялось?»

Он стал рассказывать мальчику об эволюции мироздания, потом что-то остро кольнуло его в сердце, и Бетли проснулся.

Луна зашла. Но небо уже немного посветлело.

Лошадей на поляне не было. Вернее, одной не было, а вторая лежала на траве, и над ней копошились три серые тени. Одна выпрямилась, и журналист увидел огромного отарка с крупной тяжелой головой, ослепленной пастью и большими, блестящими в полумраке глазами.

Потом где-то близко раздался шепот:

— Он спит.

— Нет, он уже проснулся.

— Подойди к нему.

— Он выстрелит.

— Он выстрелил бы раньше, если бы мог. Он либо спит, либо оцепенел от страха. Подойди к нему.

— Подойди сам.

А журналист действительно оцепенел. Это было как во сне. Он понимал, что случилось непоправимое, надвинулась беда, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Шепот продолжался:

— Но тот, другой? Он выстрелит.

— Он болен. Он не проснется... Ну иди, слышишь!

С огромным трудом Бетли скосил глаза. Из-за угла сторожки показался отарк. Но этот был маленький, похожий на свинью.

Преодолевая оцепенение, журналист нажал на курки ружья. Два выстрела прогремели один за другим, две картечины унеслись в небо.

Бетли вскочил, ружье выпало у него из рук. Он бросился в сторожку, дрожа, захлопнул за собой дверь и накиннул щеколду.

Лесничий стоял с ружьем наготове. Его губы пошевелились, журналист скорее почувствовал, чем услышал вопрос:

— Лошади?

Он кивнул.

За дверью послышался порох. Отарки чем-то подпирали ее снаружи.

Раздался голос:

— Эй, Меллер! Эй!

Лесничий метнулся к окошку, высунул было ружье. Тотчас черная лапа мелькнула на фоне светлеющего неба; он едва успел убрать двустволку.

Снаружи удовлетворенно засмеялись.

Граммофонный, растягивающий звуки голос сказал:

— Вот ты и кончился, Меллер.

И, перебивая его, заговорили другие голоса:

— Меллер, Меллер, поговори с нами...

— Эй, лесник, скажи что-нибудь содержательное.

Ты же человек, должен быть умным...

— Меллер, выскажись, и я тебя опровергну...

— Поговори со мной, Меллер. Называй меня по имени. Я Филипп...

Лесничий молчал.

Журналист неверными шагами подошел к окошку. Голоса были совсем рядом, за бревенчатой стеной. Несло звериным запахом — кровью, пометом, еще чем-то.

Тот отарк, который назвал себя Филиппом, сказал под самым окошком:

— Ты журналист, да? Ты, кто подошел?..

Журналист откашлялся. В горле у него было сухо. Тот же голос спросил:

— Зачем ты приехал сюда?

Стало тихо.

— Ты приехал, чтобы нас уничтожили?

Миг опять была тишина, затем возбужденные голоса заговорили:

— Конечно, конечно, они хотят истребить нас...

Сначала они сделали нас, а теперь хотят уничтожить...

Раздалось рычание, потом шум. У журналиста было такое впечатление, что отарки подрались.

Перебивая всех, заговорил тот, который называл себя Филиппом:

— Эй, лесник, что же ты не стреляешь? Ты же всегда стреляешь. Поговори со мной теперь.

Где-то сверху вдруг неожиданно ударил выстрел.

Бетли обернулся.

Лесничий взобрался на очаг, раздвинул жерди, из которых была сложена крыша, крытая сверху соломой, и стрелял.

Он выстрелил дважды, моментально перезарядил и снова выстрелил.

Отарки разбскались.

Меллер спрыгнул с очага.

— Теперь нужно достать лошадей. А то нам туго придется.

Они осмотрели трех убитых отарков.

Один, молодой, действительно был почти голый, шерсть росла у него только на загривке.

Бетли чуть не стошнило, когда Меллер перевернул отарка на траве. Он сдержался, схватившись за рот.

Лесничий сказал:

— Вы помните, что они не люди. Хотя они и разговаривают. Они людей едят. И своих тоже.

Журналист осмотрелся. Уже рассвело. Поляна, лес, убитые отарки — все на миг показалось ему нереальным.

Может ли это быть?.. Он ли это, Дональд Бетли, стоит здесь?..

— Вот здесь отарк съел Клейна, — сказал Меллер. — Это один из наших рассказывал, из местных. Его тут наняли уборщиком, когда была лаборатория. И в тот вечер он случайно оказался в соседней комнате. И все слышал...

Журналист и лесничий были теперь на острове, в главном корпусе Научного центра. Утром они сняли седла с зарезанных лошадей и по дамбе перебрались на остров. У них осталось теперь только одно ружье,

потому что двустволку Бетли отарки, убегая, унесли с собой. План Меллера состоял в том, чтобы засветло дойти до ближайшей фермы, взять там лошадей. Но журналист выговорил у него полчаса на осмотр заброшенной лаборатории.

— Он все слышал, — рассказывал лесничий. — Это было вечером, часов в десять. У Клейна была какая-то установка, которую он разбирал, возясь с электрическими проводами, а отарк сидел на полу, и они разговаривали. Обсуждали что-то из физики. Это был один из первых отарков, которых тут вывели, и он считался самым умным. Он мог говорить даже на иностранных языках... Наш парень мыл пол рядом и слышал их разговор. Потом наступило молчание, что-то грохнуло. И вдруг уборщик услышал: «О господи!..» Это говорил Клейн, и у него в голосе был такой ужас, что у парня ноги подкосились. Затем раздался истошный крик: «Помогите!» Уборщик заглянул в эту комнату и увидел, что Клейн лежит, извиваясь, на полу, а отарк гложет его. Парень от испуга ничего не мог делать и просто стоял. И только когда отарк пошел на него, он захлопнул дверь.

— А потом?

— Потом они убили еще двоих лаборантов и разбежались. А пять или шесть остались как ни в чем не бывало. И когда приехала комиссия из столицы, они с ней разговаривали. Этих увезли. Но позже выяснилось, что они в поезде съели еще одного человека.

В большой комнате лаборатории все оставалось как было. На длинных столах стояла посуда, покрытая слоем пыли, в проводах рентгеновской установки пауки сплели свои сети. Только стекла в окнах были выбиты, и в проломы лезли ветви разросшейся, одичавшей акации.

Меллер и журналист вышли из главного корпуса.

Бетли очень хотелось посмотреть установку для облучения, и он попросил у лесничего еще пять минут.

Асфальт на главной улочке брошенного поселка пророс травой и молодым, сильным уже кустарником. По-осеннему было далеко видно и ясно. Пахло прелыми листьями и мокрым деревом.

На площади Меллер внезапно остановился.

— Вы ничего не слышали?

— Нет, — ответил Бетли.

— Я все думаю, как они все вместе стали осаждают нас в сторожке, — сказал лесничий. — Раньше такого никогда не было. Они всегда поодиночке действовали.

Он опять прислушался.

— Как бы они нам не устроили сюрприза. Лучше убраться отсюда поскорее.

Они дошли до приземистого круглого здания с узкими, забранными решеткой окнами. Массивная дверь была приоткрыта, бетонный пол у порога задернулся тонким ковриком лесного мусора — рыжими елочными иглами, пылью, крылышками мошкеры.

Осторожно они вошли в первое помещение с нависающим потолком. Еще одна массивная дверь вела в низкий зал.

Они заглянули туда. Белка с пушистым хвостом, как огонек, мелькнула по деревянному столу и выпрыгнула в окно сквозь прутья решетки.

Миг лесничий смотрел ей вслед. Он прислушался, напряженно сжимая ружье, потом сказал:

— Нет, так не пойдет.

И поспешно двинулся обратно.

Но было поздно.

Снаружи донесся шорох, входная дверь, чавкнув, затворилась. Раздался шум, как если бы ее завалили чем-нибудь тяжелым.

Секунду Меллер и журналист смотрели друг на друга, потом кинулись к окну.

Бетли выглянул наружу и отшатнулся.

Площадь и широкий высохший бассейн, неизвестно зачем когда-то построенный тут, заполнялись отарками. Их были десятки и десятки, и новые вырастали как из-под земли. Гомон уже стоял над этой толпой не людей и не зверей, раздавались крики, рычание.

Ошеломленные, лесничий и Бетли молчали.

Молодой отарк недалеко от них стал на задние лапы. В передних у него было что-то круглое.

— Камень, — прошептал журналист, все еще не веря случившемуся. — Он хочет бросить камень...

Но это был не камень.

Круглый предмет пролетел, возле решетки ослепительно блеснуло, горький дым пахнул в стороны.

Лесничий шагнул от окна. На лице его было недоумение. Ружье выпало из рук, он схватился за грудь.

— Ух ты, черт! — сказал он и поднял руку, глядя на окровавленные пальцы. — Ух ты, дьявол! Они меня прикончили.

Бледнея, он сделал два неверных шага, опустился на корточки, потом сел к стене.

— Они меня прикончили.

— Нет! — закричал Бетли. — Нет! — Он дрожал как в лихорадке.

Меллер, закусив губы, поднял к нему белое лицо.

— Дверь!

Журналист побежал к выходу. Там, снаружи, уже опять передвигали что-то тяжелое.

Бетли задвинул один засов, потом второй. К счастью, тут все было устроено так, чтобы накрепко запирались изнутри.

Он вернулся к лесничему.

Меллер уже лежал у стены, прижав руки к груди. По рубашке у него расплзалось мокрое пятно. Он не позволил перевязать себя.

— Все равно, — сказал он. — Я же чувствую, что конец. Неохота мучиться. Не трогайте.

— Но ведь к нам придут на помощь! — воскликнул Бетли.

— Кто?

Вопрос прозвучал так горько, так открыто и безнадежно, что журналист похолодел.

Они молчали некоторое время, потом лесничий спросил:

— Помните, мы всадника видели еще в первый день?

— Да.

— Скорее всего это он торопился предупредить отарков, что вы приехали. Тут у них связь есть: бандиты в городе и отарки. Поэтому отарки объедини-

лись. Вы этому не удивляйтесь. Я-то знаю, что если бы с Марса к нам прилетели какие-нибудь осьминоги, и то нашлись бы люди, которые с ними стали бы договариваться.

— Да, — прошептал журналист.

Время до вечера протянулось для них без изменений. Меллер быстро слабел. Кровотечение у него остановилось. Он так и не позволил трогать себя. Журналист сидел с ним рядом на каменном полу.

Отарки оставили их. Не было попыток ни ворваться через дверь, ни кинуть еще гранату. Гомон голосов за окнами то стихал, то возникал вновь.

Когда спустилось солнце и стало прохладнее, лесничий попросил напиться. Журналист напоил его из фляжки и вытер ему лицо водой.

Лесничий сказал:

— Может быть, это и хорошо, что появились отарки. Теперь станет яснее, что же такое Человек. Теперь-то мы будем знать, что человек — это не такое существо, которое может считать и выучить геометрию. А что-то другое. Уж очень ученые загордились своей наукой. А она еще не все.

Меллер умер ночью, а журналист жил еще три дня.

Первый день он думал только о спасении, переходил от отчаяния к надежде, несколько раз стрелял через окна, рассчитывая, что кто-нибудь услышит выстрелы и придет к нему на помощь.

К ночи он понял, что эти надежды иллюзорны. Его жизнь показалась ему разделенной на две никак не связанные между собой части. Больше всего его и терзало именно то, что они не были связаны никакой логикой и преемственностью. Одна жизнь была благополучной, разумной жизнью преуспевающего журналиста, и она кончилась, когда он вместе с Меллером выехал из города к покрытым лесами горам Главного хребта. Эта первая жизнь никак не предопределяла, что ему придется погибнуть здесь на острове, в здании заброшенной лаборатории.

Во второй жизни все могло и быть и не быть. Она

вся составила из случайностей. И вообще ее целиком могло не быть. Он волен был и не поехать сюда, отклавшись от этого задания редактора и выбрав другое. Вместо того чтобы заниматься отарками, ему можно было вылететь в Нубию на работы по спасению древних памятников египетского искусства.

Неленый случай привел его сюда. И это было самое жуткое. Несколько раз он как бы переставал верить в то, что с ним произошло, принимался ходить по залу, трогать стены, освещенные солнцем, и покрытые пылью столы.

Отарки почему-то совсем потеряли интерес к нему. Их осталось мало на площади и в бассейне. Иногда они затевали драки между собой, а один раз Бетли с замешательством увидел, как они набросились на одного из своих, разорвали и принялись поедать.

Ночью он вдруг решил, что в его гибели будет виноват Меллер. Он почувствовал отвращение к мертвому лесничему и вытащил его тело в первое помещение к самой двери.

Час или два он просидел на полу, безнадежно повторяя:

— Господи, но почему же я?.. Почему именно я?..

На второй день у него кончилась вода, его стала мучить жажда. Но он уже окончательно понял, что спастись не может, успокоился, снова стал думать о своей жизни — теперь уже иначе. Ему вспомнилось, как еще в самом начале этого путешествия у него был спор с лесничим. Меллер сказал ему, что фермеры не станут с ним разговаривать. «Почему?» — спросил Бетли. «Потому, что вы живете в тепле, в уюте, — ответил Меллер. — Потому, что вы из верхних. Из тех, которые предали их». — «Но почему я из верхних? — не согласился Бетли. — Денег я зарабатываю ненамного больше, чем они». — «Ну и что? — возразил лесничий. — У вас легкая, всегда праздничная работа. Все эти годы они тут гибли, а вы писали свои статейки, ходили по ресторанам, вели остроумные разговоры...»

Он понял, что все это была правда. Его оптимизм, которым он так гордился, был в конце концов оптимизмом страуса. Он просто прятал голову от плохого. Чи-

тал в газетах о казнях в Парагвае, о голоде в Индии, а сам думал, как собрать денег и обновить мебель в своей большой пятикомнатной квартире, каким способом еще на одно деление повысить хорошее мнение о себе у того или другого влиятельного лица. Отарки — отарки-люди — расстреливали протестующие толпы, спекулировали хлебом, тайне готовили войны, а он отворачивался, притворялся, будто ничего такого нет.

С этой точки зрения вся его прошлая жизнь вдруг оказалась, наоборот, накрепко связанной с тем, что случилось теперь. Никогда не выступал он против зла, и вот настало возмездие...

На второй день отарки под окном несколько раз разговаривали с ним. Он не отвечал.

Один отарк сказал:

— Эй, выходи, журналист! Мы тебе ничего не сделаем.

А другой, рядом, засмеялся.

Бетли снова думал о лесничем. Но теперь это были уже другие мысли. Ему пришло в голову, что лесничий был герой. И собственно говоря, единственный настоящий герой, с которым ему, Бетли, пришлось встретиться. Один, без всякой поддержки, он выступил против отарков, боролся с ними и умер непобежденный.

На третий день у журналиста начался бред. Ему представилось, что он вернулся в редакцию своей газеты и диктует стенографистке статью.

Статья называлась «Что же такое человек?».

Он громко диктовал.

— В наш век удивительного развития науки может показаться, что она в самом деле всемогуща. Но попробуем представить себе, что создан искусственный мозг, вдвое превосходящий человеческий и работоспособный. Будет ли существо, наделенное таким мозгом, с полным правом считаться Человеком? Что действительно делает нас тем, что мы есть? Способность считать, анализировать, делать логические выкладки или нечто такое, что воспитано обществом, имеет связь с отношением одного лица к другому и с отношением индивидуума к коллективу? Если взять пример отарков...

МАЛЬЧИК

Но мысли его путались...

На третий день утром раздался взрыв. Бетли проснулся. Ему показалось, что он вскочил и держит ружье наготове. Но в действительности он лежал, обессиленный, у стены.

Морда зверя возникла перед ним. Мучительно напрыгаясь, он вспомнил, на кого был похож Фидлер. На отарка!

Потом эта мысль сразу же смялась. Уже не чувствуя, как его терзают, в течение десятых долей секунды Бетли успел подумать, что отарки, в сущности, не так уж страшны, что их всего сотня или две в этом заброшенном краю. Что с ними справятся. Но люди!.. Люди!..

Он не знал, что весть о том, что пропал Меллер, уже разнеслась по всей округе и доведенные до отчаяния фермеры выкапывали спрятанные ружья.

Герман Иванович принес в класс стопку наших тетрадей. Взяв одну тетрадь, он сказал обычным своим тихим, усталым голосом: — Если Громов не будет возражать, я прочту вслух его домашнюю работу. Она заслуживает внимания.

И он начал читать. Читал он здорово, и мы сразу же почувствовали, что речь идет о чем-то очень странном и необыкновенном. О мальчике, затерявшемся в холодных просторах вселенной. Сам-то мальчик не знал, что он затерялся. Для него все началось там, в пути, в непрерывном движении, и он сам тоже там начался. Начался? Человек редко задумывается о своем начале. Для него нет начала, как, в сущности, нет и конца.

Мальчик родился в пути, среди звезд, и то, с чем за десять лет не могли свыкнуться взрослые — его мать, и отец, и спутники, — было для него родным и привычным, как для нас школьный двор: космический корабль, повторяющий в миниатюре оставленную планету.

Где-то в бесконечности вселенной остались густые, пахнущие теплой хвоей и озоном леса, синие реки, дома, веселые, шумные, длинные дороги. Все это мальчик видел на экране, но для него это были обрывки сновидений. Может быть, всего этого на самом деле не было?

Спутники с большой настойчивостью стремились доказать мальчику, что все это было, и лучше всех это удавалось мечтателю музыканту. Слушая его музыку, мальчик ощущал леса и реки, дома и дороги далекой

планеты, которую экспедиция покинула задолго до его рождения. И тогда мальчику хотелось протянуть руки и дотронуться до мерцающего на экране мира, столь не похожего на жизнь корабля, но даже если бы руки протянулись на миллионы километров, все равно не дотянулись было до лесов и рек, домов и дорог — так далеко все это было.

Да, все-таки было. Это утверждала музыка, утверждал экран и подтверждали знания: ведь мальчик не просто жил в стремящемся куда-то корабле, он еще и учился.

С мальчиком занимались все — и родители и остальные взрослые, в том числе всегда занятый, всегда чем-то озабоченный командир. Приборы искусственной памяти бережно хранили и щедро отдавали мальчику знания о прошлом. Но мальчику порой казалось, что можно отдать все знания за один только час в лесу на берегу стремительной речки. О береге и о лесе рассказывала музыка. Музыкант тоже тосковал по покинутой родине и не старался скрыть своей тоски. Он имел на то право, он был музыкант, мечтатель, его грусть не мешала, а даже помогала жить и работать спутникам.

Мальчик учился. У него не было сверстников, он видел детей только на экране, как реки и леса. Ему не с кем было играть, разве что с роботом — забавной игрушкой, придуманной специально для него, но робот был слишком серьезен и деловит. И однообразен.

Иногда мальчик принимался бегать по кораблю (он мог бегать, потому что на башмаках у него были гравитационные подошвы), ему хотелось пошалить, поиграть в прятки или «пятнашки», и тогда робот обеспокоенно ковылял за ним следом, растопырив руки, — он боялся, бедняга, что мальчик невзначай налетит на какой-нибудь прибор и сильно ушибется.

Мальчик спрашивал себя: какие они, дети? Он все хотел увидеть их во сне, но ни разу ему не удалось увидеть во сне детей. Он видел только робота, хотя робот, возможно, чем-то походил на детей и на самого мальчика.

Мальчик спрашивал о детях у всегда ласковых и

внимательных взрослых и у всезнающих машин, но никто не мог рассказать что-нибудь толковое и вразумительное. Ни взрослые. Ни машины. Ни экран. Ни даже музыка. Дети были слишком далеко, там же, где реки, и деревья, и отраженные в воде облака. Взрослые, наверное, забыли о том, что были когда-то детьми. Впрочем, может быть, они просто не хотели напоминать мальчику о своем детстве. Ведь их детство прошло не на космическом корабле, падающем в ледяную черную бездну.

Но мальчик не так уж часто думал о бездне. Космический корабль сам по себе был для него целым миром, и в этом мире были запретные уголки, куда взрослые не пускали мальчика, всякий раз обещая впустить, когда он вырастет.

Вырастет? Это слово и пугало и радовало мальчика своим чуточку странным и неожиданным смыслом. Ведь на корабле никто, кроме него, не рос, все давно успели вырасти дома, на своей планете, задолго до отлета. И только он один рос, быстро менялся, и все это замечали с легкой грустью, как примету неумолимого хода времени, еще более неумолимого здесь, на корабле, чем дома, на своей планете. Да, мальчик менялся, и ему еще долго нужно было расти и меняться, чтобы стать взрослым.

Куда двигался корабль, зачем? Мальчик инстинктивно чувствовал, что взрослые не любят отвечать на эти вопросы, и потому он спрашивал не их, а самого себя. Эти вопросы не были под запретом, но в них было много неясного и спорного. Корабль должен был доставить экспедицию на одну из планет в окрестностях Большой Звезды, чтобы выяснить, есть ли там разумные существа. И вот часть экипажа считала, что разумные существа там есть, а другая часть в этом сильно сомневалась. Мальчик тоже немножко сомневался, может быть, потому, что в числе сомневающихся был его отец. Мальчик больше всех на свете любил своего отца, больше даже, чем музыканта, хотя и не смог бы себе объяснить, за что он его любит. У отца было нервное, дергающееся от тика лицо. Но и лицо его, несмотря на тик, нравилось мальчику.

В глазах отца появлялся иногда странный блеск, и мальчик знал, что отец в отличие от многих не умеет и не желает скрывать свое нетерпение, свое страстное стремление поскорей достичь планеты в окрестностях Большой Звезды. Мальчик прощал отцу его нетерпение, потому что он догадывался о его причинах. Отец мальчика был геолог, и очень уж большая часть его жизни уходила на ожидание в корабле, где он никак не мог применить свои знания и свой труд. Уже много лет отец тосковал по любимому делу. Мать мальчика, по специальности знаток лесов и деревьев, тоже проводила годы в томительном ожидании. По-видимому, она рассчитывала, что на планете окажутся необыкновенно большие и густые леса с неизвестными деревьями, которые целые века ждут, чтобы им дали название и определили их породу. Ведь на планете могло и не быть разумных существ.

Было просто удивительно, что почти все уже названо и, чтобы назвать неназванное, нужно преодолеть миллионы миллионов километров и десятки лет. Мальчик жил среди имен и названий. Он давно понял и привык к тому, что названия и имена облегчали его родителям и спутникам общение друг с другом и с вещами. А что было бы со всеми, если бы ни у кого не было ни названий, ни имен? Мальчик даже боялся это себе представить. Имело название даже то бесконечное и бездонное, что было за стенами корабля. Его называли «вакуум», «пустота». Звучно называли! И от этого она, пустота, казалась мальчику чуточку менее пустой и чуточку менее страшной.

Да, мальчик жил среди всего названного. Но из всех живых существ, населявших корабль, он один почти не нуждался в имени. Все называли его просто мальчиком, даже мать и отец.

— Мальчик! — окликали его спутники.

— Мальчик! — обращался к нему робот-игрушка.

Со стороны неодушевленного предмета это, конечно, было несколько фамильярно. Но мальчик не обижался. В конце концов робот не был хозяином своих слов, слова произносились роботом только согласно программе.

— Мальчик, — говорили взрослые, — ну как ты провел день?

И их лица, он не мог этого не заметить, светлели и становились менее озабоченными. Почему? Кто знает? Может, и потому, что, глядя на мальчика, они вспоминали себя такими, как он. И только лицо командира корабля не светлело при встречах с мальчиком. Он оставался таким же строгим и озабоченным, каким был всегда. И мальчик понимал и одобрял его поведение. Командир не позволял себе мысленно уноситься в прошлое и этим облегчать свое пребывание здесь. Щадя других, он никогда не щадил себя, постоянно думая о той ответственности, которая на нем лежала.

Командир уходил к себе, к своим приборам и помощникам. А мальчик оставался там, где его настигал интерес к вещам, явлениям или спутникам. Он постоянно был чем-нибудь занят.

— Мальчик! — окликали его спутники.

Вещи тоже окликали мальчика, даже те вещи, которые не умели ни говорить, ни думать.

И мальчик отзывался.

2

В этом месте рассказа Герман Иванович остановился и опустил тетрадь.

— А дальше? — спросил кто-то из учеников.

— Дальше, — ответил Герман Иванович, изменив голос и снова став тем, кем он был до чтения: обыкновенным старым, уставшим учителем, — дальше нет ничего и стоит точка. Надо надеяться, что Громов напишет продолжение. Пока рассказ без конца.

Учитель снова стал самим собой, а ведь только что он казался нам артистом. Более того, он казался нам чем-то вроде посредника, помогавшего ученикам понять странный мир корабля, летящего много лет в пустоте, и живущего в этом странном мире мальчика.

Герман Иванович покачал головой и посмотрел в угол на сидящего у окна Громова, явно предлагая

нам всем вспомнить, что истинным посредником был не он, Герман Иванович, а Громов.

И все вспомнили о Громе, хотя во время чтения все о нем забыли. Громова и все остальное заслонил мальчик, голосом Германа Ивановича захвативший наше внимание. Теперь мальчик исчез, и перед нами сидел Громов, делавший вид, что он не имеет к мальчику никакого отношения. Лицо у него было настороженное, и он смотрел на нас, словно ждал какого-нибудь подвоха. Но, честное слово, никто из нас не собирался его подводить. И если уж на то пошло, подвел он себя сам, написав такую странную домашнюю работу.

Зачем он это сделал? Я не знал, не знали и другие, не знали и не догадывались. И странно, что он написал в своей домашней работе не о себе и не о своих знакомых, как мы все, а о каком-то необыкновенном мальчике с другой планеты.

И вот, когда наступила тишина, Громов, наверное, чувствовал себя неловко и невольно заставлял этим чувствовать себя неловко и всех нас, не исключая Германа Ивановича. Громов сидел в своем углу у окна, но казалось, что он где-то далеко, за миллионы километров от нас, со своим необыкновенным мальчиком.

Уж кому-кому, а Громову не следовало писать об этом мальчике. Он был сын известного ученого-археолога, и это все знали. И еще все знали, что несколько лет назад отец Громова сделал крупное открытие, нашел какие-то загадочные предметы, вызвавшие спор. В вечерней газете и в двух-трех журналах появились заметки о пришельцах с других планет, следы которых якобы открыл отец Громова. Но потом журналы почему-то замолчали, как они замолчали вдруг о снежном человеке, о котором сначала так много писалось. И в школе пронесся слух, что все это не подтвердилось: и пришельцы и даже снежный человек. А ведь в снежного человека все уже успели поверить, и всем было очень жалко с ним расставаться.

Никто из ребят не хотел бы оказаться на месте Громова, когда журналы вдруг замолчали об археологических находках его отца. И поэтому при Громе мы старались не говорить на археологические темы, понимая, что Громов не виноват. И отец Громова тоже был не виноват, что какой-то нетерпеливый журналист поторопился развонить об этих спорных предметах, вместо того чтобы благоразумно обождать, пока ученые договорятся и вынесут свое авторитетное решение.

Громов, конечно, страдал, держался он отчужденно, домой всегда возвращался один и никого из ребят, кроме меня и Власова, к себе не приглашал. Но Власов был тихоня и от застенчивости вечно заикался, а не приглашать меня Громову было просто неудобно. Я жил в доме напротив и однажды разбил в его квартире стекло — это случилось еще до того, как его отец сделал свое открытие. Громов опасался, что если он меня не пригласит, то я подумаю, будто это из-за стекла. Стекло стоило дорого, оно было толстое, как в витрине.

Если не считать Власова, который был так застенчив, что в чужой квартире боялся оглядеться, я один из всего класса хорошо знал квартиру Громова. Это была большая старинная квартира. В ней всегда стоял какой-то странный, незнакомый ни мне, ни Власову запах. На шкафу торчало несколько желтых и коричневых черепов с написанными на них цифрами, а на стене висел деревянный божок, таращивший на всех светлые жестокие глаза, сделанные, как мне объяснил Громов, из обсидиана — вулканического стекла.

В кабинет ни Громов, ни его отец не приглашали ни меня, ни Власова. И я всякий раз с любопытством смотрел на дверь кабинета, думая про себя, что за этой дверью, наверное, хранятся всякие редкости и даже предметы, вызвавшие ожесточенные споры специалистов. В глубине души я очень жалел, что журналисты вдруг замолчали и не стали больше писать об этих находках. Мне почему-то очень хотелось, чтобы отец Громова победил всех своих противников и оказался прав. Ребята объявили, что мне дорога не истина, а самолюбие и тщеславие, ведь я приятель Громова. Но это

неправда, я очень дорожил истиной, и мне хотелось только одного: чтобы истина оказалась необыкновенной и интересной. Обыкновенных и неинтересных истин и без того слишком много на свете.

А потом Громов вдруг перестал приглашать меня и даже Власова. И когда мы спросили его, в чем дело (спрашивал, собственно, я один, а Власов только стоял и застенчиво моргал глазами), Громов ответил:

— У нас, понимаете, ремонт.

— А долго он будет продолжаться, ваш ремонт?

Громов странно посмотрел на Власова, потом на меня и ответил тихо, еле слышно. И мне и даже тихоне Власову очень не понравился его ответ.

— Долго, — ответил Громов. — Ремонт почти капитальный.

Он вежливо дал нам понять, что ходить нам к нему нечего.

Я подумал, что все это из-за стекла, и обиделся. Но Власов попытался найти другое, более разумное объяснение.

— Это, наверное, не Громов, — сказал он, — а его отец. В квартире таятся загадочные ценности.

— А мы что, украдем эти ценности?

— Не в этом дело. Отцу Громова нужна тишина. Он работает. И наверное, есть еще какие-нибудь веские причины.

Я с удивлением посмотрел на этого застенчивого человека. Видно, он очень любил Громова, если плюнул на свою обиду и стал защищать его отца.

Идея Власова о веских причинах, однако, почти убедила меня. Действительно, если разобраться, то иначе и не могло быть. Работа археолога должна быть ограждена от посторонних, раз речь идет о предметах, вызвавших сомнение специалистов. Мне даже стала нравиться эта мысль.

Короче говоря, я тоже почти стал на точку зрения Власова, забыл о когда-то разбитом стекле и рассчитывал, что и другие о нем давно забыли. И однажды в скверике, где мы гоняли мяч, я спросил Громова:

— Ну, как ремонт?

И Громов ответил:

— Еще продолжается.

В сущности, я и не ожидал другого ответа. Всего три месяца прошло с тех пор, как я последний раз разглядывал нумерованные черепа, дверь в таинственный кабинет и обсидиановые глаза деревянного бога. И мне очень хотелось побывать у Громова еще хотя бы раз, но я понимал, что пока это невозможно. Надо было ждать.

Кажется, я уже упоминал о том, что мои одноклассники любили поговорить об истине. И один из них, Мишка Дроводелов, часто повторял где-то вычитанные слова.

— Платон, — говорил он, подходя ко мне или к Власову с важным видом, — Платон, ты мне друг, но истина мне дороже.

Это у Дроводелова неплохо получалось. Но я лучше всех знал, что до истины ему нет никакого дела. Если бы он так дорожил истиной, то не получал бы двоек.

Но я истиной дорожил, честное слово. Я был убежден, что археолог Громов и через него чуточку его сын имели отношение к истине, но не торопились с ней, боясь навлечь на себя упреки специалистов, и тщательно готовились, чтобы предъявить неоспоримые доказательства.

Именно в это время Громов посвятил домашнее сочинение на свободную тему рассказу о мальчике.

Класс сидел тихо под впечатлением рассказа. А Громов молчал. И тишина была какая-то необычная. Она томила нас, как ожидание несбывшегося. Ведь рассказ о мальчике оборвался на самом интересном месте.

Загремел звонок, и все зашевелились. Вдруг Дроводелов вскочил, подошел к Громову и, вытаращив глаза, проревел во весь голос:

— Громов, ты мне друг, но истина мне дороже!

И я подумал, что теперь рассказ о мальчике не будет дописан. Все испортил этот дурак Дроводелов. И действительно, конца у рассказа не было, но продолжение мне все-таки удалось услышать. Правда, это произошло не скоро, уже после летних каникул.

В летние каникулы мне ни разу не удалось встретиться с Громовым. Он уехал в Комарово, в пионерский лагерь Академии наук, а я в Молодежное, в лагерь от завода, на котором работал мой отец. Я, конечно, мог случайно с Громовым встретиться, Молодежное было не так далеко от Комарова. Но за все лето я не встретился ни с кем из наших ребят, кроме Дроводелова, который попал вместе со мной в один лагерь. Его мать работала кладовщицей, и он жил не с нами, а с матерью во флигеле для обслуживающего персонала, но встречались мы каждый день.

В то утро, когда я приехал, он подбежал и, сделав важное лицо, пробубнил:

— Платон, ты мне друг, но истина...

Я не выдержал, схватил его за ворот рубашки и пригрозил:

— Если ты еще раз скажешь о Платоне и об истине, пусть меня выгонят из лагеря, но я тебя проучу!

Он, видно, забыл, какое впечатление произвели на Громова и на всех нас после чтения рассказа его слова.

Дроводелов очень обиделся, у него на глазах даже слезы выступили, и он сказал мне:

— Отпусти! Во-первых, эти слова принадлежат не мне, а Сократу. А он был мыслитель. А во-вторых... Отпусти! Ты сейчас не на улице, а в пионерском лагере.

— На этот раз ладно, — согласился я, — отпущу. Только чтоб об истине я больше ничего не слышал.

И он действительно образумился, перестал говорить об истине и о Платоне. Но моей угрозы он мне не простил. Это я видел по лицу его матери-кладовщицы всякий раз, когда с ней встречался. На ее лице было написано все: и про истину, и про Платона, и про то, что я чуть не оторвал воротник у ее сына. Лицо ее, впрочем, было вполне благообразное, большое, плотное и даже симпатичное, но оно выражало слишком много чувств.

Нет, Дроводелов больше уже не упоминал об истине. И на том спасибо. Я давно заметил, что, когда

не очень умный человек произносит чужие умные слова, эти слова тоже глупеют, хотя говоривший ничего не прибавляет от себя. Почему это происходит? Не знаю. Но хватит о Дроводелове. В лагере он всем надоел, вечно торговался, что-нибудь выпрашивал, сплетничал про команду, против которой играл. В конце концов он добился, что его оставляли стоять в стороне в роли болельщика. Вместо того чтобы упрекать в этом себя, он сразу же обвинил меня.

— А еще одноклассник, — нудил он, — разве это товарищески?

Эти слова почему-то растрогали меня, и я стал просить ребят не выгонять его на мусор.

Не хочется мне рассказывать о Дроводелове, честное слово, не хочется, не очень-то это интересный человек. Но так получалось, что без него никак нельзя обойтись. В тот день, о котором я сейчас рассказываю, он подошел ко мне, хлопнул по плечу ладонью и объявил:

— Я вчера с матерью в город ездил.

— Ну ездил, и что из того?

— Новостипки есть!

— Какие?

— Громов переводится в другую школу.

— Это почему?

— Квартиру им новую дают, уже ордер выписали. Не будет же он с Черной Речки ездить на Васильевский остров.

— Не может быть, чтобы из-за квартиры он захотел уйти из класса, — сказал я, чувствуя, однако, всю неубедительность своих доводов.

Дроводелов посмотрел на меня, и вдруг его лицо стало похоже на лицо его матери.

— По-твоему, он должен тебя предпочесть новой квартире?

— Если бы Громовы собирались переезжать, вряд ли они стали бы возиться с капитальным ремонтом.

— Выходит, ты мне не веришь?

— Не верю.

— Разве тебе не известно, что я всегда говорю одну только правду.

Дроводелов и в самом деле считал себя правдолюбом. В позапрошлом году он перевелся в нашу школу откуда-то с Бабурина и всем хвастал, что его мать самый крупный в Ленинграде инженер и работает на Металлическом в цехе паровых турбин. Но потом выяснилось, что она торгует зимой в пивном ларьке, а летом работает кладовщицей в пионерских лагерях. Мы узнали об этом, но, чтобы не конфузить Дроводелова, всякий раз, когда речь заходила о паровых турбинах, начинали говорить о чем-нибудь другом. А тихоня Власов даже высказал предположение, будто мать Дроводелова когда-то работала инженером, но дисквалифицировалась и переменила профессию.

Но хватит о матери Дроводелова! Довольно!

Известие про Громова очень огорчило меня. Как известно, судьба не очень балует школьников. Интересных людей с загадочным прошлым или настоящим чаще встречаешь в книгах, чем в школе. А Громов давно привлекал мое внимание не только в связи с находками его отца, но и сам по себе, как самостоятельная личность.

Если бы меня попросили описать наружность Громова и его характер, вряд ли я бы справился. Наружность у него была самая обыкновенная, если не считать седой прядки волос над левым ухом. Поседел Громов сразу, как появился на свет, еще до того, как научился переживать и огорчаться. Седая прядка и очки в зеленоватой оправе придавали лицу Громова серьезное и даже солидное выражение. Кто-то из ребят называл его Академиком, но прозвище не пристало. К Громову ничего не приставало: ни грязь, ни пыль, ни завистливые и недобрые слова. Он чем-то походил на мальчика, о котором писал в домашней работе. Когда Герман Иванович читал его сочинение, я мысленно представил себе мальчика с седой прядкой над левым ухом, как у Громова, хотя о прядке в рассказе ничего не было сказано. Я уже давно обратил на это внимание: когда читаешь повесть, рассказ или поэму, всегда ищешь у героя сходство с кем-нибудь из твоих знакомых. Помню, когда я первый раз читал «Евгения Онегина» Пушкина, я сразу догадался, на кого похож

Онегин. Он был очень похож на одного щеголеватого красивого парня, которого я как-то видел на Невском возле кафе «Север». Парень стоял, отставив ногу в узкой штанине, а на лице его было написано, что ему наскучило все на свете и он не знает, чем бы заняться.

Да, сейчас я убежден, что Громов был похож на мальчика, который родился в космическом корабле. Дело было не только в седой прядке, но и в том, что Громов очень много знал. Никто в школе не знал столько, сколько знал Громов. Но он никогда не был первым учеником. То, что он знал, не имело никакого отношения к программе. Например, он откуда-то знал, и совершенно точно, какой мозг у вымершего миллионы лет назад плезиозавра. Этого не знал даже сам Иван Степанович, преподаватель биологии. Но мы не понимали, какой толк от всех этих знаний, раз их не было в учебниках и в школьной программе. Учителя, за исключением Германа Ивановича, эти знания не очень-то ценили. Глупо было бы думать, что они ценят только то, что вставлено в учебники и программы. Просто у них был житейский опыт, и они отлично понимали, что знание величины мозга у плезиозавра вряд ли пригодится Громову в его дальнейшей жизни и деятельности и что надо хорошо знать то, с чем мы встречаемся на каждом шагу. Вряд ли ему, или нам, или вам когда-нибудь доведется встретиться с плезиозавром.

Я не удержался и однажды сказал об этом Громову при Власове и Дроводелове, который, как всегда, оказался тут как тут. Дроводелов совсем некстати расхохотался, а Громов насмешливо посмотрел на меня, молча достал из портфеля газетную вырезку и протянул нам. Мы прочли и от удивления вытаращили глаза. В газетной вырезке говорилось, что на днях в одном из шотландских озер обнаружен живой плезиозавр.

На уроке биологии мы показали вырезку Ивану Степановичу, и он почему-то очень смутился и, по-видимому, был недоволен этой находкой. В конце урока он нам сказал:

— Это ничего не прибавляет.

И затем добавил, подумав:

— И не убавляет.

Эти его слова нам показались тогда не менее загадочными, чем обнаружение плезиозавра.

Пожалуй, довольно про плезиозавра. О нем и без того все знают. Но Громов знал очень много такого, о чем даже и намеков не было в наших учебниках. Он знал, например, про воду, чего не знал никто из нас. И про лед он тоже знал, чего, возможно, не знала даже наша химичка Вера Николаевна. И однажды на уроке химии он сказал, что лед вовсе не твердое тело, как думают многие.

— А что же он такое? — заинтересовались мы.

— Твердыми телами называются те вещества, частицы которых образуют регулярную структуру, кристаллическую решетку.

Я вспомнил про стекло, вспомнил, что оно такое твердое, что его приходится резать алмазом, и задал Громову коварный вопрос.

— А стекло, — спросил я, — твердое тело или нет?

— Нет, — ответил Громов. — Стекло — это переохлажденная жидкость высокой вязкости.

Вера Николаевна не принимала участия в этом разговоре. Когда речь заходила о химии и физике, с Громовым лучше было не связываться. Никто не знал, откуда он черпал свои знания, и проверить его было трудно.

Первые ученики тоже много знали, они посещали разные кружки при Дворце пионеров и следили за новинками. Но, употребляя полюбившееся нам выражение Ивана Степановича, эти знания ничего к ним не прибавляли и ничего от них не убавляли. Громов — другое дело. Знания превращали его в другого человека. Что я этим хочу сказать? Сейчас постараюсь объяснить. Пока Громов молчал, это был обыкновенный ученик, такой же, как мы все. Но стоило ему заговорить, как он становился совершенно другим. Он делался много умнее и больше обыкновенного уче-

ника, и казалось, что такой он настоящий и есть, только до поры до времени скрывает это.

Отвечая на вопрос преподавателя, Громов никогда не спешил, как первые ученики и отличники. Наоборот, он отвечал медленно, словно еще не зная правильного ответа и безмолвно советуясь с кем-то внутри себя.

Что я еще могу сказать о Громове? Пожалуй, ничего. Пока. Вот когда он переедет на Черную Речку и переведется в другую школу, тогда, возможно, я смогу сказать больше. Ведь пока человек каждый день сидит с тобой в одном классе со своей седой прядкой и раздвоенным подбородком и пока ты каждый день видишь, как он пишет, постукивая мелом по доске, или читает новый номер «Знания — сила», трудно сказать о нем что-либо интересное. А может быть, Громов и не переедет на Черную Речку и Дровоселов все это придумал, чтобы поделиться со мной новостипшкой?

4

Когда начались занятия и я пришел в класс, я не очень-то рассчитывал увидеть Громова. Но он спокойно сидел на своем месте у окна и, чтобы не терять времени, читал какую-то книжку.

Я поздоровался с ним, а потом, словно потеряв над собой контроль, вдруг спросил:

— Ну, а как мальчик? Будет о нем продолжение?

Я думал, что Громов пропустит мой вопрос мимо ушей, но он ответил, и, кажется, охотно:

— Тетрадка у Германа Ивановича. Летом мне удалось найти кое-какой материал о нем.

— Но он же придуманный, этот мальчик, ты же писал фантазию или там сказку...

Громов посмотрел на меня и ответил вопросом:

— Ты в этом уверен?

— А ты? Ты разве не уверен?

Он усмехнулся и произнес слова, истинный смысл которых я, сколько ни старался, никак не мог понять.

— Дело не в том, уверен кто-то или не уверен. Все гораздо сложнее.

Я хотел переспросить, но не успел. Появился Дровделов и сел рядом. А при Дровделове мне не хотелось говорить о мальчике. Дровделов обязательно бы вмешался и стал бы расспрашивать, он всегда любил совать нос в чужие дела.

— Есть одна новостипка, — тихо сказал Дровделов, наклоняясь ко мне, чтобы не слышал Громов. — После уроков Герман Иванович будет читать продолжение про мальчика. Муть, правда? Выдумка. Неужели придется слушать эту муть?

Он говорил очень тихо, но я все-таки боялся, как бы не услышал Громов. Он в это время уже снова читал свою книжку.

Дровделов не ошибся. Уроки кончились, и Герман Иванович прочел продолжение рассказа. В этот раз он читал намного хуже.

Космический корабль продолжал свой путь. Мальчик успешно сдал экзамены и проводил каникулы тут же, на корабле. Летние каникулы? Или зимние? Это не существенно. В космическом корабле не было ни лета, ни зимы. Кто экзаменовал мальчика? Все, кому не лень, начиная от командира корабля и кончая поваром-фармацевтом. А самыми придирчивыми и строгими экзаменаторами были внимательные машины. Одна машина задала мальчику каверзный вопрос.

— Скажи, мальчик, — спросила она красивым мужским голосом, — в каком году изобрели колесо?

Мальчик смутился. Он мысленно перебирал все даты значительных открытий и изобретений, но про колесо не вспомнил ничего.

Машина долго ждала ответа, а потом сказала, почему-то переменяя голос на женский:

— Не трудись. Этого никто не знает, даже я. В ту эпоху жители нашей планеты не имели представления о датах.

Машине, наверное, не следовало задавать мальчику вопрос, на который не существует ответа. И при этом еще менять свой голос. Ведь мальчик и без того вод-

новался и переживал. На все остальные вопросы он отвечал без запинки.

Наступили каникулы, и мальчик сразу забыл о каверзном вопросе. Он был счастливее всех на корабле, потому что он здесь родился и обо всем остальном знал только от других. В отличие от других на далекой планете у него не было знакомой или знакомого, по которым он мог бы скучать. Все его знакомые были здесь рядом с ним, на корабле. Здесь было не только его настоящее, но и прошлое, а что касается будущего, то о нем приходилось только гадать. Будущее зависело от теории вероятностей и от той неизвестной планеты, на которую они летели. Об этой планете много говорили на корабле. Каждый, по-видимому, представлял ее по своему вкусу. Одни считали, что там живут высокоразумные и цивилизованные существа, другие полагали, будто для разумных существ там еще не наступил черед и обитают там пока только ящеры. У мальчика тоже была своя гипотеза. Он был уверен, что планета населена детьми. В глубине души он понимал, что это невозможно. Но ему очень хотелось увидеть детей еще до того, как он станет взрослым и состарится. Мальчик никому не высказывал своей гипотезы, он боялся холодной и беспощадной логики взрослых, которые докажут ему, как доказывают теорему, что его мечта несбыточна.

На корабле за много лет непрерывного, безостановочного движения создался совсем особый ритм жизни. И этот ритм облегчал существование всем членам экспедиции и команде, так что они почти не чувствовали, что лишь стены корабля отделяют их от холодной и страшной пустоты без дна.

Для этого ритма, как узнал мальчик, существовало свое название. Этот ритм назывался обыденностью. Сколько ни вдумывался мальчик, он никак не мог понять истинный смысл этого слова, хотя другие слова и названия понимал сразу и без труда. Он чувствовал, что это слово скрывало в себе нечто необычайно важное и даже таинственное. Может быть, взрослые сразу сговорились между собой, едва сели на корабль, совсем не думать о бездонной пустоте, а потом возник

этот ритм, который отвлек их от тревожных дум, как отвлекает сон или работа?

На космическом корабле были представлены почти все профессии. Был там и философ. Он осмысливал все происходящее и с помощью мысли приводил в должный порядок.

Однажды, встретив философа в отделении логических машин, мальчик набрался храбрости и спросил, что такое обыденность.

Философ ласково улыбнулся мальчику.

— Обыденность, — ответил он, — это цепь привычек, которых мы, в сущности, не замечаем, как не замечаем одежды, когда мы одеты. Но стоит нам раздеться и выйти на мороз...

Философ вдруг замолчал, вспомнив, что говорит не со взрослым, а с мальчиком.

Он улыбнулся еще раз и ушел. Мальчик больше не спрашивал. И старался не думать об этом. Он догадался, что обыденность существует только для взрослых, а у детей ее нет и не может быть. И действительно, все казалось необычным и новым мальчику, даже то, что он видел много раз.

Он видел, как все трудились, что-то вычисляя, изобретая или изучая. Он заходил в лаборатории. Ему везде были рады, и особенно почему-то там, где занимались исследованием самых сложных явлений, например в лаборатории субмолекулярной биологии. Может быть, это происходило потому, что исследователи, углубясь в невидимое и неведомое, доступное только сложнейшим приборам, на целые часы теряли связь с окружающим миром и мальчик являлся им как посланец этого прекрасного мира, напоминая об этом мире всем своим видом?

Потом мальчик уходил, и в лаборатории наступала тишина. Но все знали, что мальчик где-то рядом, потому что хотя корабль и был большой, но на нем все было рядом, все было близко. А мальчик, выйдя из лаборатории, сосредоточенно думал о субмолекулярном мире, и мысль его уносилась уже не за пределы корабля в просторы вселенной, а в бесконечное малое.

И тогда он сам себе начинал представляться бесконечно большим, состоящим из множества миров.

В свободные от исследований часы некоторые участники экспедиции играли в шахматы. Мальчик через плечо игрока заглядывал на доску и гадал, какой будет следующий ход. Слабее всех играл в шахматы музыкант. Он всем проигрывал — и машинам и живым партнерам. И очень огорчался проигрышами, но не в силах был удержаться от игры. У мальчика его частые проигрыши вызывали досаду.

Проиграв партию, музыкант уходил в свое помещение сочинять музыку. Однажды он поманил мальчика, привел его в свою каюту и включил проигрыватель, чтобы мальчик мог послушать новую мелодию.

Мальчик слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя и налетая на камни.

И постепенно мальчику представилась незнакомая планета с множеством рек, речек и ручейков. Вода пела удивительную песню.

И мальчик вдруг почувствовал, что песня уже есть, но нет еще уха и разума, чтобы понять ее и услышать. На планете еще не наступил черед для разумных существ... Да, на той планете, о которой рассказывала музыка.

А звуки лились, тонкие и светлые. И мальчику казалось, что реки, ручьи, потоки и льдинки — здесь, рядом с ним, такой ясной и красивой была мелодия.

Потом наступила тишина. Молчали оба — и композитор и мальчик. Но мальчик все-таки был мальчиком, и он не мог долго молчать.

— Расскажи, пожалуйста, — попросил он музыканта.

— О чем?

— Все о том же, — сказал тихо мальчик.

И музыкант догадался, о чем просит мальчик, и стал рассказывать о планете, на которой родился и провел свою молодость. Он был хорошим музыкантом, но рассказчиком неважным, часто сбивался, топтался на месте и все повторял одно и то же.

Он родился в лесу под горой, на вершине которой

было озеро. Прямо от дверей домика его отца, хранителя заповедника, начиналась тропка. Петляя, она уходила в лес и там терялась.

Но, кроме тропки, деревьев и горы с озером на вершине, рассказывал дальше музыкант, было еще нечто иное, называемое необходимостью. Когда будущий музыкант подрос, ему пришлось расстаться с тропой, с речкой, с горой и с озером, которое было на самой верхушке возле синего облака. Быстрая, как молния, машина доставила его в город. В городе тоже было хорошо. Но там не было горы с озером на вершине. Жизнь отобрала у будущего музыканта эту гору и это озеро. Однако музыкант не отчаивался, он уже догадался тогда, что жизнь состоит не только из приобретений, но и утрат.

— Что же ты приобрел? — спросил мальчик.

— Я приобрел опыт, — ответил музыкант.

— Но ведь ты за него отдал гору с озером.

— Может быть, я когда-нибудь и вернусь к этой горе, — сказал задумчиво композитор.

— Когда?

— Разве я это знаю? Нам еще надо побывать на загадочной планете. Потом много лет займет возвращение на родину. А жизнь коротка...

Музыкант вдруг замолчал, и на его лице появилась тень заботы. На всем корабле это был самый беззаботный человек. Но сейчас он стал похож на других. И мальчик впервые подумал, что расстояние, которое нужно преодолеть кораблю, измеряется не пространством и временем, а жизнью. И это было удивительно... Годы уходят, и если даже музыканту удастся увидеть еще раз гору своего детства, то только тогда, когда он станет дряхлым стариком. А может быть, он и не доживет.

Желая сказать музыканту приятное и облегчить его тоску по озеру на вершине горы, мальчик сказал:

— Если ты не увидишь, то, может, я увижу эту гору. Я передам ей от тебя привет.

Наступила пауза. Неловко почувствовали себя оба — и взрослый и мальчик. Потом мальчик подумал, что музыкант сказал не все. самого главного он не

сказал, и это хорошо. Мальчик знал, что от музыканта ушла любимая женщина, предпочтя ему другого. И если даже она и раскается в своем проступке, дела уже не поправить — композитор теперь слишком далеко от нее и вернется домой стариком.

На корабле был только один очень старый человек. Это был главный техник-вычислитель, специалист, распоряжавшийся вычислительными машинами. Все знали, что он уже не вернется домой, для этого он был слишком стар. Но он был очень крепкий. И повар-фармацевт, не отличавшийся крепким здоровьем, однажды позавидовал ему и сказал, что этот старик переживет всех, даже мальчика, и если кому суждено вернуться домой, то именно ему.

Мальчик украдкой разглядывал старика. Между ним и стариком было нечто общее. Старик был всех старше, а мальчик всех младше.

Было ли когда-нибудь детство у этого старика? Возможно, и было, не сразу же он состарился. Когда он встречался с мальчиком, он с изумлением спрашивал:

— Откуда ты взялся, мальчик?

Мальчик понимал, что это была шутка. Но стоило ли повторять одно и то же столько раз? И старик смотрел на мальчика, у которого не было прошлого, а у старика его было почти столько, сколько в памяти у машин, хранителей сведений и фактов. Примерно года два назад старик уличил одну машину в неточности, и все долго смеялись и подшучивали, вспоминая этот случай.

Глядя на старика, мальчик слышал прошлое. Прошлое жило в старике, в его глазах, неласково смотревших из-под седых бровей. Оно хранилось в нем, как в памяти машин. Но оно молчало из чувства собственного достоинства. Ведь старик не был памятной машиной, готовой отвечать всем и каждому на любой легкомысленный вопрос. И прошлое в старике было совсем другое, не такое, как в памяти информационных приборов. Машины помнили даты, факты, события и происшествия. А старик помнил среди всех этих фактов и происшествий еще и себя и других.

Странно, что именно о старике мальчик вспоминал в ту самую ночь, когда бездна чуть не поглотила корабль. Но об этом будет дальше: о бездне, о корабле и о мальчике.

— Пока все, — сказал Герман Иванович, не то огорчаясь, не то радуясь, и закрыл тетрадь. — Будем ждать продолжения.

Все молчали. Даже первые ученики и выскочки, любившие задавать вопросы. Только Дроводелов не вытерпел и, наклонившись ко мне, сказал:

— Муть! Ну и муть! Даже голова заболела от этой мути. При чем тут старик или это озеро на вершине горы? Зачем оно там? К чему?

Я тоже чувствовал: рассказу о мальчике чего-то не хватает. Громов увлекся информационными машинами и стариком и ушел в сторону от главного. Нужно будет ему об этом сказать.

5

Конечно, Дроводелов был не прав, когда заявил, что рассказ о мальчике муть и одна скука. Но начало мне понравилось больше, чем продолжение. Я, как и все другие, впрочем, ожидал, что мальчик совершит какой-нибудь героический поступок. А поступка не было. В рассказе все шло слишком обычно и томительно медленно, как перед экзаменами, и только к концу что-то случилось. Но что именно — неизвестно. Выходило, что кое в чем Дроводелов прав. И со стороны Громова это была ошибка. Нельзя допускать, чтобы такие, как Дроводелов, могли хвастаться своей правотой. Но довольно о Дроводелове. Тем более что он потом отсутствовал целую неделю, уехал с матерью к каким-то родственникам в Лугу.

Громов отмалчивался и на все вопросы о мальчике отвечал кратко:

— Я тут при чем? Не я же летел в этом корабле.

К нему подошел первый ученик Дорофеев и, улыбаясь, спросил, чем, собственно, замечателен мальчик.

Громов ответил:

— Он замечателен тем, что родился в космическом пространстве, где рождаются только звезды. А ты где родился?

— Я родился на Васильевском острове в больнице имени Отто.

— А как ты думаешь, — спросил Громов, — есть какая-нибудь разница между больницей имени Отто и той точкой пространства, где родился мальчик?

Дорофеев пожал плечами и ответил, что большой разницы он не видит. Ответив так, он посмотрел на всех нас свысока.

Громов же никогда ни на кого не глядел свысока, даже когда в газетах писали о находках его отца. Но после того как перестали писать, Громов немножко сник. И мы тоже стали на него смотреть так, словно между его поведением и судьбой всех находок тянулась какая-то ниточка и эта ниточка оборвалась. Вообще неясно все это было.

Но с того времени, как он стал писать рассказ о мальчике, эта ниточка вдруг снова появилась. Тоненькая это была ниточка, невидимая, но тем не менее ощущаемая почти всеми. Кое-кому хотелось порвать эту ниточку, особенно Дроводелову. Эта ниточка мешала ему, такой уж он был. Ему все мешало, что можно отрезать или порвать. Однажды он срезал трубку у телефона-автомата и принес в класс. Мы спросили его:

— Тебе что, мешала эта трубка?

— Нет, помогала, — сказал он.

— А сколько людей из-за тебя потеряли время?

— Мне на это наплевать, — сказал он, — время для того и существует, чтобы его теряли.

Возвратившись из Луги, куда он ездил с матерью, Дроводелов опять принялся за свои прежние штучки. Можно было подумать, что рассказ о мальчике нарушил нормальное течение его жизни. Он приходил в класс, садился и, вытянув длинные ноги, просил: пусть ему объяснят, может ли в космическом корабле родиться мальчик и жить так много лет, летя неизвестно куда.

И ему отвечали:

— Как гипотеза это возможно.

— Хорошо, это я еще могу допустить, — соглашался он, — но зачем на корабле философ, старик и композитор? Разве без них нельзя было обойтись?

И мы отвечали:

— Конечно, можно обойтись и без них. Но все-таки с ними лучше. Один писал музыку, другой вспоминал, а третий силой своей мысли боролся с предрассудками и суевериями.

— Отлично, — не успокаивался Дроводелов. — Композитор, философ, старик и еще мальчик, без которого тоже можно вполне обойтись. Но теперь давайте подсчитаем, сколько на корабле ушло энергии, пищи, кислорода, медикаментов и других необходимых вещей. Ведь корабль находился в пути много лет.

— Может, и сейчас находится. Мы же конца еще не знаем...

— Нет, давайте подсчитаем.

И он брал карандаш и бумагу и начинал считать. Разумеется, он ждал, что мы тоже присоединимся. Сам он считал плохо и легко мог ошибиться. Но никто из нас не собирався заниматься такого рода бухгалтерией и считать, сколько мальчик съел, выпил и надышал. Пусть себе ест, пьет и дышит на здоровье. Однако это не давало покоя Дроводелову, и он садился с карандашом, чтобы вести свои подсчеты.

Мы тоже вели подсчеты, но совсем другие. Мы вычисляли, какой величины должен быть корабль, чтобы нести все необходимое для столь длинного пути. То и дело спрашивали Громова, сколько на корабле живых единиц, машин, какой энергией пользовался корабль — фотонной, атомной или связанной с использованием антигравитационных сил? С чем имел дело корабль, с обыкновенным эйнштейновым временем? Или с нуль-пространством, о котором не раз уже писали фантасты?

О нуль-пространстве у нас были большие споры. Никто толком не мог понять, что это такое. Первый ученик Дорофеев сказал, что это такое понятие, которое еще пока никому не понятно, кроме самих фан-

тастов. Тогда мы стали приставать к Громову. Он объяснил, что о нуль-пространстве не может быть и речи, мальчик жил во вполне реальном трехмерном мире и двигался со скоростью, близкой к световой.

Теперь вернемся к ниточке, которую так старался порвать Дроводелов. Мы все чувствовали ее. Какая-то странная связь — не телефонная, не телеграфная, не радио и не квантовая, а чисто психическая, что ли, соединяла нас с мальчиком, который находился не то в прошлом, не то в будущем, где-то в неизвестной точке вселенной.

Где-то я читал, что связь еще недостаточно изучена. Ведь существует, как утверждают некоторые ученые, поле-пси, физическая сущность которого еще не известна. Космический мальчик приобрел реальность и прочно вошел в нашу жизнь. Чтобы понять обстановку, которая окружала мальчика, мы начали следить за новинками науки и техники. Нас всех буквально лихорадило. А Леонид Староверцев завел даже картотеку, записывая на отдельную карточку каждое отдельное событие в науке и технике. Карточки он обычно носил с собой, рассовав по карманам, и, щуря близорукие глаза, рассматривал их во время уроков. О чем только не говорилось в этих карточках! Там было и про сверхновые звезды, и про нуклеиновые кислоты, и про автоматическую родовую память птиц, и про разумных животных дельфинов, и про язык древнего народа майя, и про общественных насекомых — пчел и муравьев, которые общаются исключительно при помощи ультразвуков.

Староверцев сидел передо мной, и, заглядывая через его плечо, я мог пополнить свои знания.

Однажды я спросил Староверцева:

— А про снежного человека у тебя что-нибудь есть?

— Нет. Эту карточку я пока оставил незаполненной.

— Это почему же? — спросил я.

— Потому что я жду, когда наука решит этот спорный вопрос.

Мне от этих холодных слов стало как-то не по се-

бе. Значит, та карточка, где должно быть записано об открытии Громова-отца, тоже не заполнена и ждет, когда паука решит спорный вопрос.

6

Громов аккуратно посещал все уроки. Должно быть, его родители отложили переезд в новый дом на Черную Речку по не зависящим от них обстоятельствам. Может, строители не выполнили обязательства закончить дом к сроку или оказалась слишком непокладистой комиссия и не захотела принять дом. У меня лично не было никаких претензий к строителям и комиссии. Мне очень не хотелось расставаться с Громовым и перерезать ниточку.

Громов приходил и уходил. Он сидел на своем месте у окна, и, когда я хотел посмотреть на Громова, я делал вид, что хочу взглянуть в окно. Окно было большое, широкое, светлое, а за окном вниз улица, и деревья, и люди на тротуарах. А напротив окна дом, а там тоже окно, и в окно выглядывает толстая старуха, и ест сливы, и выплевывает косточки прямо из окна на тротуар. И, глядя на нее, можно подумать, что она так и живет, ни на минуту не отходя от окна, так часто ее видно.

И, глядя в окно, я думал, что мальчик не имел ни малейшего представления об окнах (какие же окна в наглухо замурованном корабле?), и окна ему заменял экран, но, разумеется, не мог заменить полностью. И я думал также, что окно прекрасная вещь, стены словно и нет совсем, и видны даль, небо, облака, деревья и старуха, которая ест сливы. И я спросил Староверцева, не написано ли в его карточках что-нибудь об окнах, в каком веке или тысячелетии появилось первое окно.

Староверцева немножко смутил мой вопрос, и он сказал, что на эту тему у него карточка осталась незаполненной.

— Почему? — поинтересовался я.

— Потому что окно — это изобретение далеких

эпох, — ответил он. — А я заносу в карточки только то, что имеет отношение к будущему.

— А разве в будущем не будет окон?

— Будут, но другие. Скажем, ты увидишь в окно не парикмахерскую и не сапожную мастерскую, а кусок вселенной. Вот какие, наверное, будут окна.

Громов прислушивался к нашему разговору, но ничего не сказал. По его взгляду я понял, что вопрос об окнах его заинтересовал. Но он не вмешался из деликатности. Ему ведь не надо было рыться в карточках или справочниках, чтобы ответить на вопрос, в каком веке или тысячелетии человек прорубил в стене первое окно. Громов об этом не мог не знать.

Меня очень мучил этот вопрос, но я все-таки воздержался и не задал его Громову. Также из деликатности. Некоторых раздражало, что Громов много знает, особенно тех, кто не мог проверить и должен был верить ему на слово. Ребята считали, что Староверцев немножко завидует Громову и хочет его догнать при помощи своих карточек. В квартире у него на всех столах стояли ящики с этими карточками, как у какого-нибудь профессора, который не доверяет энциклопедии и даже своей собственной памяти. Все это так, но пока Староверцеву не удалось не только догнать Громова, но даже приблизиться к нему. Ребята спрашивали у меня и у Власова, есть ли в квартире у Громова ящики с карточками. Но я не видел там ни одной карточки и ни одного ящика, за исключением того, в котором мать Громова выращивает летом цветы. И все невольно пришли к тому выводу, что у Громова необыкновенная память.

В памяти ли тут было дело или в чем-то другом — не знаю. Но когда Громов отвечал на вопросы учителей, с миром происходило что-то необыкновенное, все вокруг менялось, и менялись мы, и даже сам учитель. И всем казалось, что существует не видимый никому провод, который соединяет Громова с Луной, с самим Наполеоном или Аристотелем. Аристотель и Наполеон, пчелы и атом, луна или дно океана как бы общались с нами. Громов у них был доверенным лицом.

Отвечал на вопросы Громов только тогда, когда его спрашивали, никогда не высказывал, не поднимал руку, чтобы отличиться и показать, что он знает больше всех. Учителя тоже отчего-то редко спрашивали Громова, и некоторые его ответы их почему-то смущали, хотя и радовали тоже. И самое необычное и не совсем ясное было то, что Громов располагал таким же временем, как мы все, и ни от чего, в сущности, не уклонялся: ни от физкультуры, ни от шахмат, ни от других дел. Может, он гораздо меньше спал, чем все мы, и занимался в ночные часы, стараясь как можно больше узнать и запомнить? Не знаю, но очень сомневаюсь. Ведь это не понравилось бы его родителям и отразилось бы на здоровье. Кто-то из одноклассников выдвинул даже такую гипотезу, что мальчик, о котором читали, существует на самом деле и помогает своими советами Громову. Многие стали смеяться над этой гипотезой, а Староверцев спросил:

— Сколько же миллионов лет он существует?

У гипотезы нашлись и защитники. Первый ученик Дорофеев сказал: возможно, отец Громова нашел информационную копию мальчика. О подобных копиях уже не раз писалось в фантастических романах. Коротко говоря, Громов имеет дело не с самим мальчиком, а с его копией. Внутренний мир мальчика был записан с помощью кода, и двойник мальчика находится в квартире Громова, а оригинал давным-давно исчез, подчинившись неизбежному закону разрушения.

Мне эта гипотеза показалась очень наивной. И потом со стороны громовского отца вряд ли было этично утаить информационную копию мальчика от науки и общества только ради школьных успехов своего сына. Это первый довод против. Было много и других. Откуда копия мальчика могла знать, скажем, о Наполеоне и о многом другом, чего могло и не быть на той планете? Разум и логика всячески сопротивлялись, но сильнее их были чувство и желание стать свидетелем и участником необыкновенных событий. Иногда я думал, упрекая себя в непоследовательности: а что, если громовский мальчик все-таки существует? Ну, скажем, не буквально, а только как копия. Предположим.

А где же она находится, эта копия? В кабинете отца? Допустим. Ну и что же, она стоит там, эта копия, и время от времени беседует с Громовым на разные научные темы?

Но оторвемся от фантазии и вернемся к действительности. Действительность же была самая обыкновенная. Я заболел ангиной и пролежал несколько дней в постели. Меня навестил Староверцев. Боясь заразиться, он сидел в другом углу комнаты, которую моя мать и отец в силу автоматизма по-прежнему называли детской. Сидел и просматривал карточки, а иногда и записывал что-то в них, словно забыв о моем существовании.

— Ты мог этим заняться дома или в библиотеке, — сказал я.

— Если бы я был дома или в библиотеке, я не мог бы сидеть здесь, у тебя.

— Согласен с тобой, — сказал я, — но раз ты сидишь здесь, у меня, то хоть спрячь свои карточки в карман. Можешь ты без них обойтись хоть минутку?

— Я очень ценю свое время.

— Ну и цени, — сказал я. — Это твое дело.

— Не только мое, но и твое. Я ведь ценю время не для себя, а для других.

— Для других? А не можешь ты немножко конкретнее? Не для Дроводелова же ты ценишь свое время...

— Для Дроводелова? Нет, — ответил рассеянно Староверцев. — Дроводелов, понимаешь, отрезал и принес в класс...

— Опять телефонную трубку?

— Нет, лисий хвост. Говорит, в Зоологическом саду отрезал у живой лисы. Врет. От хвоста пахнет нафталином...

— И это все новости? — спросил я.

Староверцев почему-то обиделся, покраснел и даже уронил от волнения несколько карточек на пол.

— Меня не надо спрашивать о новостях. Я все это презираю. Презираю!

— Почему же презираешь? За что?

— Презираю! Новости — это сплетни. Это еще академик Вернадский говорил. В его биографии написано.

Тут он совсем обиделся и, не подобрав с пола карточек, ушел. Я не чувствовал себя виноватым.

Я встал и подобрал карточки, которые уронил Староверцев. В одной карточке было написано про Собор Парижской богородицы, в другой про молекулу АТФ и про водородные связи, а в третьей — я не поверил своим глазам — про информационную копию мальчика.

Первый ученик Дорофеев оказался прав.

В карточке была ссылка на газетное сообщение о находках археолога Громова и было упомянуто о копии инопланетного мальчика, пролежавшей в земле со времени юрского периода.

Я читал и перечитывал эту карточку, и рука моя дрожала. Потом я лег в постель, зажег свет и опять читал. И два голоса спорили в моем сознании. Один голос говорил, что все это чепуха и что Староверцев со слов Дорофеева нарочно написал это на карточке и бросил здесь, чтобы посмеяться. Но другой голос утверждал, что для Староверцева карточка слишком священная вещь, чтобы он стал ее портить. Два голоса спорили, а я, как арбитр, слушал их доводы, еще не зная, какому из них отдать предпочтение.

Голоса спорили, приводя сотни доводов «за» и «против». Потом один голос стал побеждать, тот голос, который рассуждал здраво и логично, как наш преподаватель математики Марк Семенович. Я сразу же представил себе Марка Семеновича с мелом в одной руке и с мокрой тряпкой в другой, и числа на доске, и его голос всегда с одной и той же сомневающейся интонацией, даже когда не в чем было сомневаться.

Этот голос, голос Марка Семеновича, сидел во мне и рассуждал.

«Предположим, — говорил он, обращаясь ко всем и к каждому, — предположим, что существование копии мальчика неизвестно, и обозначим ее через x_k . Тогда спросим себя, зачем игрок, то есть Староверцев, поспешил заполнить карточку, которую столько време-

ни хранил незаполненной? Предположим, что Староверцев...»

Голос с сомневающейся интонацией убеждал меня в том, в чем меня нетрудно было убедить. Староверцев был не из тех, кто стал бы шутить. Значит? Значит, пока я лежал в постели, измеряя температуру и глотая таблетки, в газетах появилось сообщение о копии мальчика.

Я позвал мать, которая была в столовой, и попросил ее, чтобы она принесла газеты.

— Сегодня понедельник, — сказала мать, — газеты не принесли. А во вчерашнюю я завернула обувь, когда носила в починку.

7

Я набрал номер телефона и, услышав густой и низкий мужской голос, сказал:

— Мне нужно Староверцева.

— Староверцев слушает вас, — ответил голос.

От волнения я даже сразу не сообразил, что это отец Староверцева, и удивился, почему у знакомого школьника такой низкий, незнакомый, густой голос.

— Староверцев слушает вас, — раздраженно повторил голос.

— Мне не вас. А вашего сына.

— Его увезли в больницу, — ответил голос. — Приступ аппендицита.

Он повесил трубку. Я тоже. И наступила тишина.

Все на свете сговорилось, чтобы мешать мне разгадать тайну. Я лежал в постели, глотал таблетки, пил чай с лимоном и ждал врача из районной поликлиники.

Потом пришла врач — старая обиженная женщина — и стала упрекать нас за то, что плохо работает лифт. В прошлый раз, когда она поднималась к нам на шестой этаж, дверь лифта коварно захлопнулась за ней и ни за что не хотела открыться; пришлось кричать, чтобы вызвали дежурного ремонтника, и она потеряла, стоя в лифте, сорок минут. Сегодня она, бо-

ясь потратить время, поостереглась пользоваться лифтом и поднялась к нам пешком, без всякой техники. Она упрекнула мою мать за лифт и попросила ее принести чайную ложечку, а меня открыть рот. Потом она сказала, что нужно еще полежать по крайней мере два дня, и ушла.

Два дня... Я лежал два дня и думал. Я думал о копии мальчика, которую, если верить карточке Староверцева, нашел отец Громова. Со времен юрского периода, того периода, когда на Земле жили ящеры, прошло много миллионов лет. Значит, копия лежала в земле и терпеливо ждала, когда на Земле появятся разумные существа, способные понять ее язык и войти с ней в общение.

Мне захотелось узнать побольше о юрском периоде, и я попросил мать, чтобы она принесла мне учебник палеонтологии, по которому учился старший брат, когда был студентом. Мать учебника не нашла и принесла мне «Палеонтологию позвоночных».

И тут я узнал о странном факте, который меня прямо потряс. Оказывается, в юрском периоде существовал динозавр, имевший маленькие передние ноги с подчеркнутой хватательной функцией и не имевший зубов. И этот маленький динозавр специализировался на том, что воровал яйца более крупных динозавров.

И автор книги высказывал предположение, что именно от этого ящера с его необычайно подвижной нервной системой произошли млекопитающие, а значит, и люди.

И я подумал, что раз существует информационная копия мальчика, то можно проверить, справедлива ли эта гипотеза. Мне самому она показалась не совсем справедливой.

Через два дня, придя в школу, я решил показать карточку, забытую у меня Староверцевым, самому Громову.

Я чувствовал себя так, словно потерял под ногами почву и летел в пропасть, но я ничего не мог с собой поделать, желание выяснить тайну было сильнее меня.

Выбрав минуту, когда в классе не оказалось Дро-

воделова, я достал из кармана карточку и молча протянул ее Громову.

Я не сводил глаз с лица Громова, и сердце мое билось, и мне становилось то жарко, то холодно, и я думал, что ко мне вернулась ангина. Такие случаи бывают.

Эта минута показалась мне длиннее часа. Потом Громов отдал мне карточку и спокойно спросил:

— Ну и что? Что тебя тут удивило?

— Как что? — ответил я. — Разве с копией мальчика подтвердилось?

— Подтвердилось.

— Он ссылается на газету. Разве в газетах об этом было?

— Нет. Староверцев узнал от меня. А на газету он сослался для большей убедительности. Ему не хотелось ссылаться на частное лицо. А я — частное лицо.

Наш разговор был прерван звонком. Вошел Марк Семенович, начертил на доске прямоугольный треугольник и голосом с вечно сомневающейся интонацией стал доказывать нам теорему. Стуча мелом о доску, он доказывал так, словно сам не верил своим доказательствам. Конечно, во всем была виновата интонация, которая не соответствовала логическим выводам, вытекавшим из доказательств.

Я совсем выключился и не слушал Марка Семеновича и вместо теоремы думал о динозавре, воровавшем яйца более крупных своих современников. Не может быть, думал я, чтобы от этого воришки произошли все млекопитающие, а значит, и люди, меня вовсе не устраивал такой предок. А установить истину можно только с помощью мальчика, информационная копия которого была найдена отцом Громова.

Только мальчик мог опровергнуть эту сомнительную гипотезу, потому что он побывал на Земле еще в юрский период.

При одной мысли о том, что копия мальчика существует и что подробности я могу узнать от Громова, как только окончится урок, меня охватывал то сильный озноб, то не менее сильный жар. И я подумал,

что. врачаха, боясь коварных дверей лифта, выписала меня раньше срока. И за это я мог быть ей только благодарен. Я не имел права терять ни одной минуты. А минуты шли, и Марк Семенович все еще продолжал объяснять, удивленно глядя на свой треугольник на доске и как бы сомневаясь в том, в чем уж никак нельзя было сомневаться.

Я подумал, что он сомневается в теореме и в ее доказательствах, разработанных еще Пифагором или Эвклидом, а я сижу и не сомневаюсь в существовании копии мальчика только потому, что верю карточке и Громову.

Потом прозвенел звонок. Марк Семенович стер мокрой тряпкой треугольник и свои доказательства, а затем ушел в учительскую. И я хотел было подойти к Громову, но возле него уже стоял Дровделов. И стоял он не просто так, как стоят все. В руке у него был листок, весь покрытый мелкими цифрами. Я решил, что это какая-нибудь задача, которую Дровделов не смог решить, но тут все объяснилось. На листе, который Дровделов протянул Громову, были произведены расчеты, сколько мальчик съел, выпил и выдыхал, находясь так долго в пути. Дровделов протягивал этот листок Громову с таким же видом, с каким, наверное, протягивает счет в ресторане официант, ожидая оплаты.

Громов сделал жест рукой, как бы показывая, что он не хочет брать этот счет. Но Дровделов настаивал, чего-то требовал и не отставал.

Я догадался, что в этот злополучный день мне не удастся поговорить с Громовым. Дровделов от него не отступится.

Возвращаясь домой, я думал о той ниточке, которая соединяла млекопитающих с ящерами через того динозавра, у которого передние ноги обладали хватательной функцией. И если бы этот динозавр от чего-нибудь погиб, то на Земле не появились бы млекопитающие и в том числе даже я сам.

Я думал об этом. И опять два голоса в моем сознании спорили между собой. Один голос был согласен

с гипотезой о происхождении млекопитающих, а другой ему возражал.

Когда я вошел в парадное и хотел вызвать лифт, оказалось, что лифт испорчен. Сигнальный фонарик не зажегся. Я поднялся на второй этаж и попытался открыть дверцу, но она не открылась. А внутри лифта кто-то сидел и ждал помощи.

— Кто там? — спросил я.

— Я, — ответил обиженный женский голос. И по голосу я сразу узнал районного врача.

— Мы ведь больше не вызывали, — сказал я ей. — Я выздоровел.

— Я шла не к вам, а на четвертый этаж. По срочному вызову к Новотеловым.

— Ладно, — сказал я, — немножко потерпите. Я сейчас поднимусь к себе, и мы вызовем ремонтника.

И я стал быстро-быстро подниматься по лестнице, уже не думая ни о мальчике, ни о динозаврах. Я думал о том, почему лифт действует исправно, когда поднимаюсь я, моя мать и все жильцы и их знакомые, но стоит туда войти врачу, как лифт принимает за свои подлые штучки. Я думал об этом, и о теории вероятности, и о теории игр. И потом снова вспомнил про мальчика.

8

Дровделову все-таки удалось всучить свой счет. Войдя в класс, я застал Громову с этой позорной бумажкой в руке. А Дровделов стоял рядом и ухмылялся. Опять пришлось отложить разговор. Но потом Дровделов со своей бумажкой ушел, и я приблизился к Громову.

— А нельзя ли, — спросил я, — повидаться с кспией мальчика? Мне нужно выяснить один вопрос.

Вся эта фраза прозвучала очень глупо и дико. Она была по-дурацки выдернута из контекста моих мыслей.

— А что это за вопрос? — спросил Громов спокойно и как бы даже безучастно.

И я рассказал о динозавре, и его передних конечностях с хватательной функцией, и о млекопитающих,

которым вряд ли могла понравиться гипотеза, связывающая их происхождение с этим сомнительным животным.

— И что же, — спросил Громов, — ты хочешь задать этот вопрос копии мальчика?

— Хочу, — ответил я.

— Тогда тебе придется немножко обождать.

— Почему?

— Потому, что ты не один хочешь задать вопрос. Это во-первых. А во-вторых, мой отец и его сотрудники уже давно бьются над тем, чтобы дешифровать код и понять язык, на котором думал и разговаривал мальчик.

Но тут наша беседа опять прервалась. Начался урок. Я ждал перемены, а урок тянулся и тянулся... Наконец прозвенел звонок, и я спросил Громова:

— А нельзя ли все-таки с ним повидаться?

— С кем?

— С копией.

— Это невозможно. Она находится в Институте археологии, и доступ туда запрещен всем, за исключением сотрудников лаборатории.

— А ты сам ее видел?

— Разрешить оставить твой вопрос без ответа.

Я обиделся — как в тот раз, когда он намекнул насчет ремонта. В его словах сквозило явное недоверие.

По выражению моего лица Громов догадался, что я обижен. Ему, по-видимому, стало неловко, и он спросил:

— Что же ты не заходишь?

— Но у вас в квартире ремонт...

— Ремонт давно кончился. Заходи хотя бы завтра вечером. Я буду дома.

Он что-то еще хотел сказать, но не успел. В класс вошла преподавательница истории. Она стала работать в нашей школе совсем недавно, никого из нас еще не помнила по фамилии и даже не подозревала, что Громов много знает.

Раскрыв классный журнал, она назвала первую попавшуюся фамилию:

— Громов!

Громов встал, и она задала ему вопрос о первобытном обществе и о чем-то еще более древнем.

Я смотрел на ее лицо, пока Громов отвечал. Выражение ее лица все время менялось, и на лице можно было увидеть целую гамму чувств и переживаний.

А Громов отвечал, как только он один умел отвечать во всей школе, а может, и на всем Васильевском острове. И казалось нам, отвечает не он, а те люди, которые жили в древнюю эпоху, отвечает сама древняя эпоха, все факты и события, сами, не очень громким размышляющим голосом Громова.

И я подумал, что, наверное, так же спокойно и задумчиво будет отвечать мальчик через свою копию, когда дешифруют его язык.

Я не знаю, о чем думала преподавательница, слушая, как отвечает на ее вопросы Громов. Сама она молчала, зато безмолвно, сменой выражений, говорило ее лицо.

Потом Громов сел, а учительница встала. По-видимому, она так растерялась, что забыла его фамилию.

— Молниев? — обмолвилась она. Никто из класса не рассмеялся, даже Дровделов. Такой напряженной была эта минута.

— Нет, я не Молниев, а Громов, — спокойно сказал Громов.

— Благодарю, — сказала учительница. Она почему-то сказала это очень тихо, так тихо, что слышали не все.

А потом она целую минуту молчала, пока на лице ее не появилось то же самое выражение, с которым она вопля в класс. По-видимому, усилием воли она заставила себя успокоиться и снова обрести обычное состояние, с которым учителю легче продолжать урок. Спрашивать она больше никого не стала. А стала рассказывать сама, спокойно, буднично, как и полагалось.

Рассказывала она о далеком прошлом. Но это было совсем другое прошлое, не то, о котором нам сообщил Громов. В чем тут дело? Я не могу объяснить. Тому прошлому, о котором она рассказывала, не было никакого дела до нас. И я думал, что и нам тоже нет до него никакого дела. Но учительница думала иначе, чем я. Она рассказывала страшно спокойно, как

в учебнике, и даже еще спокойнее и очень методично, как, наверное, ее учили вести урок, чтобы мы могли его лучше усвоить.

Громов же сидел у окна и, казалось, внимательно слушал. А в окно мне были видны небо и облака, а Громов, наверное, видел и прохожих на тротуаре, а также старуху, овишую сливы и выплевывавшую косточки. Я думал, что в прошлом, о котором рассказывала новая учительница, не было ни этого окна, ни тротуара с прохожими, ни этой старухи, евшей то вишни, то яблоки, а то щелкавшей угогом орехи на подоконнике. И оттого, что всего этого не было в прошлом, прошлое становилось еще более страшным, и неуютным, и не совсем убедительным, таким, какое оно было в рассказе учительницы.

9

Вот она, эта дверь, обитая сукном, с синим ящиком для газет и писем.

Я звоню. Долго не открывают. Может, никого нет дома?

Я еще раз звоню. Открывает сам Громов, не отец, конечно, а сын.

— Проходи, — говорит он и ведет меня в переднюю.

— Я у вас давно не был, — говорю я. — А родители дома?

— Мать дома, отец в институте. А почему это тебя так интересует?

— Да нет, я это так просто. А божок с обсидиановыми глазами все еще висит?

— Висит. Сейчас ты его увидишь, вот вешай пальто сюда. Староверцева видел?

— Откуда? У него аппендицит на днях вырезали.

— Не аппендицит, а аппендикс. Он сейчас уже поправляется и карточки заполняет. Прислал мне вопросник. Ты что остановился? Проходи.

Мы пошли в бывшую детскую, где жил Громов. Прошли через столовую, и я увидел прозрачные гла-

за деревянного божка и его узкую фигурку с тоненькими ручками и слегка поджатыми ножками.

— Ну, а что за вопросник? — спросил я.

— Чудак он, этот Староверцев. Задает вопросы, на которые мог бы ответить только мальчик или его копия. А главное, требует, чтобы я ответил сейчас же и письменно, пока он еще не ходит в школу.

— И ты ответишь?

Громов удивленно посмотрел на меня и ничего не сказал.

Тогда я спросил:

— У тебя есть продолжение про мальчика?

— Есть где-то, если не потерялась тетрадка. У нас ремонт был. А что?

— Почитай.

— Нет, — сказал Громов, — не хочется. Извини, настроения нет. И потом я не люблю читать вслух.

— Да нет, почитай! — стал просить я. — Почитай, пожалуйста...

Мне стало противно от своих слов и от голоса, которым я просил, словно просил не я, а Дровоселов, но я все-таки продолжал канючить. Очень уж хотелось мне послушать про мальчика еще до того, как дешифруют его код. Ведь это будет не скоро.

— Почитай, что тебе стоит, ну, почитай...

— Нет, — сказал решительно Громов. — Читать я не буду. А если хочешь, включу проигрыватель, и мы послушаем мелодию, которую сочинил композитор, который... У отца в кабинете есть запись. Только смотри, об этом никому...

Он пошел в кабинет и скоро вернулся, бережно держа пластинку, а потом включил проигрыватель, чтобы я мог послушать мелодию, которую сочинил один композитор за много миллионов лет до того, как разум и человеческое ухо появились на Земле.

Я слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это билось где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечьи билось нечеловеческое сердце музыканта, который вопреки законам времени и пространства сейчас, казалось, был рядом с нами.

Звуки лились, объединяя необъединимое, они были тут, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от нас.

Мальчиком называл в своем рассказе Громов того, кто сумел оказаться рядом с нами. Он и был мальчик, наполненный детством, хотя это детство продолжалось миллионы лет и до сих пор не кончилось.

Мальчиком называли его на корабле. И он тоже так называл себя.

И мы с Громовым тоже пока были еще мальчиками, но наше детство должно было скоро кончиться. Его же детство длилось и длилось, сливаясь со звуками мелодии, которую я сейчас слушал.

Когда мелодия кончилась, я спросил о том, о чем, может быть, не следовало спрашивать:

— Что же, эту запись отец нашел вместе с информационной копией?

— Да нет, откуда ты это взял? Один отцовский приятель сочинил. Член Союза композиторов. По моей просьбе.

Я глядел на Громова, и, должно быть, лицо мое менялось, как у нашей новой преподавательницы истории. И Громову, должно быть, стало жалко меня и досадно за свои слова, и он спросил:

— А тебе, видно, хотелось, чтобы это тот музыкант написал, который дружил с мальчиком?

— Хотелось бы, — тихо ответил я.

— Но музыка же хорошая. Она тебе понравилась?

— Да. Но она понравилась бы мне больше, если бы ее сочинил тот и тогда...

— Когда еще не было разума и человеческого уха? — спросил Громов.

— Да.

— А ты представляешь себе, какой была тогда Земля?

— Раньше не представлял. А сейчас представил, когда слушал эту мелодию. А ты представляешь?

— Зачем мне представлять? — сказал тихо Громов. — Я не только представляю, но и знаю.

— Откуда?

— Разреши мне не отвечать на твой вопрос.

И я разрешил. Разрешил ему не отвечать на мой вопрос.

Я просто ушел. Надел пальто в передней и ушел. Не мог я больше канючить, выпрашивать, подлизываться.

Но, наверное, не всякий бы ушел на моем месте, так и не узнав истину. Какой-нибудь исследователь и крупный ученый ради науки плюнул бы на свое самолюбие и остался.

А я ушел. Правда, мне от этого было не легче. Я почти не спал ночь.

На другой день в классе случилось неприятное дело. Не знаю, почему я назвал это дело неприятным. Впрочем, пускай. Вот что случилось.

Пришел новый, очень молодой преподаватель биологии вместо старого, который ушел на пенсию. При старом бы все сошло. Того ничем нельзя было удивить.

Этот новый задал Громову вопрос. И Громов, разумеется, ответил. Дело, конечно, не в том, что Громов ответил не по программе. Дело в том, что Громов знал, чего не знал и не мог знать никто. И новый преподаватель все это понял. Я увидел это по его глазам. Таких глаз я не видел нигде — ни в кино, ни в театре. Казалось, на лице у него ничего не осталось, кроме этих глаз. А в глазах было все: восторг и ужас, недоумение и гнев, отчаяние и радость и еще что-то, чего мне не передать с помощью слов.

Я подумал, что он заболел или помешался. Он стал ходить по классу из угла в угол, словно забыв о нас.

Минут пять прошло, а он все ходит и ходит.

Потом он подошел к Громову.

Он сказал что-то, но так тихо и невнятно, что я не расслышал. Только по ответу Громова я догадался, о чем идет речь.

Речь шла о животных, вымерших миллионы лет назад. И дело не в том, что Громов рассказал о них обстоятельно, живо и слишком конкретно. У него вырвалось словечко, которое ему ни в коем случае не

следовало произносить, если уж он хотел все сохранить в тайне. Когда учитель ему возразил, он сказал:

— Вы знаете это из курса палеонтологии, а я помню...

И он стал выкладывать одну подробность за другой. Он словно решил на все наплевать — на тайну, на учителя, на первых учеников, и он опять употребил это выражение: «я помню»... Учитель прямо остолбенел, не в силах ни слова вымолвить.

Мне стало жалко учителя, а еще больше самого Громова. И я крикнул:

— Да он просто оговорился!

Учитель ухватился за мои слова, как хватаются за соломинку. И ему кое-как удалось завершить урок. Громов тоже успокоился.

Я был чертовски рад, что своей находчивостью дал им выйти из трудного положения.

Но тут выскочил Дроводелов. Лицо его ухмылялось.

— Платон! — крикнул он на весь класс. — Платон, ты мне друг, но истина мне дороже!

11

Я очень сердился на Дроводелова за его выходку. И ребята сердились. Но истина, конечно, была не виновата.

А новый преподаватель заболел. Подцепил где-то воспаление легких. И говорят, из куйбышевской больницы писал Громову письмо. Содержание письма никому в классе было не известно, даже Дроводелову. Но конверт видел на столе у Громова Староверцев и по обратному адресу догадался, кто и откуда писал Громову.

Я почему-то предполагаю, что учитель объяснял Громову свое состояние и почему он так волновался на уроке. А это вовсе не надо было объяснять. Не знаю, было ли в письме что-нибудь об истине.

А я думал о ней всякий раз, когда видел Громова. Потом Громов вдруг тоже перестал ходить.

Прошел слух, что он переезжает, и не на Черную

Речку, а в Академический городок под Новосибирском. Только что прошли выборы в Академию наук, и его отца выбрали членом-корреспондентом в Сибирский филиал академии. А раз выбрали, то хочешь или не хочешь, ехать надо. Так мне объяснил один ученик, у которого отца тоже выдвигали в члены-корреспонденты, но не выбрали.

Вот тут я снова вспомнил об истине. Я понял, что Громов скоро уедет, а Новосибирск далеко, и мне так и не удастся ничего узнать о мальчике, пока не появится о нем что-нибудь в газетах. Мне необходимо было повидаться с Громовым еще до его отъезда. Я все ждал, что он появится в классе, но он не появлялся. Может быть, он уже оформил свои документы в школе и ждал, когда отец сдаст дела.

Новый учитель биологии поправился и выписался из больницы. Держался он в классе как-то нервно, смущенно и время от времени бросал свой взгляд на пустое место возле окна, где раньше сидел Громов. И тогда в его глазах появлялось странное выражение, словно он там видел то, чего не видели другие.

Я тоже смотрел туда и видел там пустое место и окно. А за окном была улица с пешеходами на тротуарах и окно напротив, возле которого сидела толстая старуха, евшая яблоки или щелкавшая утюгом орехи на подоконнике.

Но учитель видел там другое — об этом говорили его глаза. Может быть, его глазам представлялась живая и впечатляющая картина древней Земли, Земли еще до человека и до млекопитающих, о которой рассказывал тогда Громов?

Когда я возвращался домой, позади меня застучали каблучки, и я догадался, что кто-то меня догоняет. Я оглянулся. Это был новый учитель.

Он нагнал меня и некоторое время шел со мной рядом. Мы оба молчали. Потом учитель спросил:

— Что вы думаете о Громове?

— Громов переезжает в Новосибирск, — сказал я. — Он будет жить в Академическом городке. Там есть школа для талантливых математиков и физиков. Он, наверное, туда поступит.

— А вы думаете, ему нужна эта школа?

— Туда все стремятся попасть, — ответил я, — но не всех принимают. Только талантливых. Уж кого-кого, а Громова примут сразу.

— Я тоже не сомневаюсь, что его примут, — сказал учитель. — Но я сомневаюсь, нужна ли ему средняя школа. Он слишком много знает.

— Да, — согласился я. — Он знает много, слишком много даже для самого хорошего ученика.

Лицо учителя оживилось. И он наклонился и доверительным тоном спросил меня:

— А откуда он все это знает?

— Очень просто, — ответил я, — у его отца хорошая библиотека.

— Вы думаете? — сказал учитель. По его голосу я догадался, что он остался не совсем доволен моим ответом. Но что он думал, когда задавал этот вопрос? Может, он думал, что я выложу ему все, что знаю и предполагаю про мальчика? Слишком уж он многого хочет.

Учитель сделал еще несколько неровных шагов, потом сказал:

— Всего хорошего.

И свернул на Пятую линию.

Я мысленно похвалил себя за то, что не ответил на его вопрос. Потом подумал: а что я мог, собственно говоря, ему ответить? Ведь я тоже не знал, откуда Громов черпает свои познания.

Придя домой, я взял с полки подаренную мне на день рождения книжку и стал читать. Книжка называлась «Хочу все знать». Название мне понравилось, хотя и показалось немножко неточным. Разве можно знать все? Нет, все, наверное, знать нельзя. А так в общем книжка была ничего. Познавательная. Вроде тех карточек, которые заполнял Староверцев.

Прочитал я немножко, потом скучно стало. Я подошел к окну и посмотрел. Падал снег. От снега улица стала новенькой, свежей, словно только что возникла. И неизвестно почему мне стало вдруг хорошо, хотя я жил не в летящем куда-то космическом корабле, а в самом обыкновенном, давно не отремонтированном

доме. И дому ничего не угрожало. Ни случайная встреча с метеоритом, ни другие опасности такого рода. Он не мог сбиться с трассы и заблудиться в бесконечной вселенной. Все было очень обыкновенно. Внизу на той стороне я видел булочную со старинной вывеской, на которой нарисован вкусный крендель, и пошивочную мастерскую с восковым гражданином в мешковато спитом костюме в витрине, и телефонную будку, ту самую, где Дроводелов отрезал трубку. Мне стало как-то уютно и радостно, словно завтра начинается праздник и будет длиться долго-долго. Но затем мой взгляд упал на подъезд того дома, где жил Громов. Радость и уют сдуло как ветром. И хотя это было обычное парадное в обычном жактовском доме, мне казалось, что за дверью начинается другой мир, мир, полный неожиданностей и тайн. Я и стоял у окна и думал, какой из этих миров лучше: этот, с булочной и пошивочной мастерской и телефонной будкой, или тот, где вместо пошивочной и телефона-автомата летают метеориты?

И тут я вспомнил мальчика. Ведь он был лишен выбора. За него все выбрала судьба. Он родился на корабле в пути. А потом все летел и летел. А за стеной того отсека, где спал мальчик, была не пошивочная мастерская, а ничто, именуемое вакуумом.

Мне стало как-то неловко, словно я поделился своими мыслями с целым залом слушателей. Затем я стал надевать пальто. И ровно через минуту я стоял уже у тех самых дверей.

Я стоял, все не решаясь поднести палец к кнопке звонка. В тот момент, когда я решил, дверь сама отворилась. Вышел отец Громова. Он куда-то уходил и был в пальто.

— Дома, — сказал он мне. — Заходите.

И я сделал шаг. В то мгновение, когда я делал этот шаг, я не подозревал о последствиях.

Громов мне как будто даже обрадовался.

— Заходи, — сказал он. — Раздевайся. У нас уже и вещи связаны.

Зачем он добавил о вещах, которые были действительно связаны, не знаю.

Когда мы проходили через столовую, я взглянул на стену. Но божка там уже не было. Он лежал на полу рядом с чемоданом, поджав свои узкие деревянные ножки.

Тогда я вдруг осознал, что Громовы переезжают. До того момента, когда я увидел божка на полу рядом с чемоданом, я еще сомневался.

Когда мы пришли в детскую и сели, Громов спросил:

— Ты так или по делу?

— По делу, — сказал я.

Громов сразу же замолчал. Я тоже не решался сказать, по какому делу пришел.

— И черепа тоже везете? — спросил я.

— Везем.

— И божка?

— Божка тоже.

— А мальчика?

Это слово само вырвалось у меня почти невзначай. Я бы много дал, чтобы вернуть его назад. Лицо у Громова сразу изменилось. Его словно что-то отодвинуло от меня. И казалось, я его вижу не в комнате перед собой, а на экране телевизора.

— А зачем тебе мальчик? — тихо спросил Громов.

— Я ему вопрос хочу задать.

— Так задавай, — так же тихо сказал Громов. —

Я отвечу.

— Я хочу, чтобы сам мальчик ответил.

— Я и есть мальчик.

— Ты?

— Да, я. Разве ты об этом не догадался?

Я ничего не сказал. Меня бросало то в озноб, то в жар. На лбу выступил пот.

— Ну, что же ты не задаешь вопросы?

— Я лучше потом, — сказал я.

— Когда же потом?

— В следующий раз.

— Мы завтра уезжаем в Новосибирск.

— Когда?

— В девять вечера.

— Тогда я после обеда забегу, можно?

— Забегай.

Но я, конечно, не забежал к нему после обеда. Почему? Я сам не знаю. Может быть, потому, что я не знал, о чем его спрашивать. Не мог же я спрашивать про динозавра с хватательной функцией в передних ногах, который воровал яйца у своих соседей. Это было бы слишком мелко. А более крупных вопросов у меня в сознании, к сожалению, не возникло. Слишком уж я волновался.

12

Я долго переживал и волновался. Дней пять или шесть. А потом перестал переживать и больше уже не волновался. И как только перестал волноваться, в моей голове появилось множество вопросов, которые следовало бы задать мальчику, то есть Громову. Но Громов был уже далеко, в Академическом городке под Новосибирском. А в их квартиру въехала какая-то чужая семья. Я видел, как подъехала трехтонка с вещами. Но то были обыкновенные вещи, столы, кровати, стулья, диваны. И конечно, среди этих вещей не могло быть деревянного божка с поджатыми ножками и нумерованных черепов. Я смотрел, как носили эти вещи, и сердце мое сжималось от тоски. И я думал: вот была в доме напротив необыкновенная квартира, и в ней жил Громов, а сейчас туда въехала незнакомая семья, и это уже необратимый процесс, как любит говорить наш учитель физики Дмитрий Спиридонович.

Вообще настроение у меня было плохое в эти дни, и ребята это заметили сразу.

— Что нос-то повесил? — спросили меня.

— Громов уехал, — сказал я.

— Ну и что? Подумаешь! Вместо него другой уже сидит ученик. Новый. Он тоже, кажется, много знает. Приехал из Горького. Говорит на трех языках.

И действительно, на том месте у окна сидел новичок, издали он даже был чем-то похож на Громова. Такое же задумчивое выражение лица. И волосы жесткие, прямые, ежиком.

И как Громов, он то и дело смотрел в окно. Потом сделал кому-то гримасу и показал язык. И я подумал, что он это, наверное, старухе в доме напротив, которая ела яблоки или щелкала утюгом орехи. Громов этого себе никогда не позволял. Он ко всем относился с уважением, и к этой старухе тоже.

Да, неважное было у меня настроение. А тут еще стали тревожить меня вопросы, которые я не успел задать Громову.

Уроки тянулись долго. А когда я возвращался домой, я увидел рядом с собой того, новенького, который сидел на месте Громова.

— Ты далеко живешь? — спросил он меня.

Я назвал улицу и номер дома. Он удивился.

— Значит, ты живешь напротив, — сказал он.

И я догадался, что это он поселился в квартире Громова. Это их вещи привезла трехтонка. Я смотрел на него и никак не мог сообразить, как к нему относиться: хорошо или плохо? Два голоса спорили во мне. Один голос говорил: он же не виноват, что сел на место Громова у окна и поселился в его квартире. И Громов все равно уехал бы в Академический городок под Новосибирском, раз его отца выбрали в члены-корреспонденты. А другой голос возражал: разумеется, он не виноват. Но все равно что-то в нем есть. И наверное, задается.

И я решил задать ему, этому новичку, вопрос, один из тех, которые хотел задать Громову.

— Почему, — спросил я его, — существует мир?

— Потому, что существует, — ответил он.

— А что было бы, — спросил я, — если бы мира не было?

— Не было бы и нас, — ответил он.

— Ну, это не ответ, — сказал я.

— А почему ты об этом спрашиваешь? — спросил он.

— Потому, что хочу знать.

— Мало ли что ты хочешь!

— А почему я должен хотеть мало? Я хочу много.

— Но ты задаешь глупые вопросы.

— Вовсе они не глупые. Ты ничего не понимаешь.

— Глупые. А главное, неконкретные. Разве можно спрашивать о том, почему существует мир?

— Можно.

— Нет, нельзя.

— Громов так бы не сказал.

— Громов? Этот тот, что жил в нашей квартире?

— Не он в вашей, а вы живете в его квартире.

— Мы въехали по ордеру. А он выбыл.

— Не выбыл, а уехал в Новосибирск.

— Ну, уехал. Это все равно. А ты в пинг-понг играешь?

— Играю.

— Так заходи. После обеда заходи. У нас есть. Сыграем.

— Может, и приду, — сказал я. — А как тебя зовут?

— Игорь, — ответил он важно. — Игорь Динаев.

Два голоса спорили во мне: идти или не идти? И все-таки я пошел. Больше из любопытства.

В столовой вместо божка с поджатыми ножками уже висела картина. Квартину я не узнал. Везде мебель, вся новенькая, как в мебельном магазине. А ведь когда Громовы там жили, квартира походила чем-то на отсек космического корабля. Вещей почти не было. А сейчас от мебели и от картины, на которой была изображена купальщица, трогаящая воду в реке длинной ногой, мне как-то стало не по себе. И даже в пинг-понг расхотелось играть. Почему-то захотелось пить. Но я вспомнил про пустыни и как там люди мужественно преодолевают жажду. И я тоже превозмог.

— Что ты молчишь? — спросил Игорь.

— Думаю, — ответил я.

— А о чем ты думаешь?

— Мало ли о чем я могу думать!

— Ну, а все-таки? — спросил он.

— Я думаю о пустыне Гоби.

— А ты там бывал?

— Нет, не бывал.

— А почему же ты тогда о ней думаешь?

— Я всегда думаю о тех местах, где не бывал.

— Значит, ты псих. У вас все в классе какие-то

не такие. Я сразу заметил. А кто тот парень, про которого у вас все так много говорят?

— Громов.

— А что в нем особенного? Почему про него так много говорят?

Я взглянул на картину, на которой была изображена купальщица, и на новую мебель. Потом сказал:

— У них не было столько мебели.

— У кого?

— У Громовых.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего.

Я нарочно заговорил о другом. Не хотелось мне говорить с ним о Громове да еще в этой самой квартире.

Потом я встал.

— Ну, пока. Уроки учить надо. Сегодня много задано.

А задано было совсем немного.

Что еще осталось мне сказать? Почти ничего. Без Громова в классе все стало очень обыкновенным. Все к этому скоро привыкли. И постепенно стали забывать о Громове. И даже я редко о нем думал. Слишком задавать стали много. Свободного времени совсем мало оставалось. Но я все-таки старался пополнять свои знания. Читал разные книжки, в том числе ту, которая называется «Хочу все знать».

И голос (один из двух спорящих во мне голосов) говорил, что всего знать нельзя. А второй возражал, напоминая о Громове, и утверждал, что можно.

Из Академического городка под Новосибирском не было никаких известий. Я уже стал думать, что Громов просто шутил, когда сказал мне перед отъездом, что он и есть тот самый мальчик.

Но вот что случилось в субботу после занятий. Я ехал в трамвае с матерью. Ехали мы на Черную Речку к знакомым поздравить их с новосельем. И у матери на коленях в белом футляре лежал огромный торт, купленный в кондитерской «Север». Все было как обычно бывает в трамвае. Одни люди стояли, держась за ремни, другие сидели. И один из них чи-

тал газету. Я заглянул ему через плечо и посмотрел на третью полосу, и буквы стали прыгать, словно я глядел на них через отцовские очки. Но я успел прочесть:

«Найденные профессором Громовым информационные копии пришельцев, посетивших Землю в юрский период, изучаются... Исследовать возможности восприятия человеком психологии и знаний инопланетного мальчика помогал коллективу пятнадцатилетний сын ученого... Резервы памяти оказались огромны...»

Слова прыгали. И мне стало холодно, и сразу же жарко, и снова холодно.

— Что с тобой? — спросила мать.

Я не успел ответить и бросился бежать за гражданином, который встал с места и быстро пошел к дверям.

— Газету! — кричал я на весь трамвай. — Дайте, пожалуйста, газету!

СНЕЖОК

В моем бумажнике паспорт, служебное удостоверение, несколько разноцветных книжечек с уплаченными членскими взносами, но сам я — призрак, эфемерида. Я не должен ходить по этому заснеженному тротуару, дышать этим крепким, как нашатырный спирт, воздухом. У самого бесправного из бесправных, у лишнего всех жизненных благ и навеки заключенного в тюрьму больше прав, чем у меня. Неизмеримо больше!

Я так думаю, но не всегда верю в это. Слишком привычен и знаком окружающий меня мир. Ветки деревьев разбухли от изморози и стали похожими на молодые олени рога. Провода еле видны на фоне бесцветного неба. Они сделались толстыми и белыми, как манильский канат. На крыше физфака стынут в белесом сумраке антенны. Точно мачты призрачного фрегата. Химфак дает знать о себе странным — никак не разберу: приятным или, наоборот, противным — запахом элементоорганических эфиров. Привычный повседневный мир! И только память тревожным комком сдавлиывает сердце и шепчет:

Все мечты, все нереальность,
Все как будто бы зеркальность
Навсегда ушедших дней.

Вчера еще было лето, а сегодня — зима. Как много лжи в этом слове: «вчера». Нет, не вчера это было...

У меня нет пальто. Вернее, оно висит где-то на вешалке, но номерок от него лежит в чужом кармане. И опять ложь: «в чужом». Не в чужом... Просто для этого еще не придумали слов.

Я иду быстро, чтобы не замерзнуть. Как-нибудь обойдусь без пальто. Раньше я часто бегал раздетым на химфак или в главное здание.

Я остановился и вздрогнул. Ну надо же так! Я чуть было не угодил под огромный МАЗ. Шофер высунулся, и вместе с жемчужным паром от дыхания в безгрешный колючий воздух ворвался затейливый мат.

Я засмеялся. Ну и дурак же ты, шофер! Я одна только видимость. Дави меня смелее! Твой защитник сумеет добиться оправдания. Нельзя убить того, кто не существует.

Какая-то, однако, чужь лезет все время в голову. Я стараюсь не дать себе забыться и отвлечься. Я должен помнить, что здесь я чужой.

Навстречу мне идет яркая шеренга студентов. Беззаботные и гордые, точно мушкетеры после очередной победы над гвардейцами кардинала, идут они чуть вразвалочку, громко смеясь и безудержно хвастая.

— А тебе-то что досталось, Пингвин? — Высокий, щеголеватый парень повернулся к рыжему коротышке.

— Так! Ерунда! Абсорбция, изотерма Лангмюра, двойной электрический слой и двухструктурная модель воды... Я запросто, одной левой...

«Физхимию сдавали», — подумал я и задержал шаг.

— Ты только глянь, что на мне надето, — сказал рыжий, вытягивая из-под шарфа воротник синей в белую полоску рубашки. — Не знаю, как только держится еще! Все экзамены в ней сдам. Счастливая! Костюмчик тоже старенький, еще со школы.

Я ощутил какую-то неострую, грустную зависть.

Вот и красный гранит ступеней. Запорошенные каменные ели. Прикрытая кокетливой снежной шапочкой каменная лысина Бутлерова.

Я привычно полез в карман за пропуском.

Сердце екнуло и упало.

Преувеличенно бодро поздоровался с вахтершей и, сунув ей полураскрытый пропуск под самый нос, побежал к лифту.

Бедная вахтерша! Если бы она только видела, какая дата стоит у меня в графе «Продлен по...»!

Зажглась красная стрелка. Сейчас раздвинутся двери лифта. И я подумал, что мне лучше не подыматься на четвертый этаж. Что, если я встречу его и кто-нибудь увидит нас вместе? От одной этой мысли мне стало холодно.

О том, чтобы поехать домой, тоже не могло быть и речи. Родители бы этого не перенесли. Они ни о чем не должны знать. Если уж я и встречу с ним, то нужно будет сразу же обо всем договориться.

Я даже засмеялся, думая о нем. Юмор, наверное, прямо пропорционален необычности и неестественности ситуации. И подумать только, такой переход произошел мгновенно! Во всяком случае, субъективно мгновенно. А объективно? Сколько времени прошло с того момента, как я на защите диссертации сдернул черное покрывало?

* * *

Мои теоретические предпосылки ни у кого не вызвали особых возражений. Шеф, естественно, дал блестящий отзыв, официальные оппоненты придрались лишь к каким-то частностям.

Один из них, профессор Просохин, долго протирал платком очки, дышал на стекла и крихтел. Медленно и скрипуче, как несмазанное колесо, он что-то бормотал над бумажкой. Всем было глубоко безразлично, сколько в диссертации глав, страниц и рисунков, сколько отечественной и сколько иностранной библиографии. Члены ученого совета уже мысленно оценили работу и, скучая, слушали нудного и скрупулезного профессора.

Время от времени я делал пометки, записывая отдельные фразы. Мне еще предстояло ответное слово. Наконец Просохин кончил речь сакраментальной фразой:

— Однако замеченные мной недостатки ни в коей мере не могут умалять значения данной работы, которая отвечает всем требованиям, предъявленным к такого рода работам, а автор ее, безусловно, заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата физико-математических наук.

Председатель ученого совета профессор Валентинов, высокий красавец с алюминиевой сединой, сановито откашлялся и спросил:

— Как диссертант будет отвечать — обоим оппонентам сразу или в отдельности?

— Сразу! Сразу! — раздался из зала возгласы членов ученого совета, которым уже осточертела однообразная процедура защиты.

— Ну, в таком случае, — сказал Валентинов и улыбнулся чарующей улыбкой лорда, получившего орден Подвязки, — попросим занять место на кафедре нашего уважаемого гостя, Самсона Ивановича Гогоцеридзе.

Член-корреспондент Гогоцеридзе влетел на кафедру, точно джигит на коня. Свирепо оглядел зал и, никого не испугав — Самсон Иванович был добрейшим человеком, — дал пулеметную очередь:

— Тщательный и кропотливый анализ, проделанный нашим уважаемым профессором Сергеем Александровичем Просохиным, избавляет меня от необходимости детального обзора диссертации уважаемого Виктора Аркадьевича (благодарный кивок в мою сторону). Поэтому я остановлюсь лишь на некоторых недостатках работы. Их немного, и они тонут в море положительного материала, который налично.

Гогоцеридзе перевел дух и вытер белоснежным платочком красное лицо.

— Да... я не буду говорить о достоинствах работы, а лишь коротенько о недостатках.

Это «коротенько» вылилось в семнадцать минут. Я уже начал волноваться, но шеф едва заметно подмигнул мне, и я успокоился. Перечислив все недостатки, Гогоцеридзе выпил стакан боржома и произнес традиционное заключение, что, несмотря на то-то и то-то, диссертация отвечает, а диссертант заслуживает.

Я поднялся с места для ответного слова. Так как меня никто не громил, а отдельные частности, не понравившиеся оппонентам, были не существенны, я решил не огрызаться. Минут пять я благодарил всех тех, кто помог мне в работе. Это было едва ли не самое

главное. Не дай бог кого-нибудь забыть! Потом я шаркивался перед оппонентами, обещая учесть все их замечания в своей дальнейшей работе и вообще руководствоваться в жизни их ценнейшими советами.

Шеф кивал в такт моим словам головой. Все шло отлично.

Потом Валентинов призвал зал к активности. Но выступить никто не спешил. Нехотя, точно по обязанности, вышел один из членов ученого совета, что-то там пробормотал и сел. Еще кто-то минут пять проговорил на отвлеченные темы и сказал, что такие молодые ученые, как я, нужны, а моя работа даже превышает уровень кандидатской диссертации.

И вдруг я услышал долгожданный вопрос, его задала мне незнакомая девушка:

— Я очень внимательно следила за тем местом в докладе Виктора Аркадьевича, где он дает теоретическое обоснование возможности перемещения против вектора времени. Я даже подчеркнула этот абзац в автореферате. Мне бы очень хотелось знать о предпосылках экспериментальной проверки этого эффекта.

Вопрос был что надо! Мы с шефом предвидели его и еще месяц тому назад заготовили шикарный ответ. О том, что у нас уже готова установка, шеф не велел даже заикаться. Это могло бы повредить защите. Все бы сразу оживилось, начались бы расспросы — что и как. Насилу я уговорил шефа все же перенести установку в зал защиты и скрыть ее черным покрывалом. Так, на всякий случай...

Когда девушка задала свой вопрос, шеф улыбнулся и, кивнув на установку, приложил палец к губам. Я подмигнул ему: еще бы, разве я себе враг?

Я поднялся для того, чтобы ответить на вопросы и лишний раз блеснуть эрудицией. Изрек несколько общих фраз, поблагодарил выступавших и перешел к ответу на тот вопрос. По сути, это был единственный настоящий вопрос, на который стоило отвечать.

И тут я увидел глаза девушки. Темно-медовые с золотыми искорками, внимательные и серьезные. Сэр Ланселот вскочил на коня. Дон-Кихот вонзил копье в крыло ветряной мельницы.

Не знаю, как это получилось, но я подошел к установке, дернул покрывало и глухо сказал:

— Вот!

В зале стояла тишина. На шефа я старался не смотреть. Порыв прошел, и я понял, что сделал глупость. Но отступить было некуда. И я, точно в омут головой, кинулся в атаку:

— Мощность этой экспериментальной установки еще очень мала. Поэтому я смогу перенестись в прошлое не далее чем на несколько месяцев. Я сделаю это сейчас. Когда я исчезну, то попрошу всех оставаться на местах. И уж ни в коем случае не вставать на то место, где сейчас стоит установка... Я скоро вернусь.

Зал не дышал. А я подошел к распределительному стенду и подключил установку. Как в полусне, я надел на лоб хрустальный обруч, снял пиджак, засучил рукава и приложил к рукам медные контакты. Потом я нажал кнопку. Последнее, что я увидел, — это был раскрытый рот профессора Валентинова. В руках профессор держал записную книжку в затейливом кожаном переплете, которую он купил в Южной Америке.

* * *

В зале было холодно и сумрачно. Я снял обруч, поставил лимб на нуль и выключил установку. Потом я огляделся. На окнах росли сказочные морозные листья. Они светились опаловым блеском. Мутные блики застыли на пустых скамьях. Высокий потолок утопал во мраке. Я подошел к дверям и потянул их на себя. Они были заперты. Вот невезение! Это могло испортить все дело. Поднимать шум бесполезно, даже рискованно. Все комнаты на ночь опечатываются. Ждать до утра? Но будут ли ждать меня те, кого я оставил... в будущем?

Интересно, сколько сейчас времени? Где-то вверху над доской должны быть часы. Мне казалось, что я различаю слабый отблеск их круглого стекла. Я начал вспоминать, где расположен выключатель. Как странно! Сколько раз я бывал в этом зале и днем и вечером, но ни разу не обратил внимания, где находится выключатель.

Я подошел к стене, прижался к ней и, вытянув руки, начал обходить зал по периметру. Наконец я нащупал выключатель. Он оказался возле самой двери. И как это я раньше не сообразил?!

Вспыхнул свет. Часы показывали двадцать семь минут пятого. До пачала рабочего дня оставалось четыре часа. Если только я случайно не угодил в воскресенье. И я решил подождать. Я выключил свет, прошел в глубину зала и улегся на задней скамье. Когда утром сюда придет уборщица, она меня не заметит. Сколько раз я спал здесь!

Но тогда все было по-иному. На кафедре что-то бубнил преподаватель, вокруг были студенты. Одни записывали лекцию, другие играли в балду, третьи шептались. А я спал.

Я долго вертелся на жесткой скамье. Вот досада! И почему только я не взял с собой пиджака! На мне была одна только нейлоновая рубашка с засученными рукавами. Я опустил рукава, обнял себя за плечи и попытался уснуть. Но мысли гнали сон.

Как только отпрут зал, мне нужно будет незаметно проскользнуть в лабораторию. До прихода товарищей и, главное, его. Я постараюсь переодеться в старый лыжный костюм, в котором обычно провожу эксперименты. Он висит в моем шкафчике, рядом с белым халатом. Хорошо еще, что бумажник с деньгами был не в пиджаке, а в брюках! Мне уже сейчас хочется есть, а что будет утром... Действительно, что будет утром?

* * *

Все случилось, как я и предполагал. Ползая под столами, мне удалось обмануть бдительность тети Кати, которая ворчала под нос, посыпая пол мокрыми опилками, и проскользнуть в коридор. За установку я не волновался. Студентов у нас приучили ничего руками не трогать, а научные сотрудники не станут вертеть неизвестный прибор. Особенно если на кожухе сделана предупредительная надпись.

Переодевшись, я стремглав понесся по лестницам вниз. Я решил перебежать на химфак. Там у меня

меньше знакомых, и мне легче будет обдумать свое положение. Пробегая по коридору второго этажа, я заглянул в приоткрытую дверь читальни. Там никого не было. Я тихо прошел по ковру к подоконнику, заставленному горшками с кактусами и агавами. За окном шумел утренний город. Окутанные дымками трубы, мосты с пробегающими троллейбусами, спешащие на работу люди. И это была реальность, такая же объективная реальность, как я сам.

Все столы в читальне были заняты. Преподаватели и аспиранты оставили свои портфели, папки, тетради, исписанные листы бумаги, авторучки. Через несколько минут они придут сюда и вернуться к прерванной работе. За одним из профессорских столов я заметил предмет, который заставил меня насторожиться. Это была записная книжка профессора Валентинова. Желтый кожаный переплет украшали цветные иероглифы древних ацтеков. В эту книжку профессор записывает все, что ему предстоит сделать завтра. Я быстро пролистал исписанные страницы. Последняя запись была сделана одиннадцатого декабря. «Значит, сегодня одиннадцатое, а запись сделана вчера», — решил я, потому что под датой было написано:

1. Позвонить Ник. Андр. по поводу Астанговой.
2. 11.30.—13.30 — лекция на III курсе.
3. В 14.00 — ученый совет.
4. В 17.00 — аспиранты.

Да, сегодня одиннадцатое декабря... Больше семи месяцев...

И тут мне в голову пришла великолепная мысль. Я оглянулся, не стоит ли кто в дверях, и, быстро положив записную книжку в карман, выбежал из читальни.

* * *

На химфаке царил экзаменационная суеда. Все были озабочены, торопливы, нервны. С лестниц скачивались смеющиеся орды счастливцев. Даже вахтеры были захвачены общим настроением.

— Тот и сдает, кто учит, — говорила одна из них,

разматывая клубок шерсти, — моя вон и книжки на ночь под подушки кладет, и в туфельку пяточек прячет, а коли не учит, то и ничего...

Передо мной, шипя, раскрылись двери лифта, и я все никак не мог сообразить, что мне делать. Двери с шумом захлопнулись. Прозвенел зуммер, и лифт, повинувшись вызову откуда-то сверху, ушел без меня. Я решил подождать начала рабочего дня и позвонить ему. А то уйдет на химфак или еще куда-нибудь.

* * *

Монета с лязгом провалилась в стальную щель автомата. Кокетливый женский голос пропел:

— Алло-у?

Я проглотил чуть не сорвавшуюся с языка фразу: «Приветик, Раечка, это я, Виктор».

— Алло-у?!

— Виктора Аркадьевича, пожалуйста, — сказал я, облизывая пересохшие губы.

Трубку положили на стекло письменного стола. Я слышал характерный звук. И вообще я знаю, куда они кладут трубку. Стало тихо. Лишь время от времени доносились приглушенные расстоянием разговоры. Но вот послышались шаги. Мужчина шел широко и уверенно. Мне было приятно узнать, что у него такой шаг. Дуэтом, немного не поспевая за мужчиной, семенили каблучки-гвоздики. Я напруг слух.

— Если бы я не знала, что вы здесь, Виктор Аркадьевич, — откуда-то издалека, с другой планеты долетало Раечкино сопрано, — я бы решила, что меня разыгрывают. Ну в точности ваш голос!

— Я слушаю, — трубку взял мужчина.

Вот те и на!

Голос его мне был незнаком и неприятен. Но я вспомнил, как звучит мой собственный голос в магнитофонной записи, и успокоился. Свой голос трудно узнать. К нему нужно долго привыкать.

— Виктор Аркадьевич, — сказал я в трубку, стараясь дышать глубоко и спокойно, — не перебивайте меня и старайтесь отвечать короче. Главное, не удивляйтесь и не возмущайтесь... У меня очень важное

дело, и никто, кроме нас с вами, не должен об этом знать. Вы меня понимаете?

— Нет. Кто это говорит?

— Виктор Аркадьевич, вы планируете эксперимент по движению макросистемы против вектора времени? — Я пошел ва-банк.

— Кто это говорит?!

— Успокойтесь, пожалуйста. Нам нужно встретиться, и вы все поймете. Я вам все объясню...

Наверное, он принимает меня за пантажиста или шпиона.

— Почему вы не хотите назвать себя? — В его голосе звучало нескрываемое раздражение.

— Вы меня не знаете. Совсем не знаете! Я случайно проведаль о ваших планах... совершенно случайно. Я работаю над той же проблемой, что и вы. Но... я попал в беду. У меня неудача. Мне нужна ваша помощь.

Дыхание в трубке участилось. Я мысленно ликовал. Кажется, клюнуло! Впрочем, я действовал наверняка. Ведь я знал его, как... можно знать себя.

— Вы не находите, что все это несколько странно? — наконец сказал он.

— Ничуть. Все абсолютно нормально. Я прошу вас только о встрече. Ни о чем больше. Будь вы девушкой, наш разговор был бы естествен: он просит, она ломается... Но вы не девушка и не можете мне отказать. Не имеете права наконец!

— Почему вы так думаете?

Я не ожидал от него такого дурацкого вопроса.

— Почему я так думаю? — переспросил я. — Да хотя бы потому, что «я знал ее, как можно знать себя, я ждал ее, как можно ждать любя». Это я о вас!

— Хорошо! Давайте встретимся, где вам удобно... Как мы узнаем друг друга?

— О, не беспокойтесь! Мы узнаем друг друга в любой толпе в первую же секунду.

Я тут же осекся. Незачем переигрывать. Он этого не любит. Но было уже поздно.

— Что вы хотите этим сказать? — Опять в его голосе появилось недоверие.

Есть синий вечер, он напомнит,
Не даст забыть, не даст уйти.
Вот так рабу в каменоломне
Цепь ограничила пути.

Я процитировал строфу стихотворения, которое он написал еще студентом и никогда никому не показывал.

Трубка молчала.

— Итак, где и во сколько? — наконец спросил он.

Вот молодчина! А я и не знал, что он такой молодчина... Сейчас очень волнуется, я это знаю, но какой спокойный голос! Какой бесстрастный!

— Вечер у вас свободен?

— Только до семи часов.

Интересно, куда он собирается?.. Наверное, что-нибудь важное. Иначе он бы забросил для меня все дела. Я-то знаю! Он любопытен до невозможности.

— А если сразу же после работы? У вас дома... Мама куда-нибудь уходит?

Я хотел сказать «ваша мама», но не смог и сказал просто «мама».

— Приходите в пять часов. Вы, надеюсь, знаете, где я живу?

— Да, знаю.

— Я почему-то так и подумал. Итак, в пять?

— Да, в пять. Спасибо. До свидания! Вы молодчина!

* * *

Мы оба, он и я, все еще не можем прийти в себя. Я смотрю на свою квартиру, оглядываю каждую вещь. Все здесь интересует меня. Обои и картины, которые написаны мной, мои книги и скульптура, выполненная моим другом. Как на величайшее чудо, смотрю я на мамину швейную машину, накрытую кружевной салфеткой, и на телевизор, на котором развалился, закрыв экран пушистым хвостом, мой старый рыжий кот. Я почти не нахожу здесь перемен. Может быть, потому, что я покинул эту квартиру только вчера? Но ведь вчера она была на семь месяцев старше, чем та, в которой я очутился сегодня!

Ничто не поразило меня больше, чем моя квартира. Может быть, потому, что в ней был он? Он? Я говорю «он», как будто бы это другой отдельный от меня человек... Впрочем, действительно другой и отдельный! Кто же из нас более реален, более на своем месте: он или я?

— Боюсь, что мы сейчас думаем с вами об одном и том же, — говорит он, как-то вымученно улыбаясь.

— Да, вероятно... Кстати, почему мы говорим друг другу «вы»? Ведь мы... Во всяком случае, мы ближе, чем самые кровные близнецы.

— Да, черт возьми! Я никак не сформулирую... Вертится на языке и не дается! Минуточку... Мы с вами... Мы с тобой одно и то же лицо при условии движения во времени. Но одновременно мы можем существовать лишь раздельно! Улавливаешь суть?

— И это ты говоришь мне? Яйца собираются учить курицу?

— Та-та-та! Мы, кажется, хорохоримся? — В его глазах прыгают веселые чертики. — Идею о переносе в прошлое разработал я, а ты ее только претворил в жизнь.

Я даже сел от такой наглости. Но, подумав хорошенько, я нашел в его мысли известный резон. Более того, я даже придумал, как обратить против него его же оружие. Он хотел еще что-то сказать, но я опередил его:

— Стоп, старина! Стоп! Так не годится. — Я подавил рождающуюся у него во рту фразу. — Нужно стрелять по очереди... Я принимаю ваш выстрел, поручик. Будем считать, что пуля сорвала мой эполет. Теперь мой черед. Да знаете ли вы, самовлюбленный мальчишка, что идея принадлежит не вам? Да, да, не машите руками! Я принимаю ваши возражения без прений. Она не моя, согласен, но и не ваша! Она пришла в голову тому, кто младше вас на год и младше меня на девятнадцать месяцев... Что, съел? Один поль в мою пользу! Вы убиты, поручик. Прими, господи, его душу; хороший был человек.

Он рассмеялся. Ну разве он не молодчина? Я про-

сто влюбляюсь в него. Эх, если бы можно было навсегда остаться так, вдвоем. Я так мечтал о брате! Но он мне не брат...

— Старость еще не очень потрепала тебя. Сметка есть! — Он похлопал меня по плечу. — Великолепная мысль! Не худо бы ее развить... Где осталась установка?

— В зале, на факультете. А что?

— Я мыслил ее с углом инверсии в четыре сотых секунды. Как ты ее сделал?

— У меня, то есть у тебя, в расчеты вкралась ошибка. Не совсем точно раскрыта неопределенность — бесконечность на бесконечность.

— Почему не точно? По правилу Лопиталья!

— Оно здесь неприменимо. Я использовал метод Ферштмана. Получился угол в пятьдесят две тысячных.

— Но это все равно... установка на одного человека. Жаль!

— Что жаль?

— Если бы мы могли отправиться на год назад вдвоем... Мы попали бы в тот момент, когда ко мне, то есть к нему, вернее ко всем нам, пришла эта идея! Каково?

— Здорово! Великолепная мысль. Нас бы стало трое! Три мушкетера!

— Вернее: бог-сын, бог-отец и бог — дух святой! Трое в одном лице.

— А с тобой неплохо работать! — Я жадно всматривался в его лицо, пытался уловить те необратимые изменения, которые принесло мне время.

— С тобой тоже хорошо, — в его голосе я почувствовал нотку нежности. Он тоже пристально рассматривал меня. Еще бы! Ему предстояло стать таким через семь месяцев. Кому не интересно!

Мы замолчали. Я не думал, что эта встреча так потрясет меня. Я представлял себе все совершенно иначе. Мне казалось, что я буду сверкающим посланцем из будущего, мудрым и блестящим, как фосфорическая женщина. Буду поучать, советовать, а «он» будет ахать и восхищаться, закатывать глаза и падать в об-

морок. А он вот какой! И это только естественно, только естественно. Действительность, как всегда, оказалась самой простой и самой ошеломляющей. Мудра старушка природа, мудра! Что ей наши гипотезы?

— Послушай, старина, а не поесть ли нам? — Он первым нарушил молчание.

— Впервые за все время я слышу от тебя разумные слова. Что у тебя сегодня на обед, Лукулл?

— Суп с фасолью, заправленный жареной мукой с луком... Отбивная с кровью, я жарю в кипящем масле — три минуты с одной стороны и три минуты с другой. Твои вкусы, надеюсь, не изменились?

Он замолчал, как видно припоминая.

Я проглотил слюну. Мне чертовски захотелось поесть.

— Да! — продолжал он. — Компот из сухофруктов, и я купил еще баночку морского гребешка.

— Мускул морского гребешка?! В каком соусе?! — вскричал я.

— В укропном, — несколько удивленно ответил он.

— Ты когда-нибудь уже покупал эти консервы?

— Нет. Сегодня первый раз купил в университете, чтобы попробовать. А что?

— Так... Ничего.

Я вспомнил тот день, когда впервые купил эту баночку. Я принес ее домой. Как и сейчас, мама куда-то ушла. Я обедал в одиночестве. Торопясь на свидание, я раскрывал консервы на весу. Нож соскочил, банка выпала, и белый укропный соус оказался на моих брюках.

Я искоса взглянул на его брюки — они были как новенькие, и стрелка что надо! Мои за эти семь месяцев уже немножко износились, а над левым коленом можно было разглядеть слабое пятно от консервов.

«Ничего, сейчас у него будет такое же, — подумал я злорадно. — Кажется, он тоже собирается вскрыть баночку на весу».

И тут я подумал: может быть, имеет смысл активно вмешаться в человеческую историю и хоть в чем-то улучшить ее? Но, по зрелому размышлению, я решил, что, пожалуй, не стоит. Это был бы весьма безответ-

ственный акт, допустимый лишь в научно-фантастическом романе. Нельзя вмешиваться в процесс, если последствия такого вмешательства тебе неизвестны.

Посему быть пятну на штанах у чистюли!

— У! Вот собака! — прошептал он, лоя на коленах раскрытую банку с нежным, имеющим вкус крабов мускулом морского гребешка.

Кажется, я тогда выругался так же.

Кот раскрыл левый глаз, но, не обнаружив собаки, вновь превратил его в косую щелочку.

Мы все-таки попробовали гребешок. Он съел свою долю перед супом, а я вместе с гарниром, после того как уничтожил отбивную. Потом мы разложили диван-кровать и растянулись во всю его ширь, не снимая ботинок, чтобы всласть покурить. Привычки у нас были одинаковые. Оказывается, я не меняюсь.

Я с наслаждением пускал кольца. Мы молчали. Я заметил, что он несколько раз украдкой смотрит на часы.

— Ты сказал, что свободен только до семи, куда ты идешь? Если не секрет, конечно.

— Секрет? От тебя?

— Ты не учишься памяти. Человеку свойственно забывать. Забыть же все равно, что не знать. Поэтому, если секрет...

— Ерунда! У меня свидание с Ирой. На Калужской возле автомата.

— С Ирой?!

— Ты разве с ней не знаком? Это было бы оригинально... Ну, как она там... в будущем, не подурнела? Или вы с ней...

За его деланной шуткой чувствовалось беспокойство. Оно-то и помогло мне окончательно вспомнить, какой сегодня день.

И числовая абстракция — одиннадцатое декабря — наполнилась для меня грустным смыслом памяти сердца.

* * *

Я ждал тогда Иру около автоматов. Люди входили в кабины и выходили. Назначали друг другу свидания, смеялись, уговаривали, просили. Пар от дыхания, про-

низанный светом фонарей, был рыжим и чуть-чуть радужным. Большим янтарным глазом, не мигая, смотрел на меня циферблат. Она опаздывала на три минуты. Минутная стрелка долго оставалась недвижимой, потом внезапно прыгала. И в резонанс с ней что-то прыгало в сердце.

Я увидел ее издали, когда она переходила улицу. Она спешила. Вокруг ее меховых ботинок кружились маленькие метели. В глазах ее горели огоньки. Но я не верил им. Она была холодная, как морозная пыль на лисьем воротнике. Высокая и очень красивая.

Далекая она была, далекая.

Это-то и подстегнуло меня сказать ей все. Я чувствовал, что она не любит меня, но не хотел, не мог этому верить. Гнал от себя. И торопил события. Я нравился ей, она со мной не скучала. Так нужно было и продолжать. Шутить и не бледнеть от любви. Будь я к ней более холоден, более небрежен, как знать, что могло тогда выйти. Она привыкла ко всеобщему преклонению и шла от одной победы к другой. Любопытная и неразбуженная.

А ей хотелось не властвовать, а почувствовать чужую власть, испытать нежную покорность перед чужим спокойствием и уверенной силой.

Я понимал это, но ничего не мог поделать. Я был влюблен и потому безоружен. Она не могла не победить. Это была неравная битва.

Тот день был моим Ватерлоо.

Я сказал ей все.

Что она могла мне ответить? Что предложить?

Дружбу?

Она понимала, что я не из таких, кто склоняется перед победителем и становится его рабом. Может быть, ей и хотелось удерживать меня около себя на роли отвергнутого вздыхателя, но она понимала, что из этого ничего не выйдет.

Она не предложила мне дружбу, не сказала, что «не знает» своих чувств ко мне, что ей нужно «разобраться». Она была молодец.

Вызов брошен, и на него нужно отвечать. Может

быть, она и сожалела, что я поторопился. Не знаю. Только она сказала:

— Нет... Я всегда рада буду тебя видеть, всегда, — еще сказала она.

Я понял, что все кончено. Я не приходил к ней больше и не звонил. И она не звонила.

Расстались мы у Крымского моста.

* * *

И теперь, через какой-нибудь час, все это предстояло пережить ему. Все! Начиная от ее опоздания на пять минут до «нет» у Крымского моста. И мне до боли стало жаль его, до слез. Только сейчас я ощутил, что он — это я, но еще чего-то не знающий, чего-то не понявший, не совершивший какой-то ошибки. Мне очень захотелось оградить его от предстоящей боли, предостеречь его, вооружить моим опытом. Это было очень сложное чувство.

И еще мне очень хотелось встретиться с ней, с прежней, не осознавшей крушения наших встреч. Сейчас бы я выиграл битву. Все было бы совершенно иначе. Она бы мучилась ревностью и сомнениям, она бы обвиняла меня в бесчувствии. Я бы заставил ее полюбить.

А может быть, все это мне только казалось?

Может быть, не в моей власти было что-то изменить?

— Я пойду на свидание вместо тебя!

— Зачем? — Лицо его померкло и стало холодным.

— Ты же не знаешь, что тебе предстоит сегодня! Ты не знаешь ни ее, ни себя! Пусти меня! Только сегодня... И я исчезну. Ты будешь мне благодарен. Пусть у тебя все будет иначе! Не как у меня!

— Нет. Я не хочу знать, как было у тебя.

— Ты же не знаешь, ничего не знаешь! Сегодняшняя встреча непоправима... Хочешь, я расскажу тебе...

— Нет, не нужно!

— Ты не понял меня! Я не пойду вместо тебя, ладно. Но ты должен вести себя по-другому, не так, как я тогда. Лучше не ходи совсем. Подожди, пока она сама тебе позвонит. Она позвонит.

— Я не хочу тебя слушать! Понимаешь? Не хочу!

— Но почему? Я же хочу открыть тебе глаза. Не ради себя, ради тебя?

— Не нужно! — глухо сказал он.

Я заглянул в его глаза и понял: он знал все и все понимал озарением любящего сердца, как и я когда-то. Знал, но не хотел верить, как и я когда-то. И ничего не мог изменить, как и я когда-то. Он пойдет на свидание и скажет ей все. Я понял это. Когда-то такой мысленный диалог был у меня с самим собой. Он сейчас говорит об этом со мной. Какая разница?

С детской колыбели человек хочет делать все сам. Делать и испытывать, ошибаться и вставать, потирая синяки. И это хорошо.

— Пожалуй, мне лучше будет вернуться?

— Да, пожалуй... Мы еще встретимся?

Я засмеялся.

— Ты всегда будешь во мне. А я... я всегда буду ускользать от тебя. Твоя жизнь — это погоня за мной. Мы сдвинуты по фазе.

— Я исчезну, когда ты вернешься в свое время?

— Нет, мы просто сольемся в неуловимом миге, имя которому настоящее. Оно скользящая точка на прямой из прошлого в будущее. Попрощаемся?

— Я провожу тебя. До университета.

— Хорошо.

* * *

Я не отпускаю его руки и долго смотрю ему в глаза. Наше прошлое помогает нам узнать себя. Это очень важно.

— Ну, прощай? — говорю я.

— До свидания, — улыбается он, — ты всегда будешь возвращаться ко мне. Мы обязательно встретимся, когда ты снова полюбишь.

— До свидания, — соглашаюсь я.

Мне грустно. Я нагибаюсь, собираю руками нежный рассыпчатый снег, крепко сжимаю его пальцами в плотный льдистый комочек. Я собираюсь запустить снежок в него. Но глаза мои почему-то туманятся, и я только машу рукой.

Он тихо улыбается.

Я поворачиваюсь и отворяю массивную дверь.

* * *

Я открываю глаза и трогаю хрустальный обруч. Я оглядываю зал. Здесь ничего не изменилось! Профессор Валентинов даже не успел закрыть рта. В янтарных глазах девушки испуг и восхищение. Шеф бледен и страшен. Немая сцена. Сейчас откроется дверь и кто-то в шлеме пожарника скажет: «К вам едет ревизор!»

— Ну? — наконец выдавливают Валентинов.

Я, не понимая, смотрю на него.

— Мы ждем... Пожалуйста, — говорит он.

— Простите, я не совсем понимаю вас, — я еще не пришел в себя и действительно не понимаю, что он от меня хочет.

— Вы обещали нам исчезнуть...

Он улыбается. Морщины его разглаживаются. Он приходит в чувство и снова становится кавалером ордена Подвязки.

— А разве я не... Разве я не отсутствовал здесь несколько часов?

— Да нет же! — Это, кажется, кричит девушка.

В ее крике столько душевной боли. Боли за меня и еще за что-то.

— Так я не исчезал?

— Нет! — улыбается Лорд. И лучики-морщинки вокруг его глаз говорят: «Ну, пошутил и будет. Эх-хе-хе, молодо-зелено».

— Не исчезал?..

Я снял обруч и выключил рубильник.

Потом я подошел к Валентинову и протянул ему желтую записную книжку с ацтекским орнаментом. В руках профессора была точно такая же.

— Сравните эти две книжки, профессор. Они должны быть совершенно одинаковыми. С одной лишь разницей: последняя запись в книжке, которую я держу в руках, сделана одиннадцатого декабря прошлого года. А сейчас июль, — и я указал на окно, где в густой синеве летал тополиный пух.

Все почему-то тоже посмотрели в окно, точно вдруг засомневались, а действительно ли сейчас июль, а не декабрь.

— Кроме того, вот! — Я достал из кармана крепкий, смерзшийся снежок и с удовольствием запустил им в линолеумную доску, сверху донизу исписанную формулами.

Снежок попал точно в середину и прилип.

Сегодня мы перевели Володю Юрьева в другой отдел, а на его место поставили ВМШП — вычислительную машину широкого профиля. Раньше считалось (лучше бы так считалось и теперь), что на этом месте может работать только человек. Но вот мы заменили Володю машиной. И ничего тут не поделаешь. Нам необходима быстрота и точность, без них работы по изменению нервного волокна немислимы.

Быстрота и точность — болезнь нашего века. Я говорю «болезнь» потому, что, когда «создавался» человек, природа многого не предусмотрела. Она снабдила его нервами, по которым импульсы движутся со скоростью нескольких десятков метров в секунду. Этого было достаточно, чтобы моментально почувствовать ожог и отдернуть руку или вовремя заметить янтарные глаза хищника. Но когда человек имеет дело с процессами, протекающими в миллионные доли секунды... Или когда он садится в ракету... Или когда ему нужно принять одновременно тысячи сведений, столько же извлечь из памяти и сравнить их хотя бы в течение часа...

Каждый раз, отступая, как когда-то говорили военные, «на заранее подготовленные рубежи», я угрожающе шептал машинам:

— Погодите, вот он придет!

Я имел в виду человека будущего, которого мы создадим, научившись менять структуру нервного волокна. Это будет Номо *celeris ingenii* — человек быстрого ума, человек быстро думающий, хозяин эпохи сверхскоростей. Я так часто мечтал о нем, мне хотелось дожить и увидеть его, заглянуть в его глаза, при-

коснуться к нему... Он будет благородным и прекрасным, мощь его — щедрой и доброй. И жить рядом с ним, работать вместе с ним будет легко и приятно, ведь он мгновенно определит и ваше настроение, и то, чего вы хотите, и что нужно предпринять в интересах дела, и как решить трудную проблему.

Но до прихода Номо *celeris ingenii* было еще далеко — так мне тогда казалось, а пока мы в институте ожидали нового директора (в последнее время они что-то очень часто менялись у нас).

Черный, как жук, и нагловатый Саша Митрофанов готовился завести с ним «душевный разговор» и выяснить, что он собой представляет. Я хотел сразу же поговорить о тех шести тысячах, которые нужны на покупку ультрацентрифуг. Люда надеялась выпросить отпуск за свой счет (официально — чтобы помочь больной маме, а на самом деле — чтобы побыть со своим Гришей).

Он появился ровно за пять минут до звонка, лопоухий, сухощавый, с курчавой шевелюрой, запавшими строгими глазами, быстрый и стремительный в движениях. Саше Митрофанову, кинувшемуся было заводить «душевный разговор», он так сухо бросил «доброе утро», что тот сразу же пошел к своей лаборатории и в коридоре поругался с добрейшим Мих-Михом.

В директорском кабинете Мих-Миха ждала новая неприятность.

— Уберите из коридоров все эти потертые диваны, — сказал директор. — Кроме тех двух, которые у вас называют проблемным и дискуссионным.

— Выписать вместо них новые? — со свойственным ему добродушием спросил Мих-Мих.

У директора нетерпеливо дернулась щека.

— А что, стоя женщинам очень неудобно болтать? — спросил он и отбил охоту у Мих-Миха вообще о чем-либо спрашивать.

Это был первый приказ нового шефа, и его оказалось достаточно, чтобы директора певзлюбили машинистки, уборщицы и лаборантки, проводившие на диванах лучшие рабочие часы.

— Меня зовут Торием Веняминовичем, — сказал

он на совещании руководителей лабораторий. — Научные сотрудники (он подчеркнул это) для удобства могут называть меня, как и прежнего директора, по инициалам — ТВ — или по имени.

Многие из нас тогда почувствовали неприязнь к нему. Он не должен был говорить, как нам называть его. Это мы всегда решали сами. Так получилось и теперь. После совещания мы называли его «Тор», а между собой — «Тор I», подчеркивая, что он у нас не задержится.

Люду, пришедшую просить об отпуске за свой счет, он встретил приветливо, спросил о больной маме. Его лицо было сочувственным, но девушке казалось, что он ее не слушает, так как его взгляд пробежал по бумагам на столе и время от времени директор делал какие-то пометки на полях. Люда волновалась, путалась, умолкала, и тогда он кивал головой: «Продолжайте».

«Зачем продолжать, если он все равно не слушает?» — злилась она.

— Мама осталась совсем одна, за ней некому присмотреть. Некому даже воды подать, — грустно сказала девушка, думая о Грише, который заждался ее и шлет пылкие письма.

— Ну да, к тому же, как вы сказали раньше, ей приходится воспитывать вашу пятнадцатилетнюю сестру, — заметил директор, не глядя на Люду, и девушка почувствовала, что он уже все понял и что врать больше не имеет смысла.

— До свидания, — сказала она, краснея от стыда и злости.

Люда так и не поехала к Грише, что, впрочем, спасло ее от многих неприятностей в будущем. Но директору она этого не простила.

Затем Тор I прославился тем, что отучил Сашу Митрофанова задерживаться после работы в лаборатории.

Однажды он мимоходом сказал Саше:

— Если все время работать, то когда же будете думать?

Гриша Остапенко, вернувшись из села, где на-

прасно прождал Люду, пришел к директору просить командировку в Одессу. Лицо Тора I казалось добрым. Словно вот-вот лучи солнца, ломаясь на настольном стекле, брызнут ему в глаза, зажгут там веселые искорки. Но это «вот-вот» не наступало...

Остапенко рассказывал о последних работах в институте Филатова, с которыми ему необходимо познакомиться.

Директор понимающе кивал головой.

— Мы сумеем быстрее поставить опыты по восстановлению иннервации глаза...

Директор снова одобрительно кивнул, а Остапенко умолк. «Кажется, «увертюра» длилась достаточно?» — подумал он, ожидая, когда директор вызовет Мих-Миха, чтобы отдать приказ о командировке к морю и солнцу.

Тор I посмотрел на него изучающе, потом сказал без нотки юмора:

— К тому же неплохо в море окунуться. Голову освежает...

Остапенко пытался что-то говорить, обманутый серьезным тоном директора, не зная, как воспринять его последние слова. А Тор I, наконец, вызвал Мих-Миха и приказал выписать Остапенко командировку в Донецк.

— Сфинкс! — в сердцах сказал в коридоре Гриша Остапенко. — Бездушный сфинкс!

Нам пришлось забыть «доброе старое время». Где-то лениво и ласково плескалось синее море, шумели сады, звали в гости родственники «завернуть мимоходом», но больше никому в институте не удавалось ездить в командировки по желанию. Теперь мы ездили только туда, куда Тор I считал нужным. (Если быть до конца честным, надо признать, что это всегда было в интересах дела.)

Одним словом, как вы уже понимаете, к нему питали одинаковые чувства многие — от швейцара до ученого секретаря, — и если он все-таки удержался на новом месте, то не из-за пылкой любви коллектива.

Но завоевал наше уважение он совершенно неожиданно.

Каждый месяц мы устраивали шахматный блиц-турнир. Победитель должен был играть с ВМШП. Так мы отыгрывались на победителе, потому что если бы даже чемпион мира стал играть с ВМШП, то это походило бы на одновременную игру одного против миллиона точных шахматистов.

Победителем в этот раз был Саша Митрофанов. Он бросил последний торжествующий взгляд на унылые лица противников, затем на ВМШП, обреченно вздохнул, и его лицо вытянулось.

Он проиграл на девятнадцатом ходу.

Даже Сашины «жертвы» не радовались его поражению. В том, как ВМШП обыгрывала любого из наших чемпионов, была железная закономерность и в то же время что-то унижительное для всех нас. И, зная, что это невозможно, мы мечтали, чтобы ВМШП проиграла хотя бы один раз, и не за счет поломки.

Саша Митрофанов, натянуто улыбаясь, встал со стула и развел руками. Кто-то пошутил, кто-то начал рассказывать анекдот. Но в это время к шахматному столику подошел Тор I. Прежде чем мы успели удивиться, он сделал первый ход. ВМШП ответила. Разыгрывался королевский гамбит.

После размена ферзей Тор I перешел в наступление на королевском фланге. На каждый ход он тратил вначале около десяти секунд, потом — пять, потом одну, потом — доли секунды. Это был небывалый темп.

Вначале я думал, что он просто шутит, двигает фигуры как попало, чтобы сбить с толку машину. Ведь не мог же он за доли секунды продумать ход. Затем послышалось свистящее гудение. Оно означало, что ВМШП работает с повышенной нагрузкой. Но когда машина не выдержала предложенного темпа и начала ошибаться, я и все остальные ребята поняли, что каким-то непостижимым образом наш директор делает обдуманные и смелые ходы. Он бил машину ее же оружием.

— Мат, — сказал Тор I, не повышая голоса, и мы все увидели, как на боковом щите впервые за всю

историю ВМШП загорелась красная лампочка — знак проигрыша.

Мы кричали от восторга, как дикари. Несколько человек подбежали к директору, подняли его на руки, начали качать. Тор I взлетал высоко над нашими головами, но на его лице не было ни радости, ни торжества. Оно было озабоченным. Вернее всего, он в это время обдумывал план работы на завтра. Когда его подбрасывали повыше, он замечал окружающее и растерянно улыбался. Какая-то лаборантка показала «нос» машине.

Мы уже почти примирились с ним, готовы были уважать его и восторгаться необыкновенными способностями. Но прошло всего три дня, и неприязнь вспыхнула с новой силой.

Валя Сизончук по справедливости считалась самой красивой и самой гордой женщиной института. А я считал ее и самой непонятной. Она окончательно утвердила меня в этом мнении на праздничном вечере перед Первым мая.

Я стоял с Валею, когда в зал стремительно вошел Тор I, ведя под руку запыхавшегося Мих-Миха и что-то доказывая ему. Я видел, как Валя вздрогнула, слегка опустила плечи, словно сразу стала ниже ростом, беззащитнее. Она растерянно и невпопад поддерживала разговор со мной. А когда объявили «дамский вальс», ринулась к Тору I через весь зал.

— Пойдемте танцевать, ТВ!

«ТВ»!.. Она предала нас, назвав его так, как он нам тогда предлагал. Она смотрела на него сияющими, откровенно восхищенными глазами. Она раскрылась перед ним сразу, как плес реки за поворотом. Нам неудобно было смотреть в эту минуту на Валью. Мы смотрели на директора.

Что-то дрогнуло в его лице. В холодных изучающих глазах открылись две полыньи с чистой синей водой. Словно тонкие девичьи пальчики постучали в эту непонятную закрытую дупу и в дверях на миг показался человек. Выглянул и — скрылся. Дверь захлопнулась — он натянул на свое лицо невозмутимость, как маску. Пожал плечами.

— Я плохо танцую.

— Иногда люди танцуют, чтобы поговорить.

Валя была чересчур откровенной. Сказывалась ее самонадеянность. Ей никто из мужчин никогда ни в чем не отказывал.

Тор I повел себя самым неожиданным образом.

— О чем говорить? — пренебрежительно протянул он. — Если вы хотите оправдаться за небрежность в последней работе, то напрасно. Приказ о выговоре я уже отдал.

Он говорил громко и не беспокоился, что все слышат его слова. А затем повернулся к собеседнику, продолжая прерванный Валей разговор.

Валя быстро пошла через весь зал к двери. Наверное, так ходят раненные. Я пошел за ней, позвал. Она посмотрела на меня, как бы не узнавая. Для другой то, что произошло, было бы просто горькими минутами обиды, для Вали — жестоким уроком.

Она побежала по лестнице, не глядя под ноги. Я боялся, что вот-вот она споткнется, упадет.

Догнал я ее у самой двери. Вложил в свой голос все, что чувствовал в ту минуту.

— Валя, не стоит из-за него... Он гнилой сухарь. Мы все за тебя.

Она зло глянула на меня:

— Он лучше всех. Умнее и честнее всех вас.

Она оставалась самой собой. Я понял, что ничего с этим не поделаешь. И еще понял, что никогда не прощу этого Тору.

С того вечера я перестал замечать директора. Приходил только по его вызову. Отвечал подчеркнуто официально. Так поступали и мои друзья.

А Тор I не обращал на это никакого внимания. Он вел себя со всеми и с Валей так, как будто ничего не произошло, по-прежнему вмешивался во все мелочи.

Издавна в нашем институте установилась традиция — влюбленные рыцари ранней весной преподносили девушкам мимозу, а те, не чуждые тщеславия, ставили букеты в лабораториях, так что сильный запах проникал даже в коридоры. Тор I распорядился заменить мимозу подснежниками, и добрейший Мих-

Мих сначала познакомился с благословлявшими его старушками — продавщицами подснежников, а потом, тысячу раз извиняясь, начал исполнять приказ директора в лабораториях — менять цветы в вазах. Тут вместо добрых пожеланий его встречали язвительными шуточками, вроде:

— Какую долю от продажи подснежников получает директор?

Или невинным голосом:

— Правда, что у директора болит голова от сильного запаха?

Больше всех старался Саша Митрофанов.

Это продолжалось до тех пор, пока директор не объяснил:

— Фитонциды мимозы влияют на некоторые опыты.

И Саша понял, почему два дня назад неожиданно не удался выверенный опыт с заражением морских свинок гриппом.

По-настоящему мы поняли цену директору на заседании ученого совета. Доклады по работе лаборатории начал Саша Митрофанов. Он рассказывал о наблюдениях за прохождением нервного импульса по волокнам разного сечения. Известно, например, что у спрута к длинным щупальцам идут более толстые нервные волокна, чем к коротким. Чем толще нервное волокно, тем быстрее оно проводит импульс. Благодаря этому сигнал, посланный из мозга спрута, может одновременно прийти на кончики коротких и длинных щупалец, чем и обеспечивается одновременность действия.

Саша рассказал о серии тонких, остроумных опытов, проведенных в его лаборатории, о том, как была уточнена зависимость между толщиной волокна и скоростью импульса, о подготовке к новым опытам.

Директор слушал доклад Саши очень внимательно. Казалось, он старается запомнить каждое слово, даже шевелит губами от усердия. А иногда его глаза медленно угасали, углы рта опускались. Но затем он спохватывался и снова придавал своему лицу выражение пристального интереса. Когда Саша закончил

доклад, все посмотрели на директора. От того, что скажет Тор I, зависит последний штрих в мнении о нем.

В тишине отчетливо прозвучал бесстрастный голос: — Пусть выскажутся остальные.

Он слушал их так же, как Сашу. А потом встал и задал Митрофанову несколько вопросов:

— Какова оболочка у волокон разной толщины и зависимость между толщиной оболочки и сечением волокна? Учитывалась ли насыщенность микроэлементами различных участков волокна? Почему бы вам не создать модель Нерва из синтетических белков и постепенно усложнять ее по участкам?

Не то чтобы эти вопросы зачеркивали всю работу, проведенную в лаборатории Митрофанова. Они и не претендовали на это, особенно по форме. Но Тор I наметил принципиально новый путь исследований. И если бы лаборатория Митрофанова шла по этому пути с самого начала, то работа сократилась бы в несколько раз.

С того времени я начал внимательно присматриваться к директору, изучать его.

Меня всегда интересовали люди с необычайными умственными способностями. К этому примешивался и профессиональный интерес. Успех в моей работе помог бы нам усовершенствовать нервную систему.

Природой установлено для нас жесткое ограничение: приобретая новое, мы теряем что-то из того, что приобрели раньше. Позднейшие мозговые слои накладываются на более ранние, заглушают их деятельность. Засыпают инстинкты, угасают и покрываются плесенью неиспользованные средства связи. Но это только половина беды.

Лобные доли не успевают анализировать всего, что хранится в мозгу: как в уютных бухтах, стоят забытыми целые флотилии нужных сведений, покачиваются подводными лодками, стремясь всплыть, интересные мысли; гигантские идеи, чье местонахождение не отмечено на картах, ржавеют и приходят в негодность.

Можем ли мы признать это законом для себя? Признать и примириться?

Мы привыкли считать человеческий организм, и особенно мозг, венцом творения. Многие привыкли и к более опасной мысли, что ничего лучше и совершеннее быть не может. Так спокойнее. Но ведь спокойствие никогда не было двигателем прогресса.

А на самом деле наши организмы косны, как наследственная информация, и не всегда успевают приспособиться к изменениям среды. Импульсы в наших нервах текут чертовски медленно. Природа-мать не растет вместе с нами, не поспевает за нашим развитием. Она дает нам теперь то же, что и двести, и пятьсот, и тысячу лет назад. Но нам мало этого. Мы выросли из пеленок, предназначенных для животного. Начали самостоятельный путь. И мы можем гордиться собой, потому что создания наших рук во многих отношениях совершеннее, чем мы сами; железные рычаги мощнее наших мышц, колеса и крылья быстрее ног, автоматы надежнее нервов, и вычислительная машина думает быстрее, чем мозг. А это значит, что мы можем создавать лучше, чем природа.

Пришло время поработать над своими организмами.

Я пытаюсь представить себе нового человека. Он будет думать в сотни раз быстрее, и уже одно это качество сделает его сильнее в тысячи раз. Ради этого работает наш институт. Ради этого мы изучаем сечение нервов, соотношение в них различных веществ. Каким же будет новый человек? Как бы мы отнеслись к нему, появившись он среди нас?

Моя фантазия бедна, и я не могу создать его образ, представить его поступки. Перестану фантазировать и думаю о работе, о своей лаборатории.

Мы сделали немало. Но в исследовании свойств некоторых микроэлементов на проводимость зашли в тупик. Насыщенность волокна кобальтом в одних случаях давала ускорение импульса, в других — замедление. Никель вел себя совсем не так, как это предписывали теория и наши предположения. Одни опыты противоречили другим.

В конце концов я решил посоветоваться с директором. Несколько раз заходил к нему в кабинет, но нам все время мешали. Потому что хотя тех, кто его

не любил, было немало, но и в тех, кто его уважал, недостатка не было. А поскольку и те и другие нуждались в его советах, то дверь директорского кабинета почти никогда не закрывалась. Я удивлялся, как он мог успевать разбираться во всех разнообразных вопросах, и вспоминал состязание с машиной.

После очередного неудачного визита Тор I предложил:

— Заходите сегодня ко мне домой.

Признаться, я шел к нему с болезненным чувством, которое трудно было определить: настороженность, любопытство, неприязнь и восхищение сливались воедино.

Мне открыла дверь пожилая женщина с ласковым озабоченным лицом. На таких лицах выражение заботы не бывает кратковременным, а ложится печатью на всю жизнь.

Я спросил о директоре.

— Торий в своей комнате.

Она так произнесла «Торий», что я понял: это его мать.

— Пройдите к нему.

Я прошел по коридорчику и остановился. Через стеклянную дверь увидел директора. Он сидел за столом, у окна, одной рукой подпер подбородок, а второй держал перевернутую рюмку. Его лицо было сосредоточенным и напряженным. Радиоприемник пел чуть хрипловато: «Напишет ротный писарь бумагу...»

Тор I твердо опустил рюмку на стол, словно ставил печать. Затем поднял другую перевернутую рюмку.

Мне стало не по себе. Промелькнула догадка: он закрылся в комнате и пьет. Холод чужого одиночества на миг коснулся меня. Но почему же тогда мать не предупредила его о моем приходе?

Я открыл дверь.

Директор обернулся, сказал приветливо:

— А, это вы? Очень хорошо сделали, что пришли.

Он поставил рюмку на... шахматную доску. И я увидел, что это не перевернутая рюмка, а пешка. Тор I играл в шахматы против самого себя.

— Рассказывайте, пока никто не пришел, — пред-

ложил он, устроился поудобней, приготовившись слушать. Но уже через минуту перебил меня вопросом: — А вы всегда учитываете состояние системы?

Он вскочил, почти выхватил у меня из рук рентгенограммы, начал ходить по комнате из угла в угол, заговорил так быстро, что слова сливались:

— Вы спрашиваете, что даст вот здесь пятно — железо или никель? Но надо учесть, что перед этим нерв находился в состоянии длительного возбуждения. Станет ясно: пятно — кобальт. А вот этот зубец — железо, потому что, во-первых, в этой области железо может выглядеть на ленте и так, во-вторых, процент железа в ткани уже начал увеличиваться, в-третьих, функция изменилась и, в-четвертых, когда функция изменилась и процент железа в ткани растет, то зубец с таким углом только железо.

Он стоял передо мной, привстав на носки, расставив длинные сильные ноги, и слегка покачивался из стороны в сторону.

Мне показалось, что я могу дать точное определение гения. Гений — это тот, кто может учесть и сопоставить факты, которые кажутся другим разрозненными. Я думал, что мне выпало большое счастье работать вместе с Тором. Боясь неосторожным словом выдать свое восторженное состояние, я заговорил о нуждах лаборатории, доказывал необходимость обрратить особое внимание именно на наши работы.

В конце концов от этого зависит будущее...

— Чье? — спросил директор, сел в кресло, и у его рта притаилась насмешливая улыбка.

Я не успел своевременно заметить ее.

— Всей работы института... Того, к чему мы стремимся... — Я запутался под его взглядом. — Всех людей...

— Вы бы еще сказали вместо «будущее» — «грядущее»! Например, «от нашей работы зависит грядущее человечества».

Улыбка больше не пряталась у рта. Она изогнула губы и блестела в глазах. Он держал себя так, как будто не знал о значении наших работ или не придавал им значения. Но он меня больше не мог обмануть.

Я ушел от него, опьяненный верой в свои силы. Долго не мог уснуть. Слушал пение птиц за окном, шелест листвы, голоса мальчишек и пытался сопоставить все это.

А потом мне приснились горы. Туман стекал по ним в долину, сизо-зеленый, как лес на рассвете, и прохладный, как горные ручьи...

Я проснулся с предчувствием радости. Ночью прошел дождь, промытый воздух был свеж, а пронизанная лучами синева слегка ослепляла и казалась особенно нарядной. Я несколько раз взмахнул гантелями, быстро умылся и, на ходу дожжевывая бутерброд, вышел из дому.

Я шел, размахивая портфелем, как школьник, и мне казалось, что будущее — раскрытая книга и можно прочесть ее без ошибок.

Легко взбежал по ступенькам главного входа. Взялся за ручку двери, когда раздался первый взрыв, за ним второй, третий, особенно сильный, от которого вылетели стекла. Какие-то обгоревшие бумаги закружились в воздухе, как летучие мыши. Ко мне подбежал Саша Митрофанов, схватил за рукав, потащил куда-то. Мы увидели две багровые свечи над корпусом, где размещались Сашина лаборатория и реактор. Густой дым валил из окон. Сквозь него, как змеи, быстро высывались и втягивались языки пламени. Последовала серия небольших, как пулеметная дробь, взрывов.

«Огонь бежит по пробиркам с растворами. Подбирается к складу реактивов, — с ужасом думал я. — А там...»

Очевидно, и Саша думал о том же. Не сговариваясь, мы бросились к kloкочущей воронке входа. Это было безумием. Все равно не успеть, не преградить дорогу огню. Погибнем! Но мы не думали об этом.

Нам оставалось несколько шагов до входа, а уже нечем было дышать. Нестерпимый жар обжигал лицо, руки. Сзади нас послышался крик:

— Это я виновата! Я одна... Пустите!

Валя бежала прямо в огонь.

Я успел схватить ее за руку. По лицу Вали текли слезы, оставляя на щеках две темные полосы. Она снова рванулась к входу. Я не удержал ее, не смог. Куда она? Пламя...

Я не слышал, как подъехала машина директора. Тор I внезапно вырос на фоне багрового пятна рядом с Валей. Отшвырнул ее назад, сказал «извините» и исчез в бушующем пламени.

Теперь Валю держали мы с Сашей вдвоем. Она стояла сравнительно спокойно, исчерпав все силы. Повторяла сквозь слезы:

— Моя вина. Забыла убрать селитру. Это я...

Я смотрел туда, где исчез Тор I, вспомнил его слова: «Человек имеет право только на те ошибки, за которые сам в силах расплатиться. Только сам».

В первый раз он отступил от своих слов. Что заставило его броситься в огонь, какая сила? Самопожертвование? Жалость? Это не похоже на него. Сострадание? Благородство и смелость?

Почему я сейчас не бросился за ним? Это до сих пор терзает меня.

Через две-три минуты мы увидели директора. Он вышел, пошатываясь, одежда на нем свисала черными клочками. Сделал два шага и упал. Мы бросились к нему. Он лежал на боку, скорчившись, и смотрел на нас.

— Не трогайте, — простонал он и приказал, глядя на Валю так, что она не посмела послушаться: — Проверьте, выключен ли газ в центральном корпусе! Вы, — он перевел взгляд на Сашу, — скажите пожарникам пусть начинают тушить с правого крыла.

Он посмотрел на меня, но его взгляд бегал, словно искал еще кого-то:

— В левом верхнем ящике моего письменного стола — папка. Мать отдаст ее вам. Там записи опыта. Да, я сумел изменить свою нервную ткань, ускорил прохождение импульса в семьдесят шесть раз. Сечение волокна, насыщенность микроэлементами... Главное — код. Код сигналов — больше коротких, чем длинных...

Ему становилось хуже. Лицо серело, словно по-

крывалось пеплом. Губы потрескались так, что было больно смотреть.

— Узнаете, когда прочтете... Только учтите мою ошибку. Ускорение импульса действует на гипофиз и другие железы. Это проверил на себе. Узнаете из дневника...

— Почему вы бросились в огонь? — закричал я. — Ведь любой из нас...

— Там надо было быстро... Слишком быстро для нормального человека...

Значит, просто расчет. Не благородство, не самопожертвование... Я не верил ему, и он это понял по моему лицу. Хотел еще что-то сказать, но не смог. Его бегающий взгляд остановился, как маятник часов.

Откуда-то появились санитары. Осторожно положили его на носилки. Он не стонал и не шевелился. Торий Вениаминович умер по дороге в больницу.

Я разбираю его бумаги. Стремительный почерк, буквы похожи на топографические значки. Кляксы разбросаны по страницам. Очень много исправлений разноцветными карандашами: красный правит чернила, синий карандаш правит красный, зеленый правит синий — так, очевидно, он различал более поздние правки от ранних. Исписанные листы сухо шелестят, говорят со мной его голосом. Он первым решил поставить на себе опыт, который мы пока проводили на животных — моделях. И если не бояться горечи, то надо признать, что он и был тем человеком, о котором мы мечтали, — *Нотто celeris ingenii*. Он пришел к нам из будущего. Почему же нам было так трудно с ним?..

ВИКТОР САПАРИН

СУД НАД ТАНТАЛУСОМ

1

Варгаш летел над Тихим океаном, когда его машина вдруг сообщила: «Иду на вынужденную посадку». Поскольку в действие пришла противопожарная система, он понял, что где-то что-то горит.

В иллюминатор он увидел, как левый бортовой огнетушитель пустил струю в носовую часть. Оттуда повалил густой дым, потом вырвался язык пламени. Огнетушитель сбил пламя, и дым снова пополз жирными клубами. Прошла минута-другая, и тонкая струя пламени вновь потянулась вдоль борта.

Вокруг, сколько ни смотрел Варгаш, он не различал ничего, кроме глади океана. Но машина, видимо, отыскала на карте какой-то клочок суши и тянула к нему из последних своих механических сил.

Наконец и Варгаш разглядел, что разыскала машина: вулканический островок, сверху удивительно похожий на одно из тех пятнышек, что покрывали листья зараженного танталусом тростника. Вблизи он оказался нагромождением скал, небрежно брошенных посреди океана.

Дым валил из машины так, что временами Варгаш ничего не видел. Он сообразил только, что она раза два прошла над обнаруженным ею островком. Но сесть на эти торчащие, как пины, скалы не могла даже машина «Скорой помощи».

Когда машина пошла на третий заход, Варгаш вдруг почувствовал, что пол под ним проваливается и он вместе с креслом, в котором сидел, летит вниз.

Вися под куполом парашюта, он видел, как его аппарат, оставляя дымный след, падал все ниже и ниже, приближаясь к поверхности океана.

Скалы внезапно угрожающе выросли и, казалось, нацелились на него зубастыми пастями. Он больно стукнулся коленкой об острый выступ и почти одновременно грудью о вертикальную стенку. У ремня отскочила пряжка, и Варгаш вывалился из кресла — к счастью, с небольшой высоты.

Кресло, висевшее на стропах, полетело дальше и исчезло вместе с запасом продовольствия и медикаментами, уложенными в герметические карманы под сиденьем.

Прошло несколько минут. Первым, почти машинным движением Варгаш достал из нагрудного кармана блок-универсал. Упругая пластмасса корпуса осталась цела, но аппарат был поврежден. Сколько Варгаш ни нажимал на кнопки — сигнальная лампочка не загоралась. Он лишился главного — связи с окружающим миром.

Стиснув зубы и волоча ушибленную ногу, Варгаш взобрался на скалистый гребень, чтобы оглядеться.

Вокруг расстилался океан, синий, казавшийся бездонным. Волны равнодушно бежали из-за горизонта, тыкались в скалы, составлявшие островок, словно удивляясь, зачем он здесь.

Этот безвестный островок, веснушка на лице океана, скорее всего не имел даже названия.

Варгаш повернулся на спину. Лежа на камнях и глядя на кусок неба, словно обгрызенный по краям силуэтами скал, он принялся восстанавливать в памяти недавние события.

Первым перед его мысленным взором предстал Свенсен.

2

...Тюрьма выглядела так, как и представлял ее себе Варгаш по многочисленным фотографиям: десятка четыре зданий, целый научный городок без единого кустика или травинки на гладкой пластмассовой мостовой, и все это покрыто огромным прозрачным колпаком.

— Убежать отсюда невозможно, — говорил убежденно Свенсен. — Его чуть запавшие глаза и жесткие

складки у рта придавали ему вид пророка. — Сюда есть только вход. Как в дантов ад. Обратно? Ха! В этой стене вы не найдете даже шва.

— А трещины?

Свенсен ударил кулаком по прозрачной стене. Кулак отлетел, как от тугой резины.

— Она многослойная. Все слои самозатягивающиеся. Масса гибкая, нетрескающаяся... Ее не прошибает даже пуля!

— Но ведь есть вход! — настаивал Варгаш.

— Вы хотите сказать: тем самым и выход? Человек может выйти. Микроб же — нет.

— Один все-таки вышел?

— Среди наших заключенных нет того, кого вы ищете.

— Охотно верю. Но ведь не с Марса же он свалился!

— И это совершенно исключено. Ракеты обеззараживаются с полной гарантией. За этим следит Контроль безопасности.

— Но ведь есть бактерии, которые специально доставляются с других планет. Они тоже поступают к вам?

— В специальных сосудах и прямо в особый корпус. Вот, видите, тот дальний, как бы в дымке. Там еще два таких колпака, как этот. Дополнительная изоляция.

— А вы не думаете, что на Луне могли уничтожить не всех микробов? — спросил Варгаш. — Ведь ракеты с Луны не обеззараживаются.

— К сожалению, это исключено, — сказал Свенсен сурово. — И вы отлично знаете, что на Луне были только анаэробные бактерии. Подумать только, — воскликнул он, — уничтожить все микроорганизмы на целом небесном теле! Это была трагическая ошибка! Просто не верится, что такая же судьба угрожала и Земле. Помните, как начали уничтожать все вирусы гриппа, возбудителей дизентерии, холеры? Некоторых так вывели начисто. Теперь их ищут на Марсе. Пойдемте, — добавил он другим тоном.

— Куда? Ведь здесь нет входа.

— Он перед нами.

Только приглядевшись, Варгаш увидел на простиравшемся перед ним участке стены тонкий, как волос, стык и почти совсем прозрачные петли.

— Это единственное место на земном шаре, — пояснил Свенсен, — где существуют еще сторожа. Конечно, никто не подумает войти сюда без спроса. Но Контроль безопасности настаивает... Откройте! — произнес он громко.

Часть стены отошла. Открылся проход, такой узкий, что им пришлось входить по одному. Вытянув руку в сторону, Варгаш почувствовал, что она упирается во что-то твердое. Они очутились не прямо под куполом, как он думал, а в коридоре.

— Обработка уже началась, — сказал Свенсен, указывая на пол, усыянный купырышками с крохотными отверстиями. — На ногах ведь приносится больше всего бактерий.

— А им запрещен и выход?

— Разумеется. Нелегальный — я имею в виду. И ваш тапталус не смог бы проникнуть к нам, даже если бы хотел. Понимаете теперь, почему я так твердо заявляю, что его у нас нет?

— Однако не для того же, чтобы я в этом убедился, вы пригласили меня сюда?

Свенсен промолчал.

Коридор упирался в глухую стенку большого корпуса. Минута ожидания — и пунырчатый пол стал медленно опускаться. Когда он остановился, отверстие наверху закрылось глухой шторой. Теперь им предстояло удивительное путешествие.

Свенсен и Варгаш разделись, одежду сложили в герметические ящики. Потом они стали переходить из одного помещения в другое через тамбуры с двойными дверями. Их обрызгивали и обдували, мыли и терли струями растворов разного состава и температуры. Варгаш, зажмурив глаза, шел за Свенсеном. После обмываний начался цикл облучений; шли то в оранжевом, то в голубом, то в зеленом свете, который излучали просвечивающие стены, то в полной темноте.

Наконец было получено разрешение надеть новенькие комбинезоны. Легкие костюмы висели в герметических шкафчиках с цифрами размеров и роста на дверцах. Глухие, на пневматических застежках, они оставляли открытыми лишь лицо и руки. Еще один контрольный осмотр — и вот двор тюрьмы.

Свенсен указал на длинный корпус.

— Тут гриппы. Все, сколько их ни есть. Сто с чем-то. А этот корпус чумной. Тоже, как видите, не маленький... Чистый анахронизм, — поспешил добавить он, заметив, что Варгаш поежился при слове «чумной». — Один из парадоксов медицины заключается в том, что чума за то время, пока она находится здесь, под замком, так изучена и против нее найдены такие сильные и быстродействующие средства, что, вырвись она сейчас на свободу, это причинило бы только некоторые лишние хлопоты — и все. Если бы человечество располагало этими средствами прежде, чума считалась бы невинной болезнью, гораздо более безобидной, чем хронический насморк. Я имею в виду обыкновенную чуму, конечно.

— А есть и особые?

— О, в последнее время открыто много видов, которых прежде не знали. Их не различали потому, что они встречались в виде ничтожных примесей к обыкновенной бубонной чуме. Недавно открыта бацилла, — в голосе Свенсена зазвучал оттенок гордости, — по сравнению с которой все, что знало человечество, — ничто. Против нее не действуют сыворотки.

— Я вижу, вы в восторге от нее. Так, чего доброго, вы станете приветствовать и тапталуса?

— А почему бы и нет? — немедленно откликнулся Свенсен. — Вспомните историю с возбудителем возвратного тифа, — сказал он, останавливаясь. — Медики единодушно приговорили его к уничтожению. И его уничтожили. Что произошло дальше? Через десять лет после того, как был убит последний экземпляр, один микробиолог, изучая возбудитель уже по книгам, установил, что этот жизнедеятельный организм мог быть чрезвычайно полезен. Его спирохеты, попав в кровь человека, вызывали образование очень ценных веществ,

уничтожающих бактерии. В укрощенном виде эти спорохеты можно было бы использовать и сейчас как очень эффективный лечебный препарат. Попробуйте поищите теперь возбудителя возвратного тифа по всей вселенной!

Свенсен сжал руку Варгаша с силой, которую трудно было ожидать в человеке столь щуплого телосложения. Варгаш посмотрел на собеседника. Его предупредили о «коньке» знаменитого тюремщика.

— Нет микробов только вредных, — торжественно, словно с кафедры, произнес Свенсен, — как нет и микробов только полезных. Взгляды на микробов меняются и будут меняться, но микробы — все, какие только существуют на Земле и других планетах, — должны быть под рукой у исследователя. Вот почему тюрьму микробов или санаторий микробов, называйте как хотите, я считаю гениальной идеей, надо отдать должное ее автору, Коробову.

Варгаш с интересом выслушал эту тираду, хотя слово «одержимый» приходило ему раза два на ум.

— У нас не много бывает посторонних посетителей, — заговорил Свенсен совсем другим тоном. — Поэтому каждый, кто проникает за эту стену, становится как бы экскурсантом. Если вы хотите...

— Разумеется, — оживился Варгаш.

— А именно?

— Чумной корпус, — сказал Варгаш твердо.

В чумной корпус их пустили без особых церемоний. Видимо, считалось, что под куполом никаких микробов уже нет.

Широкий коридор вел в глубь здания. По обеим его сторонам виднелись узкие двери с надписями — черными буквами по желтому полю — названия разных видов чумы.

Свенсен остановился у одной из дверей.

— Вот, — сказал он. — Та самая.

Глубоко заинтересованный Варгаш переступил порог. К его удивлению, их выдерживали в промежуточной камере довольно долго, пока, наконец, лампочка на потолке не вспыхнула зеленым светом.

— Чего вы опасаетесь? — удивился он. — Заноса бактерий из коридора? Но что можно занести сюда более опасного?

— Мы вообще против смешения бактерий, — возразил Свенсен. — Это искажает картину. Ведь, собственно, из-за этого и нашу героиню долгое время не могли обнаружить.

Лаборатория имела самый обыденный вид. Простой стол с колбами и пробирками. Ряды термостатов у стены.

«Тут она», — подумал Варгаш, покосившись на акkuratные шкафчики.

Двое людей в таких же комбинезонах, как на Варгаше и Свенсене, но в белых масках, закрывающих лица, и в белых же перчатках работали за длинным столом.

Варгашу вдруг захотелось, чтобы и у него на руках очутились перчатки, а лицо закрыла маска. Он взглянул вопросительно на Свенсена. Но этот энтузиаст микробиологии, видимо, пренебрегал мерами предосторожности.

— Хотите взглянуть?

Свенсен подвел его к микроскопу, стоявшему на столе. Варгаш приблизил глаза к окулярам и вздрогнул: на светло-желтом фоне бульонной жидкости ворочалась огромная змея — правда, без головы и без утончающегося хвоста. Темное ее тело конвульсивно дергалось.

Свенсен тронул рычажок манипулятора, и Варгаш увидел, как к вытянутому туловищу приблизилось тончайшее острие ножа. Змея дернулась и подпрыгнула, но нож улучил момент и отрубил от змеи кусок. Затем быстрым, совсем неуловимым движением он рассек змею вдоль.

Автомат-оператор продолжал оперировать бациллу. Варгаш почувствовал что-то вроде тошноты. Ему приходилось иметь дело с чудовищами, не видимыми невооруженным глазом, и наблюдать картины их страшного разрушительного действия, — он не был трусом. Но эта увеличенная бацилла, словно готовая схватить

охотящийся за нею нож, производила неприятное впечатление.

Молчаливые люди в масках спокойно передавали друг другу пробирки с самой страшной смертью из всех существовавших когда-либо на Земле.

Свенсен вдруг спохватился.

— Пойдемте! — сказал он поспешно. — Наши временные маски на лицах и руках скоро выдохнутся.

Так, значит, пока они стояли в промежуточной камере, открытые части их тела были подвергнуты какой-то обработке! Варгашу стало немного легче.

«Ну, все», — с облегчением подумал он, когда лампочка на потолке выходной камеры загорелась зеленым светом.

Но радость его оказалась преждевременной. Выходная дверь оставалась закрытой. Прошла минута, и пол в камере тихо пошел вниз. Затем повторилось почти все то, что уже было при входе в тюрьму: обмывания, облучения, и, наконец, контрольные приборы объявили, что выход разрешается.

— Ну, а если бы? — спросил Варгаш.

— Карантин, — пожал плечами Свенсен. — Уколы! И все прочее.

— Но ведь сыворотка бесполезна?

Свенсен ничего не ответил.

— В отдел вирусов? — предложил он.

В отделе вирусов Свенсен долго водил Варгаша по всем лабораториям. Варгаш уже не надеялся найти здесь ни танталуса, ни какого-либо отдаленного его родственника. Тем не менее вирусы, заключенные в тюрьму, завладели его вниманием: многое из того, что делалось тут, нельзя было наблюдать в обычных земных лабораториях, где работали лишь с безвредными существами.

В одном месте он долго смотрел, как делились и размножались крохотные существа, похожие на пружинки. Форма «пружинок» без конца менялась. Это был какой-то фейерверк формообразования. Как объяснили сотрудники лаборатории, процесс был вызван искусственно.

— Мы уже создали около шестисот новых форм, — сказали они.

Варгаш достал блок-универсал и запечатлел и «пружинки» и рассказ сотрудников.

— Я очень благодарен за предоставленную возможность посетить тюрьму, — сказал Варгаш, расставаясь со Свенсеном. — Мне кажется, я не зря провел здесь время.

— Я на это и рассчитывал, — ответил тот несколько загадочно.

Сейчас Варгашу, томящемуся на заброшенном вулканическом острове, кажется, что у Свенсена была какая-то тайная мысль, которую он так и не высказал. Зачем он уговорил осмотреть тюрьму? Для чего водил по всем вирусным лабораториям?

Варгаш снова оглядел торчащие вокруг скалы. Большая нога не давала покоя. Колено распухло и посинело, острая боль пронизывала тело при малейшем движении. Он оторвал рукав от рубашки и сделал повязку. Если бы была еда и он мог развести огонь! Тогда все выглядело бы иначе.

Ищут ли его? Конечно! Но попробуй пайти на просторах Тихого океана человека, который не может дать вести о себе.

Ему надо устроиться получше. Лежать на этих камнях просто невозможно. Как ни трудно было волочить большую ногу, Варгаш решил перебраться в более удобное место — впадину, поросшую чем-то вроде мха. Здесь было мягче.

И вдруг он увидел воду. По ложбинке в камне, похожей на линию ладони, струилась прозрачная тонкая ленточка. Вода! Он приложил язык к шершавой поверхности скалы и несколько минут пил.

Заходящее солнце коснулось горизонта. Светило тонуло так быстро, точно соскочило с какого-то гвоздика на небе. Набежал ветерок.

Варгаш решил попробовать заснуть. Но мысль не хотела успокаиваться. В созвании возникали все новые картины недавнего прошлого.

...Он увидел поля сахарного тростника. Остролистые, обычно зеленые растения словно опалены солнцем, покрыты какими-то пятнами, кое-где изъедены невидимыми грызунами.

Варгаш только что вернулся из облета. На всей Ямайке сохранилось не больше трети плантаций сахарного тростника, не тронутых танталусом.

Варгашу, испытанному следопыту, ветерану Биологической защиты, поручили трудное дело — выяснить тайну происхождения танталуса. Но пока он получает со всех сторон лишь одно «нет». С полсотни воздушных опрыскивателей, похожих на гигантские зонтики, шли в шахматном порядке низко над полями, оставляя за собой пелену лимонно-желтого тумана. Химики и биологи Центральной лаборатории, сменяя друг друга, работали круглые сутки, пытаясь найти эффективное средство против опаснейшего вредителя.

Уже поговаривали о том, что придется объявить на Ямайке карантин, закрыть остров для въезда и выезда.

Воздушные опылители, которые маячили на горизонте, как фантастические подсолнухи, стали один за другим исчезать: пошли на посадку.

Варгаш все еще смотрел на поля, когда его блок-универсал подал сигнал: «Вас вызывают».

На экране, едва Варгаш нажал кнопку «прием», появилось лицо Кэрри, начальника Биологической защиты.

— Послушайте, Варгаш, — сказал Кэрри. — Вы все возитесь с вашим танталусом? Отвлекитесь немного. Забудьте о нем. Ну, на два или три дня. Послушайте меня. В Центральной Африке разразилась какая-то болезнь среди слонов. Что-то новое, совсем неизвестное. Честное слово! Нужно действовать быстро и решительно, пока она не распространится. Предлагаю вам отправиться туда. А потом вернетесь к вашему танталусу, и, уверяю вас, вы найдете тот ход, которого сейчас не видите. Я всегда так поступаю. Согласны?

— Да, Кэрри, — сказал он, — с удовольствием.

— Зденек и Чарли уже вылетели, — сообщил Кэрри. — Вы будете третьим. Держите связь со мной.

Он назвал координаты и исчез с экрана.

Через пять минут Варгаш был уже в воздухе. Его машина со свистом резала воздух, направляясь к точке, которую он указал ей на карте.

Прошло два часа, и впереди показалось озеро с зарослями тростника на берегу, а внизу промелькнул домик и большая лужайка. Это был слоновый заповедник, в котором ставил свои опыты Нгарроба, вице-президент Африканской академии наук, находящийся сейчас на Венере. Варгаш нажал кнопку «спуск». Машина принялась выбирать место для посадки. Она прошла раза два над лужайкой, опускалась все ниже, стремительно понеслась к земле. Там стоял уже самолет «Скорой помощи». Машина Варгаша подкатила к нему. Не успел он поздороваться с Чарли, как в воздухе показалась машина Зденека.

Не теряя времени, все трое отправились к озеру.

Слонов они застали на песчаном берегу, истоптанном их могучими ногами. Менее красивые, чем их индийские собратья, с непропорционально большой головой, животные стояли или лежали, не выказывая признаков обычного оживления. Огромные уши свешивались, как тряпки, а хоботы, увядшие, бессильные, касались земли или лежали на ней напоподобие обрывков толстого каната.

Банди, помощник Нгарробы, ходил среди слонов, словно это были не живые существа, а серые скалы, принявшие форму животных. И слоны обращали на него не больше внимания, чем на птиц, прыгавших на песке.

— Скверно, — сказал Зденек, наблюдая эту картину.

Черное лицо Банди от волнения и усталости казалось серым.

— Это началось вчера, — сказал он. — И вот видите...

— Что они ели? — поинтересовался Чарли.

— То же, что и всегда, — пожал плечами Банди.

Вот, — он кивнул в сторону зарослей тростника, — их любимое лакомство.

Предоставив Чарли и Зденеку вместе с Банди заниматься больными слонами, Варгаш направился к зарослям.

Он срезал несколько растений и внимательно осмотрел их. Ничего подозрительного. Тогда он прошел по берегу километра два — тростник всюду был одинаковый. Взяв из разных мест образцы для анализа, Варгаш направился к стоянке машины «Скорой помощи».

Зденек и Чарли были уже там.

— Похоже на анемию, — сообщил Зденек. — В какой-то незнакомой форме. А может быть, еще что-нибудь.

— Взял кровь, — добавил Чарли.

Внутри его машины светились лампочки, что-то тихо булькало, цветные жидкости переливались по трубочкам: автомат-анализатор делал свое дело.

Варгаш поднялся в свою машину. Принесенный тростник он порезал на куски и роздал лаборантам-автоматам, а сам, чтобы не терять времени, уселся за микроскоп. В срезах на предметном столике он не замечал ничего особенного и вдруг...

На нежно-зеленом фоне пестрели мелкие, еле различимые крапинки.

Варгаш вырезал крошечный кусочек с одной крапинкой и прибавил увеличение. Теперь крапинка выглядела как маленький вулканчик с кратером посредине.

Два лаборанта-автомата прогудели, что их работа закончена. Не вставая с места, Варгаш протянул руку и взял голубые бланки. Первый содержал анализ золы: все в норме, кроме неизвестно откуда взявшегося марганца. Другой бланк перечислял состав плазмы — тут были отклонения, в них следовало еще разобратся.

Зато Варгаш прямо вздрогнул, когда взял в руки бланк, подготовленный третьим лаборантом. То были увеличенные фотографии микробов, обнаруженных в тростнике, и среди них — Варгашу захотелось проте-

реть глаза — столь знакомые ему очертания танталуса. Положительно он начал ему мерещиться!

Варгаш не спеша, как можно спокойнее рассматривал снимки. Нет, эта похожая на знак параграфа фигура не оставляла никаких сомнений. Танталус, самый настоящий танталус!

Четвертый, пятый, шестой лаборанты гудели, докладывая, что порученная им работа выполнена, но Варгаш, не глядя, откладывал их рапорты в сторону — он вызывал «Клару».

Когда она, наконец, ответила, стол Варгаша был буквально завален ворохом сводок. Перебирая их и бегло просматривая, он задавал «Кларе» вопрос за вопросом. Та выдавала все, что хранилось в ее электронной памяти.

На вопрос о крапинках «Клара» дала неожиданный ответ: она назвала вирус, открытый в бассейне Амазонки полстолетия назад.

Амазонский вирус, информировала «Клара», был безобидным существом, ничем особенным не отличающимся, настолько бесцветным, что все сведения о нем заняли едва пять строк в Полной Энциклопедии Микробов. Влияния на жизнь растения, в котором обитал, он, по-видимому, не оказывал. Открытый случайно, он существовал в неизвестности, пока им сегодня не заинтересовался Варгаш.

Варгаш вызвал Кэрри. Ямайка ответила тотчас же.

— Попробуйте дать тростник, зараженный танталусом, слонам. Желательно — африканским.

— Хорошо. А что случилось?

Варгаш рассказал.

Широкое лицо Кэрри стало еще шире.

— Вот это оборот!

Он сиял. Про Кэрри недаром говорили, что, если когда-нибудь у Биологической защиты не останется больше никаких дел, он зачахнет и умрет от неизвестной человечеству болезни.

Начальник Биологической защиты попросил передать ему все материалы, полученные Варгашем от лаборантов. Варгаш нажал кнопку «Передача информации» и вышел из машины.

Зденек и Чарли тоже передавали первые сведения в Центр.

— Заболевание, связанное с питанием, — сказал Зденек.

— В крови повышенное содержание марганца, — констатировал Чарли. — А у вас что?

— Похоже на танталус. — Варгаш пожал плечами. — И в то же время совсем непохоже. Марганца много и в тростнике.

— Оц, вероятно, в почве.

— Остается еще проверить инсектарий, — сказал Зденек. — Вот еще одна из проблем нашего времени! Оставляя нетронутыми заповедные уголки природы, человек сам сохраняет очаги заразы. Вопрос: что лучше — сохранить или уничтожить? Другими словами: от чего человечество больше потеряет, а от чего больше приобретет? Может быть, на самом деле зараза идет оттуда?

...Зеленая сетка, накинутая над тропическим лесом, тонкая и мелкая, как вуаль, была незаметна даже вблизи. Банди нашел вход и, отстегнув клапан, пропустил вперед остальных. Они прошли сквозь три ряда сеток, а Банди застегивал позади себя невесомые двери. Он настоял, чтобы все надели индивидуальные предохранительные сетки.

Они вступили на территорию инсектария.

Мир существовал здесь в своей первозданной дикости. Крылатые твари, одного укуса которых было достаточно, чтобы человек заболел тяжело и неизлечимо, плодились и размножались беспрепятственно в этой влажной, словно жирной, атмосфере. Это был лес, который в прошлые времена приводил в ужас самых отчаянных смельчаков.

Варгаш был солдатом Биологической защиты. И, как солдат, он шагал уверенно, соблюдая разумные меры предосторожности. Крылатые пули свистели у него над ушами, тыкались в сетку, вились над головой.

Он любил работу в «Скорой помощи» вот за эту калейдоскопическую смену обстановки, за опасности, которыми она почти всегда сопровождалась, за то, что

работать приходилось, не считаясь со временем. Варгаш поймал себя на том, что лицо у него стало расплываться от удовольствия, совсем как у Кэрри.

Нет, он не мог бы провести всю жизнь за глухой прозрачной стеной, как этот Свенсен. Хотя, если говорить честно, работа в лабораториях тюрьмы микробов не менее опасна и увлекательна, чем работа Варгаша. Но ей не доставало разных непредвиденных случаев, перемены мест, то есть всего того, что называют приключениями.

Банди наклонился к земле и показал на большие вмятины.

— Здесь проходили слоны.

Зденек с минуту внимательно рассматривал следы.

— Животные здоровы, — заключил он.

— Кровь взять не удастся? — поинтересовался Чарли.

Банди покачал головой.

— Со здоровыми слонами это проделать невозможно.

— Значит, и не нужно, — резюмировал Зденек. — Здоровые слоны — неподходящий объект для нас. Наше дело — больные животные.

— Посмотрим, что покажет тростник.

Нарубив стеблей и сложив добычу в герметические мешки, исследователи с теми же предосторожностями отпраздничали в обратный путь. Выведя их за тройную сетку, Банди долго щелкал спрятанными в кустах выключателями.

— Она под током, — пояснил он. — Чтобы не порвали крупные животные.

...Лаборантам-автоматам задали новую порцию работы.

— Ну что? — спросил Зденек, просовывая голову в дверь лаборатории Варгаша.

— Пятен нет.

— Анализы?

В это время подал сигнал первый лаборант-автомат.

— Марганец? — спросил подошедший Чарли.

— Марганца нет, — ответил Варгаш, просмотрев бланк.

— Гм, — лицо Чарли приняло озабоченное выражение. — Может быть, весь секрет в марганце?

Варгаш снова вызвал Кэрри. Тот сообщил, что на двух африканских слонов, которых накормили ямайским тростником, зараженным танталусом, это не произвело никакого впечатления.

— Надо взять еще слонов, — предложил Чарли. — И попробовать кормить тем же тростником, только предварительно обработанным марганцем.

— Ладно, — проворчал Кэрри. — На вас слонов не напасешься. Если получим сыворотку, мы вам пришлем. Спасайте хоть тех, которые у вас.

— Надо перебазировать слонов, — сказал Зденек после окончания разговора. — На здоровый участок.

— Вероятно, подойдет любой, где нет марганца в почве, — высказал предположение Чарли.

Варгаш сел в машину и отправился выбирать место.

Остальные занялись слонами. Животные так ослабели, что многих не удавалось поднять на ноги. Банди вызвал транспортные вертолеты. Прошло около часа, и огромные вагоны один за другим начали садиться на лужайке. Слонов грузили краном, опуская обмякшие тела в вагон и задвигая затем крышку.

Некоторых, совсем обессиленных, с трудом заставили приподняться хотя бы настолько, чтобы продеть лямки.

— Это как раз те, с которыми делал опыты Нгарроба, — сказал Банди. — Будет очень досадно, если они погибнут.

Чарли, Зденек и Банди провозились всю ночь, пока, наконец, не переправили слонов на новое место. Уже светало, когда Банди отослал вертолеты.

— Ну что ж, — сказал Зденек, оглядев слонов, бесильно лежавших на траве. — В сущности, мы можем позволить себе отдых. Один спит, двое работают — так, что ли?

Варгашу выпало спать первым. Он плотно закрыл дверь кабины, поставил стрелки приборов на привычные для него температуру и влажность воздуха. Из стены выдвинулся матрац конструкции Института сна, тот, что держит вас словно в воздухе, так что вы не отлежите ни руки, ни ноги. Включив электросон на «естественное пробуждение», Варгаш разделся. Какое это все-таки удовольствие спать, принимая воздушную ванну! Сколько веков человечество куталось в звериные шкуры и одеяла, пока не сумело, наконец, расстаться с этим первобытным способом согревания! Еще какая-то мысль пришла было Варгашу на ум, но он уже коснулся головой подушки.

4

Сейчас звериная шкура представляется Варгашу верхом блаженства, о котором можно только мечтать. Он отлежал руку, бок и плечо, а ночью чуть не замерз.

Солнце снова накаляет воздух. Вокруг все тот же пустынный океан, над которым опрокинулось безжизненное небо. Коленка распухла еще больше, и он не может сдвинуть ногу с места.

От жары и утомления мысли Варгаша начинают путаться. Он пробует привести их в порядок.

Что, собственно, произошло там?

Он проснал три с половиной часа, больше обычного на целых полчаса.

Тут же, после пробуждения, его вызвал Кэрри.

— Послушайте, — сказал он. — Пусть Зденек и Чарли занимаются слонами. А вас я прошу все отложить и слетать на острова Туамоту, там обнаружен вирус, стремительно ускоряющий рост бамбука. Положительно, с нашей планетой что-то стряслось! Или действительно принесло какую-то живую пыль из космических глубин? Последнее поручение, а потом вернетесь к танталусу!

...Что произошло дальше? Варгаша подстерегло то самое приключение, которого так жаждала его роман-

тичѣская душа. И вот он уже вторые сутки на этом безвестном острове. Он снова восстанавливает эту цепь событий, тщательно перебирает каждое звено. О, у него сколько угодно времени для обдумывания! Времени, которого так не хватало в предыдущие суматошные дни.

И вдруг Варгаш вздрагивает как ужаленный. Он даже делает попытку приподняться, но острая боль в ноге заставляет его снова повалиться на камни.

Словно в каком-то откровении, Варгаш вдруг совершенно ясно и отчетливо представил себе, откуда взялся танталус на нашей планете. Ну, как же он этого не понимал раньше? Ведь Свенсен подводил его к этой идее вплотную, только что не ткнул в нее пальцем. Для этого-то он и показывал ему тюрьму микробов, так долго держал в отделе вирусов!

Ну конечно, танталус возник в результате быстрой и многократной смены форм какого-нибудь давно существовавшего на Земле вируса. Сейчас Варгашу кажется, что эта мысль в смутной форме пришла ему в голову еще тогда, когда он рассматривал бесчисленные вариации «пружинок». Он вспоминает, что Свенсен очень внимательно наблюдал за ним все то время, что они находились в лаборатории.

Свенсен не захотел почему-то высказать Варгашу своей догадки. Почему? Может быть, думал проверить самого себя? Или боялся, что, навязывая свое мнение, собьет Варгаша с другой, возможно более правильной гипотезы? Свенсен, как ученый, очень осторожен в своих выводах.

Варгашу сейчас ясно одно: все новые вирусы, которые наделали столько шума, явились результатом изменения формы одного какого-нибудь вида.

А началось, конечно, все с того тихого и скромного вируса, что существовал, может быть, тысячи лет безвестно в тропических дебрях Южной Америки. Он-то и есть родоначальник танталуса и вируса, поразившего тростник в Африке. Видимо, в тростнике произошли какие-то изменения, которые сделали его непригодным в пищу слонам. И скорее всего он предок и того виру-

са, который ускоряет рост бамбука. И марганцем надо было действовать не на танталус, а все на тот же «родительский» вирус, что нашли в бассейне Амазонки полвека назад. Тогда бы наверняка получили форму вируса, поразившего африканский тростник и тем самым вызвавшего заболевание слонов!

Ах, как жаль, что эти мысли пришли так поздно! Проклятый блок-универсал! Как бы он пригодился сейчас... И вдруг — Варгаш подумал, что ослышался! — блок-универсал издал явственный сигнал: «Срочное сообщение».

Варгаш хватается за блок и лихорадочно крутит ручку настройки. Увы, лампочка зажигается только при переводе стрелки на волну срочных сообщений. Ну конечно: ведь для приема этой волны в блоке имеется отдельное устройство! Очевидно, оно-то и уцелело.

Пока он, растерянный, соображает все это, диктор произносит:

— «Венера-8» возвращается на Землю.

В первый момент Варгаш не может полностью оценить смысл сообщения.

«Хорошо, что Коробов скоро будет на Земле! — мелькает как-то механически у него в голове. — Он поможет разобраться в этой истории с танталусом». Но тут же все существо Варгаша как бы пронзает электрическая молния. Что случилось с «Восьмой»? Ведь срок ее пребывания на Венере истекает только через два месяца!

Диктор сообщает только одно: корабль летит к Земле. Это установлено наблюдениями. Но связи с кораблем еще нет.

Ее и не будет, вспоминает Варгаш, пока корабль не подойдет к Земле ближе. Это из-за воздействия Солнца. Он прислонил блок-универсал к скале так, что мог видеть экран, не поворачивая головы, а кнопку поставил в положение «прием».

Ночь прошла спокойно. Утром он услышал, как диктор, чуть волнуясь, произнес:

— Восьмая обнаружила на Венере следы пребывания разумных существ.

Варгаш чуть не подпрыгнул на месте. Так вот почему они возвращаются! Нужно же было ему очутиться здесь как раз в такой момент!

Потом были еще какие-то сообщения. Но Варгаш находился в полузабытьи. Сколько прошло времени? Очевидно, немало. Потом он явственно услышал голос Зденека:

— Алло, Варгаш! Где вы? Что с вами случилось?

На экране возникло лицо Зденека, бледное, с прядью черных волос, свешивающихся на лоб; он всматривался напряженно в Варгаша, словно пытаясь его увидеть.

— Почему молчите?

Зденек исчез, а Варгаш в каком-то тумане долго думал, показалось ему это или он на самом деле видел Зденека. Один раз резкий голос вернул его к действительности. На экране виднелось смутное пятно, оно ползло по диагонали, словно мокрица. Это корабль входил в зону космических маяков, и его изображение передавалось по телевидению.

Варгаш снова опустил веки... Очнулся он от шума, который раздавался где-то совсем близко. Открыв глаза, увидел на экране блок-универсала толпу народа, заполнившую огромный стадион. Варгаш узнал Мельбурнский восьмизвездный стадион на полмиллиона мест.

На экране показался открытый вихрелет. Ухватившись за поручни, на площадке стоял Коробов. Знакомое энергичное лицо с голубыми глазами, в которых всегда таилась скрытая улыбка. Рядом Нгарроба, огромный, сияющий, размахивающий рукой. Тут же сдержанно-спокойный Сун-лин и маленький изящный Гарги, которого Варгаш знал только по портретам. Четверо участников экспедиции неторопливо сошли на помост.

Потом Коробов говорил, а автоматические телевизионные камеры передавали изображения участников экспедиции и снятые ими на Венере кинокадры.

Еще раз на экране появился Зденек. Лицо его выглядело растерянным.

— Куда же вы запропастились, Варгаш? — вопро-

шал он, озираясь по сторонам. — Передайте хоть координаты! Мы с ног сбились...

Зденек снова исчез.

Усилием воли Варгаш отогнал все лишние мысли и попробовал забыться. Он должен продержаться как можно дольше — его ищут.

...Зденека он увидел как в тумане. Тот так внимательно вглядывался в Варгаша, словно на этот раз видел его. Потом Зденек сделал шаг вперед, и Варгаш понял, что это живой Зденек, а не изображение на экране.

— Наконец-таки! — сказал Зденек. — Что у вас с ногой?

В ответ Варгаш только пошевелил губами.

— Я обшарил весь Тихий океан, — продолжал Зденек. — Больше всего мы боялись, что вас пронесло мимо островка. Машина не подтвердила приземления. Она только радировала, что сбросила вас на парашюте, и дала неверные координаты. Она уже горела в воздухе...

Варгаш подождал, пока туманное изображение Зденека не прояснилось, а голос его зазвучал в ушах более явственно.

— Танталус, — закричал он, напрягая все силы, — и африканский вирус — одно и то же! И тот, с Амазонки...

5

Традиция требовала, чтобы участники суда лично присутствовали в зале. По тем же неписаным законам и защитники и обвинители всегда являлись в черном. Историки утверждали, что обычай идет еще с тех давних времен, когда судили людей и судьбы надевали специальные черные мантии.

И вот день суда наступил.

Доклада по обыкновению не было. Присутствующим просто напомнили вкратце суть дела.

Светящийся купол круглого зала погас, стены исчезли, и собравшиеся как бы очутились в девственном лесу на берегу Амазонки. Деревья росли по сторонам,

их ветви местами сплетались, образуя зеленый свод. Птицы перелетали с ветки на ветку, прямо над головами притихшей аудитории, оглашая воздух резкими звуками. Зал, вернее — его пол, напоминал теперь островок, заброшенный в глубь зеленого океана. Вот этот остров двинулся, деревья обтекали его по краям, смыкаясь позади в непроходимую чащу. Впереди по-светлело, мелькнула полоса воды и исчезла, заслоненная зарослями бамбука. Остров остановился. Вокруг, касаясь друг друга, шуршали стебли бамбука, метелки его кивали налетевшему ветерку. Раздался треск, какие-то удары, заросли в одном месте раздвинулись, и из сплетения стеблей показалась фигура человека. Высокий, с загорелым лицом, он срубил обыкновенным мачете несколько зеленых стеблей, отделявших его от зала, и протянул стебли в зал.

Огромная рука появилась в воздухе и взяла стебли. Тотчас же лес исчез, а собравшиеся очутились в лаборатории, заставленной множеством лаборантов-автоматов. Приглядевшись, можно было заметить, что это не одна, а шесть совершенно одинаковых лабораторий, вплотную примыкавших к залу.

Для удобства зрителей картина создавалась одновременно в нескольких местах зала. Шесть огромных кругов вспыхнули высоко над головами, и в них появились увеличенные изображения танталуса-I, как теперь называли родоначальника всех танталусов. Все шесть танталусов-I подергивались и шевелились одинаково и в такт, словно проделывали гимнастические упражнения в фантастическом физкультурном параде. Это и был своеобразный парад. Один танталус сменялся другим, вплоть до последнего, десятого, открытого недавно на Соломоновых островах.

Затем были продемонстрированы преступные деяния обвиняемого.

Зрители увидели поникшие растения на сахарных плантациях Ямайки, африканских слонов, беспомощно распростершихся на земле.

— Дело не только в слонах, — сказал диктор, — но и в опыте Нгарробы.

Варгаш, конечно, знал про этот опыт, о котором было так много разговоров. Найдя тушу мамонта в слое вечной мерзлоты в Сибири, Нгарроба сумел оживить некоторые его клетки, в том числе производительные. Он ввел их двадцати слонихам из Африканского заповедника. Нгарроба рассчитывал, что, если эксперимент удастся, он получит помесь мамонта со слоном. Тогда во втором поколении тем же искусственным путем, используя новую порцию размороженных клеток мамонта, можно будет вывести животных, которые уже на три четверти станут мамонтами. Четвертое потомство, если бы удалось довести опыт до конца, дало бы «чистокровных» мамонтов с ничтожной «чужой» примесью в $\frac{1}{16}$, с которой можно было бы и не считаться.

Мамонтами Нгарроба предлагал населить Антарктиду, единственную часть света, где животный мир был все еще беден.

И вот танталус сорвал самый первый опыт. Если его и начать снова, одним поколением мамонтов будет меньше.

— За одно это, — сказал сосед Варгаша, — танталус заслуживает сурового осуждения.

Но не только это числилось на преступном счету танталуса. Плановое бюро огласило цифры: бесчинства многоликого вируса дорого обходились человечеству.

— Танталус, оказывается, может не только вредить, — сказал диктор. — Есть одно смягчающее вину обстоятельство. Установлено одновременно, что танталус способствует росту растений. Даже сахарный тростник в первый период заболевания делал быстрый скачок в росте, а потом развитие останавливалось и растение погибало. На рост же бамбука один из танталусов, известный под номером четвертым, оказывает удивительное воздействие. Бамбук, как известно, и так растет быстро, но тут он вытягивается прямо на глазах. Кроме того, улучшается структура тканей — бамбук становится прочнее и гибче. Для всех художественных работ «танталусский бамбук», как его называли, считается теперь самым лучшим.

Варгаш с нетерпением ждал, когда диктор перейдет

к тому вопросу, разрешению которого Варгаш отдал столько сил.

И диктор сказал наконец:

— Танталус-I жил в верховьях Амазонки тихо и мирно, пока человек, охвативший своей деятельностью всю планету, не добрался и до этих глухих мест. Прорубленные просеки открыли дорогу в лес солнечным лучам. Сооружение плотин, городов, заводов способствовало занесению в растительные дебри разных химических веществ, с которыми танталус-I прежде не сталкивался. Он оказался повышенно чувствительным к некоторым из них — не только к марганцу, породившему танталус-III, но и к обыкновенной извештке или бетонной пыли. Началось бурное формообразование с изменением свойств.

И вот теперь нужно решить, как с ним поступить.

— Заключить в тюрьму, — сказал сосед Варгаша, первый попросивший слова. — И немедленно. Как изолируют сумасшедшего. Ведь о сумасшедшем никто не может сказать, что он сделает в следующий момент. Так же обстоит дело и с танталусом.

— Подвергнуть заключению вирус со столькими положительными свойствами? — удивился Свенсен. — Такого не бывало за всю историю существования тюрем микробов!

— Отказаться от возможности ускорять рост растений? От сверхпрочного бамбука? — поддержал его еще кто-то из защитников танталуса.

— И от гибели сахарного тростника и от заболевания слонов, — иронически добавил голос с противоположного конца зала.

— Против танталуса-II и танталуса-III сейчас найдены эффективные средства!

— А кто знает, что принесет танталус-X? — Как и всегда, почти всякий сидевший в зале стремился высказать свое мнение.

Больше всех горячился Свенсен.

— Если мы оборвем стихийный эксперимент, поставленный природой, — говорил он, — мы не узнаем много такого, до чего дойдем в наших лабораториях, может быть, только через десять или двадцать лет.

— Что важнее: человек или микроб? — возражал представитель Планового бюро. — И какова тут роль природы? В конце концов активность танталуса вызвала не природа, с которой он жил в мире тысячи лет, а человек. Вся деятельность танталуса за последнее время — это фактически восстание против человека, против его дел...

— Вы забываете про бамбук! — взволнованно крикнул кто-то.

— Ну, знаете, бамбук получается слишком дорогим!

По несколько человек сразу нажимали кнопки, требуя дать им возможность бросить хотя бы реплику. Диктор-диспетчер едва успевал предоставлять слово.

В самый накал страстей, когда на пульте диктора горела добрая дюжина лампочек, раздался голос Коробова:

— Вношу предложение!

Шум в зале стих. Основателя заповедника микробов знали и к его мнению прислушивались.

— Предложение такое, — сказал Коробов. — Танталусов — всех без исключения — изъять и заключить в тюрьму микробов. Оставшихся вне тюрьмы полностью уничтожить. В тюрьме отвести танталусам отдельный корпус: для каждого — лабораторию и тридцать в резерве для будущих, которые еще возникнут. Мы заменим стихийный эксперимент природы планово поставленными опытами. Используем все средства воздействия на микроорганизмы, которые нам известны. И как только получим стойкие виды с полезными свойствами, будем выпускать их на свободу.

Предложение поставили на голосование. На табло, вспыхнувшем на потолке, замелькали цифры. Они сменялись по мере того, как собравшиеся в зале нажимали кнопки у кресел.

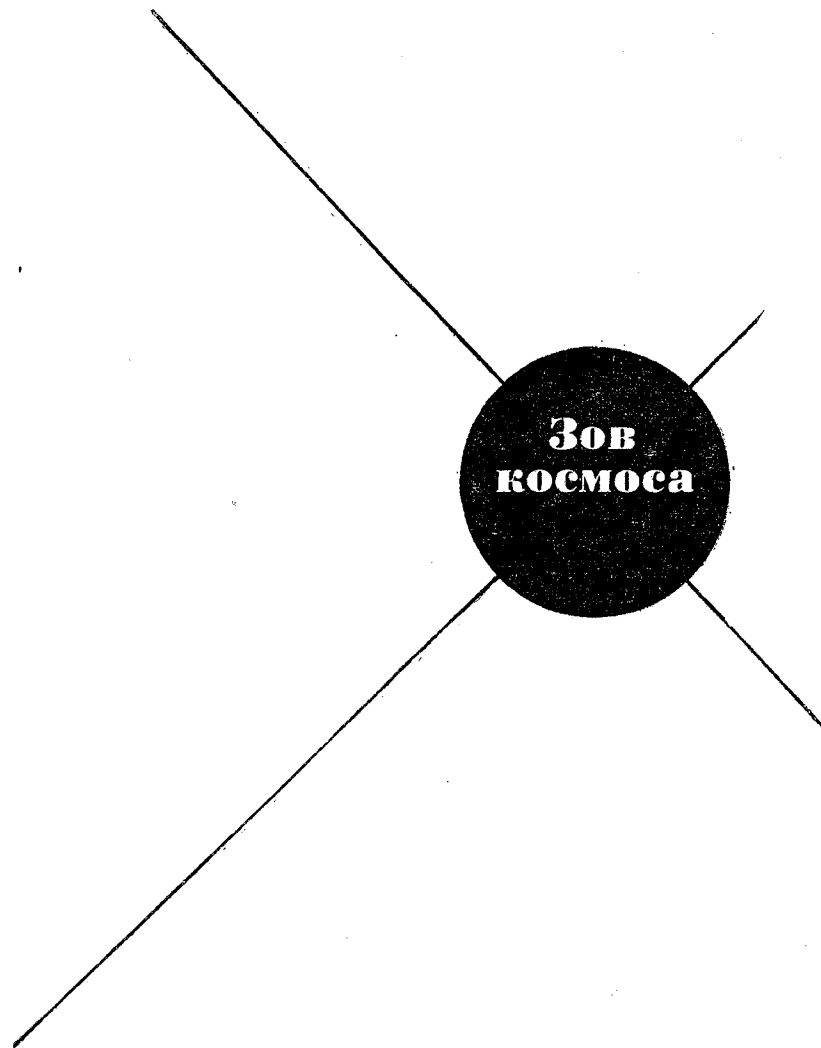
— 500 — «за», 00 — «против».

Диктор сообщал о решении всему миру.

Противники танталуса и защитники, только что ожесточенно спорившие, устремились к выходу.

Коробов беседовал о чем-то с Нгаррой. Оба внимательно посмотрели на подхотившего Варгаша.

— Знаете что, — сказал Коробов. — Мне кажется, вам больше нечего делать на Земле. То, чему мы были свидетелями сегодня, — по-видимому, последний на Земле бунт природы против человека. На Венере — дело другое. Там, можно сказать, сплошной заповедник дикой природы. И на каждом шагу опасности. Мы подбираем сейчас первую смену для постоянной научной станции на Венере. Подумайте об этом, а?



БОГАТЫРСКАЯ СИМФОНИЯ

Над озером светили звезды. Старик долго смотрел в небо, потом сказал юноше:

— Здесь, в горах, звезды производят странное впечатление. Словно лампы в пустом зале. Люди ушли, а они светят... старательно и бесполезно.

Его собеседник был слишком молод, чтобы угадать за этими словами настроение. Он ответил:

— Судя по звездам, будет ясная погода. Значит, мы увидим ионолет. — И, озабоченно взглянув на небо, он добавил: — Погода тут меняется каждый час.

Наступило молчание.

Старик думал о том, что все созданное человеком несет на себе отпечаток человеческой судьбы. Города, машины, книги рождаются и стареют — иногда быстрее, иногда медленнее, — знают славу и забвение. «Нет, не все стареет, — мысленно возразил он себе. — Идеи, ведущие людей, искусство... да, конечно, искусство... музыка...» Повинуясь каким-то своим законам, его мысли обратились к музыке. Он вспомнил «Богатырскую симфонию» Бородина — она звучала здесь сорок лет назад.

Тогда он был молод. И ракетодром — теперь почти всеми забытый — тоже был молод. В горах Кавказа, на перевале Буздаг, люди выбили в скале гигантскую чашу, наполнили ее водой, построили легкие здания, прилепившиеся к крутым склонам гор. Отсюда уходили к звездам ионные ракеты, управляемые автоматами. Они возвращались через много лет сюда же, на ракетодром Буздаг. Впрочем, возвращались не все. Из семидесяти двух ракет вернулись пятьдесят четыре. Пять-

десять пятая — ее отправили первой — должна была опуститься на ракетодром в этот вечер. Она совершила дальний рейс, к звезде Ван-Маанена, и сорок лет спустя возвращалась на Землю.

Юноша (он шел рядом со стариком, рядом — и чуть позади) знал об этих временах из старой кинохроники. Он родился, когда о ракетодроме Буздаг начали уже забывать. Ракеты с ионными двигателями быстро устарели, их сменили термоядерные корабли. Мощные, обладающие колоссальной энергией, они легко преодолевали сопротивление атмосферы. Они не нуждались в высокогорных ракетодромах, и стартовая площадка в горах Кавказа опустела. Лишь изредка здесь появлялись люди, чтобы встретить возвращающиеся ракеты. Сначала каждое возвращение было событием. Потом это стало только историей. Новые средства исследования — термоядерные ракеты, диффракционные телескопы, гравитационные анализаторы — приносили намного более важные сведения о космосе, чем ионолеты, безнадежно устаревшие, неуклюжие в глазах людей XXI века.

Юношу послали встретить пятьдесят пятый ионолет. На ракетодроме Буздаг три года не было людей. Юноша привел в порядок оборудование, проверил приборы и неделю скучал. Днем он уходил в горы, по вечерам читал книги. Чтение забавляло его. Он привык к микрофильмам, и тяжелые, громоздкие книги с пожелтевшими от времени страницами представлялись ему чем-то очень древним. Это был прошлый век — романтический, героический, жестокий и трогательно-наивный XX век. И когда под вечер прилетел старик, юноша не удивился. Старик тоже был частью XX века. Он строил первые ионолеты, он создал гравитационный анализ, его имя носили океан на Венере и горная вершина на Меркурии. Со школьной скамьи юноша знал жизнь старика. Во всяком случае, он считал, что знает, ибо молодая его память цепко держала заученные даты и факты. Он помнил год рождения старика, мог перечислить полеты и открытия, знал все работы — от классической «Теории гравитации» до новейших исследований звездной динамики. Юноша видел старика в сотнях микрофильмов, и ему казалось, что этот чело-

век так же спокоен и тверд, как скалы, в которых он когда-то построил ракетодром.

С гор тянуло не сильным, но очень холодным ветром. Озеро парило. Вода в нем обогревалась пущенным сорок лет назад ядерным реактором и не замерзала даже в самые суровые морозы. Пар, извиваясь, полз над водой, медленно, нехотя поднимался вверх, образуя прозрачное, сиреневое от света люминесцентных ламп марево. Черная вода плескалась у бетонного парапета, по которому шли два человека.

Старик не замечал ветра. Он даже не поднял воротника меховой куртки. Он прислушивался к плеску воды и улавливал в нем звуки «Богатырской симфонии». Музыка была у него в душе, но ему казалось, что он слышит ее извне, со стороны. Его спутник прятал руки в глубоких карманах куртки и озабоченно поглядывал на небо.

Внезапно старик остановился, взглянул на часы. Юноша по-своему понял это и поспешно произнес:

— Да, осталось сорок минут. Надо включить контрольную систему радиопосадки.

Он чувствовал какую-то робость в присутствии старика. Ему хотелось вернуться в ярко освещенное теплое здание, к пультам управления.

Старик внимательно посмотрел на него и сказал:

— Идите. Я останусь здесь. И вот что... скажите... радиодфоны работают?

Юноша улыбнулся:

— Радиодфоны? Здесь их нет. Здесь только старинная репродукционная сеть и эти... как их... аппараты магнитной записи.

— Именно это я имел в виду. Попробуйте разыскать вторую симфонию Бородина. Я хотел бы послушать... Ну идите же...

Старик продолжал свой путь вокруг озера. Теперь он шел совсем медленно, часто останавливался. Он сохранил зоркость и хорошо видел в полумраке. За цепью опоясывавших озеро фонарей была темнота, но старик угадывал там крутые скалы, выветрившиеся, изъеденные солнцем и водой. Он видел потерявшие листву деревья, выщербленный временем бетонный па-

рапет, потрескавшийся асфальт дорожек... «Старость, — грустно подумал он. — Здесь все старо. Горы, ракетодром и я». Он видел себя: высокий, худой, слегка ссутулившийся человек с длинными седеющими волосами. «Старость, — повторил он. — Семьдесят два года. А тогда было тридцать два... тридцать два».

Он остановился и долго смотрел на озеро. Он смотрел на клубящийся пар и ни о чем не думал. Мысли ушли куда-то вглубь — смутные, неопределенные, только угадываемые, подобно бегу воды в глубине замерзшего ручья.

Старик был спокоен. Он вообще был очень выдержанным и спокойным человеком. Его считали сухим, черствым еще в молодости. Он обладал ясным, склонным к анализу умом. Для тех, кто его мало знал, это подавляло все остальное. Так раскаленные солнечные пятна кажутся черными — по контрасту с еще более горячей солнечной поверхностью.

Старик вглядывался в дрожащее над озером марево и вспоминал то, что было здесь сорок лет назад. Он попытался представить все последовательно, но не смог: строй мыслей ломался, память упорно выталкивала какие-то незначачие пустяки. Он почему-то очень ясно вспомнил — совершенно ясно, как будто это стояло перед глазами, — шарф, который был на ней в тот вечер. Шарф был пестрый — с красными корабликами, желтыми маяками, синими птицами, прозрачный, воздушный. «Нет, — подумал он, — это произошло не здесь. Я начал говорить, меня перебили... да, да, главный механик... потом мы вдвоем отошли к скамейке...»

Он спустился с бетонного парапета. Огляделся. Скамейки не было. Но старик знал, что она стояла здесь. Он нагнулся, присел и увидел вмятины в асфальте — следы, оставленные ножками скамейки. Улыбнулся, потрогал асфальт. Сквозь трещины пробивалась трава, уже сохшаяся, желтая.

Он хотел вспомнить слова, сказанные в тот вечер, — и не мог. Он даже не мог припомнить, что она тогда ответила. Он твердо помнил только одно: над ракетодромом звучала «Богатырская симфония». Слова — такие важные и бессмысленные — не запомнились. Оста-

лась музыка. Потом каждый год в этот день они слушали «Богатырскую симфонию». Каждый год — если он был на Земле и если они встречали этот день вместе. Так прошло тридцать шесть лет. Она умерла, и он остался один.

Старик гладил желтую, жесткую траву, пробившую асфальт.

Ты помнишь, ворон, девушку мою?
Как я сейчас хотел бы разрыдаться!
Но это больше невозможно. Стар...

Где-то над головой слышались шипение, треск. Он поднялся, сердце тревожно билось. Старый репродуктор выдохнул музыку.

Шелест ветра, плеск воды, далекие и непонятные ночные звуки — все растворилось в музыке. Старик неподвижно стоял, глядя в пространство. Он слышал торжественный марш, и, повинувшись мелодии, в памяти мгновенно возникали и так же мгновенно исчезали картины — то раздольные, широкие, буйные, то задумчивые и грустные. Музыка была мягкой, прозрачной, светлой. Она создала между прошлым и настоящим какую-то невидимую, но явственную преграду. Воспоминания постепенно отодвинулись, окрасились в спокойные тона.

Старик закрыл глаза, голова у него кружилась. Музыка накатывалась шумящими волнами, смешивала в водовороте звуков радость и грусть, смывала с души наносное, тяжелое. Старик почувствовал прикосновение к плечу, вздрогнул, обернулся. Перед ним стоял юноша:

— Ракета.

Старик не ответил, и юноша громко повторил:

— Ракета!

Они пошли к озеру. Звонящие аккорды арфы еще дрожали в сыром морозном воздухе. Ветер усилился. Вода набегала на пологий бетонный парапет и с шумом стекала в черный провал озера.

В небе, над ущельем, возникли две яркие желтые точки, заискрились, стерли окрест лежащие звезды. Ракета быстро снижалась. Ионный двигатель оставлял едва видимый след — слабое, сразу же гаснущее голу-

бловатое мерцание. Вспыхнули, на миг ослепив старика и его спутника, прожекторы, установленные в скалах. Синеватые лучи осветили звездный корабль. С этого момента старик перестал слышать музыку.

Он видел ракету сорок лет назад. С тех пор все изменилось, но ракета осталась такой же, какой была. Желтый свет ее бортовых фар смешивался с синими лучами прожекторов, и продолговатый бескрылый корпус казался зеленым. Блестела ажурная сеть антенн. Отчетливо слышалось потрескивание, сопровождающее работу ионного двигателя.

Это потрескивание вызвало у юноши улыбку. Он много раз видел снимки ракеты, знал ее устройство: она была невелика — шестьдесят метров в длину и три метра в поперечнике — и походила на мощные ядерные звездолеты не больше, чем лодка на корабль. Обтекаемая форма? Он видел в ней только свидетельство того, что ракете нелегко было пробивать земную атмосферу. Тонкие стержни антенн напоминали о заре радиолокации. И наконец, потрескивание ионного двигателя вместо слитного, звенящего гула ядерных кораблей.

— Какая нелепая конструкция! — сказал он.

— Да, — ответил старик, глядя на ракету, — она запущена очень давно. Но у таких ракет есть преимущество — они успели пройти большой путь. Ядерные звездолеты ушли еще сравнительно недалеко от Земли, а эти... они многое видели.

«В этом преимущество старости, — добавил он мысленно. — Многое пройти, видеть, понимать...»

Ракета повисла в двух метрах над озером. Вода хлопотала под дюзами двигателя. Помедлив, ракета вертикально опустилась в воду; по озеру побежали волны. Старик и юноша отошли от края парапета — вода заливала бетон. Потом ракета вынырнула — уже горизонтально — и качалась на волнах.

— Все! — воскликнул юноша. Он был взволнован, хотя вряд ли смог бы объяснить, что именно его взволновало. — Сейчас должен отделиться робот-разведчик. Уже время...

— Не спешите, — усмехнулся старик. — Это же

старая конструкция! Она не умеет торопиться. Двадцатый век.

Над корпусом ракеты поднялась поблескивающая в лучах прожекторов небольшая полусфера, отделилась от ракеты, повисла в воздухе и заскользила над водой. Робот уходил в сторону от места, где стояли люди.

— Что такое? — удивился юноша. — Почему робот не идет к нам?

Старик пожал плечами:

— Это значит, что он спускался на чужую планету.

Юноша не понял. Он смотрел то на старика, то на удаляющегося, похожего на большую черепаху робота.

— Ну и что же? — нетерпеливо спросил он.

— Заражение чужими микроорганизмами, — коротко пояснил старик.

— Но на ракете есть...

— Есть, — перебил старик. — Но ведь это же старая, нелепая конструкция. Не очень надежная. Нужна контрольная обработка.

Он помолчал, поднял воротник куртки.

— Мы можем идти, — сказал он, все еще глядя на ракету. — Робот сам придет в монтажный зал.

Юноша чувствовал себя виноватым. Он понимал, что старик мог обидеться на эти слова — «нелепая конструкция». Старик строил ракету, и, сколько бы ни прошло времени, для него она, пожалуй, не была нелепой. Но свойственный юности эгоизм не мог этого принять всерьез. Старое в глазах юноши означало примитивное, нерациональное, нелепое.

— Робот неплохо устроен, — сказал юноша. Ему хотелось как-то загладить свою ошибку. — Этот глайдерный принцип остроумен.

— Вздор! — отрезал старик. — Робот безнадежно устарел.

Старик не был обижен. Он просто не обратил внимания на неосторожно сказанные юношей слова. И сейчас еще, разговаривая, он думал о чем-то своем.

— С роботами пришлось много повозиться, — продолжал он. — Разведка неизвестных планет предъяв-

ляла очень жесткие требования. Первые роботы имели гусеничный ход. От них, впрочем, сразу отказались. Роботы проваливались в трещины, падали с крутых склонов... Тогда было много разных проектов — вплоть до самых нелепых. Какой-то болван сконструировал шагающие роботы. Не улыбайтесь, именно шагающие. Стальной, похожий на бочонок корпус и три пары металлических суставчатых ног. Это была вопиющая глупость! Первый паровоз тоже имел ноги, но зачем спустя полтора века повторять старые ошибки? Я входил в комиссию, которая испытывала этих жуков. Они, вязли в болотах, застревали в лесах, не могли взобраться на отвесную скалу... Потом мы построили роботы-глайдеры. Как этот, на ракете. Компрессоры создавали воздушный подпор, и роботы легко скользили над землей. Нам казалось, что это верх конструктивного изыщества. — Он тихо рассмеялся. — А через пять лет появились электроформные установки, потом гравитационные двигатели...

По узкому металлическому трапу они поднялись в монтажный зал — невысокое здание, прилепившееся к выступу скалы. В зале было пусто. У стен стояли кресла (старик отметил: новые, не те, что были здесь когда-то). В центре зала возвышался пустой стенд. Холодно светили люминесцентные лампы. Старик показал юноше, где включается отопление.

Не снимая куртки, он прошел в угол и сел. Только сейчас юноша увидел, как стар этот человек. И он вдруг понял, ощутил, что старость эта вызвана не годами (старик был крепок), а чем-то иным. Юноша боялся громких слов. Поэтому он не решился заменить слово «старость» другим словом — «мудрость».

— Я принесу кофе, — сказал он.

— Да, пожалуйста, — безразлично ответил старик.

В зале тихо жужжали лампы. Старик думал о том вечере. Тогда на стенде стоял робот, а они, шесть человек, сидели здесь, в креслах. Это была старая традиция — сидеть перед разлукой. И хотя все они оставались, а улетал только робот, шесть человек молча сидели в зале. Их уже нет — тех, кто сидел с ним рядом. Они были смелые люди, умные, дерзкие, отваж-

ные, и хорошие друзья. Теперь их именами названы горные вершины на Меркурии: шесть гор, расположенных рядом, — так, как они когда-то сидели.

Старик не чувствовал грусти. Музыка смыла грусть, и сейчас он просто вспоминал, спокойно, словно перелистывая книгу о чужой, но интересной жизни. Старик понимал, что никогда не вернется сюда. Через несколько дней ему предстояло уйти на новом корабле в дальний рейс — к той звезде, откуда вернулась разведывательная ракета. Он даже догадывался, с чем именно ракета вернулась. Он мог не прилетать сюда, информацию передали бы по радио. Но он хотел дышать воздухом своей юности — и не жалел, что поступил так. В душе его весь вечер звучала «Богатырская симфония», и он знал, что могучие и светлые звуки будут отныне сопровождать его.

Только очень сильный человек может на склоне лет, не дрогнув, встретиться лицом к лицу с юностью. Такие встречи губят трусов, но дают силу людям мужественным. Старик же имел ясный ум и непреклонную волю.

Юноша принес кофе. Старик снял куртку и молчапил горячий, пахнущий югом напиток. Отхлебывая, он задумчиво смотрел в маленькую чашку: черная жидкость заставила его вспомнить озеро — стартовую площадку ионолетов. Мысли его вернулись к ракете. Он подумал, что на этот раз сведения, добытые роботом, могут оказаться интересными.

— Звезда Ван-Маанена, — пробормотал он. — Что ж, если мои предположения верны...

— Вы что-то сказали? — поспешно спросил юноша.

Старик посмотрел на него. В прищуренных глазах под седеющими бровями мелькнула лукавая усмешка:

— Вы любите неожиданности?

— Да! — быстро ответил юноша. В голосе его прозвучал вызов.

«Молодец! — подумал старик. — Хороший парень. Он чем-то похож на...» И старик вспомнил одного из своих давних друзей.

— Сегодня будут неожиданности, — сказал он.

— Если вы знаете это...

— Я знаю, — перебил старик, — но мне неизвестно, какие именно.

Он хотел сказать еще что-то, но не успел: послышалось гудение, и в полуоткрытую дверь боком протиснулась стальная полусфера — робот. Старик отдал юноше пустую чашку. С деловитым гудением робот проскользнул к стенду, опустился точно на середину. Гудение прекратилось.

Два человека молча смотрели на машину, побывавшую на чужой планете. На полированном корпусе робота поблескивали герб, надпись «СССР» и дата отлета.

— Союз Советских Социалистических Республик, — прочитал юноша.

— Да, — отозвался старик, — тогда еще социалистических. Через шесть лет это слово было заменено другим — «коммунистических».

— Это произошло за двенадцать лет до моего рождения, — взволнованно произнес юноша.

Он подошел к металлической черепахе и осторожно притронулся к выпуклому гербу. Потом обошел вокруг робота.

— Что это? — воскликнул он. — Ничего не понимаю! Посмотрите! Здесь надпись...

Старик встал, включил верхний свет. На гладком боку робота было вырезано: «Люди Земли, мы...» Юноша вопросительно смотрел то на старика, то на надпись. Наконец он не выдержал.

— Это сделали там, — произнес он. Голос его дрогнул. — На планете были разумные существа...

— Разумные? — задумчиво переспросил старик. — Нет, не просто разумные. Они намного умнее нас. И в этом загадка.

— Какая? — нерешительно спросил юноша.

— Они не успели закончить надпись, — думая о своем, сказал старик. — Да, тут углубление — это начало следующего слова.

— Почему же они умнее нас? И какую загадку вы имели в виду? — настойчиво спрашивал юноша. Его удивляло спокойствие старика и раздражала неторопливость, с которой тот осматривал робота.

Старик вернулся к креслу.

— Ракета достигла звезды Ван-Маанена, — негромко, словно размышляя вслух, сказал он. — У этой звезды, как мы знаем, единственная планета. Ракета стала на время ее спутником. Сначала наблюдение велось бортовыми приборами, потом вспомогательная ракета опустила вниз робота. По заранее составленной программе робот должен был пробыть на планете пятьдесят часов. Если бы он не вернулся через пятьдесят часов, ракета отправилась бы в обратный путь. Теперь вы понимаете? Эти существа за пятьдесят часов смогли понять устройство робота и по его аппаратуре освоили язык.

— Это невозможно! — воскликнул юноша.

Старик пожал плечами:

— Посмотрите еще раз на надпись. Фраза не окончена, но тем не менее составлена из очень аккуратно вырезанных букв. Не забыты даже мельчайшие и, в общем, ненужные детали. Эти существа не знали, что можно упрощать буквы. Они в точности скопировали их с печатающего аппарата робота.

— Но у робота есть и звукофиксирующая система, — сказал юноша. — Почему же... Ага, понимаю! Значит, мы услышим их голоса?

— Нет. — Старик улыбнулся. — Мы услышим голос робота. Звукофиксирующая система не предназначалась для записи внешних звуков. Она отражала только то, что суммировал электронный мозг. Поэтому голос должен принадлежать роботу, но слова могут быть подсказаны... ими.

— Вы говорили о какой-то загадке.

— Да. Они умнее нас. У них более старая культура. Может быть, они ушли на тысячи, миллионы лет вперед. Так почему же мы прилетели к ним, а не они к нам? В этом и состоит загадка.

Старик сидел нахохлившись в углу. Юноша нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ему хотелось скорее вскрыть робота, но старик молчал, погруженный в свои мысли, и юноша не решался его беспокоить. Юноша не понимал старика. Зачем нужно размышлять, когда можно просто открыть робота и все узнать? На месте старика он именно так бы и сделал. «Почему он мед-

лит? — подумал юноша. — Если отгадает, это не будет иметь значения, потому что все равно робот сам скажет. А если ошибется... будет стыдно. Нет, я бы не стал думать!»

Старик думал. Он решал задачу, как шахматист, — на много ходов вперед. Из каждого сделанного им вывода вытекали новые и новые следствия, логические построения становились сложными и извилистыми. Потом все сразу упростилось. Он нащупал верный путь — и мысли рванулись вперед.

— Они прилетят к нам! — воскликнул старик, вскочив и оттолкнув кресло. — Наверное, они уже летят!

Юноша растерянно смотрел на старика. Юноша знал, что палеонтологи могут по одной найденной кости восстановить облик давно вымершего животного, но он не ожидал, что с такой уверенностью по одному факту можно прийти к столь далеким и неожиданным выводам.

— Лупу! — приказал старик, подходя к роботу.

Юноша замешкался, и старик недовольно повторил:

— Я сказал: лупу! Ну, живее!

Лупу отыскиали в одном из ящиков вделанного в стену шкафа. Старик внимательно осмотрел полированную поверхность робота.

— Отлично сделано! — одобрительно прошептал он. — Металл почти не успел размягчиться.

Он бросил лупу на кресло и быстро прошелся из угла в угол. Юношу удивила походка старика — легкая, упругая, молодая.

— Вскройте робот, — распорядился старик, вернувшись к креслу.

Он сидел, играя лупой и улыбаясь. Юноша долго возился с крышкой робота. Наконец, щелкнув, крышка приподнялась.

— Посмотрите, сняты ли внутренние пломбы, — сказал старик.

— Пломб нет!

— Ага, — удовлетворенно кивнул старик, — значит, они полностью разбирали робот. — Он пожевал губами. — И нет никаких следов огня?

— Огня? — удивленно переспросил юноша. — Нет, конечно, нет. А почему...

— А потому, — четко, отдельно сказал старик, — что этот робот был в мире из антивещества. Да, да, не перебивайте! Звезда Ван-Маанена, ее единственная планета, существа, населяющие эту планету, — все из антивещества. Те же атомы, те же молекулы, но вместо электронов — позитроны, вместо протонов, нейтронов, мезонов — антипротоны, антинейтроны, антимезоны.

— Робот бы взорвался, встретив антивещество, — возразил юноша. — Вещество и антивещество аннигилируют, превращаясь в энергию.

Старик усмехнулся.

— Вы неплохо знаете азы физики, — ехидно сказал он. — Однако вы забыли аксиомы философии. Развитие никогда не останавливается. Существа, живущие на этой планете, прошли больший путь, чем мы. Они научились — правда, совсем недавно — предотвращать взрывы при соприкосновении тел из вещества и антивещества.

— Недавно? — переспросил юноша.

— Да, недавно, — твердо повторил старик. — Именно поэтому они не могли прилететь на Землю раньше.

Юношу била нервная дрожь. Он с трепетом смотрел на старика — тот представлялся ему ясновидцем.

— Включите звукофиксирующую аппаратуру, — сказал старик.

Юноша нажал кнопку. Тотчас же послышалось негромкое шипение. Четкий, но абсолютно невыразительный голос произнес: «Включены приборы. Вспомогательная ракета отделилась от ионолета и идет в атмосферу планеты. Снаружи наблюдается повышенная концентрация позитронов...»

Голос умолк. Едва слышно шуршала лента магнитофона. Потом тот же лишенный всякой выразительности голос продолжал: «Высота над поверхностью планеты шесть тысяч километров. Концентрация позитронов быстро растет. Корпус робота нагревается... Высота четыре тысячи километров. Атмосфера планеты состоит из антивещества. Возвращение невозможно — отказали

рули ракеты... Три тысячи километров. Плавится металл на выступающих частях робота. Приборы работают нормально. Через тридцать секунд произойдет взрыв...»

Старик, вцепившись в подлокотники кресла, подался вперед. Юноша неподвижно замер у робота. Бесстрастный голос кибернетической аппаратуры, сообщавший о неминуемой гибели робота, производил жуткое впечатление.

«Две тысячи семьсот километров, — вновь заговорил робот. — Ракета окружена плотной магнитной завесой. Повышение температуры прекратилось. Спуск продолжается... Тысяча пятьсот километров. Напряженность магнитной завесы растет. Температура упала до нормальной. Приборы работают исправно. Киносъемка и фотографирование невозможны: в магнитном поле вышли из строя затворы объективов... Пятьсот километров. Силы... неизвестные силы отклоняют ракету к полюсу...»

Наступило длительное молчание. Юноша склонился над роботом. Медленно раскручивалась узкая лента магнитофона. Внезапно раздался протяжный, высокий, похожий на удар гонга звук. Он затих, и вновь послышался голос робота. Это был тот же самый «машинный» голос, с педантичной четкостью выговаривающий каждый звук. Но паузы между словами и фразами увеличились. И сами фразы были построены как-то иначе — напряженно, не всегда правильно. В них было что-то неуловимо чужое, нечеловеческое.

«Люди планеты Земля, — с расстановкой говорил металлический голос. — Вы молоды и дерзки. Вы послали свой автомат, исходя из предпосылок, что планета, на которую он опустится, будет в общем похожа на вашу планету. Вы снабдили автомат примитивным оружием, устроили ненужную систему радиоперехвата управления. Такой автомат может оказаться полезным только в том маловероятном случае, если подвергаемая исследованию планета населена существами, имеющими одинаковый с вами уровень развития. Однако, по принципам вероятности, о которых вы имеете некоторое начальное представление, по крайней мере половина оби-

таемых планет должна обогнать вас в развитии. В этих случаях автомат окажется малопригодным.

Именно так и произошло. Но вы не учли и другое обстоятельство. Ваш мир состоит — по отношению к нашему — из антивещества. Автомат должен был погибнуть. Однако мы за последний отрезок времени научились сохранять антивещество.

Здесь мы дадим вам необходимые пояснения. Наше знание установило, что все близкие к нам звезды и планетные системы, в том числе и ваша система, состоят относительно нас из антивещества. Наши космические корабли уже в давнее прошлое время путешествовали по вселенной, но не могли опуститься ни на одну планету. Планетные же системы, состоящие относительно нас не из антивещества, пока находятся вне пределов досягаемости наших кораблей.

Наша планета часто подвергалась разрушительному действию метеоритов из антивещества. Мы научились изолировать эти метеориты магнитным полем и опускать их вниз. Так был опущен и ваш автомат, который мы сначала приняли за метеорит.

Высокое знание, свойственное существам нашей планеты, позволило разобрать автомат и понять его устройство. Это было трудной задачей, потому что наши знания ушли вперед на тысячи отрезков времени, называемых годами. Ваш автомат оказался слишком простым, чтобы мы его легко поняли. Здесь сложилась ситуация, для которой мы не нашли слова в лексиконе автомата».

— Это слово «юмор», — усмехнулся старик. — Робот его не знает.

«Нам было трудно и сложно, — продолжал бесстрастный металлический голос, — разобрать автомат, сделанный из антивещества, и понять его устройство настолько, чтобы сообщить вам об этом. В нашем распоряжении осталось мало времени. Здесь мы должны сказать, что считаем нерациональной вашу систему отсчета времени. Мы знаем, что год есть период обращения планеты Земля вокруг звезды Солнце. Но зачем делить период вращения Земли на двадцать четыре части, а каждую из этих частей — на шестьдесят

отрезков? Это неразумно, ибо вы в других случаях применяете десятичную систему счисления. Однако мы поняли, что автомату необходимо вернуться к доставившей его космической ракете через пятьдесят единиц времени, называемых часами. Нам хватило этого времени, чтобы составить ясное представление об уровне развития жизни на планете Земля. Мы получили обширные сведения о ваших знаниях. Мы убедились, что уровень вашего развития достаточен, чтобы можно было без опасений послать к вам корабли. Мы сделаем это в близком будущем. Снабженные магнитной защитой, наши корабли смогут безопасно находиться в антимире. Кроме того...»

Голос умолк. Потом послышался снова. Паузы между словами уменьшились.

«Люди планеты Земля, через несколько шестидесятих долей часа автомат должен отправиться в обратный путь. Приняты необходимые меры для безопасного возвращения автомата на корабль. Мы...»

Магнитофон с шипением перематывал ленту. Голос оборвался.

— Все, — негромко сказал старик, откидываясь на спинку кресла. — Можете выключить.

Наступила тишина. Старик, закрыв глаза, думал. Юноша, покусывая губы, нетерпеливо ходил по залу. Юноша был крайне взволнован. Ему еще никогда в жизни не приходилось первому узнавать столь новое в науке. И хотя ракету запустили другие люди, хотя другие существа говорили голосом робота, он волновался так, будто все открытия были сделаны им самим. В голове его вихрем проносились мысли: куда сообщить, что сообщить... Но старик молчал, и юноша заставлял себя ждать, пока старик заговорит. Юноша чувствовал какой-то безотчетный трепет перед стариком. И если бы сейчас старик начал вдруг говорить на языке этой далекой планеты, юноша не удивился бы.

Старик открыл глаза. Поднялся.

— Утром вы отправите вниз все приборы, — сказал он. Голос его был звонок. — Все приборы робота и ракеты. Предварительную информацию я передам сегодня.

— Радио? — быстро спросил юноша.

Старик посмотрел на него, покачал головой:

— Нет. Я вылечу сейчас на своем орнитоптере.

— Ночью? — Юноша был поражен. — Через эти горы, в такую погоду? Я вызову ракетоплан, вас доставят...

— Не нужно, — улыбнулся старик. — Поверьте, ничего не случится.

И такова была сила этого человека, что юноша моментально успокоился. Теперь он знал, твердо знал: действительно ничего не случится. Он не мог сомневаться в словах старика.

По узкому, покачивающемуся трапу они опустились на освещенную люминесцентными лампами дорожку. Старик поднял воротник куртки, огляделся, глубоко вдохнул морозный воздух.

— Вы идите, — сказал он, протягивая юноше руку. — Идите.

Юноше хотелось проводить старика, но он не посмел ослушаться. Обычно очень разговорчивый, он в этот вечер незаметно для самого себя перенимал манеру старика — говорить мало, точно, продуманно.

— Да, — коротко ответил юноша.

Старик шел по аллее, обсаженной низкорослым кустарником. Он смотрел вперед и рассеянно улыбался своим воспоминаниям. Поред его мысленным взором возникали лица тех, кто сорок лет назад вместе с ним послал отсюда ракету. От имени этих людей он встретил сегодня вернувшийся корабль. Он мог сказать им: «Друзья, наш труд не был напрасен...»

У озера старик остановился. Ветер гнал по озеру черные волны, раскачивал похожий на тушу кита ионолет. Старик кивнул ракете, как близкому и живому другу. «Нелепая конструкция, — с нежностью подумал он. — Как же тебе было трудно там, в космосе!» Он поднял руку, прощаясь с ракетой. Круго повернулся и пошел к тому месту, где когда-то стояла скамейка.

«Да, это было здесь, — подумал он. — Теперь я точно помню. А слова... Ну конечно... Она просто ничего не ответила. Ни одного слова — иначе я бы

помнил. Она положила руку мне на грудь — и ничего не сказала. Наверное, ей помешала музыка. Помешала?..»

Он усмехнулся.

«Теперь я изменю маршрут экспедиции, — думал он. — Уже нет смысла лететь к звезде Ван-Маанена. Я пойду в короткий рейс, чтобы вернуться на Землю. Надо увидеть тех... Да, они умны, умны... Я вернусь на Землю. И сюда еще вернусь...»

Он опустился на колени, достал платок и аккуратно положил в него несколько сбившихся в комья кусочков земли, обломок асфальта, пучок желтых, жестких травинок. Потом встал и быстро, не оглядываясь, зашагал к площадке, на которой стоял его орнитоптер.

Юноша видел все из окна центрального здания ракетодрома. Он стоял в неосвещенной комнате у широкого окна и смотрел вниз. Он неожиданно почувствовал, как к горлу подступает тяжелый ком.

Старик скрылся за поворотом аллеи, а юноша, прижавшись лбом к стеклу, смотрел на озеро. Ионолет отсюда казался совсем крошечным. «Как древние доспехи, — подумал юноша. — Они давно устарели, погнулись, проржавели, но... но их носили богатыри!» Это слово заставило его вспомнить о симфонии Бородина. Быстро, не зажигая света, он включил магнитную запись и вернулся к окну.

Над ракетодромом, заглушая печальный свист ветра, гремели мощные аккорды. В лучах прожекторов сверкнули, словно поднятые ввысь музыкой, тонкие крылья орнитоптера.

Юноша смотрел в небо.

ИЛЬЯ ВАРШАВСКИЙ

В АТОЛЛЕ

Мы все стояли на берегу и смотрели на удаляющегося «Альбатроса». Он был уже так далеко от нас, что я не мог рассмотреть, есть ли на палубе люди. Потом из трубы появилось белое облачко пара, а спустя несколько секунд мы услышали протяжный вой.

— Все, — сказал папа. — Теперь мы можем сколько угодно играть в робинзонов: у нас есть настоящий необитаемый остров, хижина и даже Пятница.

Это было очень здорово придумано — назвать толстого, неповоротливого робота Пятницей. Он был совсем новый, и из каждой щели у него проступали под лучами солнца капельки масла.

— Смотри, он потеет, — сказал я.

— А ну, кто быстрее?! — крикнула мама, и мы помчались паперегонки к дому.

У самого финиша я споткнулся о корень и шлепнулся на землю, и папа сказал, что это несчастный случай и бег нужно повторить, а мама спросила, больно ли я ушибся. Я ответил, что все это ерунда и что я вполне могу опять бежать, но в это время раздался звонок, и папа сказал, что это, вероятно, вызов с «Альбатроса» и состязание придется отложить.

Звонок все трещал и трещал, пока папа не включил видеофон. На экране появился капитан «Альбатроса». Он по-прежнему был в скафандре и шлеме.

— Мы уходим, — сказал он, — потому что...

— Я понимаю, — перебил его папа.

— Если вам что-нибудь понадобится...

— Да, я знаю. Счастливого плавания.

— Спасибо! Счастливого оставаться.

Папа щелкнул выключателем, и экран погас.

— Пап, — спросил я, — они навсегда ушли?
— Они вернутся за нами, — ответил он.
— Когда?
— Месяца через три.
— Так долго?
— А разве ты не рад, что мы, наконец, сможем побыть одни и никто нам не будет мешать?
— Конечно, рад, — сказал я, и это было чистой правдой.

Ведь за всю свою жизнь я видел папу всего три раза, и не больше чем по месяцу. Когда он прилетал, к нам всегда приходила куча народу, и мы никуда не могли выйти без того, чтобы не собралась толпа, и папа раздавал автографы и отвечал на массу вопросов, и никогда нам не давали побыть вместе по-настоящему.

— Ну, давайте осматривать свои владения, — предложил папа.

Наша хижина состояла из четырех комнат: спальни, столовой, моей комнаты и папиного кабинета. Кроме того, там была кухня и холодильная камера. У папы в кабинете было очень много всякой аппаратуры и настоящая электронно-счетная машина, и папа сказал, что научит меня на ней считать, чтобы я мог помогать ему составлять отчет.

В моей комнате стояли кровать, стол и большой книжный шкаф, набитый книгами до самого верха. Я хотел их посмотреть, но папа сказал, что лучше это сделать потом, когда мы осмотрим весь остров.

Во дворе была маленькая электростанция, и мы с папой попробовали запустить движок, а мама стояла рядом и все время говорила, что такие механики, как мы, обязательно что-нибудь сожгут, но мы ничего не сожгли, а только проверили зарядный ток в аккумуляторах.

Потом мы пошли посмотреть антенну, и папе не понравилось, как она повернута, и он велел Пятнице влезть наверх и развернуть диполь точно на север, но столб был металлический, и робот скользил по нему и никак не мог подняться. Тогда мы с папой нашли на электростанции канифоль и посыпали ею ладони и колени Пятницы, и он очень ловко взобрался наверх и

сделал все, что нужно, а мы все стояли внизу и аплодировали.

— Пап, — спросил я, — можно я выкупаюсь в океане?

— Нельзя, — ответил он.

— Почему?

— Это опасно.

— Для кого опасно?

— Для тебя.

— А для тебя?

— Тоже опасно.

— А если у самого берега?

— В океане купаться нельзя, — сказал он, и я подумал, что, наверное, когда папа таким тоном говорит «нельзя» там, на далеких планетах, то ни один из членов экипажа не смеет с ним спорить.

— Мы можем выкупаться в лагуне, — сказал папа.

Правда, это было ничуть не хуже, чем если бы мы купались в настоящем океане, потому что эта лагуна оказалась большим озером внутри острова и вода в ней была теплая-теплая и совершенно прозрачная.

Мы все трое плавали наперегонки, а потом мы с папой ныряли на спор, кто больше соберет ракушек со дна, и я собрал больше, потому что папа собирал одной рукой, а я двумя.

Когда нам надоело собирать ракушки, мы сделали для мамы корону из веточек коралла и морских водорослей, а папа украсил ее морской звездой.

Мама была похожа в ней на настоящую королеву, и мы стали перед ней на одно колено, и она посвятила нас в рыцари.

Потом я попросил Пятницу поплавать со мной. Было очень забавно смотреть, как он подходил к воде, щелкал решающим устройством и отступал назад. А потом он вдруг отвинтил на руке палец и бросил его в воду, и, когда палец утонул, Пятница важно сказал, что роботы плавать не могут. Мы просто покатывались от хохота, такой у него был при этом самодовольный вид. Тогда я спросил у него, могут ли роботы носить на руках мальчиков, и он ответил, что могут. Я стал ему на ладони, и он поднял меня высоко над головой,

к самой верхушке пальмы, и я срывал с нее кокосовые орехи и кидал вниз, а папа ловил.

Когда солнце спустилось совсем низко, мама предложила пойти к океану смотреть закат.

Солнце стало красным-красным и сплющилось у самой воды, и от него к берегу потянулась красная светящаяся полоса. Я зажмурил глаза и представил себе, что мчусь по этой полосе прямо на Солнце.

— Пап, — спросил я, — а тебе приходилось лететь прямо на Солнце?

— Приходилось, — ответил он.

— А там от него тоже тянется такая полоса?

— Нет.

— А небо там какого цвета?

— Черное, — сказал папа. — Там все другое... незнакомое и... враждебное.

— Почему? — спросил я.

— Я когда-нибудь расскажу тебе подробно, сынок, — сказал он. — А сейчас идемте ужинать.

Дома мы затеяли очень интересную игру. Мама стояла у холодильника, а мы угадывали, что у нее в руках. Конечно, каждый из нас называл свои любимые блюда, и каким-то чудом оказывалось, что мы каждый раз угадывали. Поэтому ужин у нас получился на славу.

Папа откупорил бутылку вина и сказал, что мужчинам после купания совсем не вредно пропустить по рюмочке. Он налил мне и себе по полной рюмке, а маме — немножко. «Только чтобы чокнуться», — сказала она.

После ужина мы смотрели по телевизору концерт, и диктор перед началом сказал, что этот концерт посвящается нам. Мама даже покраснела от удовольствия, потому что она очень гордится тем, что у нас такой знаменитый папа.

Передавали самые лучшие песни, а одна певица даже пропела мою любимую песенку о белочке, собирающей орешки. Просто удивительно, как они об этом узнали.

Когда кончился концерт, папа сказал, что ему нужно садиться писать отчет, а я отправился спать.

Я уже лежал в постели, когда мама пришла пожелать мне спокойной ночи.

— Мам, посиди со мной, — попросил я.

— С удовольствием, милый, — сказала она и села на кровать.

В открытое окно светила луна, и было светло совсем как днем. Я смотрел на мамино лицо и думал, какая она красивая и молодая. Я поцеловал ее руку, пахнущую чем-то очень приятным и грустным.

— Мама, — спросил я, — почему это запахи бывают грустные и веселые?

— Не знаю, милый, — ответила она, — мне никогда не приходилось об этом думать. Может быть, просто каждый запах вызывает у нас какие-то воспоминания, грустные или веселые.

— Может быть, — сказал я.

Мне было очень хорошо. Я вспоминал проведенный день, самый лучший день в моей жизни, и думал, что впереди еще восемьдесят девять таких дней.

— Ох, мама, — сказал я, — какая замечательная штука жизнь и как не хочется умирать!

— Что ты, чижик? — сказала она. — Тебе ли говорить о смерти? У тебя впереди огромная жизнь.

Мне было ее очень жалко: еще на «Альбатросе» ночью я слышал, как они с папой говорили об этой ужасной болезни, которой папа заразился в космосе, и о том, что всем нам осталось жить не больше трех месяцев, если за это время не найдут способа ее лечить. Ведь поэтому экипаж «Альбатроса» был одет в скафандры, а мы никуда не выходили из каюты. И в океане, вероятно, нам нельзя купаться, потому что эта болезнь такая заразная.

И все же я подумал, что, когда люди так любят друг друга, нужно всегда говорить только правду.

— Не надо, мамочка, дорогая, — сказал я. — Ведь даже, если не найдут способа лечить эту болезнь...

— Найдут, — тихо сказала мама. — Обязательно найдут. Можешь быть в этом совершенно уверен.

ФУНКЦИЯ ШОРИНА

Функция Шорина знакома каждому студенту-звездолетчику. Изящное многолепестковое тело, искривленное в четвертом измерении, — на нем всегда испытывают пространственное воображение. Но немногие знают, что была еще одна функция Шорина — главная в его жизни и совсем простая, как уравнение первой степени, линейная, прямолинейная.

* * *

По сведениям библиотекарей, каждый читатель в возрасте около десяти лет вступает в полосу приключенческого запоя. В эту пору из родительских архивов извлекаются старые бумажные книги о кровожадных индейцах с перьями на макушке, о мрачных шпионах в синих очках и с наклеенной бородой и о звездолетчиках в серебристо-стеклянной броне, под чужими лицами пожимающих нечеловеческие руки — мохнатые, чешуйчатые, кожистые, с пальцами, щупальцами или присосками, голубые, зеленые, фиолетовые, полосатые... Все мы с упоением читаем эти книги в десять лет и с усмешечкой — после шестнадцати. От десяти до шестнадцати мы постепенно проникаемся ощущением времени: начинаем осознавать XXII век — эпоху всеобщего мира, понимаем, что томагавки исчезли и шпионы исчезли вместе с последней войной; очки исчезли тоже, как только появился гиббин, размягчающий хрусталик и мышцы глаза. Узнаем, что на дворе эпоха термоядерного могущества, люди легко летают на любую планету и переделывают природу планет — своей

и чужих, но, к сожалению, не могут прорваться к другим солнцам, где проживают эти самые чешуйчатые или мохнатые. Узнаем, смиряемся, находим другое дело, не менее увлекательное, чем ловля шпионов или полеты к звездам.

А Шорин не смирился.

На его полке стояли только книжки старинных фантастов XX века, звездные атласы, карты планет. На стене висели портреты Гагарина и Титова. Шорин даже переименовал себя — назвал Германом в честь Космонавта-два. Зная, что в космосе нужны сильные люди, мальчик тренировал себя, приучал к выносливости и лишениям — зимой спал на улице, купался в проруби, ежемесячно голодал два дня подряд (что совсем не считается полезным), раз в неделю устраивал дальние походы — пешком или на лыжах, по выходным летал на Средиземное море и проплывал там несколько километров, с каждым годом на два километра больше.

И однажды это кончилось плохо.

В тот сентябрьский выходной он наметил перекрыть свою норму, поставить личный рекорд. День был прохладный, ветреный, совсем не подходящий для дальнего плавания. Но космонавты не меняют планов из-за плохой погоды. Герман заставил себя войти в воду.

У берега море было гладким, за отмелью начало поплескивать. Качаясь на волнах, юноша подумал, что ветер дует с берега, возвращаться назад будет труднее. Но «космонавты не меняют решения в пути». Шорин приказал себе плыть дальше.

Дальнее плавание — занятие монотонное. Толчок, скольжение, оперся ладонями на воду, поднял голову, вдохнул, широко раскрыв рот, выдохнул в воду, булькнул воздухом, гребок, толчок, скольжение. И снова, и снова, и снова. Тысячу, две тысячи, три тысячи раз. Движения плавные, без особых усилий, рот набирает воздух, мускулы напрягаются и расслабляются, но голова не занята, мысли идут своим чередом.

В последнюю минуту, когда скорость ничтожно мала, капитан садится за штурвал. Быть может, понадобится неожиданное решение, в электронном мозгу не предусмотренное.

Капитан молод, но лицо у него волевое, твердо сжатые губы, нахмуренные брови. Все смотрят на него с уважением, ему доверяют жизнь.

Капитана зовут Герман Шорин, конечно.

Ниже. Ниже. Еще ниже. Когтистые стальные лапы ракеты впиваются в раскаленный песок.

Корабль стоит на чужой, неведомой планете.

Над головой их солнце — яркий и горячий апельсин. По апельсиновому небу плывут облака — белые и оранжевые. Ближе к горизонту небо кровавое, даль багровая, как будто вся планета охвачена пожаром. Но капитан не боится. Он знает, что никакого пожара нет. Атмосфера тут плотнее земной, рассеивает другие лучи.

Оранжевое, алое, багровое. Край зноя и страсти!

Капитан надевает скафандр. Его право и его обязанность — первым ступить на неизвестную планету.

И вот магнитные подошвы отпечатали первый человеческий след.

Справа что-то белое. Похоже на снег. Снег при такой жаре? Может быть, пласты соли? Капитан скользит по воздуху — крылатая тень ныряет по песчаным холмам. Оказывается, белое — лес. Деревья и травы спасаются здесь от зноя, отражая все световые лучи. Почти все. У каждого листочка свой оттенок — голубоватый, розоватый, сиреневый. Лес перламутровый, он переливается нежной радугой. Каждая травка — как древнее ювелирное изделие.

За лесом — обрыв и море. Апельсиновые волны с натуральной пеной. Темно-багровая даль. Море тоже охвачено пожаром.

Шум, движение, пена, плеск. Только разумных существ нет на этой беспокойной планете.

И вдруг в прозрачных волнах человеческая фигу-

ра. Голова, руки, торс... А ноги? Рыбий хвост вместо ног? Возможно ли? Русалка как в сказке!

Привет вам, разумные русалки с планеты Сказка!

Если закрыть глаза, можно представить себе, что ты плывешь по оранжевому морю. И рядом с тобой русалка, зеленоглазая, с волосами, как водоросли. И можно коснуться ее руки, нежной и сильной. И в ушах не бульканье пузырей, а мелодичное пение: серебристая космическая сирены.

Но волны становились все выше, угрожающе шумели пенными гребнями. Уже нельзя было скользить механически, требовалось внимание и расчет, чтобы под каждый гребень нырнуть выдыхая, а вынырнув за волной, набрать воздух. Монотонное валяние стало нелегким и утомительным. Шорин сбивался с дыхания и ругал себя: «Эх ты, звездолетчик! Полдороги не проплыл и уже устал».

Полдороги обозначали три скалы, голые и кривые, уродливые, как испорченные зубы. Юноша измерял расстояние локатором — пять километров до скал, пять — обратно. Но вот и скалы. Подплыл, повернул, даже приободрился. Зато волны плескали теперь в лицо. Напряг усилия. Минута, другая. Что такое — скалы не удалились? Прибавил сил, пять минут не оглядывался. Наконец позволил себе посмотреть — скалы на том же месте. Решил тогда плыть под водой — нырять и выныривать. Так удалось продвинуться, но дыхание срывалось и сердце колотилось. И тут в довершение бед пришла судорога, одна нога сложилась, как перочинный ножик.

Шорин не пошел ко дну, он был слишком хорошим пловцом. Он продержался, пока судорога не прошла, он даже отделился от скал. Но силы иссякли в бурных рывках. Теперь юноша плыл осторожно, толкаясь одной ногой, боялся новой судороги. Сначала боялся, потом отчаялся, потом ему стало все равно, хотелось одного: не двигаться. И песчаное дно уже казалось соблазнительной постелью: лечь бы и отдохнуть. Но он плыл и твердил себе: «Не смей тонуть! Держись, слюняй! Ты не имеешь права тонуть, не для того тебя учили, восни-

тывали. А еще в звездоплаватели собирался, Германом себя назвал! Позор!»

Знобило. Руки стали как тряпки, челюсть болела от многочасового разевания. Сил не было совсем. Юноша плыл, но не верил, что проплывет еще четыре километра.

Потом ему пришло в голову — вам, читатели, это пришло бы в голову быстрее — отдаться на волю волн, пусть несет к скалам. За скалами, под ветром, прибой должен быть тише, и там можно попытаться влезть. Он решил не плыть к берегу... С пятой попытки, исцарапанный и ободранный, взобрался на среднюю скалу. Просидел там ночь до утра и на рассвете приплыл к берегу, уже больной, с воспалением легких. С пневмонией в XXII веке справлялись без труда, но памятку Герман получил — хронический насморк на всю жизнь.

«Пусть это послужит уроком тебе, — сказал учитель. — Не переоценивай своих сил, не надейся на себя одного, не рискуй в одиночку».

А юноша понял урок по-своему. Тонет тот, кто позволяет себе утонуть. Ведь он же не позволил и остался жив. Потому что знал: никто не имеет права погибнуть, пока не выполнил свое назначение, цель, свою «функцию», как он выражался позже.

Вот у него есть функция — стать звездоплавателем, открыть второй разум в космосе, положить начало Всегалактическому Братству. И он не погибнет, пока не выполнит функцию.

Юноша уверился в своих силах и по окончании школы отправился в Институт астронавтики.

Но неумолимая арифметика встала на его пути.

Из миллиарда молодых людей, кончивших школу в том году, двести миллионов по крайней мере мечтали о космосе. А требовалось двадцать тысяч человек, не более. Из нескольких миллионов безукоризненных во всех отношениях, превосходно подготовленных кандидатов институт отбирал студентов... стыдно сказать... по жребию. Но костлявого, долговязого, хмуроватого парня по имени Герман Шорин, не было даже среди кандидатов. Его забраковали из-за насморка. Хватало людей со здоровой носоглоткой.

199 миллионов 980 тысяч отвергнутых смирились с неудачей, подыскивали себе нужные и интересные занятия на Земле. Шорин не смирился. Он поселился в Космограде, взял первую попавшуюся малоинтересную работу (работы тогда уже разделялись на интересные и малоинтересные) и три раза в неделю обходил космические управления, справляясь, не освободилось ли место, какое угодно. Ему отказывали, сначала вежливо, потом с усмешкой, даже с раздражением, потом привыкли, стали окликать, благодушно подбадривать. Упорство, даже не очень разумное, внушает уважение людям. И однажды в Санаторном управлении судьба улыбнулась юноше. «Ты сходи в космическую клинику, — сказали ему. — Там сиделки требуются в отъезд».

Сиделками обычно работали женщины пожилые и семейные. А матери семейства не так уж хочется, бросив дом, мчаться на Луну или на Марс.

Шорин был брезглив, он совсем не рвался ухаживать за больными. Но что делать: ради космоса надо идти на все. Кто знает, на кого похожи небожители — на русалок или на осьминогов. Слизистые с присосками щупальца тоже не так приятно пожимать. И Шорин пошел в сиделки, а когда понадобилась сиделка на Луну, отправили его. Не потому, что он был лучшим, а потому, что другим лететь не хотелось.

Так отверженец с хроническим насморком оказался в космосе и даже раньше тех, кто выиграл это счастье по жребию. И еще крепче поверил он в свою функцию. Явно же: судьба ведет его на звездную дорогу.

Своими глазами увидел он голубой глобус на фоне звезд, глобус в полнеба величиной, с сизыми кудряшками облаков и бирюзовым бантом атмосферы. И другой мир увидел — латунный, с круглыми оспинами, как бы следами копыт, как бы печатями космоса. Голубой глобус съежился, а латунный вырос, занял небосвод, подошел вплотную к окнам, сделался чернопестрым, резко плакатным. Такой непохожий на нежно-акварельную Землю! Все это выглядело велико-

ленно, прекраснее и величественнее, чем на любой иллюстрации, втиснутой в страничку, чем на любом экране, ограниченном рамкой. Юноша был очарован... и разочарован немножко.

Разочарован потому, что дело происходило в XXII веке. Билет Шорин заказал по радио, получил место в каюте лайнера. Рядом с ним сидели старики, ехавшие на Луну лечиться от тучности. Проводница в серебряной форме принесла обед. После, подремали, потом прибыли на Луну, из каюты перешли в лифт, из лифта — в автобус, оттуда — в плюз-приемник гостиницы, получили номер с ванной. А за окном номера был Селеноград, прикрытый самозарастающим куполом: дома, улицы, сады, в садах — лунные цветы, громадные, но блеклые, с худосочными стеблями. И молодые селениты срывали эти цветы, подносили девушкам, а девушки прятали румяные щеки в букеты.

Уже не Земля и не совсем еще космос. Дальше надо было идти.

Но опять перед Шориным стояла стена, та же самая — арифметическая.

Примерно двести тысяч человек трудились в те годы в космосе, половина из них — на Луне: на космодроме и вокруг космодрома — в обсерваториях, лабораториях, на шахтах, энергостанциях, заводах... а также в санаториях и на туристских базах.

Из ста тысяч не более ста человек уходили в дальние экспедиции, на край или за край солнечной системы. Обычно это были заслуженные ученые: астрономы, геологи, физики...

Стать заслуженным ученым? Не каждому целой жизни хватает.

Одну только лазейку нашел Шорин, одну слабую надежду. Иногда в дальние экспедиции, где экипаж бывал невелик, требовались универсалы, мастера на все руки: слесарь — токарь — электрик — повар — астроном — вычислитель — санитар — садовод в одном лице, подсобник в любом деле. И юноша решил стать подсобником-универсалом.

Он кончил на Луне фельдшерскую школу, курсы

кулинаров, получил права летчика-любителя, сдал курс машинного вычисления и оранжерейного огородничества, научился работать на штампах и монтажных кранах. Некогда, до появления машин-переводчиков, существовали на Земле полиглоты, знавшие десять, пятнадцать, двадцать языков. Гордясь емкой памятью, они коллекционировали языки, ставили рекорды запоминания, словно спортсмены. Шорин стал полимастером, он как бы коллекционировал профессии. Сначала его обучали с охотой, потом с удивлением и с некоторым раздражением даже («тратит время свое и наше. Спорт делает из учения»), а потом с уважением. Людям свойственно уважать упорство, даже не очень разумное. В Селенограде жило тысяч десять народу, каждый чужак был на виду, Шорин со временем сделался достопримечательностью («есть у нас один, двенадцать дипломов собрал»). О нем говорили приезжим, и разговоры эти дошли до нужных ушей.

В одну прекрасную ночь, лунную, трехсотпятидесятичасовую, молодого полимастера пригласил Цянь, великий путешественник Цянь. Уже глубокий старик в те годы, он жил на Луне, готовясь к последнему своему походу.

— Но у меня хронический насморк, — честно предупредил Шорин. — Я не различаю запахов. Любая комиссия меня забракует.

Цянь не улыбнулся. Только морщинки сдвинул возле щелочек-глаз.

— Планетологи по-разному выбирают помощников, — сказал он. — Одни предпочитают рекордсменов ради выносливости, другие — рисовальщиков ради наблюдательности. Те ищут исполнительных, хлопотливо-услужливых, те — самостоятельно думающих, иные считают, что важнее всего знания, и выбирают эрудитов. У меня свое мнение. По-моему, в космос надо брать влюбленных в космос. Тот, кто влюблен по-настоящему, сумеет быть спортсменом, эрудитом, услужливым и самостоятельным.

— Разве каждый может стать рекордсменом? — спросил Шорин.

— Если влюблен по-настоящему, станет.

Вот как получилось, что Шорин второй раз выиграл в лотерее: из миллиона один попал на Луну, из тысячи лунных жителей один — в экспедицию.

Выиграл в лотерее или заслужил? Как по-вашему?

Он ходил счастливый и гордый, даже голову держал выше. Думал: «Столько людей вокруг — умных, талантливых, ученых, опытных, а выбрали меня, мальчишку. Если вслух объявить, не поверят, кинутся расспрашивать, даже позавидуют». В своей прямолинейности Шорин был убежден, что все люди рвутся в космос, космонавтов считают счастливчиками, себя — второсортными неудачниками. Он даже удивился бы, узнав, что другие искренне мечтают быть артистами, писателями, врачами или инженерами.

Так Шорин вышел на звездную дорогу.

Мечта 2

Молодой капитан сидит у моря на оранжевой платне.

Небо похоже на костер, облака — языки пламени, горизонт — как догорающие угли. А море спокойное, нежно-абрикосовое. И в абрикосовой ряби качается русалка.

Прозрачные струи перебирают ее волосы, и пузырьки пены лопаются на молочно-белых плечах. Удлиненные глаза смотрят на Шорина серьезно, без тени страха, без удивления даже, не то изучают, не то гипнотизируют.

Капитан любит, водит взглядом по чистому лбу, ровным бровям, удивляется ушку — такому маленькому, безукоризненному и сложному, словно неживому, словно выточенному из слоновой кости.

Потом спохватывается. Разумное ли это существо? Надо объяснить с ним. Он чертит на песке квадрат, треугольник, ромб, шестиугольник в круге, пифагоровы штаны. Геометрию должны понимать все. Законы геометрии едины в нашей Галактике.

— Не надо. Я читаю твои мысли.

Кто это сказал? И еще по-русски! Не русалка же.

Тем более что лицо ее в воде, даже на глаза набежала волна.

И вновь слова отдаются в мозгу:

— Ты удивлен, что я кажусь тебе красивой. Но законы красоты едины в нашей Галактике. И законы радости, любви и счастья.

— А что такое счастье? — спрашивает капитан.

Русалка улыбается загадочно, как Джоконда.

— Счастье — это горизонт. Счастье — то, к чему тянешься и не можешь дотянуться. Счастье — это мечта. Вот я мечтала о друге, который ради меня пришел бы со звезды, пел бы мне песни, рассказывал легенды о небесных полетах.

Сердце замирает у юного капитана.

— Но я пришел со звезды, — говорит он.

Шорин, стеснясь, скрывал эти мечты, он не знал тогда, что и Цянь, старик с короткой седой щетиной на темени, — такой же мечтатель, только кончающий жизнь.

Учебники истории космоса называют Цяня последним из великих открывателей. В солнечной системе, изъезженной вдоль и поперек, не так уж много осталось белых пятен к XXII веку. Но Цянь отыскивал их с рвением и с мастерством. Он открыл Прозерпину, последнюю из заплутоновых планет, пырял в глубины Юпитера, обнаружил там своеобразную газовую жизнь — воздушных гигантских амёб, плавающих в газе, сжатом до пятисот атмосфер. Цянь посетил семьдесят семь астероидов, из тех, где не ступала нога человека, а теперь собирался проехаться на комете.

Он только поджидал комету посolidнее, не из числа короткопериодических, сплывающих между Солнцем и Юпитером и тоже изученных давным-давно. Цяню нужна была большая комета издали, посещающая Солнце раз в тысячу или в сто тысяч лет. Среди них он думал найти чужестранные, захваченные Солнцем обломки неких планет... и хотелось бы — с остатками жизни, чужой, не под Солнцем рожденной.

Но такие кометы приходят не так часто и обычно неожиданно. Экспедиция готовилась заранее. На скла-

дах Селенограда громоздились штабеля ящиков и баллонов, участники экспедиции были подобраны, сидели на чемоданах... а цели не было, где-то она еще пробиралась в межпланетных просторах, еще не попала в зрачок телескопа, не развернула свой павлиний хвост.

Ждали, ждали, ждали! И вдруг известие: приближается крупная комета, пересекает пояс астероидов, подходит к Марсу. В тот же час экспедиция начала погрузку, а еще через неделю, заслоня звездный бисер, на ракету надвинулась поздравительная гора со шлейфом скал, беззвучно сталкивающихся друг с другом, с вихрями искристой пыли. Корпус корабля со скрежетом врезался в эту пыль, окна сразу стали матовыми от мелких уколов... Нащупав датчиками пропасть, ракета спрятала свой нос в теле горы.

И вот люди на комете. Летающая гора, километров шестьдесят в поперечнике, так она и представляется глазу — одинокой горой, плывущей по звездному морю. Изломанные глыбы камня и железа, в углублениях — мутный пузырчатый лед, водяной, углекислый, углеводородный, аммиачный. Газы тверды, потому что температура гораздо ниже двухсот градусов мороза. Но комета идет к Солнцу, Солнце греет, с каждым часом теплее. Лед дымится... невидимые пары поднимаются над скалами... и темное небо загорается. Бледно-зеленые, соломенно-желтые, малиновые и сиреневые полосы играют над звездной горой. Колыхается многоцветный занавес, цветные лучики собираются в пачки, в стога, зажигается холодный костер. Комета плывет в праздничном фейерверке, все небо ее охвачено полярным сиянием. А с Земли это выглядит туманным пятнышком — зарождающимся хвостом.

Много позже, когда Цянь умер, Шорин узнал, как похожи были его мечты и мечты старого космонавта. Даже на дневнике экспедиции вместо эпитафии стояли такие стихи:

Письмо о космической дружбе,
Запечатанное морозом,
Доставит посыльная
В газовой фате.

Вот почему в экспедиции было так много биологов, вот почему с первых же дней начались поиски водяного льда; осколки льда таяли в пробирках, окуляры микроскопов нацеливались на каждую каплю.

Вода, углеводороды, углекислый газ, солнечные лучи. Почему бы не проснуться жизни на комете?

И жизнь была найдена: недвижные палочки, держащие воду, жиры, белок и нуклеиновую кислоту — какое-то подобие бактерий.

Потом комочки в игольчатых кремневых панцирях — вроде земных корненожек.

Потом — еще глубже — ветвистые колонии этих игольчатых комочков, вероятнее — аналогия полинов.

И все это в каждой капле, тысячи видов, десятки тысяч форм, миллионы и миллионы экземпляров для микрорезервуара. Но четырнадцати-шестнадцати часов сидели биологи перед экранами микроскопов. Четырехчасовой рабочий день остался на Земле. Ведь не было же смысла везти на комету тройной экипаж с тройными запасами только для того, чтобы участники могли отдыхать по-земному.

Что делал Шорин? Все! Готовил, кормил обедами увлеченных микроскопистов, помогал завхозу, механикам, электрикам, кибернетикам, ходил (точнее, плывал в почти невесомом мире) с геологами за образцами, долбил шурфы, носил лед в термосе, составлял ведомости, надписывал наклейки, хранил банки с образцами, укладывал коллекции в контейнеры.

Нумерованные банки, нумерованные камни, нумерованные прошитые листы. Часто Шорин сам не знал, что у него в банках и в ящиках. Даже научные сотрудники знали только в общих чертах, потому что в экспедиции некогда было разбираться, все торопились набрать побольше материала для земных исследований, накопить факты для будущих размышлений. А в распоряжении фактоискателей было не так много времени — месяца два, пока комета шла от орбиты Марса к орбите Меркурия. Затем предстояло поспешно бежать от огненного дыхания Солнца.

Надписывая банки, Шорин вспоминал детские меч-

ты. Они казались такими наивными! Сейчас у него осталось одно желание: как следует выспаться. Но он знал, что держит экзамен на космонавта. Должен показать себя выносливым, как рекордсмен, наблюдательным, как художник, невозмутимо-любопытным, инициативно-услужливым. И Шорин не позволял себе поддаваться усталости. Он первым брался за самый тяжелый ящик, первым вскакивал, когда вызывали желающих в необязательный и всегда опасный поход, работал всех больше и всех больше задавал вопросов. Товарищи считали его двуличным, некоторые осуждали, называли выскочкой. Быть может, он и был выскочкой, ведь он же хотел выделиться, заслужить рекомендацию в следующую экспедицию.

А старый Цянь все подмечал. И однажды сказал: — Хорошо, сынок. Притворяйся и дальше неутомимым.

Шорин был в отчаянии. Значит, Цянь разоблачил его. Видит его насквозь — усталого, умеренно выносливого, умеренно смелого, среднесообразительного человека с хроническим насморком, пытающегося подражать героям.

Но у Цяня была своя логика. Это выяснилось вскоре.

Экспедиция подходила к концу. Орбита Меркурия осталась позади. Косматое, непомерно разросшееся Солнце нещадно палило комету. Приближался пояс радиации, небезопасный даже в XXII веке. Пора было, не дожидаясь лучевых ударов, эвакуировать комету. Но как раз к этому времени лед на комете растаял, и началась весна жизни — не в пробирках, а в лужах и озерах.

Видимо, приспособившаяся к кратковременному лету жизнь развивалась бурно и агрессивно. Зеленая, голубая и красная плесень полезла из луж на скалы. Микробы грызли металл, резину и пластмассу, проникали в скафандры, покрывали кожу пузырями и язвами. На поверхности луж плавали какие-то пленки, появились прозрачные мешочки, похожие на медуз, все более сложные. Ничего подобного не наблюдалось в пробирках.

Приходилось все это бросать, не досмотрев самого интересного.

И Цянь принял решение: пойти на риск, но не всем. Большинство переправить на Меркурий с собранными коллекциями, на комете оставить дрейфующую партию — четверых из сорока шести. Он остался сам, оставил биолога Аренаса, биохимика Зосю Вандовскую... и мастера на все руки, притворявшегося неутомимым.

Знал ли Шорин о риске? Знал, конечно. Но в молодости как-то не веришь в возможность гибели. К тому же путешествие на комете он считал только ступенькой, до функции было еще далеко.

Что было дальше, вы знаете сами. Во всех детских хрестоматиях рассказывается о дрейфе четырех на комете. Они прошли на расстоянии полутора миллионов километров от Солнца — в сто раз ближе, чем Земля. Ослепительный диск занимал теперь четверть неба, обугливал ткани, оплавлял камни. Пятна, факелы, даже рисовые зерна были видны без телескопа, через толстые черные стекла, конечно. Трижды спутники спасались от хромосферной вспышки на теневой стороне кометы. Гигантский протуберанец достал их однажды, комета нырнула в раскаленный туман. Люди облачились в неуклюжие сверхскафандры антирадиационной защиты с дельта-слоем и укрылись в пещере, но как раз по этой пещере прошла трещина — ядро кометы лопнуло, раскололось надвое. Три человека остались на одной половине, Вандовская — на другой. Шорин прыгнул вперед, подхватил растерявшуюся женщину, кинул ее через растущую трещину, перелез сам.

Нет, романтическая любовь к спасителю не возникла. Зося любила Аренаса, только потому и осталась на комете.

Комета, видимо, никогда еще не проходила сквозь протуберанец, жизнь на этот раз была выжжена дотла. Уцелели только четверо в скафандрах, но потеряли дом, припасы, коллекции, дневники — все, кроме НЗ в скафандрах: семидневного рациона воздуха, воды и пищи.

Радиосвязи не было. Ракета с Меркурия повернула к более быстрой, идущей впереди половинке кометы. Цянь с товарищами находились на второй. У них кончилась пища, кончалась вода. Они сидели неподвижно, стараясь дышать пореже, экономить воздух. Было решено: Цянь и Аренас отдадут свой кислород женщине и юноше. Шорин ушел тайком в сожженный лагерь и разыскал там уцелевший баллон с кислородом — еще на три дня...

Их сняли с кометы к концу третьего дня.

Шорин стал знаменитостью наравне с Аренасом и Вандовской. Заслуженно ли? Факты изложены, сами судите. Конечно, если бы Цянь выбрал другого в спутники, знаменитостью стал бы тот. Весь мир жаждал познакомиться с Оседлавшими комету. Но Цянь болел, а Вандовская с Аренасом поженились, им вовсе не хотелось проводить медовый месяц на телевизионных студиях. Шорин читал лекции, диктовал записки, делился воспоминаниями. Он мог свернуть на легкий путь мемуариста, мог отправиться в любую экспедицию на выбор, его приглашали наперебой. Но он воспользовался своей славой, чтобы овладеть еще одной специальностью: стал летчиком-испытателем фотонолетов.

Небольшое пояснение. Века XIX и XX были эпохой химической — молекулярной энергетики. Энергия добывалась тогда за счет соединения атомов в молекулы, реже — за счет распада больших молекул. При горении получались скорости газов около двух-четырех километров в секунду, и химические ракеты пролетали километры в секунду — достаточно для любого путешествия над Землей и для первоначального выхода в космос.

К концу XX века началась ядерная эпоха. Теперь энергию давали атомные ядра — распад больших ядер (например, урана) или соединение частиц в ядра — например, в ядро гелия. Ядерные ракеты развивали скорость до тысячи километров в секунду, что вполне достаточно для любого путешествия по солнечной системе. Но даже до Альфы Центавра, до ближайшей из ближних звезд, такие ракеты летели бы тысячу лет.

Ради звездных полетов энергию надо было доставать еще глубже — от атомных ядер переходить к их составляющим, к частицам: протонам, нейтронам и к электронам тоже.

При реакциях частиц получаются фотоны, и только они способны разогнать ракету почти до скорости света — до трехсот тысяч километров в секунду.

Фотонная ракета могла бы долететь до ближайшей звезды за четыре года с небольшим.

Вот почему звездный мечтатель Шорин решил пойти испытателем на фотонолеты.

«Само собой разумеется», — скажет читатель.

Но во времена Шорина это не разумелось само собой. О фотонной ракете люди думали уже двести лет, и не было гарантии, что дело не затянется еще лет на сто.

Реакция синтеза в мире частиц была известна давным-давно. Электрон, соединяясь с антиэлектроном (позитроном), дает два фотона. Это соединение неудачно было названо аннигиляцией — уничтожением.

Но антиэлектронов и вообще антивещества в природе ничтожно мало, изготовить его трудно, еще труднее сохранить. Двести лет ученые старались создать двигатели на антивеществе, двести лет взрывы губили и замысли и ученых.

И только к концу XXII века, когда Шорин был уже на Луне, технике удалось приблизиться к созданию фотонолета.

Но Шорин никак не мог знать, когда получится корабль: через год или через сто лет.

Истина оказалась посредине. Шорин пробыл в испытателях восемнадцать лет — всю свою молодость.

Жил он на базе на Ганимеди, летал в пустоте, подальше от планет, подальше от трасс, не в плоскости солнечной системы. Фотонолет был капризен и кровожаден, как древний мексиканский идол; он пожирал испытателей одного за другим.

Шорин был на волосок от смерти не раз и остался цел. Сам-то он был уверен, что не погибнет, не имеет права взорваться, не выполнив функции. Весь космос посмеивался над чудаковатым суеверием знаменитого

испытателя. Вероятно, смеетесь и вы... а может, не стоило подшучивать? Ведь в самые грозные и опасные секунды Шорин никогда не думал: «Неужели смерть? Прощай, милая жизнь!» И он не тратил секунду на сомнения, искал, что предпринять... Конечно, уверенность прибавляла ему шанс на спасение.

Но для того копил он мастерство, чтобы разлететься на атомы. Иная у него функция.

Мечта 3

Средних лет капитан с резкими чертами лица сидит в тени перламутрового леса. Сухие и твердые листья мелодично звенят над головой. Каждое дуновение ветерка — музыкальный этюд.

Рядом с капитаном... нет, не русалка, конечно. Наивно думать, что под оранжевым небом красота похожа на земную. Земноводные русалки, вероятно, напоминают жаб. Не красавицы нужны для галактических переговоров. Рядом с Шориным хозяин планеты — толстолобый, узкоглазый, круглоголовый... Почему-то он представляется похожим на покойного Цяня.

Глядя в глаза, несомненно разумные, Шорин раскладывает геометрические фигуры — треугольник, квадрат, пифагоровы штаны. Геометрия едина для всей Галактики.

— Не надо, — говорит тот, звездный Цянь. — Я читаю твои мысли. Ты посол далекой разумной планеты и прибыл к нам предложить Дружбу, Союз и Сотрудничество. Я вижу, что ты говоришь губами, звуками, словами. Значит, на твоей планете есть еще разные языки, разные народы. Вероятно, совсем недавно были разные государства. Ты хорошо помнишь историю, помнишь, как эти государства спорили, даже воевали... прежде чем все они пришли к Коммунизму, к Всемирному Соглашению. И в душе у тебя капля боязни. Ты думаешь: вдруг я тебя не пойму, вдруг мы не способны понять, встретим посла враждебно, придем к столкновению вместо дружбы.

Посол Земли краснеет. Все-таки неприятно дипломату, когда читают его мысли.

— Твои опасения напрасны, — успокаивает звездный старик. — Разумные существа могут столкнуться всегда. В космосе просторно и света хватает на всех. Мы немножко знаем Галактику. В истории ее не было ни одной космической войны, но множество встреч, и все встречи приносили пользу. Говори, думай, я буду внимать. Поведай нам опыт твоей планеты.

— Я предпочел бы учиться, — говорит Шорин. — Мне кажется, вы опередили нас. Мы, например, не умеем читать мысли...

Постепенно фотонолеты становились все надежнее и все мощнее. Они превзошли ядерные ракеты и обогнали их. Явлю стали необыкновенные скорости — десять, двадцать, наконец, сорок тысяч километров в секунду. Для фотонолетов вся солнечная система была мала. И когда появилась субсветовая ракета, пришлось испытывать ее в звездном полете — от Земли к Альфе Центавра. Все равно, чтобы разогнать ее до скорости света и после этого притормозить, требовалось два года. А лететь до Альфы — около пяти лет, разница не принципиальная. Вот почему решили соединить испытательный полет с полетом к звезде.

Чтобы обследовать чужой мир всесторонне, нужны были астрономы, химики, геологи, биологи, историки. Чтобы довести фотонолет до цели, требовались математики, инженеры, электрики, кибернетики. И механики, чтобы чинить аппаратуру, и медики, чтобы чинить людей. Всего тридцать три человека. Начальником же звездолета был Арена, бывший биолог из экспедиции Цяня. Сам Цянь уже умер к тому времени, видимо, выполнил свою функцию. А Шорину еще предстояло выполнить — его назначили вторым пилотом.

Затем нужно было построить фотонолет, громаднейший бак с водой — вода была топливом. Надо было собрать все для наблюдений. Все для астрономов. Все для лаборатории. Все для отчета: для кино- и фотодокументов. Все для вычислений. Все для двигателя. Все для управления. Все для ремонта. Все для движения —

воду прежде всего. Восемь тонн воды на тонну полезного груза, баков, стенок и перегородок.

Экспедиция должна была вернуться через десять лет по земному счету. Согласно теории относительности время для путешественников сокращалось. У них получалось три года на полет туда, три года на возвращение, год в чужих мирах, три года — резерв. Итак, тридцать три человека обеспечить на десять лет. Все для еды. Все для отдыха. Все для работы. Все для развлечений. Все для учения. Много требуется багажа на десять лет жизни.

Гигантская остроносая башня выросла на Луне возле Южного полюса. Наконец подошел день старта. Экипаж занял места, Аренас нажал кнопку, зеленое пламя заклубилось под зеркалами; зелено-черными, словно малахит, стали лунные горы, стартовый кратер оплавился, потекла зеленая лава.

Громадная башня повисла над лавой; казалось, вот-вот погрузится, но пламя подняло ее на крутых плечах над зелеными скалами, над зелеными пиками, над позеленевшим хребтом — над всей Луной, изъеденной дырками, словно сыр.

А через два часа Луна уже превратилась в желтый серп, а через день — в звездочку, рядом с другой голубой звездочкой поярче — с нашей Землей. А через месяц в звезду превратилось и Солнце. Корабль остался наедине со звездной пустотой.

На дрейфующей комете всего неприятнее была усталость. Торопились сделать побольше, не успевали выспаться. Когда Шорин был испытателем, всего неприятнее была опасность, постоянное напряженное ожидание грозной аварии. В многолетнем межзвездном полете хватало времени для работы и для отдыха. И опасности особой не было в пустом пространстве. Томило больше всего однообразие да еще ностальгия — тоска по родине.

Тридцать три человека — крошечный мирок. Привычные лица, режим, расписание. Все однообразно. Основное занятие — астрономия. Звезды впереди, звезды позади, звезды сбоку. Изменения ничтожны, почти не приметны. Впереди созвездия чуть-чуть раздвигают-

ся, позади чуть-чуть сдвигаются, только телескопу заметна разница. Да еще меняется цвет звезд: впереди красные становятся желтыми, сзади желтые краснеют.

Меняются быстро только цифры на табло. Сегодня скорость двадцать тысяч километров в секунду, завтра — двадцать одна тысяча. Двигатель работает, разгон продолжается. Чтобы приблизиться к скорости света, разогнаться надо год. Год разгона!

Мечта 4

Итак, от зноя двух солнц прячется второй пилот под перламутровой листвой.

О чем шла речь? О чтении мыслей.

— Мы можем научить вас, — предлагает звездный старик.

— Есть более важные проблемы. Нас волнует жизнь, старость, смерть, — говорит Шорин. — Сколько вы живете, например?

— Я прожил две тысячи двести оборотов вокруг нашего солнца. Примерно две тысячи лет по вашему счету.

— О! Счастливые вы существа!

— Счастье тут ни при чем. И у нас жизнь была не длиннее вашей. Но мы научились возвращать молодость. Я был юношей уже сорок раз и в сорок первый раз старею. Мы и вас сделаем юношей, если хотите.

— А мертвому жизнь вы сумеете вернуть?

Шорин с грустью думает о своих друзьях-испытателях, кончивших жизнь так рано и ослепительно — в мгновенном солнце взрыва.

— Да, сумеем. Если вы записали его.

— Что значит «записали»?

— Записали расположение атомов в теле, хотя бы в мозгу.

— Но это немыслимо! Атомы неисчислимы. Все люди Земли не могли бы переписать их, даже если бы исписали все материки планеты.

Старик щурит глаза. Цянь тоже улыбался так.

— Мы умеем.

— Вот этому научите нас, пожалуйста.

— Вам придется начинать с основ...

Очень странный это разговор, когда читают и диктуют мысли. Некоторые слова слышны четко, там, где есть точное соответствие понятий. Иногда возникает несколько невятных слов одновременно. А иногда провал, пустое место: такого понятия нет в человеческом мозгу...

— Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду...

...Через два месяца пятьдесят тысяч километров в секунду, через четыре — сто тысяч, треть скорости света...

И тут возникло препятствие. Нельзя сказать — непредвиденное. Оцененное неправильно.

Просторная межзвездная пустота не абсолютно пуста. Там встречаются отдельные редкие пылинки и отдельные молекулы. Для термоядерных ракет они практически безвредны. Только крупный камешек способен пробить борт. Однако камешки попадают раз в сто лет.

Но энергия пропорциональна скорости в квадрате. Фотонолет налетает на каждую частичку с околосветовой скоростью. Для него блуждающий атом превращается в космический луч, каждая пылинка — в ливень космических лучей. Невидимый газ разъедает металл, как вода сахар. За треть года трижды меняли острый нос ракеты — кристаллическая сталь превращалась в пористую губку.

А потом на пути встретились неведомые газовые облака.

Увидеть их заранее было невозможно. Газа там было меньше, чем в земной ионосфере, меньше, чем в кометном хвосте, меньше, чем в лабораторном вакууме, и все же в миллион раз больше, чем обычно в межзвездном пространстве.

Фотонолет вошел в газ со скрежетом и барабанным боем, наполнился лязгом и гулом, как старинный котел при клепке. Носы пришлось сменять ежедневно, запас их был исчерпан вскоре. Над разъединенными

бортами показались дымки. Вода испарялась, пропадало топливо.

Пропадало, правда, не так уж много. За полгода вдаль от Солнца борта промерзли насквозь, под ними образовалась толща льда. Беда была в том, что, разбиваясь вдребезги, пылинки порождали потоки радиоактивных ядер. Вода неприметно становилась радиоактивной.

Угрожающе загорелись красные глазки индикаторов. Приборы показывали радиоактивность, вредную для здоровья. Но самое страшное — нельзя было ничего предпринять. Нельзя было обойти облака с их космической протяженностью и нельзя было избавиться от обстрела. Требовалось затормозить, чтобы смягчить удары, но корабль разогнался треть года, значит должен был тормозить треть года. Инерция влекла его вперед, оставалось только надеяться, что сгущение кончится когда-нибудь.

И действительно, фотонолет пробил облака через три дня. Но удары сделали свое дело. Вода стала радиоактивной. Очистить ее было нельзя и вылить нельзя: вода служила топливом, от нее зависело движение, прибытие, возвращение. Приходилось жить под непрерывным обстрелом невидимых лучей, разивших из-за каждой стешки.

Сначала заболели нежные приборы — слаботочные, полупроводниковые. Появились пробой и замыкания, начали путать вычислительные машины. Кончился период однообразия. Теперь работы хватало всем — приходилось проверять показание каждой стрелки... и глаз не спускать с двигателя. Ежесекундно он мог подвести — дать толчок на сто «ж», и конец. Стократная тяжесть, и люди раздавлены, как под прессом.

В корабль пришла лучевая болезнь во всем ее разнообразии: тошнота, рвота, потеря аппетита, белокровие, малокровие, гнилокровие. Шорин заболел одним из первых, ему сменили костный мозг. Потом заболел Арена, потом геологи — муж и жена. Хирург объявил, что операции придется делать всем по очереди. Потом он заболел сам... Другие больные ждали, пока он выздоровеет, встанет на ноги...

И хирург первым поставил вопрос о возвращении. Он сказал:

— Пересадки придется повторять не раз, потому что облучение продолжается. Силы организма не бесконечны, никто не вынесет десять операций. Костный мозг в моих запасах облучается тоже. Со временем нечем будет лечить.

В больничной палате, куда переселилась добрая треть экипажа, Ареназ созвал совещание.

Лететь вперед или вернуться?

— Вперед! — сказал Шорин. — Мы долетим до первой планеты и сменим воду.

Но вернуться можно было за год, а лететь вперед предстояло почти четыре года, и никакой уверенности не было, что у Альфы есть планеты, что там можно достать воду. И дома ждали надежные врачи, а впереди были неизвестность и самостоятельность.

— Три солнца, десятки планет, на какой-нибудь есть разум, на какой-нибудь умеют лечить лучевую болезнь, — убеждал Шорин.

Было решено возвратиться. Тридцатью двумя голосами против одного.

Ареназ приказал тормозить. Хочется написать: «приказал поворачивать», но фотонолет не умеет поворачивать назад. Прежде он должен снять скорость.

Третью года на торможение, потом поворот, треть года набирается скорость для возвращения, еще четыре месяца торможение перед солнечной системой... В общей сложности год провели звездолетчики возле бака со смертоносной водой.

Год люди жили под угрозой, ежеминутно могли ощутить симптомы смертельной болезни. Семеро вернулись калеками, четверых похоронили... сына Ареназа в том числе, молодого парня, способного, обещающего математика. Остальные...

Нет, не сошли с ума. Остальные привезли проект.

Все были авторами. Но, пожалуй, идею подсказал Шорин — его воспоминания о дрейфе на комете. Тогда, оседлав комету, люди совершили путешествие вокруг Солнца, сквозь солнечную корону. А не стоит ли и

к чужим солнцам лететь на небесном теле, на каком-либо астероиде? Такая возникла мысль.

Воды на астероидах нет, там камни, железо, никель. Но железо и никель состоят из тех же элементарных частиц — протонов, нейтронов, электронов. Их тоже можно превращать в фотоны, отражать зеркалом. Правда, жидкую воду удобнее распределять, регулировать подачу в двигатель. Но в конце концов и железо можно превратить в жидкость, расплавить, затратив некоторую толику энергии.

Зато какая защита от радиации: выбирай астероид в километр диаметром — это километровая броня из железа.

Конечно, корабль-астероид громоздок. Вес фотонолета — тысячи тонн, вес астероида — миллиарды. Но зато весь он сплошное топливо. Вода нуждается в баках: стенки баков — мертвый груз. А если топливо — железо, оно само себе бак. Весь астероид — полезный груз. Он может весить в миллион раз больше, чем экипаж со всем багажом. Способен разогнаться почти до скорости света. Нет сомнения, дальние звездные полеты можно совершать только на астероидах.

Целый год всем экипажем составляли проект. Четверо заплатили за него жизнью, семеро — здоровьем. Но когда установилась связь с Землей и на экране впервые появились лица земляков, сторбленный и облысевший Ареназ доложил: «Мы возвращаемся разбитые, но с планом победы».

Не думайте, что план этот был принят единогласно. Года два ушло на обсуждение. Шорину пришлось изучить еще одну специальность — ораторскую, умение убедительно спорить. Ведь не все люди на Земле бредили космосом. Были противники дальних странствий, неудача фотонолета прибавила им уверенности. Они говорили: «Человек рожден для жизни под Солнцем. Нам хватит солнечной системы на тысячи тысяч лет. Бессмысленно швырять годы труда в пустоту. Столько дел еще под боком. На Луне нет атмосферы, селениты живут в городах, как в осажденных крепостях, не имеют возможности высунуть нос за ворота плюза. Даже земные полюсы заполнены людьми, мы еще не

умею отменить зиму. У нас не хватает знаний, чтобы управлять климатом, управлять жизнью и планетами, а вы тратите силы и труды неизвестно на что...»

«Но мы летим за знаниями», — уверяли фотонолетчики.

Даже так им говорили:

«Вы ищете легкий путь. Человечество добывает знания тяжкими усилиями, каждый шажок оплачивает потом и кровью. Вы отвлекаете людей от производительной работы, маните их азартной надеждой на чужие готовенькие открытия».

Аренас отвечал:

«Читайте историю. Народы никогда не гнушались учиться друг у друга. Картофель и табак были заимствованы в Америке, цифры — в Индии, буквы — у финикийцев. Нет нужды сто раз открывать интегралы, если они уже были найдены где-то. Мы не отвлекаем человечество от труда, мы отвлекаем только тридцать человек. Может мир послать тридцать человек в разведку?»

И собственная жена его, мать погибшего юноши, говорила, утирая слезы перед экраном:

«Нельзя рисковать тридцатью жизнями. Нет ничего дороже человека. Прежде чем лететь, надо обеспечить безопасность. Кто ответит за тридцать жизней? Нельзя превращать полет в убийство».

Шорин возражал:

«Зоя, мы уважаем твою горе, но ты не права. Приключений не бывает там, где все известно заранее, но туда, где все известно, незачем лететь. Где неизвестность, там и риск. Но кое-что мы уже изведали, следующий полет будет менее рискованным. В конце концов мы, взрослые люди, согласны рискнуть, если надо — отдать жизнь».

В глубине души он был уверен, что жизнь отдать не потребуется. Ведь функция еще не выполнена, а не выполнив, он не позволит себе умереть.

Два года тянулись споры: лететь или отказаться? Сторонники полета победили. Не потому, что они были красноречивее, не потому, что их доводы были убедительнее, а потому, что человечество не любит стоять

на месте. Было выделено время — 24 миллиарда рабочих часов. Подобран астероид — безыменная продолговатая глыба с утолщением на конце, похожая на болт. Начались работы — плавильные главным образом. Строился фотонолет наыворот — в прежнем надо было делать стенки, в этом — выплавлять камеры.

Камеры для жилья. Для еды. Для работы. Камеры для складов. Камеры-лаборатории. Камеры-обсерватории. Камеры для двигателя. Камеры для аппаратов. Камеры, камеры, камеры и сквозные ходы, ходы, ходы. Весь астероид был истощен. Как будто жуки-короеды потрудились над ним.

Попутно собиралось снаряжение. Все для еды. Все для отдыха. Все для дыхания. Все для наблюдений. Все для управления. Все для ремонта. Все для развлечения. Все для учения. И так далее, так далее...

И собиралась команда — тридцать три человека: физики, химики, геологи, биологи и историки, инженеры, математики механики... Только четырнадцать летели вторично, среди них старший пилот-космонавт Шорин. Четверо потеряли жизнь в предыдущем полете, семеро потеряли здоровье, еще восемь потеряли охоту к рискованным дальним полетам. Аренасу пришлось остаться — космос наградила его сединой и горбом, и капитаном был назначен другой — Горянов, космонавт-испытатель, плечистый красавец, богатырь. Для него каждая кабина была тесноватой, и солнечная система показалась ему тесна.

В разгар приготовлений, когда и день отлета был уже назначен, произошло важное событие, чуть не отменившее экспедицию.

Вернулась безлюдная автоматическая ракета, посланная двадцать лет назад, еще на заре фотонной техники, в систему Альфы Центавра.

С жадным любопытством ученые рассматривали киноплёнки, снятые в мире трех солнц. Вот солнце А, вот солнце В, вот красное солнышко Проксима — их общий спутник. У каждого из трех — несколько планет; кроме того, еще туча астероидов, выписывающих неопределенные восьмерки между большими солнцами. Увы, большинство планет без жизни. Вокруг Прокси-

мы все планеты ледяные, дряхлая и бессильная красная звезда не способна согреть их. А и В достаточно горячи, не хуже нашего Солнца, но подходящих условий все-таки нет для жизни. Там слишком жарко, там слишком холодно, там атмосфера густа, непроницаема для лучей, там вся поверхность изрыта метеоритами. Только на двух планетах встретились океаны с подобием рыб и еще на одной оказались ползучие гады, похожие на гигантских тритонов.

Изучать их можно было и автоматами. Послов там не требовалось.

Шорин первый предложил изменить цель, назвал известные издавна, похожие на Солнце одиночные звезды — Тау Кита, Эпсилон Индейца, Эпсилон Эридана. До каждой около одиннадцати световых лет, для фотонолета лет двадцать пять пути, считая и возвращение. С учетом относительности времени двадцать пять лет для путешественников превращаются в десять.

И физики и конструкторы тоже настаивали на сме- не цели. Как ни удивительно, для астероида-фотонолета даже дорога до Альфы была чересчур коротка. На расстоянии в четыре световых года нельзя было вплотную приблизиться к скорости света, испытать в полной мере относительность массы и времени. Только разогнался — начинай тормозить. И масса не возросла намного, и время не успело сократиться.

Еще один кандидат в звездном мире привлекал внимание. Нашлась в созвездии Тельца слабая звездочка, обозначенная в каталоге только номером, откуда поступали правильные радиосигналы. Расшифровать их пока не удалось, хотя не одна машина пережигала блоки, ломая электронные мозги над разгадыванием кода этой звезды-шарады. Так ее и называли Шарадой. Но до той звезды было сто четырнадцать световых лет. Так далеко для первого раза лететь не решились. Да, в сущности, и интереса не было. Ведь для путников время сокращается, а для Земли — нет. Астероид вернулся бы через двести лет с лишним. Есть ли смысл посылать экспедицию, которая вернется через два века, задать вопрос и ждать ответа более двухсот лет?

Тау Кита выбрали в качестве цели.

Надо ли повторять всю историю заново? Снова зеленое солнце вспыхнуло на ночном небе. Похожий на болт астероид покинул свою орбиту. Родная Земля затерялась в крошечке звезд, и Солнце со временем стало звездой, немножко поярче других. Железо-никелевая гора с гулкими коридорами повисла в звездной пустоте, казалось, замерла. Движения стали не приметными, только впереди красные звезды становились чуть желтее, а сзади желтоватые краснели да мелькали цифры на светящихся табло: сегодня тысячи километров в секунду, завтра — две тысячи, через месяц — двадцать пять тысяч, через два — пятьдесят тысяч. Ускорение нормальное и тяжесть земная, привычная. В железных порах и железных коридорах идет размеренная жизнь — делают зарядку, завтракают, изучают фотографии, пишут научные труды, смотрят на мигающие глазки машин, чинят аппарат, спорят... мечтают...

Мечта 5

Стремительно сменяются цифры на табло. Сегодня скорость двадцать тысяч километров в секунду, завтра — девятнадцать тысяч, послезавтра — восемнадцать тысяч... Желтоватая звезда впереди превращается в маленькое ласковое солнышко, на него уже больно смотреть. Экспедиция возвращается с победой. Удалось дойти до Тау, удалось найти там товарищей по разуму. Их опыт, записанный в толстенных книгах, лежит в самой дальней камере — драгоценнейший клад из всех добытых кладов.

Там сто книг, посвященных разным наукам. Два тома математики. Только половина первого тома пересказывает то, что известно на Земле. Тома физики — механика, теплотехника, электричество, волны, атомная физика, ядерная физика... Потом идут разделы, на Земле неведомые: С — спиралефизика, например. Тома науки о жизни: биохимия, биология клетки, биология растений, биология животных, биология разума. Психология. Гуманитарные науки: история, теория искус-

ства, экономика. Производство энергии. Производство материалов, производство пищи... И вдруг совершенно сказочные науки: оживление и омоложение. Наука о сооружении гор и островов. Реконструкция климата. Реконструкция планетных систем. Изменение внешности и характера. Искусство превращений. Теория любви, теория счастья. Еще одна волшебная наука, на Земле названия не имеющая, — расстановка атомов. В общем в комнате шкаф, набираешь номер, нажимаешь кнопку и в шкафу обед, новое платье, картина, складной самолет — все, что понадобится...

Обычный режим полета — зарядка, завтрак... После завтрака все расходится по кабинетам, каждый кладет на стол один из томов. Решено подготовить к прибытию перевод. По восемь часов в день все работают как переводчики. Это не только нужно, но и увлекательно. Восемь часов в день ты читаешь разгадки тайн, еще не решенных земной наукой.

У Шорина том первый — «Введение в науку о природе». Бережно и благоговейно он переворачивает звенящие перламутровые, как листья седых лесов Тау, страницы. Изысканные иероглифы порождают мысли в мозгу. Шорин записывает:

«Вселенная бесконечна...

Вселенная бесконечна структурно... Большие тела состоят из малых, малые — из меньших...

Мы, таукитяне, знаем четырнадцать структурных этажей вверх и семнадцать вниз, начиная от нашего тела.

Тело состоит из тканей, ткани — из клеток, клетки — из молекул, молекулы — из атомов, атомы — из частиц, частицы — из волоконца вакуума, волоконца — из спиралек, спиральки — из вихрей Рэли, вихри — из точек...» (Тут приходится придумывать названия, потому что земные ученые знают только шесть этажей.)

И дальше пишет Шорин:

«На нижних этажах прочность выше, поэтому запасы энергии там выше. Тела верхних этажей надо обрабатывать, изучать и описывать с помощью малых и могучих телец с нижних этажей...»

Ага, вот она, разгадка странных слов звездного старика! Строение атомов, строение мозга, расстановку атомов в теле человека можно записать на этих... как их... волоконцах?

...Так хочется заглянуть в конец тома — есть ли там о волоконцах...

Или дожидаться обеда, спросить: «Товарищи, кто переводит о волоконцах?»

Скопление газовых облаков миновали благополучно. Километровая толща железа надежно оградила от радиоактивности. Вскоре превзошли рекорд дальности, превзошли рекорд скорости. Половина скорости света, 55 процентов, 60 процентов... Скорость росла, масса росла, время сокращалось...

Тут и подстерегала неожиданность, довольно неприятная.

Даже не стоит называть это неожиданностью. Проявилась относительность массы и времени, их зависимость от скорости. Об этой относительности знали давным-давно, вывели ее формулы... чисто математически. В математике получалось изящно и гладко: корень, под корнем дробь, масса стремится к бесконечности, время — к нулю. Летишь быстрее, живешь медленнее, годы превращаются в минуты...

Что получилось на практике?

Но время замедлялось — изменялись процессы: физические, химические, биологические, и каждый по своему закону. Чем сложнее был процесс, тем сложнее получались изменения.

Верно, масса росла, вещи становились массивнее, перемещались медленнее. Медленнее двигались руки и ноги, ложки и приборы, мышцы глаза и ионы в нервах, медленнее собирались зрительные впечатления, медленнее поступали отчеты в мозг и приказы из мозга, медленнее перемещалась кровь в жилах и молекулы в клетках.

Время как бы замедлялось. И все шло бы хорошо, если бы не проявились какие-то добавочные, не учтенные ранее процессы, по-разному влиявшие на приборы и на людей.

Амперметры противоречили вольтметрам. Одни реле срабатывали раньше, другие позже. Указатели начали привирать. Автоматы разладились.

Но, к счастью, в их ошибках была своя закономерность. Приборы можно было рассчитать заново, сменить шкалу, дать другую программу автоматам. Приборы-то можно было переделать. Беда в том, что люди не поддавались реконструкции.

Люди оказались самыми чувствительными реле и приборами. Температуру они начали воспринимать иначе. Немели пальцы, стыли руки и ноги; озябшие астронавты стучали зубами, кутались в одеяла, топтались у отопления, никак не могли согреться.

И отопление можно было усилить. Но вдруг подвела прочность.

Химик Вагранян был лучшим гимнастом в экипаже. «Солнце» он крутил на турнике так, что с ним на Земле сравнялись бы немногие. Но тут он обжег руку, две недели не подходил к снарядам. Наконец выздоровел, прибежал в спортивный зал, прыгнул с разбега на турник и... упал с криком. Мускулы у него порвались на руках, не выдержали возросшей массы тела.

Мускулы у других уцелели, но у всех рвались стенки сосудов под напором отяжелевшей крови. Синяки появлялись под кожей от самых легких ударов и без всяких ударов. Кровоизлияния в мускулы, в легкие, в сердце, в мозг. Три тяжелых инфаркта, два паралича. И гипертония у всех до единого, вплоть до самых молодых.

Потом стали ломаться молекулы — в первую очередь белковые, самые длинные, тонкие и непрочные. Список болезней рос. Диагностическая машина работала с полной нагрузкой. Отмечалось нарушение обмена веществ в почках, желудке, печени...

Усталые, подавленные люди, пересиливая себя, продолжали работу. Ходили унылые, угнетенные, с трудом передвигали ноги. Пересиливая головную боль, считали, проверяя вычисления машин. Ведь машинам тоже нельзя было доверять.

А однажды, ложась спать, Шорин увидел в своей каюте Цяня. Покойный Цянь грузно сидел в кресле, щури хитроватые глаза. Он сказал: «В космосе нужны здоровяки, без хронического насморка». Он сказал: «В солнечной системе хватает дела, незачем мчаться невесть куда». Сказал: «Ты идешь по легкому пути, знания надо добывать трудом, а не списыванием у звездных соседей». И: «Нет ничего дороже жизни, людей надо беречь, сначала обеспечить безопасность, потом рисковать». Все, что говорили противники, повторил Цянь.

— Я своей жизнью рискую тоже, — возразил Шорин.

Цянь улыбнулся несесело.

— Я знаю, ты надеешься на функцию. Но разве все люди на свете успевают выполнить функцию? Вспомни друзей-испытателей, вспомни юношу, сына Аренаса. Он выполнил функцию?

— Уйди! — сказал Шорин. — Ты галлюцинация. Я в тебя не верю.

Скорость нарастала медленно, на ничтожные доли процента в сутки, и беда подкрадывалась неприметно. Слабели, слабели, болели, лечились, даже приспособились уже ко всеобщей помощи, как старики привыкают к старости. Отлеживались, набирали сил, продолжали работу. И вдруг умер Горянов. Самый крупный и здоровый, он меньше всех привык болеть, его сердце не выдержало. Заменить сердце не удалось.

И новый начальник экспедиции, профессор Дин, математик, поставил грустный вопрос: лететь дальше или возвращаться?

— Лететь, — сказал Шорин.

Дин сказал:

— Не будем легкомысленными. Половина экипажа лежит в лазарете, мы проводим собрание в лазарете. Всем ясно, что наращивать скорость нельзя, дальше будет все хуже и хуже.

— Не будем наращивать скорость, — предложил Шорин. — Снизим, если надо.

Это означало — провести в пути не десять, а двадцать лет или больше того.

— У нас нет запасов на двадцать или тридцать лет.

— Мы пополним их на Тау.

— Нет никакой уверенности, что у Тау есть планеты.

— Нас послали, чтобы рискнуть.

— Нет, нас послали за знаниями, — сказал Дин твердо. — Мы добыли знание неприятное, но правдивое. Оказалось, что относительность времени не помогает преодолеть пространство. Это важный вывод, и мы не имеем права откладывать его сообщение на два десятка лет. Если Земля найдет нужным, нас пошлют на Тау снова. Вернувшись, мы потеряем только три года, если же полетим вперед, Земля потеряет тридцать лет. Надо избавить товарищей от снаряжения новых бесполезных экспедиций.

Провели голосование. Двадцать шесть унавшими голосами произнесли грустное слово «назад». Трое сказали «вперед», конечно, и Шорин. Трое смолчали, они были без сознания.

Дин приказал тормозить.

Полгода на торможение, год на возвращение. И только для того, чтобы привезти на Землю грустное «нет». Нельзя живым людям лететь с субсветовой скоростью. Безрадостный итог экспедиции, безрадостный итог жизни Шорина. Круг человечества очерчен. Вот сотня звезд, до которых оно дотянется, в том числе десятков — похожих на Солнце.

Есть ли там разумная жизнь?

Может быть, и нет. А такие, как звезда Шарада, — за пределами возможностей.

— Ничего не поделаешь, — говорил Дин. — Вселенная бесконечна, а силы человечества не бесконечны. Где-нибудь придется остановиться.

А Шорин не соглашался остановиться. Не хотел думать об остановке, заниматься арифметикой предела. Он размышлял о дальнейшем наращивании скорости. До какой величины? До любой. До субсветовой, до скорости света и даже... даже, пожалуй, еще выше...

Полтора года на размышления — срок достаточный. Вот исходное положение Шорина: предел скоростей — скорость света в вакууме. Опять впутался вакуум. А какова скорость там, где вакуума нет? Что, если уничтожить его? Получится как бы подобие подводной лодки, испаряющей перед собой воду, подобие самолета, создающего безвоздушный коридор. Какова скорость самолета в безвоздушном коридоре? Выше обычной? Чем она лимитируется? Скоростью создания коридора, очевидно.

Но это были только исходные мысли. За ними следовали теоретические расчеты, предложения, планы опытов, проекты испытательных приборов.

Полтора года хватило на то, чтобы обдумать, обсудить, поспорить. Дин не соглашался категорически, потому что мысли Шорина противоречили старинной классической теории относительности. Дин выписывал формулы, где из « c^2 » вычитался « c^2 » и под корнем получался ноль. Ноль пространства — абсурд! Шорин выводил свои формулы. (Тогда и появилась та самая функция Шорина в виде многолепесткового тела, изогнутого в четвертом измерении.) Он даже пытался провести опыты.

С нетерпением ждал Шорин возвращения. Конечно, каждый космонавт ждет возвращения даже с большим нетерпением, чем старта. Так хочется, наконец, выйти из надоевших железных пор, увидеть родную Луну, круглые кратеры — печати, поставленные космосом, чудосочную зелень, непахучие цветы в лунных налесах и голубое лицо Земли-прародительницы над зубчатыми горами!

Стремительно мелькают цифры на табло. Сегодня скорость двадцать тысяч километров в секунду, завтра — девятнадцать тысяч, послезавтра — восемнадцать тысяч... Желтоватая звезда впереди уже превратилась в маленькое ласковое солнышко, на него нельзя смотреть. Больные забыли о болезнях, все строят планы — месяц у моря, месяц в горах, три месяца в столице. Театры, академии, библиотеки, людные улицы! И вот настает час, когда до Земли достают радиоволны. Земля отвечает. В рубке на серебристом экране

появляется лицо Аренаса. Такой он уже старый, истомленный и такой бесконечно милый, первый соотечественник!

Дин рапортует стоя:

— Экспедиция возвратилась досрочно, встретив непреодолимое препятствие: человеческий организм не в состоянии... человек никогда не сможет...

О предложении Шорина Дин не упоминает, не считает нужным упоминать, он не верит в это предложение. Шорин не обижается. Каждый поступает, как считает лучше. Впереди еще много споров, Шорин не раз выскажется...

Милый и усталый Аренас не отвечает на рапорт. Не отвечает по очень простой причине — он еще не слышал Дина. До Земли трое световых суток, только через трое суток радиоволны донесут слова космонавтов, их лица. А пока Аренас говорит свое, точнее — три дня назад сказал:

— Хорошо, что вы возвращаетесь. У нас тут любопытнейшие новости. Удалось расшифровать радиосигналы с Шарады. Их значение: «Присылайте связного в жидком гелии». Мы уже разработали методику, используем ваш астероид. В первую очередь приглашим ветеранов — вас, конечно...

Он называет несколько фамилий, Шорина — третьим.

Мечта осуществится, и скоро и без больших усилий. Через полтора месяца они приблизятся к Луне, еще месяца три будут готовить отлет. Методика уже разработана, жидкий гелий залить нетрудно. Замороженные спят без сновидений. Шорин ляжет в ванну, прощаясь, глянет на белые халаты врачей, закроет глаза, медленно считая про себя... откроет глаза и увидит белые или цветные халаты врачей Шарады. Какие они — шарadyне? На русалку похожие, на земного человека или неизвестно на что?

Шорин счастлив. Счастлив полно, счастлив глубоко, чисто и безмятежно, как альпинист, покоривший труднейшую вершину, как усталый путник, добравшийся до чистой постели, как ученый, завершивший создание стройной теории, как настойчивый влюблен-

ный, добившийся, наконец, взаимности... Будь Шорин человеком экспансивным, быть может, он прыгал бы на месте, пел во все горло, или хохотал, или танцевал один в своей комнате. Быть может, он сам себя поздравлял бы, глядя в зеркало, или катался на диване, дрыгая ногами, и кричал бы: «Ай да Шорин, ай да молодец! Добился-таки своего!» Но Шорин сдержанный в чувствах и словах человек. Он ликует молча, чуть-чуть улыбаясь про себя. В груди густое маслянистое тепло до самого горла. Тишина, покой, довольство. Ничего не хочется, ничего не нужно добавить. Мгновение, остановись, ты прекрасно!

Мечта осуществится. Шарада приглашает Шорина в гости, гостю и другу расскажут все тайны вселенной. И обратный путь будет нетрудным. Замороженные спят без снов. Он ляжет в ванну на Шараде, прощаясь, глянет на белые или цветные халаты тамошних врачей, закроет глаза, считая про себя до десяти... и через мгновение откроет глаза уже в солнечной системе. Увидит новый мир — Землю будущего.

Для него — мгновение, а на Земле-то пройдет двести лет с лишним. Не будет сторбленного Аренаса, грустной Вандовской, не будет ни одного знакомого. Шорин как бы откроет еще одну планету — Землю 2400 года. Увидит далекое Будущее, про которое говорят так часто: «Одним глазком посмотреть бы!» Но для него и эта мечта осуществится. Ученым в прозрачных тогах (людей будущего мы почему-то всегда представляем в римских тогах) вручит он сто томов звездной премудрости.

Мечта 6

— Вот сто томов звездной премудрости, — говорит Шорин.

Мудрецы в прозрачных тогах внимательно смотрят на экран. Проплывают иероглифы чуждого языка. Шорин вслух читает, переводит текст:

— «...Мы, жители Шарады, знаем четырнадцать структурных этажей вверх и семнадцать вниз, начиная от нашего тела.

Тело состоит из тканей, ткани — из клеток... волоконца — из спиралек, спиральки — из вихрей Рэли...»

Мудрецы кивают согласно... а потом (так Шорин видит в своем воображении) брови у них ползут вверх, морщины недоумения появляются на лбу.

— Но мы уже знаем восемнадцать этажей, — говорит один из ученых. — Двести лет назад не знали, а сейчас знаем. Как жаль, что эта книга не прибыла двести лет назад! Столько лишнего, столько мучительного труда, столько жертв!..

— А вот насчет чтения мыслей, — замечает другой. — С чтением мыслей у нас не получается. Может быть, это зависит от структуры мозга? Надо бы сравнить их мозг и наш.

— Как сравнить? Послать запрос?

— Но ведь ответ придет через двести лет! Нет уж, своими силами придется искать...

— Жалко, что вы не знали земных достижений, товарищ Шорин.

Как он мог знать? Он проспал два века...

Да, он проспал два века. За два века Земля уйдет вперед, продвинется больше, чем за две тысячи лет предыдущих. Шорин будет наивнее древнего грека, улетевшего на звезды и прибывшего домой в 2400 году. Вот он с восторгом рассказывает, что на других планетах есть паровые лошади и железные слоны, что люди летают там по воздуху, что молния движет повозки, что у них стальные рабы, способные ковать, ткать, считать и делать любую тяжелую работу.

А на Земле все это есть. Сами додумались.

Да, конечно, тот грек прожил интересную жизнь. Античность видел, видел космос, увидел Землю 2400 года... Но какой толк от его путешествий? Чтобы принести пользу людям, надо было лететь быстрее... быстрее света!

Но что поделаешь? Скорость света — предел скоростей.

Предел или барьер?

* * *

Со звоном включается комнатный экран. На нем довольное лицо Дина.

— Ты не спишь, Герман? Почему спрятался? Ликуешь наедине? Слушай, я составляю радиogramму Аренасу: «Благодарны за доверие. Готовы лететь». Ты полетишь, конечно?

И добавляет, дружелюбно улыбаясь:

— Вот и решены наши споры. Предел или барьер — значения не имеет. Мы заснем и проснемся на Параде.

Шорин медленно сжимает кулаки. Маслянистое тепло отступает от горла. Мир становится трезвым и суровым, как прохладное утро. Трезво и сурово глядит Шорин на действительность.

— Я не полечу, — говорит он. — Прежде надо перешагнуть световой барьер. Нет смысла задавать вопросы, если ответ приходит через двести лет.

* * *

Функцию Шорина — формулу победы над парсеками — знает каждый студент-звездолетчик. Изыщное многолестниковое тело, и еще искривленное в четвертом измерении, — на нем всегда испытывают пространственное воображение. Мы говорили о другой функции — о функции жизни Шорина, простой, как уравнение первой степени, линейной, прямолинейной. Прямая линия, идущая вперед, невзирая на барьеры, пересекая барьеры! Первый барьер — арифметический: миллиард желающих на одно место. За ним — барьер энергетический: двигатели слабы. Барьер лучевой, потом барьер физиологический: тело слабо для субсветовых скоростей. Наконец, барьер эгоистический: мечта осуществима, но для себя. И этот барьер пересекает прямая, устремляется к следующему — световому барьеру. Сколько лет уйдет на его преодоление — пять или пятьсот? Этого Шорин не знает.

Прямая идет вперед — до бесконечности. Сворачивать она не умеет.

АСТРОНАВТ

— Что сделаю я для людей?! —
сильнее грома крикнул Данко.
И вдруг он разорвал руками себе
грудь и вырвал из нее свое сердце
и высоко поднял его над головой.

М. Горький

Мне придется в нескольких словах объяснить, что привело меня в Центральный архив звездоплавания. Иначе будет непонятно то, о чем я хочу рассказать.

Я бортовой врач, участвовала в трех звездных экспедициях. Моя медицинская специальность — психиатрия. Астропсихиатрия, как сейчас говорят. Проблема, которой я занимаюсь, возникла давно, в семидесятых годах XX века. В те времена полет с Земли на Марс длился свыше года, на Меркурий — около двух лет. Двигатели работали только на взлете и при посадке. Астрономические наблюдения с ракет не велись — для этого существовали обсерватории на искусственных спутниках. Что же делал экипаж в течение многих месяцев полета? В первых рейсах — почти ничего. Вынужденное безделье приводило к расстройству нервной системы, вызывало упадок сил, заболевания. Чтение и радиопередачи не могли заменить то, чего не хватало первым астронавтам. Нужен был труд, причем труд творческий, к которому привыкли эти люди. И вот тогда было предложено комплектовать экипаж людьми увлекающимися. Считалось, что безразлично, чем именно они увлекаются, лишь бы это давало им занятие в полете. Так появились пилоты, которые были страстными математиками. Появились штурманы, занимающиеся изучением древних рукописей. Появились инженеры, отдающие все свободное время поэзии...

В летных книжках астронавтов прибавился еще один — знаменитый двенадцатый — пункт: «Чем увлекаетесь?» Но очень скоро пришло другое решение проблемы. На межпланетных трассах начали летать корабли с атомарно-ионными двигателями. Продолжительность полетов сократилась до нескольких дней. Двенадцатый пункт вычеркнули из летных книжек.

Однако несколько лет спустя эта проблема возникла вновь, в еще более острой форме. Человечество вступило в эпоху межзвездных перелетов. Атомарно-ионные ракеты, достигавшие субсветовых скоростей, тем не менее годами летели к ближайшим звездам. Время в быстро движущейся ракете замедляется, но перелеты продолжались восемь, двенадцать, иногда двадцать лет...

В летных книжках вновь появился двенадцатый пункт. Более того, он стал одним из главных при комплектовании экипажей. Межзвездный перелет с точки зрения пилотирования на 99,99 процента состоял из вынужденного безделья. Радиопередачи прерывались уже через месяц после отлета. Еще через несколько недель нараставшие помехи вынуждали отключать приемники оптической связи. А впереди были годы, годы, годы...

Ракеты тех времен имели всего шесть-восемь человек экипажа, тесные каюты, оранжевою длипой в полсотню метров. Нам, летающим на межзвездных лайнерах, трудно представить, как люди обходились без гимнастического зала, без плавательных бассейнов, без стереотеатра и прогулочных галерей...

Но я отвлеклась, а рассказ еще не начат. В наши дни двенадцатый пункт уже не играет существенной роли при выборе экипажа. Для рейсовых перелетов по обычным маршрутам это, пожалуй, справедливо. Однако при дальних исследовательских полетах нужно все-таки комплектовать экипажи людьми увлекающимися. Таково, во всяком случае, мое мнение. Двенадцатый пункт — тема моей научной работы. История двенадцатого пункта и привела меня сюда, в Центральный архив звездоплавания.

Признаюсь, вначале слово «архив» мне не понравилось. Я бортовой врач, а это примерно то же самое, что в XVIII веке морской врач. Я привыкла к путешествиям, к опасностям. Все три моих звездных полета я совершила на исследовательских ракетах. Я участвовала в первой экспедиции к Прочиону и, наверно, навсегда заболела жаждой открытий. На трех планетах Прочиона есть немало названий, придуманных мной, а вы знаете, что это такое — дать имя открытому тобой океану?..

«Архив» — меня пугало это слово. Но получилось иначе. Я не знаю, не успела еще узнать, какой архитектор создал здание Центрального архива звездоплавания. Это очень талантливый человек. Талантливый и смелый. Здание расположено на берегу Сибирского моря, возникшего двадцать лет назад, когда на Оби была построена плотина. Главный корпус архива стоит на прибрежных холмах. Не знаю, как это удалось сделать, но кажется — здание висит над водой. Легкое, устремленное вверх, похожее издали на белый парусник...

В архиве работают пятнадцать человек. С некоторыми я успела познакомиться. Почти все они приехали сюда на время. Австрийский писатель собирает материалы о первом межзвездном перелете. Ученый-ленинградец пишет историю Марса. Застенчивый индус — знаменитый скульптор. Он сказал мне: «Я должен знать их духовный мир». Два инженера — рослый саратовский парень с лицом Чкалова и маленький, вежливо улыбающийся японец. Им надо обосновать какой-то проект. Какой именно, я не знаю. Японец очень вежливо ответил на мой вопрос: «О, это совершенно пустяковое дело! Оно недостойно утруждать ваше высокое внимание».

Однако я вновь отвлеклась. Перейду к рассказу.

В первый же день, вечером, я говорила с заведующим архивом. Это еще не старый человек, но взрыв топливных баков на ракете почти лишил его зрения. Он носит какие-то специальные очки — с тройными линзами. Стекла отблескивают голубым. Глаз не видно. От этого кажется, что заведующий никогда не улыбается.

— Что ж, — сказал он, выслушав меня, — вам надо начать с материалов сектора «ноль-четырнадцать». Простите, это наша внутренняя классификация, вам она ничего не говорит. Я имею в виду первую экспедицию на Звезду Барнарда.

К стыду своему, я почти ничего не знала об этой экспедиции.

— Вы летали по другим направлениям, — пожал плечами заведующий. — Сириус, Прочион, Шестьдесят первая Лебеда...

Меня удивило, что он так хорошо знает мой послужной список.

— Да, — продолжал он, — история Алексея Зарубина, командира этой экспедиции, ответит на многие интересующие вас вопросы. Через полчаса вам доставят материалы. Желаю удачи!

За голубыми стеклами не было видно глаз. Но голос звучал грустно.

И вот материалы у меня на столе. Бумага пожелтела, на некоторых документах чернила (тогда писали чернилами) обесцветились. Но кто-то тщательно восстановил текст: тут же подшиты фотоснимки документов в инфракрасном свете. Бумага покрыта прозрачной пластмассой: на ощупь листы кажутся очень плотными, гладкими.

За окном — море. Глухо накатывается прибой, волны шуршат, как переворачиваемые страницы...

Экспедиция к Звезде Барнарда по тем временам была предприятием дерзким, даже отчаянным. От Земли до Звезды Барнарда свет идет шесть лет. Половину пути ракете предстояло пройти с ускорением, вторую половину — с замедлением. И хотя при этом достигались субсветовые скорости, полет туда и обратно должен был продолжаться около четырнадцати лет. Для тех, кто летел в ракете, время замедлялось: четырнадцать лет превращались в сорок месяцев. Срок этот сам по себе невелик, но опасность состояла в том, что почти все время — тридцать восемь месяцев из сорока — двигатель ракеты должен был работать на форсированном режиме. Запас ядерного горюче-

го был взят в обрез. Задержка в пути означала бы гибель экспедиции.

Сейчас кажется неоправданным риском уйти в космос, не имея резервных запасов топлива, но тогда нельзя было иначе. Корабль не мог взять больше того, что инженерам удалось разместить в его топливных отсеках.

Я читаю протокол заседания комиссии, отбиравшей экипаж. Выдвигаются кандидатуры капитанов, и комиссия говорит: «Нет». Нет — потому что полет исключительно тяжел, потому что колоссальная выдержка должна сочетаться с почти безрассудной смелостью. И вдруг все говорят: «Да».

Я переворачиваю страницу. Здесь начинается личное дело капитана Алексея Зарубина.

Еще три страницы, и я начинаю понимать, почему Алексей Зарубин единогласно был назначен командиром «Полюса». В этом человеке самым необыкновенным образом уживались «лед и пламень», спокойная мудрость исследователя и бешеный темперамент бойца. Наверно, поэтому его посылали в самые рискованные полеты. Он умел выходить из самых, казалось бы, безнадежных положений.

Комиссия выбрала капитана. Капитан по традиции сам отобрал экипаж. Собственно говоря, Зарубин не отбирал. Он просто пригласил пятерых астронавтов, уже летавших с ним. На вопрос: «Готовы ли вы к трудному и рискованному полету?» — все они ответили: «С тобой — готовы».

В материалах есть фотографии экипажа «Полюса». Снимки одноцветные, необъемные. Капитану шел тогда двадцать седьмой год. На фотографии он выглядит старше: полное, слегка припухлое, скуластое лицо, плотно сжатые губы, крупный, с горбинкой нос, выщипся, наверно, очень мягкие волосы и странные глаза. Они спокойные, даже ленивые, но где-то в уголках затаилась озорная, бесшабашная искорка.

Остальные астронавты еще моложе. Инженеры — муж и жена; в папке их общая фотография, они всегда летали вместе. Штурман — у него задумчивый взгляд музыканта. Девушка — врач. Наверно, такой

серьезный вид был и у меня на первом снимке, когда я поступала в Звездный флот. Астрофизик — упрямый взгляд, лицо в пятнах от ожогов; вместе с капитаном он совершал посадку на Дионе, спутнике Сатурна.

Двенадцатый пункт летных книжек. Я перелистываю страницы и убеждаюсь: да, снимки, сказали правду. Штурман — композитор и музыкант. Серьезная девушка увлекается серьезным делом — микробиологией. Астрофизик упорно изучает языки: он уже в совершенстве владеет пятью языками, на очереди латынь и древнегреческий. Инженеры, муж и жена, имеют одно увлечение — шахматы, причем новые шахматы, с двумя белыми и двумя черными ферзями и доской в восемьдесят одну клетку.

Заполнен двенадцатый пункт и в летной книжке капитана. У командира странное увлечение — необычное, уникальное. Мне еще ни разу не приходилось встречать ничего подобного. Капитан с детства увлекается живописью — это понятно: его мать была художницей. Но капитан почти не пишет, нет, его интересует другое. Он мечтает открыть давно утерянные секреты средневековых мастеров — составы масляных красок, их смеси, способы письма. Он ведет химические исследования, как всегда, с упорством ученого и темпераментом художника.

Шесть человек — шесть разных характеров, разных судеб. Но тон задает капитан. Его любят, ему верят, ему подражают. И поэтому все умеют быть до невозмутимости спокойными и безудержно азартными.

Старт.

«Полюс» уходит к Звезде Барнарда. Работает ядерный реактор, из дюз вылетает невидимый поток ионов. Ракета летит с ускорением, постоянно ощущается перегрузка. Первое время трудно ходить, трудно работать. Врач строго следит за установленным режимом. Астронавты привыкают к условиям полета. Собрана оранжевая, поставлен радиотелескоп. Начинается нормальная жизнь. Очень немного времени занимает контроль за работой реактора, приборов, механизмов. Четыре часа в день — обязательные занятия по специальности. Остальное время каждый использует как хо-

чет. Штурман сочинил песенку — ее напевает весь экипаж. Шахматисты часами просиживают над доской. Астрофизик читает в подлиннике Плутарха...

В бортовом журнале короткие записи: «Полет продолжается. Реактор и механизмы работают безупречно. Самочувствие отличное». И вдруг почти крик: «Ракета ушла за пределы телеприема. Вчера смотрели последнюю передачу с Земли. Как тяжело расставаться с родиной!» Снова идут дни. Запись в журнале: «Усовершенствовали приемную антенну оптической связи. Надеемся, что сигналы с Земли удастся ловить еще дней семь-восемь». Они радовались, как дети, когда связь работала еще двенадцать дней...

Набирая скорость, ракета летела к Звезде Барнарда. Шли месяцы. Ядерный реактор работал с исключительной точностью. Топливо расходовалось строго по расчету — и ни миллиграммом больше.

Катастрофа произошла внезапно.

Однажды — это было на восьмом месяце полета — изменился режим работы реактора. Побочная реакция вызвала резкое увеличение расхода горючего. В бортовом журнале появилась короткая запись: «Не знаем, чем вызвана побочная реакция». Да, в те времена еще не знали, что ничтожные примеси в ядерном горючем иногда могут изменить ход реакции.

...За окном шумит море. Ветер усилился, волны уже не шуршат — они зло фыркают, наскакивая на берег. Откуда-то издалека доносится смех. Я не могу, не должна отвлекаться. Я почти вижу этих людей в ракете. Я знаю их и могу представить, как это было. Быть может, я ошибаюсь в деталях — какое это имеет значение? Впрочем, нет, даже в деталях я не ошибаюсь. Я уверена, что это было так.

...В реторте — над горелкой — кипела, пенилась коричневая жидкость. Красные огоньки отблескивали на стекле. Инженер неслышно вошел в каюту...

* * *

В реторте кипела, пенилась коричневая жидкость. Бурые пары шли по змеевику в конденсатор. Капитан внимательно рассматривал пробирку с темно-красным

порошком. Открылась дверь. Пламя горелки задрожало, запрыгало. Капитан обернулся. В дверях стоял инженер.

Инженер умел держать себя в руках, но голос выдавал волнение. Голос был чужим, громким, неестественно твердым. Инженер старался говорить спокойно — и не мог.

— Садись, Николай. — Капитан придвинул ему кресло. — Я проделал расчеты вчера и получил такой же результат... Так ты садись...

— Что же теперь?

— Теперь? — Капитан посмотрел на часы. — До ужина пятьдесят пять минут. Значит, мы успеем поговорить. Предупреди, пожалуйста, всех.

— Хорошо, — машинально ответил инженер. — Я скажу. Да, я скажу.

Он не понимал, почему капитан медлит. С каждым мгновением скорость «Полюса» увеличивалась, решение нужно было принимать безотлагательно.

— Посмотри, — сказал капитан, передавая ему пробирку. — Тебя это, наверно, заинтересует. Там ртутная киноварь. Чертовски привлекательная краска. Но обычно она темнеет на свету. Я докопался — тут все дело в степени дисперсности...

Он долго объяснял инженеру, как ему удалось получить устойчивую на свету ртутную киноварь. Инженер нетерпеливо встряхивал пробирку. Над столом висели вделанные в стену часы, и инженер не мог не смотреть на них: полминуты — скорость увеличилась на два километра в секунду, еще минута — еще четыре километра в секунду...

— Так я пойду, — сказал он наконец. — Надо предупредить остальных.

Капитан плотно прикрыл дверь каюты. Небрежно сунул пробирку в штатив. Прислушался. Тихо гудела охлаждающая система реактора. Работали двигатели, ускоряя полет «Полюса».

...Через десять минут капитан сошел вниз, в кают-компанию. Пять человек встали, приветствуя его. Все они были в форме астронавтов, надеваемой лишь из-

редка, в торжественных случаях, и капитан понял: объяснять положение никому не надо.

— Так... — проговорил он. — Кажется, только я не догадался надеть мундир...

Никто не улыбнулся.

— Садитесь, — сказал капитан. — Военный совет... Так... Ну ладно. Пусть, как положено, первым начнет младший. Вы, Леночка. Что нам делать, как вы думаете? — Он обернулся к девушке.

Та ответила очень серьезно:

— Я врач, Алексей Павлович. А вопрос прежде всего технический. Разрешите, я выскажу свое мнение позже.

Капитан кивнул:

— Пожалуйста. Вы самая умная из нас, Леночка. И, как всякая женщина, самая хитрая. Готов держать пари, что мнение у вас есть. Уже есть.

Девушка не ответила.

— Итак, — продолжал капитан, — Леночка будет говорить потом. Тогда ты, Сергей.

Астрофизик развел руками.

— К моей специальности это тоже не относится. Твердого мнения у меня нет. Но я знаю, что горячего хватит на полет к Звезде Барнарда. Почему же возвращаться с полдороги?

— Почему? — переспросил капитан. — Да потому, что вернуться оттуда мы уже не сможем. С полпути можем. Оттуда — нет.

— Согласен, — задумчиво сказал астрофизик. — А впрочем, разве мы не сможем вернуться оттуда? Сами мы, конечно, не вернемся. Но ведь за нами прилетят. Увидят, что мы не возвращаемся, и прилетят. Астронавтика развивается.

— Развивается, — усмехнулся капитан. — С течением времени... Итак, лететь вперед? Я правильно понял? Хорошо. Теперь ты, Георгий. К твоей специальности это относится?

Штурман вскочил, оттолкнув кресло.

— Сядь, — сказал капитан. — Сядь и говори спокойно. Не прыгай.

— Ни в коем случае не возвращаться! — Штур-

ман почти кричал. — Только вперед! Через невозможное — вперед! Нет, ну, в самом деле, подумайте, как можно вернуться? Знали мы, что экспедиция будет трудной? Знали! И вот первая трудность — и мы готовы отступить... Нет, нет, только вперед!

— Та-ак, — протянул капитан. — Через невозможное — вперед. Красиво... Ну, а что думают инженеры? Вы, Нина Владимировна? Ты, Николай?

Инженер посмотрел на жену. Та кивнула, и он начал говорить. Он говорил спокойно, словно размышляя вслух:

— Наш полет к Звезде Барнарда — исследовательская экспедиция. Если мы, шесть человек, узнаем нечто новое, сделаем какие-то открытия, это еще не будет иметь никакой цены. Открытое нами только тогда приобретет цену, когда станет известно людям, человечеству. Если мы долетим до Звезды Барнарда и не будем иметь возможности вернуться назад, что толку в наших открытиях? Сергей говорил, что за нами в конце концов прилетят. Верю. Но те, кто прилетит, и без нас сделают эти открытия. В чем же будет наша заслуга? Что сделает для людей наша экспедиция?.. По существу, мы принесем только вред. Да, вред. На Земле будут ждать возвращения нашей экспедиции. Ждать совершенно напрасно. Вернемся сейчас — потери времени удастся свести к минимуму. Вылетит новая экспедиция. Собственно, мы же и вылетим. Пусть мы потеряем несколько лет, зато собранный нами материал будет доставлен на Землю. А сейчас мы лишены этой возможности... Лететь? Для чего? Нет, мы — Нина и я — против. Надо возвращаться. Немедленно.

Наступило продолжительное молчание. Потом Лена спросила:

— А как думаете вы, капитан?

Капитан грустно улыбнулся:

— Я думаю, наши инженеры правы. Красивые слова только слова. А здравый смысл, логика, расчет — на стороне инженеров. Мы летим, чтобы сделать открытия. И если открытия не будут переданы на Землю, грош им цена. Николай прав, тысячу раз прав...

Зарубин встал, тяжело прошелся по каюте. Ходить было трудно: перегрузка, вызванная ускорением ракеты, сковывала движения.

— Вариант с ожиданием помощи отпадает, — продолжал капитан. — Остаются две возможности. Первая — повернуть к Земле. Вторая — лететь к Звезде Барнарда... и все-таки вернуться оттуда на Землю. Вернуться, несмотря на потерю горючего.

— Как? — спросил инженер.

Зарубин подошел к креслу, сел, ответил не сразу.

— Я не знаю как. Но у нас есть время. До Звезды Барнарда еще одиннадцать месяцев полета. Если вы решите возвращаться сейчас, мы вернемся. Но если вы верите, что за одиннадцать месяцев удастся что-то придумать, изобрести, тогда... тогда через невозможное — вперед!.. Вот так, друзья. Что же вы скажете? Вот вы, Леночка.

Девушка лукаво прищурилась.

— Как всякий мужчина, вы очень хитры. Готова держать пари, что вы уже кое-что придумали.

Капитан расхохотался:

— Проиграете! Ничего не придумал. Но еще есть одиннадцать месяцев. За это время можно что-то придумать.

— Мы верим, — сказал инженер. — Твердо верим. — Он помолчал. — Хотя, по правде сказать, я не представляю, как удастся выкрутиться. На «Полюсе» останется восемнадцать процентов горючего. Восемнадцать вместо пятидесяти... Но раз вы сказали — все. Идем к Звезде Барнарда. Как говорит Георгий, через невозможное — вперед.

* * *

Тихо поскрипывает дверь. Ветер перелистывает страницы, рыщет по комнате, наполняя ее влажным запахом моря. Удивительная вещь — запах. В ракетах его нет. Кондиционеры очищают воздух, поддерживают нужную влажность, температуру. Но кондиционированный воздух безвкусен, как дистиллированная вода. Не раз испытывались генераторы искусственных запахов; пока из этого ничего не получилось. Аромат

обычного — земного — воздуха слишком сложен, воссоздать его нелегко. Вот сейчас... Я чувствую и запах моря, и запах сырых, осенних листьев, и едва уловимый запах духов, и временами, когда ветер усиливается, запах земли. И еще — слабый запах краски.

Ветер перелистывает страницы... На что рассчитывал капитан? Ведь именно ему придется «что-то придумать». В сущности, он единственный на корабле опытный астронавт.

Зарубин может, конечно, рассчитывать на помощь экипажа — штурмана, инженеров, астрофизика, врача. Но это потом. Сначала надо «что-то придумать». Такова специальность командира корабля.

Я врач, но я летала и знаю, что чудес не бывает. Когда «Полюс» долетит до Звезды Барнарда, на ракете останется только восемнадцать процентов горючего. Восемнадцать вместо пятидесяти...

Чудес не бывает. Но если бы капитан спросил меня, верю ли я, что он найдет выход, я бы ответила: «Да». Ответила бы сразу, не задумываясь: «Да, да, да!» В чудеса я не верю, но твердо верю в людей.

Утром я попросила заведующего показать мне картины Зарубина.

— Надо подняться наверх, — сказал он. — Только... Скажите, вы прочитали все?

Он выслушал мой ответ, кивнул.

— Понимаю. Я так и думал. Да, капитан взял на себя большую ответственность. Вы бы ему поверили?

— Да.

— Я тоже.

Он долго молчал, покусывая губы. Затем встал, поправил очки.

— Что ж, пойдёмте.

Заведующий прихрамывал. Мы медленно шли по коридорам архива.

— Вы еще прочтете об этом, — говорил заведующий. — Если не ошибаюсь, второй том, страница сотая и дальше. Зарубин хотел разгадать тайны итальянских мастеров эпохи Возрождения. С восемнадцато-

го века начинается упадок в живописи масляными красками — я имею в виду технику. Многое считалось безвозвратно утерянным. Художники не умели получать краски одновременно яркие и долговечные. Чем ярче тона, тем быстрее темнели картины. Особенно это относится к синим и голубым краскам. Ну, а Зарубин... Да вы увидите.

Картины Зарубина висели в узкой, залитой солнцем галерее. Первое, что мне бросилось в глаза, — каждая картина была написана только одним цветом: красным, синим или зеленым...

— Это этюды, — сказал заведующий. — Проба техники, не более. Вот «Этюд в синих тонах».

В голубом небе бок о бок летели две хрупкие человеческие фигурки с пристегнутыми крыльями — мужчина и женщина. Все было написано синим, но мне никогда не приходилось видеть такого бесконечного многообразия оттенков. Небо казалось ночным, иссиня-черным у левого нижнего края картины и прозрачным, наполненным жарким полуденным воздухом — в противоположном углу. Люди, крылья переливались оттенками голубого, синего, фиолетового. Местами краски были упругие, яркие, сверкающие, местами — мягкие, приглушенные, прозрачные. Рядом с этим этюдом «Голубые танцовщицы» Дега производили бы впечатление картины тусклой, бедной красками.

Тут же висели другие картины. «Этюд в красных тонах»: два алых солнца над неведомой планетой, хаос теней и полутеней — от кроваво-красных до светлорозовых. «Этюд в коричневых тонах»: феерический, выдуманный лес...

— Зарубин фантазировал, — сказал заведующий. — Он просто испытывал свои краски. Но потом...

Заведующий умолк. Я ждала, глядя в голубые, непроницаемые стекла очков.

— Прочитайте дальше, — тихо произнес он. — Потом я покажу вам другие картины. Тогда вы поймете.

Я читаю так быстро, как только могу, — стараюсь схватить главное.

...«Полюс» летел к Звезде Барнарда. Скорость раке-

ты достигла предела, двигатели начали работать на тормозном режиме. Судя по коротким записям в бортовом журнале, все шло нормально. Не было аварий, не было болезней. И сам капитан был, как всегда, спокоен, уверен, весел. Он по-прежнему много занимался технологией красок, писал этюды...

О чем он думал, оставаясь в своей каюте? Бортовой журнал, личный дневник штурмана не отвечают на этот вопрос. Но вот интересный документ. Это рапорт инженеров. Речь идет о неполадках в системе охлаждения. Суховатый, точный язык, технические термины. А между строк я читаю: «Друг, если ты передумал, это позволит повернуть. Отступить с честью...» И тут же надпись, сделанная рукой капитана: «Систему охлаждения будем ремонтировать после достижения Звезды Барнарда». Это звучит так: «Нет, друзья, я не передумал».

Зарубин не передумал. Он вел «Полюс» через невозможное — вперед.

Спустя девятнадцать месяцев после вылета ракета достигла Звезды Барнарда. У тусклой красной звезды оказалась одна планета, по размерам почти такая же, как и Земля, но покрытая льдами. «Полюс» пошел на посадку. Ионный поток, выбрасываемый из дюз ракеты, расплавил лед, и первая попытка оказалась неудачной. Капитан выбрал другое место — и снова лед начал плавиться... Шесть раз заходил «Полюс» на посадку, пока не удалось нащупать подо льдом гранитную скалу.

С этого момента в бортовом журнале начинаются записи, сделанные красными чернилами. По традиции, так отмечались открытия.

Планета была мертвой. Ее атмосфера состояла почти из чистого кислорода, но ни одного живого существа, ни одного растения не оказалось на этой замерзшей планете. Термометр показывал минус пятьдесят градусов. «Бездарная планета, — записано в дневнике штурмана, — но зато какая звезда! Каскад открытий...»

Да, это был каскад открытий. Даже сейчас, когда наука о строении и эволюции звезд шагнула вперед,

даже сейчас открытия, сделанные экспедицией «Полюса», во многом сохранили свое значение. Исследования газовой оболочки «красных карликов» типа Звезды Барнарда и по сей день остаются наиболее полными и точными.

Бортовой журнал... Научный отчет... Рукопись астрофизика с парадоксальной гипотезой эволюции звезд... И наконец, то, что я ищу: приказ командира о возвращении. Это неожиданно, невероятно. И, еще не веря, я быстро переворачиваю страницы. Запись в дневнике штурмана. Теперь я верю, знаю — это было так.

...Однажды капитан сказал:

— Все! Надо возвращаться.

Пять человек молча смотрели на Зарубина. Мерно щелкали часы...

* * *

Пять человек смотрели на капитана. Они ждали.
— Надо возвращаться, — продолжал капитан. — Вы знаете, осталось восемнадцать процентов горючего. Но выход есть. Прежде всего мы должны облегчить ракету. Нужно снять всю электронную аппаратуру, за исключением корректирующих установок... — Он увидел, что штурман хочет что-то сказать, и остановил его жестом: — Так надо. Приборы, внутренние переборки опорожненных баков, часть оранжереи. И главное — громоздкие электронные установки. Но это не все. Основной расход топлива связан с небольшим ускорением в первые месяцы полета. Придется смириться с неудобствами: «Полюс» должен взлететь не с тройным ускорением, а с двенадцатикратным.

— При таком ускорении невозможно управление ракетой, — возразил инженер. — Пилот не сможет...

— Знаю, — жестко перебил капитан. — Знаю. Управление первые месяцы будет вестись отсюда, с планеты. Здесь останется один человек... Тише! Я сказал: тише! Запомните: другого выхода нет. Будет так. Теперь дальше. Вы, Нина Владимировна, и ты, Николай, не можете остаться: у вас будет ребенок. Да, я знаю. Вы, Леночка, врач, вы должны лететь. Сергей — астрофизик. Он тоже полетит. У Георгия

мало выдержки. Поэтому останусь я. Еще раз — тише! Будет так, как я сказал.

...Передо мной расчеты, сделанные Зарубиным. Я врач, не все мне понятно. Но одно я вижу сразу: расчеты сделаны, что называется, на пределе. До предела облегчена ракета, до предела форсированы стартовые перегрузки. Большая часть оранжереи остается на планете, и потому расчетный рацион астронавтов невелик — много ниже установленных норм. Снята с ракеты система аварийного энергопитания с двумя микрореакторами. Снято почти все электронное оборудование. Если в пути случится что-то непредвиденное, возвратиться к Звезде Барнарда ракета уже не сможет. «Риск в кубе» — так записано в дневнике штурмана. И ниже: «Но для того, кто остается здесь, — риск в десятой, сотой степени...»

Зарубину придется ждать четырнадцать лет. Только тогда за ним придет другая ракета. Четырнадцать лет одному, на чужой, замерзшей планете...

Снова расчеты. Главное — энергия. Ее должно хватить на телеуправление ракетой, ее должно хватить на четырнадцать долгих, бесконечно долгих лет. И опять все рассчитано на пределе, в обрез.

Фотоснимок жилища капитана. Оно собрано из секций оранжереи. Сквозь прозрачные стенки видна электронная аппаратура, микрореакторы. На крыше установлены антенны телеуправления. Кругом — ледяная пустыня. В сером, подернутом мутной дымкой небе холодно светит Звезда Барнарда. Ее диск вчетверо больше Солнца, но лишь немногим ярче Луны.

Я быстро перелистываю бортовой журнал. Тут все: и наставления капитана, и договоренность о радиосвязи в первые дни полета, и список предметов, которые надо доставить капитану... И вдруг два слова: «Полюс» вылетает».

А потом идут странные записи. Кажется, их сделал ребенок: строки наползают друг на друга, буквы угловаты, изломанны. Это двенадцатикратная перегрузка.

Я с трудом разбираю слова. Первая запись: «Все хорошо. Проклятая перегрузка! В глазах фиолетовые пятна...» Через два дня: «Набираем скорость по рас-

чету. Ходить невозможно, приходится ползать...» Еще через неделю: «Тяжело, очень (зачеркнуто)... Выдержим. Реактор работает на расчетном режиме».

Два листа в бортовом журнале не заполнены. А на третьем, залитом чернилами, наискось сделана надпись: «Телеуправление нарушено. Лучи рассеиваются каким-то препятствием. Это (зачеркнуто)... Это конец...» Но тут же, у самого края листа, выведено другим — четким — почерком: «Телеуправление восстановлено. Индикатор мощности показывает четыре единицы. Капитан отдает всю энергию своих микрореакторов, и мы не можем ему помешать. Он жертвует собой...»

Я закрываю бортовой журнал. Сейчас я могу думать только о Зарубине. Наверно, для него было неожиданным нарушение телеуправления. Внезапно зазвонил индикатор...

* * *

Тревожно звенел контрольный сигнал индикатора. Стрелка, вздрагивая, опускалась к нулю. Радиолуч встретил препятствие, телеуправление прервалось.

Капитан стоял у прозрачной стены оранжереи. Тусклое багровое солнце заходило за горизонт. По ледяной равнине бежали коричневые тени. Ветер гнал, подхлестывал снежную пыль, поднимал ее в мутное красно-серое небо.

Настойчиво звенел контрольный сигнал индикатора. Радиополучение рассеивалось; его мощности не хватало для управления ракетой. Зарубин смотрел на заходящую Звезду Барнарда. За спиной капитана лихорадочно металась вспышка ламп на панели электронного навигатора.

Багровый диск быстро скрывался за горизонтом. На мгновение заискрились алые огоньки: последние лучи преломились в мириадах льдинок. Потом наступила темнота.

Зарубин подошел к приборному щиту. Выключил сигнал индикатора. Стрелка стояла на нуле. Зарубин повернул штурвал регулятора мощности. Оранжерея наполнилась гулом моторов охлаждающей системы.

Зарубин долго вращал штурвал — до отказа, до упора. Перешел на другую сторону щита, снял ограничитель и еще дважды повернул штурвал. Гул превратился в надсадный, пронзительный, звенящий рев.

Капитан побрел к стенке, сел. Руки его дрожали. Он достал платок, вытер лоб. Прижался щекой к прохладному стеклу.

Нужно было ждать, пока новые, огромной мощности сигналы дойдут до ракеты и, отразившись, вернутся обратно.

Зарубин ждал.

Он потерял представление о времени. Ревели микрореакторы, доведенные почти до взрывного режима, выли, стонали двигатели охлаждающей системы. Содрогались хрупкие стены оранжереи...

Капитан ждал.

Наконец какая-то сила заставила его встать и подойти к приборному щиту. Стрелка индикатора мощности стояла у зеленой черты. Мощность сигналов теперь была достаточна для управления ракетой. Зарубин слабо улыбнулся, сказал: «Ну вот...» — и взглянул на расходомер. Энергия расходовалась в сто сорок раз быстрее, чем предусматривал расчет.

В эту ночь капитан не спал. Он составлял программу для электронного навигатора. Нужно было устранить отклонения, вызванные нарушением связи.

Ветер гнал по равнине снежные волны. Над горизонтом разгоралось неяркое полярное сияние.

Гремели взбесившиеся микрореакторы, отдавая энергию. То, что было рассчитано на четырнадцать лет, сейчас щедро изливалось в пространство...

Заложив программу в электронную машину, капитан устало прошелся по оранжерее. Над прозрачным потолком светили звезды. Прислонившись к приборному щиту, капитан смотрел в небо. Где-то там «Полюс», набирая скорость, уверенно летел к Земле.

* * *

Было очень поздно, но я все-таки пошла к заведующему. Я вспомнила, что он говорил о каких-то других картинах Зарубина.

Заведующий не спал.

— Я знал, что вы придете, — сказал он, поспешно надевая очки. — Идемте, это рядом.

В соседней комнате, освещенной флюоресцентными лампами, висели две небольшие картины. В первый момент я подумала, что заведующий ошибся. Мне показалось, что Зарубин не мог написать эти картины. Они несколько не походили на то, что я видела днем: ни экспериментов с красками, ни фантастических сюжетов. Это были обычные пейзажи. На одном — дорога и дерево, на другом — опушка леса.

— Да, это Зарубин, — словно угадав мои мысли, проговорил заведующий. — Он остался на планете — вы, конечно, уже знаете. Что ж, это был дерзкий выход, но все-таки выход. Сужу как астронавт... как бывший астронавт. — Заведующий поправил голубые очки, помолчал. — Но потом Зарубин сделал то, что... Да вы знаете... Энергию, рассчитанную на четырнадцать лет, он отдал в течение четырех недель. Он восстановил управление ракетой, вывел «Полюс» на курс. Ну, а когда ракета достигла субсветовой скорости, началось торможение с обычными перегрузками; экипаж сам управлял ракетой. В микрореакторах Зарубина к этому времени почти не осталось энергии. И ничего уже нельзя было сделать. Ничего... В те дни Зарубин и писал картины. Он любил Землю, жизнь...

На картине — проселочная дорога, идущая на подъем. У дороги — могучий взлохмаченный дуб. Он написал его в манере Жюлья Дюпре, в манере Барбизонской школы: приземистый, узловатый, полный жизни и сил. Ветер гонит растрепанные облачка. У придорожной канавы лежит камень; кажется, на нем только что сидел путник... Каждая деталь выписана тщательно, любовно, с необыкновенным богатством цветовых и световых оттенков.

Другая картина не окончена. Это лес весной. Все наполнено воздухом, светом, теплом... Удивительные золотистые тона... Зарубин знал душу красок.

— Я доставил эти картины на Землю, — тихо сказал заведующий.

— Вы?!

— Да. — Голос заведующего звучал совсем грустно, даже виновато. — В тех материалах, что вы смотрели, нет конца. Это относится уже к другим экспедициям... «Полюс» вернулся на Землю, и сразу же была выслана спасательная экспедиция. Сделали все, чтобы ракета пришла к Звезде Барнарда как можно скорее. Экипаж решил проделать весь путь с шестикратным ускорением. Они достигли этой планеты — и не нашли даже оранжереи. Десятки раз рисковали жизнью, но не нашли... Потом — это было уже через много лет — послали меня. В пути была авария... Вот, — заведующий поднял руку к очкам. — Но мы долетели. Обнаружили оранжерею, картины... Нашли записку капитана.

— Что там было?

— Только три слова: «Через невозможное — вперед».

Мы молча смотрели на картины. Я вдруг подумала, что Зарубин писал их по памяти. Кругом были льды, зловеще светила багровая Звезда Барнарда, а он смешился на палитре теплые солнечные краски... В двенадцатом пункте анкеты Зарубин мог бы написать: «Увлекаюсь... нет, люблю, горячо люблю нашу Землю, ее жизнь, ее людей».

Тихо в опустевших коридорах архива. Окна полуоткрыты, морской ветер шевелит тяжелые шторы. Размерно, упорно накатываются волны. Кажется, они повторяют три слова: «Через невозможное — вперед». Типина, потом приходит волна и выплескивает: «Через невозможное — вперед». И снова тишина...

Мне хочется ответить волнам: «Да, только вперед, всегда вперед!»

ЛЕТАЮЩИЕ ПО ВСЕЛЕННОЙ

Это драма, драма идей.

А. Эйпштейн

Возле стола, за которым я сидела в первом классе, было окно. Так близко, что я могла дотянуться рукой до прогретого солнцем шершавого подоконника. Шли годы, менялись комнаты, но я всегда выбирала место поближе к окну. Наша школа стояла на окраине города, на высоком холме. Из окна было видно множество интересных вещей. Но чаще всего я смотрела на антенну радиотелескопа. Антенна казалась маленькой, хотя я знала, что она огромна — обращенная к небу трехсотметровая чаша.

Мне нравилось следить за ее загадочным движением. Может быть, поэтому все, что я узнавала в школе, как-то само собой связывалось с антенной.

Это была антенна радиотелескопа, ловившего сигналы разумных существ с чужих планет. Мы дружили с антенной. Когда я не могла решить трудную задачу, антенна подбадривала меня: «Ничего, ты обязательно справишься! Ведь и мне нелегко. Надо искать, искать, искать...» Весной солнечные лучи отражались от внешней поверхности рефлектора, и белый зайчик бродил по классному потолку. Днем и ночью, в жару и холод, в будни и праздники она работала, антенна моего радиотелескопа.

Но однажды она остановилась. Я посмотрела в окно и увидела неподвижную, склонившуюся вниз чашу. Тогда я побежала к ней. Я бежала так быстро, как только могла: школьный двор, улицы, шоссе... Под антенной спокойно ходили люди; никто не обращал на меня внимания.

Я долго не возвращалась в интернат. Я знала: меня будут спрашивать, почему я плачу. Как это объяснить?..

С тех пор антенна телескопа оставалась неподвижной. Я прочитала в газете, что продолжавшиеся более сорока лет попытки поймать сигналы иноземных цивилизаций оказались безуспешными. По-прежнему в мое окно была видна решетчатая чаша антенны. Но солнечный зайчик уже не бегал по потолку. Иногда у меня мелькала наивная и дерзкая мысль: я что-то исправлю, придумаю, и снова телескоп будет шарить по небу.

Я стала астрономом, а в астрономии выбрала проблему связи с иноземными цивилизациями. Нас полшутя называли поисковедами. Я стала поисковедом в трудное время. Последняя, очень серьезная и оставшаяся безрезультатной попытка вызвала разочарование. Многие поисковеды занялись другими проблемами. У нас не было ни одной станции, работавшей на поиск. Нам не отказывали — мы не просили сами. Мы видели, что старые пути не пригодны, а новых не знали.

В нашем институте осталось тридцать человек, едва ли не половина всех поисковедов на Земле. Считалось, что мы ведем свободный поиск. Правильнее было бы сказать — слепой. Мы искали наугад. Не было таких гипотез, которые мы бы отказывались проверить. Мы заново обрабатывали записи, полученные, когда шла вахта прослушивания. Наши инженеры изобретали тончайшие радиофильтры и конструировали сверхчувствительные системы молекулярных усилителей. Мы готовились к новым поискам.

И вот в течение двух дней все изменилось.

Вечером первого дня я встретила с человеком, которого знала очень давно. Мы долго ходили по городскому саду, потом спустились к набережной. Шел мелкий дождь. Мы сидели у самой воды и говорили. Это был тягостный разговор. Временами я слышала наши голоса как бы со стороны и думала: «Почему мы не можем понять друг друга?» Слова были подобны холодным каплям дождя на плаще. Все, что мы сказа-

ли в этот вечер, делало невозможным самое простое: произнести несколько хороших слов. Простые и обычные слова показались бы сейчас ненужными, фальшивыми.

Я возвращалась домой пешком, вдоль реки. Я шла и старательно доказывала себе, что этот человек мне безразличен. Доказательство получалось логичное и точное, как геометрическая теорема.

Потом я стояла на мосту и думала, почему все так сложилось. Как легко доказать теорему и как трудно доказать любовь! Сквозь серую дымку дождя я смотрела на огни города и думала: «Они горят, и я их вижу; если они погаснут, я увижу, что их нет. Все просто. А как увидеть любовь?»

Очень трудно объяснить, что я тогда чувствовала. Я пытаюсь это сделать только для того, чтобы стало понятно дальнейшее.

Над рекой дул сильный ветер, я промерзла и побежала домой. Я долго ходила по комнате и, когда это стало невыносимым, начала разбирать свои книги.

Есть минуты, когда даже добрые люди становятся безжалостными. С холодной злостью смотрела я на знакомые с детства страницы. Так вам и надо, думала я. И вам, и вам, и всем! Меня смешило, что в каждую эпоху люди обязательно представляли себе вездесущие сигналы такими, какие были в то время на Земле. Изобрели радио — и думали, что поймают радиосигналы. Взлетели первые ракеты — начали говорить о прилетах чужих кораблей. Возникла квантовая оптика — стали ловить световые пучки... Все не так! Все неверно! Сигналы, если они есть, посланы цивилизацией, которая старше нас на миллиарды лет. Сигнальные цивилизации (это наш профессиональный термин) должны быть не просто более развитыми. Они всемогущи, они умеют делать все, что только не нарушает законов природы. Они пошлют не те едва слышимые сигналы, которые мы ловим на пороге чувствительности приборов, а сигналы колоссальной мощности. Сигналы, столь же яркие, как городские огни, на которые я смотрела с моста. Не увидит их только сле-

пой! Но таких сигналов мы не знаем. Либо их нет вообще, либо...

Тут я мгновенно забыла свою нелепую обиду на человечество. Вывод был ошеломляющий: сигналы перед нашими глазами, они примелькались, и мы их просто не замечаем!

...Это была сумасшедшая ночь. Я не спала ни минуты. Меня лихорадило от сознания, что открытие где-то рядом.

— Они горят, — повторяла я, — они видны всем. Если они погаснут, мы увидим, что их нет...

Под утро я устала и уже без всякого волнения смогла заново проследить весь ход мыслей. Сигнальные цивилизации далеко обогнали нас в развитии, но и для них не доступны сверхсветовые скорости. Они не будут летать в поисках разума. Они пошлют сигналы. И это будут не направленные сигналы, ибо неизвестно, куда их направлять, а что-то вроде призыва: «Слушайте все!» Такой сигнал должен автоматически «сработать» везде, где возможна высокоорганизованная жизнь. Скажем, на планетах, имеющих атмосферу. Значит, сигналы должны быть однотипными для Земли, Марса, Венеры. А главное — они будут длительными, эти сигналы. Они должны работать миллионы, даже десятки, сотни миллионов лет. Но что выстоит миллион лет?! За такой срок разрушатся и высочайшие горы...

В девять утра я начала эксперимент. Идея его была проста. Я нашла новый путь, а пройти по этому пути предстояло машине, серийной логической машине Р-10. Я запрограммировала задание, смысл которого был приблизительно таков.

Допустим, мы стали всемогущими. Решено послать сигналы на все планеты, где в принципе могут быть высшие формы жизни. В том числе — и на неведомые нам планеты. Сигналы должны длиться тысячи, миллионы лет. Они должны быть видимы всем хоть сколько-нибудь разумным существам.

Что это за сигналы?

Я пустила машину, а потом отнесла копию программы своим товарищам. У нас принято подвергать новые гипотезы самой разной критике. Мы испытыва-

ем новые идеи, как металл, который пойдет на ответственное сооружение. И еще: мы иногда смеемся.

Я вернулась в свою лабораторию. Машина работала. По показаниям контрольных приборов я видела, что машина поглощает все новую и новую информацию. По ее требованию информация передавалась из центральных хранилищ.

Мы не раз применяли такие машины для проверки своих гипотез. Машины никогда не смеялись. Но они вдребезги разбивали самые хитроумные идеи. Как-то мы подсчитали, что машине типа Р-10 нужно в среднем девять минут, чтобы вдребезги разнести очередную «поисково-ведческую» гипотезу...

Я смотрела на часы. В лабораторию набились все наши. И все смотрели на часы. Прошло сорок минут, машина работала, и мы видели, что она посылает все новые и новые запросы. Двенадцать минут она рылась в информационных архивах Международного астрофизического союза. Четыре минуты длился ее разговор с Пулковской обсерваторией. И вдруг полнейшая неожиданность: машина надолго связалась с отделом информации Киноархива. Не знаю, что искали там ее электронные собратья, но это длилось более трех часов.

Мы ждали. Кто-то догадался позвонить, чтобы нам принесли обед сюда, в лабораторию. Машина соединялась с самыми различными организациями. Было так, словно человек, захлебываясь от спешки, выпаливает вопросы.

В шесть вечера меня заставили уйти. Я прошла в библиотеку и легла на диван. Меня обещали разбудить через час. Когда я проснулась, было без пяти двенадцать. Я побежала к Р-10. Она работала. Мне сказали, что с девяти часов машина занимается обработкой данных по Марсу и Венере.

Мы сидели всю ночь. Почти непрерывно звонил телефон, нас спрашивали, но что мы могли ответить?.. Сигналами должно было оказаться нечто всем известное, обыденное. И мы понимали: не так легко будет переломить себя и по-новому взглянуть на то, что испокон веков считалось земным...

В восемь утра машина закончила работу. За ночь прилетели астрономы из Москвы, Мельбурна и Оттавы. Комната не могла вместить всех, и многие сидели в коридоре. Наш начальник подошел к буквопечатающему аппарату машины, нажал клавишу, и машина коротко отстучала:

— Полярные сияния.

Мы растерялись. Мысль о полярных сияниях появилась у нас еще вечером, но мы ее почему-то отбросили. Перебивая друг друга, мы сформулировали первый вопрос:

— Полярные сияния зависят от деятельности Солнца. Разве это не так?

«Да, — ответила машина. — Сигналы накладываются на идущий от Солнца поток корпускул. Для длительных сигналов целесообразнее использовать местную энергию. Сигнальный же характер полярных сияний проявляется в закономерном чередовании окраски».

Поднялся такой шум, что я ничего не могла разобрать. Машину засыпали десятками вопросов, но начальник сказал: «Не все сразу! Прежде всего нам надо знать, как именно... словом, как они меняют цвет сигналов».

Он запрограммировал вопрос, и машина ответила:

«Периодичность два с половиной года. Продолжительность полтора-два часа. Через каждые два с половиной года аналогичные сигналы наблюдаются и в полярных сияниях на Венере и Марсе. Лучшее описание — по данным Диони, Исландия, 1865 год».

Через час нам привезли микрофильм, снятый с книги Диони. Вот как описывалось там это сияние:

«Нас известили о начинающемся северном сиянии, с возможной поспешностью мы вскарабкались на самую возвышенную кровлю форта. Близ зенита разгоралось белое облако. Сначала осветились края облака, затем оно вспыхнуло, и белый свет залил небо и море. Изящные снасти нашей шхуны отчетливо выделялись на этом северном свете. Потом сквозь белый свет, который достиг полного блеска, мы увидели красную ленту. Это не дуга, так часто описывавшаяся, но гиб-

кая световая лента, имеющая хорошо очерченные границы. Внезапно красная лента погасла. Небо представилось нам опустевшим, но вскоре лента зажглась вновь. Затем красный свет ленты сменился желтым. Эти светлые полосы, казалось, были согласованы друг с другом. В течение получаса они появлялись и гасли через равные промежутки времени, после чего мы увидели шоп цветных лучей. Длинные светящиеся столбы поднимались вверх, смелые и быстрые. Они были различного цвета — от желтого до пурпурного, от красного до изумрудного. И, словно завершая это величественное зрелище, на небе вновь возникли красные и желтые чередующиеся ленты. Сияние приняло обычный для этих мест вид...»

Мы долго молчали. Потом кто-то сказал:

— Две красные ленты и одна желтая... Это нечто вроде вызова. А сама передача — световые вспышки в виде столбов.

Да, здесь угадывалось какое-то отличие от обычных форм сияния... Но нам так и не удалось найти подробного описания или цветных кинокадров основной части «передачи». К северному сиянию привыкли, и никому не приходило в голову вести киносъемки непрерывно в течение двух-трех лет. Мы обнаружили лишь несколько кадров, в которые случайно попали сигналы «вызова». Это была лента старой кинохроники, запечатлевшая морской бой в полярной ночи. Сквозь ослепительные вспышки оружейных залпов и раскаленные прочерки трассирующих снарядов трудно было разглядеть призывные сигналы космоса...

* * *

Сейчас, когда я пишу эти строки, воздух дрожит от гула моторов. На станцию «Северный полюс» пришла новая группа винтолетов. Если гипотеза верна, через семнадцать дней мы увидим «сигнальное» сияние. Наблюдения будут вестись на полюсах Земли, Марса, Венеры. Мы работаем днем и ночью, как работала когда-то, не зная отдыха, антенна за моим окном.

Быть может, миллионы лет загорались эти огни.

Они светили над безлюдной Землей. Светили полцерному человеку. Светили в тот день, когда в Риме, по площади Цветов, вели на казнь Джордано Бруно...

Вновь и вновь над Землей вспыхивали звездные сигналы. Их заслонял слепящий огонь войны. На них смотрели равнодушные глаза людей, поглощенных своими заботами. Но те, кто их посылал, были терпеливы. Они знали, что наступит время, когда сигналы будут замечены. Это время пришло!

Мы услышим голоса, летящие по вселенной...

ВЗРЫВ

Картина далекого детства навсегда осталась в моей памяти. Высокие холмы обрываются к воде, как будто срезанные гигантским ножом. Широкая река делает крутой поворот. Берега — дикие, каменистые, угрюмые. Сразу за ними — вековая тайга.

Наша лодка поднимается по Верхней Тунгуске, как здесь зовут Ангара. На перекатах только я да рулевой остаемся в лодке. Все остальные, в том числе и отец, тянут бечеву. Сейчас пережат позади, и все сидят на веслах. Я устроился на носу и чувствую себя капитаном. Это гребная галера. Мы отважные корсары и идем открывать новые земли за океаном. Эй, кто там на марсе? Что за остров на горизонте? Плавающий остров? Свистать всех наверх!

Плоты один за другим показываются из-за темной, закрывающей полнеба скалы. Слышится блеяние.

Капитану понятно все. Это проклятые рабовладельцы ограбили туземцев, погрузили на плавающий остров их скот, далеко в трюмы спрятали закованных в цепи невольников. Я понимаю, что именно сейчас нас ждет благородный морской подвиг. Смелее, корсары, вперед!

Тихое-тихое утро. Небо безоблачно. Где-то далеко глухо урчит пройденный вчера пережат.

Я проклиная всплески от наших весел. Ненавистные рабовладельцы ничего не должны заметить. Галера быстро приближается к плавающему острову. Ясно видны овцы и избушка на переднем плоту. Но я-то знаю, что это рубка рабовладельца-капитана. Вот он, бородастый, в синей рубахе, выходит и смотрит на не-

бо. Потягивается, чешет спину, потом зевает и крестит рот.

Тише, гребцы! Мы должны подойти к противнику незаметно и сразу ринуться на abordаж. Где-то слева шуршит белка на лиственнице. Если он оглянется... Тихо-тихо. Еле слышны всплески от весел.

И вдруг страшный удар. Я втягиваю голову в плечи. Я плачу, я забыл о корсарах. Плотовщик от неожиданности падает на колени. Рот у него открыт. Овцы блеют, шарахаются к самой воде. И тут второй удар, более страшный. В избушке порывисто открывается дверь, но никто не показывается из нее. Слева, за тайгой, что-то сверкает, споря с солнцем.

— Держись! — еле доносится до меня голос отца.

Воздух — густой, тяжелый — толчком обрушивается на меня. Я хватаюсь за борт, кричу. Мне вторит испуганное, иступленное блеяние овец.

Я вижу, как овцы одна за другой падают в воду, словно их кто-то гигантской ладонью сметает с плота. По реке идет высокий вал. Вижу, как переламывается пустой уже плот. Бревна его встают торчком. Нашу лодку подбрасывает, словно на пережате. Я захлебываюсь и ловлю ртом воздух. Разжимаются пальцы, и, весь мокрый, я скатываюсь на дно. Там вода и пахнет рыбой. И сразу становится тихо-тихо...

Далекое воспоминание, страница из детского дневника. Вот она, затрепанная коричневая тетрадка, помещенная 1908 годом. В этом году, тридцать восемь лет назад, в двухстах пятидесяти километрах от места, где сметены были в воду овцы с плотов, в тайгу упал страшный метеорит, о котором так много писали и рассказывали в Сибири.

Зачем понадобилась мне старая тетрадка? Почему завален мой стол статьями и книгами о Тунгусском метеорите?

Полный полемического задора и дискуссионной злости, беру я лист бумаги. Да, я готов спорить!

Рассказ, пожалуй, лучше всего начать с того часа, когда утром 3 апреля 1945 года ко мне в редакцию журнала вошли два человека. Каждый из них положил на мой стол по объемистому конверту.

Тот, что поставил на пол большой чемодан, был гигантского роста. Он сильно сутулился; казалось, будто он что-то рассматривал на полу. У него были крупные, словно рубленные черты лица и сросшиеся лохматые брови, из-под которых мечтательно смотрели светло-голубые глаза.

Его спутник сидел на стуле прямо, не касаясь спинки. Он был строен, чуть узок в плечах. Роговые очки придавали его немного скуластому лицу выражение учености.

— В-в-вашему журналу, — начал гигант, заикаясь на букве «в», — несомненно, интересен научный спор, который будет разрешен во время этнографической экспедиции Академии наук в район Подкаменной Тунгуски.

— Если научным спором можно назвать утверждение и отрицание бессмыслицы, — едко заметил человек в очках.

— Я просил бы в-в-вас, — свирепо обернулся к нему первый посетитель, — не прерывать меня. В-в-вот два конверта, — он уже говорил со мной, как бы не замечая своего противника, — здесь изложены две гипотезы по поводу странной этнографической загадки.

— Не познакомите ли вы меня с сутью спора? — попросил я.

— Знаете ли в-в-вы, что на севере Сибири, в-в-восточнее Енисея, живет народность эвенки? Люди нашего с вами возраста — конечно, я не говорю о специалистах — иногда неправильно именуют их тунгусами. Эвенки принадлежат к желтой расе и родственны маньчжурам. Когда-то они были народом в-в-воинственных завоевателей, в-в-вторгшимся в Среднюю Азию. Однако они были в-в-вытеснены оттуда якутами и, отступив на север, укрылись в непроходимых сибирских лесах. Правда, и якутам пришлось уступить завоеванную ими цветущую страну более сильным завоевателям — монголам — и тоже уйти в сибирские леса и тундры, где они стали соседями эвенков...

— Сергей Антонович настолько любит этнографию, что никогда не упускает случая пропагандиро-

вать эту науку, — прервал второй посетитель. — Я позволю себе сформулировать его мысль: ни эвенки, ни якуты не являются коренными жителями Сибири.

Он говорил подчеркнуто серьезно, но чуть опущенные уголки губ придавали его рту выражение едва уловимой насмешливости.

— И докажу! В-в-вот! Не угодно ли в-в-взглянуть?

Сергей Антонович, кряхтя, согнулся, раскрыл свой огромный чемодан и, к величайшему моему изумлению, извлек оттуда какую-то пожелтевшую исполинскую кость. Он торжественно положил ее передо мной на стол, поверх рукописей.

— Что это? — невольно отодвинулся я.

— Берцовая кость коренных обитателей Сибири, — с пафосом возвестил Сергей Антонович, глядя на меня счастливыми прозрачными глазами.

— Коренных обитателей? — Я с ужасом попытался представить себе обладателей таких костей.

— Это берцовая кость слона, — рассеял мои предположения Сергей Антонович.

— В Сибири? Слоны? Может быть, мамонты? — усомнился я.

— Слоны! Эту кость нашел я. В-в-в прошлом году я исколесил таежные болота и гривы, лагал по неприступным сопкам в поисках кое-каких ископаемых и, представьте себе, наткнулся на шестьдесят пятую градусе северной широты и сто четвертом градусе восточной долготы на кладбище слонов. Плоскогорье, как гигантским забором, было отгорожено хребтами со в-в-всех сторон. Жаркое сибирское солнце растопило слой в-в-вечной мерзлоты и... В-в-вот, закурите, — протянул он портсигар.

— Спасибо, не курю.

— Я сам отпилил заготовку для этого портсигара от настоящего слоновьего бивня — прямого, а не загнутого, как у мамонта. Три недели я не ел ничего, кроме пучек. Это растения из семейства зонтичных, из которых куда лучше делать дудочки, чем съедобные блюда. Я оставил на кладбище слонов в-в-всю провизию, лишь бы донести эту кость и часть клыка.

— Надо заметить, что Сергей Антонович самоотверженно нагрузил на себя эти любопытные кости, помимо образцов найденной им ценной руды. Любитель-этнограф, любитель-палеонтолог, он в добавление ко всему этому еще и профессионал геолог.

Гигант взглянул на своего спутника.

— Изучению обнаженных геологических слоев привело меня к заключению, что до последнего ледникового периода в-в-в Сибири был жаркий африканский климат. Там в-в-водились слоны, тигры...

— И естественно, жили африканские негры, как готов утверждать наш почтенный ученый.

— Да, я уверен, что племя коренных доледниковых сибиряков существовало и, может быть, даже имеет потомков, доживших до нашего времени. В глуши сибирской тайги ходят легенды о неведомой чернокожей женщине...

— Есть красочное описание встречи с ней ангарца-зверобоя Кулешова, — сказал спутник Сергея Антоновича, снимая очки, чтобы протереть их платком. Прищурившись, он посмотрел поверх меня куда-то вдаль. — Благодаря любезной настойчивости Сергея Антоновича я выучил его наизусть. Представьте себе: рев, грохот и черные мокрые камни среди белой пены. Почти шаркая о нависшие с берегов скалы, меж камней скачет шитик — лодка с поднятыми бортами. Высоким носом шитик зарывается в пену. В нем стоит чернокожая женщина. На ней только набедренная повязка. По ветру трепещут, развеваются длинные рыжие волосы. Кулешов готов был поклясться, что она гигантского роста. Лица ее он не рассмотрел. Охотник говорил, что она шаманит у стариков. Через перекал переправлялась она без одежды, вероятно боясь в ней утонуть.

— Я утверждаю, что это последний потомок доледниковых сибиряков, — положил на стол свой огромный кулак Сергей Антонович. — В-в-в этой женщине сказалась отдаленнейшая наследственность!

— Вот любопытный образчик вывода, не основанного ни на каких посылках. Здравомыслящий человек вряд ли придет к такому заключению.

— Я посмотрю, как в-в-вы будете это отрицать там, на месте, — рассердился Сергей Антонович. — Я твердо решил в-в-взять в-в-вас с собой, хоть в-в-вы и кабинетный физик, а экспедиция укомплектована. В-в-возьму как своего противника и не дам вам заниматься никакими электронами и нейтронами, пока в-в-вы не сдадитесь и не признаете моей гипотезы!

Физик улыбнулся.

— Мы просим вас вскрыть конверты, — обратился он ко мне, — и опубликовать ту гипотезу, о которой мы телеграфируем вам из Вановары, куда отправляется комплексная экспедиция Академии наук под начальством Сергея Антоновича.

— А мне телеграфно сообщите в-в-в В-в-вановару, какой глубокомысленный бред был запечатан в-в-в конверте этим почтенным, в-в-все отрицающим ученым, — пробурчал Сергей Антонович.

Мои враждующие посетители распрощались со мной и ушли. Я задумался, глядя на оставленные конверты. Какой странный повод заставил так спорить столь различных специалистов?

— Простите, — услышал я негромкий голос.

Подняв глаза, я увидел перед собой физика. На этот раз его глаза были серьезны, губы крепко сжаты.

— Я вернулся предупредить вас, что в моем конверте действительно изложена одна гипотеза, но она не имеет никакого отношения к чернокожей женщине, что, безусловно, поразило бы милейшего Сергея Антоновича, не допускающего отвлечения своей экспедиции посторонними вопросами.

— О чем же ваша гипотеза? — спросил я, заинтересованный. Дело становилось все более и более запутанным.

— О Тунгусском метеорите.

— Который упал близ фактории Вановара в 1908 году?

— Который никогда не падал на землю.

Не падал на землю?! Перед моим мысленным взором прошли плоты с торчащими бревнами, овцы в воде, зарево над тайгой.

— Вы были на месте падения? — едва сдержался я.

— Специальной экспедиции туда нет, и я пользуюсь случайным расхождением во взглядах с Сергеем Антоновичем в вопросе о его чернокожей, чтобы побывать в этом районе. Я хочу установить там некоторые детали и тогда пришлю вам телеграмму с просьбой вскрыть конверт. Вы поймете, что надо будет сделать.

Все это он говорил совершенно безапелляционно, с обезоруживающей убежденностью в тоне.

— У меня есть основания пока никому не сообщать о своей гипотезе. Сергея Антоновича я познакомлю с ней по прибытии на место, а то он еще, чего доброго, откажется взять меня с собой. А теперь прощайте!

Необычайный доверитель, протянув руку, назвал свою фамилию. Еще раз я был поражен в этот день. Передо мной стоял известный физик-теоретик.

Я смотрел на закрывшуюся за ним дверь, пытаюсь осознать все происшедшее. История с чернокожей как-то сама собой отодвинулась на второй план. Меня волновала совершенно новая мысль.

Метеорита не было?!

Ну нет, я не сдамся так скоро! О метеорите я готов поспорить. Я сам видел зарево катастрофы, и я испытал воздушную волну гигантского взрыва.

Решение было принято. Я опровергну гипотезу знаменитого физика, какова бы она ни была.

Я перерыл свои архивы. Все, что касалось Тунгусского метеорита, когда-то специально интересовавшего меня, было извлечено. Вот запись из детского дневника. А вот выдержка из доклада Л. А. Кулика, сделанного им Академии наук в 1939 году:

«Факт падения тунгусского метеорита около 7 часов утра 30 июня 1908 года отмечен многочисленными наблюдателями... при ясном небе и тихой погоде... После падения болида на тайгу над ней взвился к небу «столб огня», а затем раздались три-четыре мощных удара, слышимых за тысячу километров. Воздушной волной в реках воду гнало «валом», людей и животных сбивало с ног, опрокидывало заборы, повреждало

постройки, сотрясало дома, качало в них висячие предметы».

Как можно говорить, что метеорита не было, мой уважаемый друг? Или вы считаете заслуживающей доверия лишь свою проникновенную интуицию, а не показания многих тысяч людей?

Так вот вам объективные записи бесчувственных приборов.

Воздушная волна была дважды зарегистрирована в Лондоне, то есть обошла вокруг земного шара два раза. Сейсмические станции в Иркутске, Тбилиси, Ташкенте и Иене отметили земную волну с эпицентром в районе Подкаменной Тунгуски.

Что вы можете противопоставить этому, мой дорогой ученый физик? Воплощенную самонадеянность?

Я перебирал многочисленные свидетельства очевидцев:

«Огненный шар ярче солнца... огненный столб, видимый за сотни километров... черные клубы дыма, превратившиеся в тучу на безоблачном небе... стекла, лопнувшие на расстоянии 400 километров...»

Это показания корреспондентской сети Иркутской сейсмической станции. Ими нельзя пренебрегать.

Прочтем дальше: «разметало чумы...», «кончало оленей...», «ворочало лес...» — это звонки.

«Пахнуло таким жаром, что будто рубашка загорелась...» — это рабочий в Вановаре. Даже близ Канска, за 800 километров от места падения, машинист, испугавшись грохота, остановил поезд.

Нет, мой почтенный, но легкомысленный оппонент, время, когда Л. А. Кулику приходилось доказывать факт падения Тунгусского метеорита, прошло. С тех пор под руководством Кулика было проведено несколько экспедиций в район падения. Там были обнаружены следы поразительных разрушений: на площади в восемь тысяч квадратных километров вся тайга сплошь повалена. Вы сами увидите в районе гигантского бурелома, как стволы исполинских лиственниц лежат, показывая своими вывороченными корнями в одно место — в центр феноменальной катастрофы. Вы убедитесь, что в радиусе тридцати километров не

устояло ни одно дерево, а в радиусе шестидесяти километров деревья вырваны на всех возвышенностях. Чтобы вызвать взрыв такой силы, нужны сотни тысяч тонн сильнеешего взрывчатого вещества.

Откуда могла появиться такая энергия? Я отвечаю вам, мой дорогой ученый, как вы сами ответили бы школьнику. Метеорит, сохранивший свою космическую скорость, ударился о землю, а вся его кинетическая энергия мгновенно перешла в тепло, что равносильно взрыву.

Обращу ваше внимание, мой ученый противник, никогда не бывавший в районе тунгусской катастрофы, что для местных жителей падение метеорита не представлялось спорным. Старожилы уверяют, что к месту, где спустился с неба бог огня и грома — ослепительный Огды, — не приближался ни один местный житель. Оно проклято шаманами. Лишь в первые дни после катастрофы эвенки ходили по бурелому, разыскивали обугленные туши своих оленей, погибшие лабазы с имуществом, видели фонтан воды, бивший три дня из-под земли. Пожалуй, лучше будет, мой безусловно заслуживающий лучшей участи оппонент, если вы вместо гипотезы, отрицающей очевидное явление, придумаете объяснение этому запоздалому страху местных жителей.

И наконец, последнее необъясненное явление, свидетельствующее о связи его с каким-то космическим событием.

Передо мной на столе лежит фотография, сделанная в Наровчате Пензенской губернии местным учителем. Снимок сделан ночью, через сутки после падения метеорита в Сибири. А вот ссылка на находившегося той ночью в Ташкентской обсерватории, ныне здравствующего академика Фесенкова, тщетно ждавшего темноты для начала своих наблюдений.

После падения метеорита во всем районе, от бассейна реки Енисея до Атлантического океана, даже в Средней Азии и на Черном море, стояли белые ночи, позволявшие читать в полночь. На высоте 83 километров были замечены светящиеся серебристые облака неизвестного происхождения.

Вот вам задача, тщетно жаждущий лавров, дорогой мой оппонент. Объясните связь этого явления с упавшим метеоритом, а не компрометируйте себя спором по поводу установленного факта падения болида.

Словом, я был заражен полемическим азартом, и язвительная блестящая статья, громившая неизвестную мне антиметеоритную гипотезу, была уже в моей чернильнице. Мне не терпелось узнать содержание переданного мне конверта.

Но нетерпение мое, равно как и полемический азарт, было подвергнуто большому испытанию.

С 3 апреля по 14 августа 1945 года я не получал от своих доверителей никаких известий.

Сообщение о пресловутой атомной бомбе, сброшенной на Японию, отвлекло меня от всяких мыслей о физике, геологе-этнографе и об их гипотезах. Но внезапно полученная телеграмма представила мне все в новом, неожиданном свете:

«Сравните сейсмические данные сотрясений 30 июня 1908 года и второго американского подарка. Ищу негритянку».

Сомнений быть не могло. Мой физик имеет в виду атомную бомбу, о которой услышал по радио.

Не скрою, я пережил ощущение, будто меня ударили туго набитым мешком по голове.

С волнением принялся я изучать подробности взрыва опытной бомбы в штате Нью-Мексико, когда с места испарившейся стальной башни к небу поднялся огненный столб, видимый за многие десятки километров.

С пристальным вниманием читал я описания взрывов бомб в Хиросиме и Нагасаки, где ослепительный огненный шар газов, раскаленных до температуры в двадцать миллионов градусов, взвился вверх, оставив за собой столб пламени, который прожег облака и расплылся по небу гигантским грибом черного дыма.

Руки у меня дрожали, когда я сравнивал эти подробности с так тщательно подготовленными мной для дискуссии описаниями взрыва в тунгусской тайге.

Чтобы проверить себя, я побывал в Академии наук, в Комитете по метеоритам и получил дополнительный

материал о «тунгусском падении». Там же я узнал о гибели ученого секретаря по метеоритам Л. А. Кулика.

Замечательный русский ученый в первые же дни Отечественной войны добровольно встал на защиту Родины с такой же верой в победу, какой удивлял мир при розысках Тунгусского метеорита.

Как жаль, что этот выдающийся ученый не смог завершить свои исследования сопоставлением сейсмических записей падения метеорита и атомного взрыва!

Это сопоставление с помощью института Академии наук удалось сделать мне.

Характерной особенностью сейсмических записей тунгусского сотрясения была регистрация двух толчков с тем большим расстоянием во времени друг от друга, чем дальше от места взрыва отстояла сейсмическая станция. Второй толчок в районе регистрирующей станции вызывался воздушной волной, распространявшейся от места взрыва с меньшей скоростью, чем волны земной коры.

Анализ показаний сейсмографов, отметивших атомный взрыв в Нагасаки, с поражающей точностью воспроизвел картину записей 30 июня 1908 года.

Неужели же в 1908 году мы имели дело с первым атомным взрывом на земле?

Передо мной лежал конверт, скрывавший мысли русского теоретика-физика, гениально угадавшего атомную реакцию в тунгусской катастрофе. Я едва мог побороть раздражение против ученого, разыскивающего в тайге какую-то рыжую негритянку вместо опубликования своих идей.

Я считал колебания излишними и вскрыл конверт.

Я оказался прав в своих запоздалых догадках. Мой теоретик предвидел все.

Да, тунгусская катастрофа, во время которой взрывы были слышны за тысячу километров, катастрофа, вызвавшая небывалые разрушения и настоящее землетрясение, породившая ослепительный шар газов, раскаленных до температуры в десятки миллионов градусов, который превратился затем при стремительном взлете в огненный столб, видимый за 400 километ-

ров, — эта катастрофа могла быть только атомным взрывом.

Физик предполагал, что влетевший в земную атмосферу метеорит, вес которого он определял не в тысячи или сотни тысяч тонн, как прежде считали, а максимально в сто килограммов, был не железо-никелевым, как обычные металлические метеориты, а урановым или состоял из еще более тяжелых трансурановых элементов, неизвестных на земле.

Огромная температура, которую метеорит, пролетая через земную атмосферу, приобрел, была одним из условий, при которых стала возможной реакция атомного распада. Метеорит взорвался, выделив свою атомную энергию, так и не коснувшись земли. Все его вещество, в основной массе, мгновенно испарилось, а частично превратилось в энергию, равную энергии взрыва двухсот тысяч тонн взрывчатого вещества.

Вот почему не смог найти Л. А. Кулик каких-либо остатков метеорита или его воронки. В центре бурелома оказалось лишь болото, образовавшееся над слоем вечной мерзлоты.

Наконец и два последних загадочных момента тунгусской катастрофы объясняла гипотеза моего физика. Таинственные серебристые облака, освещавшие ночью землю, были остатками радиоактивного вещества метеорита, выброшенными силой взрыва до слоя Хевисайда. Радиоактивный распад их атомов вызывал свечением окружающего воздуха.

Суеверный страх эвенков, бродивших в первые дни после катастрофы по бурелому, вызван «гневом» бога огня и грома, ослепительного Огды. Все, кто побывал в проклятом месте, погибали от страшной и непонятной болезни, поражавшей язвами внутренние органы человека. Бедные эвенки оказались жертвами атомного распада мельчайших остатков вещества метеорита, рассыпанных в районе катастрофы.

Какими блестящими и тонкими казались теперь соображения моего физика! Ведь именно с этим явлением столкнулись японцы в Нагасаки после взрыва атомной бомбы. Распад оставшихся атомов мог продолжаться в течение полутора-двух месяцев.

Очередной номер журнала со статьей физика был уже сверстан и направлен в типографию, когда я получил от него телеграмму из Вановары:

«Гипотеза неверна. Уничтожьте рукопись. Видел чернокожую. Возвращаюсь».

Я был вне себя от изумления. Теперь я снова не хотел верить физике. Постороннему человеку трудно было бы себе представить, до чего мне было жаль расстаться с гипотезой об атомном взрыве метеорита! Я не мог... не мог заставить себя позвонить в типографию.

Но как же быть? Какие опровержения мог найти физик на месте катастрофы?

Принесли еще одну телеграмму — опять из Вановары. Трясущимися пальцами развернул я бланк:

«Последний отпрыск доледниковых чернокожих сибириков найден. Публикуйте».

С недоумением разглядывал я телеграмму Сергея Антоновича. Какое же влияние могла оказать доледниковая негритянка на гипотезу атомного взрыва?

Наконец я сообразил, что все равно ничего понять не смогу. Мне казалось, что тут надо иметь воображение по меньшей мере помешанного.

Махнув рукой на все догадки, я вскрыл конверт Сергея Антоновича и стал прикидывать, сможет ли его статья заменить по объему другую, уже заверстанную в очередной номер журнала.

Я так увлекся этим профессиональным занятием, что не заметил, как дверь ко мне открылась и в комнату вошел бородатый человек в грязных сапогах, оставлявших следы на паркете. Расстегнув меховую куртку и сняв шапку-ушанку, он протянул мне руку, как старому знакомому.

Выжидательно посмотрев на незнакомца, я вежливо поздоровался и... вдруг узнал его.

Борода! Отсутствующие очки! Однако как же мог он так скоро оказаться в Москве? Ведь я только что получил его телеграмму!

Я взял в руки телеграфный бланк и посмотрел на дату отправления: ну, конечно... задержка.

— Рукопись... — тяжело дыша, видимо от быстрой ходьбы, проговорил физик. — Я снесил с аэродрома...

— Журнал еще в типографии, — ответил я. — Но где же ваши очки?

Физик махнул рукой.

— Они разбились.

Он молча уселся в кресло, вытащил из кармана кисет, свернул заглубившими коричневыми пальцами сигарку и достал кремень с трутом.

Я протянул ему электрическую зажигалку. Посетитель смущенно улыбнулся.

— Одичал, — односложно сказал он, прикуривая.

Мы сидели молча друг против друга. Я рассматривал моего преобразившегося ученого. Он казался теперь шире в плечах. Здоровый загар и окладистая курчавая борода делали его похожим на доброго молодца. Затягиваясь крепкой махоркой, он мечтательно смотрел в угол. По-видимому, мыслями он был далеко.

— Рассказывать? — односложно спросил он.

— Конечно же!

— Вы знаете, — он посмотрел на меня и вдруг, близоруко прищурившись, превратился в уже знакомого мне теоретика-физика, — до сих пор я никогда не спал в лесу, а болото видел только из окна вагона. Я не выносил комаров и поэтому избегал ездить на дачу. Ванну я принимал два раза в неделю, — он сбросил пепел на пол, потом усмехнулся и виновато посмотрел на меня. — Словом, одичал, — совсем непоследовательно добавил он.

Мы помолчали.

— Вас, вероятно, интересует, зачем же, собственно, я ездил на место тунгусской катастрофы, что там искал? Я начну с пейзажа тайги в месте бурелома. Представьте себе: в центре катастрофы, вокруг болота, прежде считавшегося основным кратером, где, казалось бы, действие взрыва было страшнее всего, лес остался на корню. Деревья, поваленные всюду в радиусе тридцати километров, там не лежат, а стоят. Из земли торчат огромные палки, между которыми уже пророс молодняк... Это бывшие деревья, корни их давно мертвы, на них нет коры, она обгорела, обвалилась. Все ветви срезаны чудовищным вихрем, а на месте каждого сучка — уголек. Телеграфные столбы — вот

на что походят эти деревья. Они могли устоять только под вертикальным ураганом, под ураганом, упавшим сверху.

Мой посетитель сильно затаился и с видимым наслаждением выпустил в потолок густой клуб дыма. Я не прерывал его молчанья.

— Именно эта картина и нужна была мне, — продолжал он, с видимым трудом отрываясь от своих мыслей. — Почему устоял этот мертвый лес? Только потому, что деревья в том месте были перпендикулярны к взрывной волне. А это могло быть лишь в том случае, если взрыв произошел над землей! Раскаленные до температуры в сотни тысяч градусов газы, пролетев с огромной скоростью, срезали ветви, ожгли деревья и создали за собой разрежение. Холодный воздух, устремившийся следом, загасил пожар.

— Так, значит, взрыв все же произошел? — почти обрадовался я.

— Да, на высоте пяти километров над землей. Я подсчитал эту высоту, исходя из размеров площади мертвого леса, оставшегося на корню. Простая геометрическая задача.

— Никакого взрыва, кроме атомного, не могло произойти, если метеорит не коснулся земли. Теперь я готов защищать вашу гипотезу даже против вас самого! — с жаром воскликнул я.

— Это интересно, — сказал физик. — Научная дуэль? Защищайтесь!

И вот мы приступили к довольно странной дискуссии. Физик все-таки оказался моим оппонентом, но... мы поменялись с ним ролями.

— Отчего же мог произойти мгновенный взрыв метеорита? — спросил физик, затаиваясь махрой.

— Надо полагать, что он был из изотопа урана с атомным весом 235, способного к так называемой «цепной реакции».

— Правильно. Или изотоп урана, или плутоний. Теперь опишите картину цепной реакции, и вы сразу увидите слабость защищаемой вами гипотезы.

— Охотно вам отвечу. Если атомы изотопа урана бомбардировать нейтронами, электрически не заря-

женными элементарными частицами вещества, то при попадании нейтрона ядро будет делиться на две части, высвобождая огромную энергию и выбрасывая, кроме того, три нейтрона, которые разбивают соседние атомы, в свою очередь выбрасывающие по три нейтрона. Вот вам картина непрерывной цепной реакции, которая не прекратится, пока все атомы урана не распадутся.

— Совершенно правильно. Но ответьте, что требуется для начала атомной реакции?

— Разбить первый атом, попасть нейтроном в первое ядро.

— Вот именно. Но здесь-то и кроется ловушка. Вы знаете, как далеко друг от друга расположены атомы? Расстояния между ними подобны расстояниям между планетами, если приравнять величину планет и атомных ядер. Попробуйте попасть несущейся кометой, какой можно себе представить нейтрон, в одну из планет — в ядро. Физики подсчитали, через какую толщу урана надо пропустить нейтрон, чтобы по теории вероятности он попал в атомное ядро. У некоторых получилось, что для начала цепной реакции так называемая критическая масса урана должна быть не менее восьмидесяти тонн.

— Неправда! Вы прибегаете к нечестным приемам. Так думали прежде. Для начала атомной реакции достаточно, чтобы урана было только один килограмм.

— Согласен, — улыбнулся физик. — Вы бьете меня моим же оружием, но вы не разгадали еще моего коварства. Да, действительно, в полукилограмме урана цепная реакция под влиянием потока нейтронов начаться не может, в килограмме урана она начнется обязательно. Что же из этого следует? Как будто уже ясно, что падавший метеорит должен был иметь изотопа урана 235 не менее килограмма.

— Совершенно верно.

— Но, с другой стороны, нужны летящие нейтроны. Скажите мне, отчего же началась реакция? Откуда взялись потоки нейтронов?

— А космические лучи? В них ведь встречаются летящие нейтроны?

— Вы подготовлены, безусловно подготовлены, —

усмехнулся физик. — Но ведь такой поток нейтронов существовал и за пределами атмосферы. Почему же метеорит не взорвался там?

— Решающую роль здесь должна играть скорость нейтронов. Ведь при большой скорости нейтроны могут не причинить ядру вреда, подобно пуле, пробивающей доску, но не роняющей ее.

— Замечательно верно, — ударил физик кулаком по столу. — Для начала цепной реакции летящие нейтроны надо притормозить.

— Если на изменение скорости нейтронов повлияла высокая температура, нагревание метеорита при прохождении им атмосферы...

— Попались! — закричал физик, вскакивая. — Вы разбиты, дорогой оппонент! Нам уже приходится делать допущения. «Если»! Никаких «если»! Я не знаю, как сделали американцы свою атомную бомбу, но мы с вами сейчас невольно разобрали весь ее «механизм». Да, самое трудное, что американцам пришлось сделать, — это затормозить нейтроны. И в этом они вряд ли обошлись без тяжелой воды.

— Верно, американцы действительно применили тяжелую воду. Как, однако, вы были хорошо осведомлены, находясь в тайге!

— Я был осведомлен не в тайге, а до тайги. Я ведь теоретик. Теоретики должны видеть решение задачи за много лет вперед, за много лет до того, как она будет решена практиками, эмпириками. Так вот, в нашем с вами метеорите трудно себе представить наличие тормозящих элементов, включающихся в нужный момент. Ведь в американской атомной бомбе они были сделаны искусственно.

— Так что же вы искали в тунгусской тайге, если до отъезда туда знали, что атомного взрыва произойти не могло? — вскочил я, готовый броситься на физика, с такой убийственной холодностью опровергавшего самого себя.

— Я искал то, что могло быть там до катастрофы. Для этого я с миноискателем в руках исходил немало километров, в кровь искусанный проклятым гнусом.

— С миноискателем?

Я уставился на физика и несколько мгновений молчал соображая.

— Что же, найденное там изменило ваши взгляды? — почти закричал я. — Неужели вы подозреваете, что взрыв был подготовлен искусственно, что мы имели дело с атомной бомбой?

— Нет, — спокойно возразил физик. — Этот атомный взрыв не был вызван бомбой.

— Я сдаюсь. Я больше не могу. Значит, все не верно... Вы ничего не нашли?

— Да, в течение полутора месяцев пребывания в районе бурелома я не нашел ни метеоритного кратера, ни осколков метеорита или его следов, ни каких-либо металлических предметов, которые могли быть там до взрыва. Это и не мудрено. Взрывом даже деревья вдавливалось в торф на четыре метра. Но...

— Что «но»? Не мучайте... Рассказывайте, что же вы нашли?

— Не прерывайте. Я расскажу вам все по порядку.

— Я сдаюсь. Я уже не оппонент, но лишь слушатель. Разрешите только записывать.

— Как я уже вам сказал, поиски с миноискателем не дали мне ничего. Так как экспедиция только начала работу, то я вынужден был после поисков в районе бурелома отправиться вместе с Сергеем Антоповичем, по нашему с ним уговору, разыскивать его дурацкую чернокожую женщину, жившую где-то в тайге. Конечно, я тогда не думал, что она сможет опровергнуть мою первоначальную гипотезу. Мы достали проводников-эвенков и верхом на их оленях двинулись в путь.

— Атомный взрыв и чернокожая! Какая связь? — простонал я.

— Вы обещали не прерывать.

— Но должна же быть у вас, ученых, логика. Ну хорошо, молчу.

— Около двух месяцев гонились мы без устали за последней из племени чернокожих сибиряков. Мы узнали, что она была жива и чуть ли не шаманила где-то. Мы добрались до нее, наконец, в стойбище, около местечка с удивительно звучным названием «Таимба»,

неожиданным и для русского и для эвенкийского языка. Привел нас туда эвенк, Илья Потапович Лючеткан, когда-то служивший проводником самому Кулику, несмотря на шаманские запреты. Это был глубокий старик с коричневым морщинистым лицом и настолько узкими глазами, что они казались почти всегда закрытыми.

«Шаманша — непонятный человек, — говорил он, поглаживая голый подбородок. — Сорок или меньше лет назад она пришла в род Хурхангырь. Порченная была».

Мы знали, что порченными эвенки называют одинаково и контуженных и безумных.

«Говорить не могла, — продолжал Илья Потапович, — кричала. Много кричала. Ничего не помнила. Умела лечить. Одними глазами умела лечить. Стала шаманшей. Много лет ни с кем не говорила. Непонятный человек. Черный человек. Не наш человек, но шаман... шаман... Здесь еще много старых эвенков. Русского царя давно нет. Купца, что у эвенков мех отбирал, давно нет, а у них все еще шаман есть. Другие эвенки давно шамана прогнали. Учителя взяли. Лесную газету писать будем. А здесь все еще шаманша есть. Зачем ее смотреть? Лучше охотничью артель покажу. Так вам говорю, бае».

Сергей Антонович всячески допытывался, из какого рода сама шаманша, надеясь узнать ее родословную. Но удалось нам установить только то, что до появления ее в роде Хурхангырь о ней никто ничего не знал. Возможно, что языка и памяти она лишилась во время метеоритной катастрофы, по-видимому, окончательно не справившись от этого и до наших дней.

Лючеткан говорил:

«Эвенков при царе заставили креститься, а они шаманов оставили, не хотели царя слушаться. Все черной гагаре, рыбе тайменю да медведю поклонялись. А теперь шаманов прогнали».

Он же рассказал нам, что у черной шаманши были свои странные обряды.

Она шаманила ранним утром, когда восходит утренняя звезда.

Лючеткан разбудил нас с Сергеем Антоновичем. Мы тихо встали и вышли из чума. Рассыпанные в небе звезды казались мне осколками какой-то атомной катастрофы вселенной.

В тайге нет опушек или полян. В тайге есть только болото.

Конический чум шаманши стоял у самой топи. Сплошная стена лиственниц отступала, и были видны более низкие звезды.

Лючеткан остановил нас.

«Здесь стоять надо, бае».

Мы видели, как из чума вышла высокая, статная фигура, а следом за ней три эвенкийские старушки, казавшиеся совсем маленькими по сравнению с шаманшей. Процессия гуськом двинулась по топкому болоту.

«Бери шесты, бае. Провалишься — держать будет. Стороной пойдем, если смотреть хочешь и смеяться хочешь».

Словно канатоходцы, с шестами наперевес, шли мы по живому, вздыхающему под ногами болоту, а кочки справа и слева шевелились, будто готовые прыгнуть. Даже кусты и молодые деревья раскачивались, цеплялись за шесты и, казалось, старались заслонить путь.

Мы повернули за поросль молодняка и остановились. Над черной уступчатой линией леса, окруженная маленьким орсом, сияла утренняя звезда.

Шаманша и ее спутницы стояли посредине болота с поднятыми руками. Потом я услышал низкую длинную ноту. И словно в ответ ей, прозвучало далекое лесное эхо, повторившее ноту на какой-то многооктавной высоте. Потом эхо, звуча уже громче, продолжило странную, неясную мелодию. Я понял, что это пела она, шаманша.

Так начался этот непередаваемый дуэт голоса с лесным эхом, причем часто они звучали одновременно, сливаясь в непонятной, но околдовывающей гармонии.

Песня кончилась. Я не хотел, не мог двигаться.

«Это доисторическая песнь. Моя гипотеза о доледниковых людях в-в-верна», — восторженно прошептал Сергей Антонович.

Днем мы сидели в чуме шаманши. Нас привел ту-

да Илья Иванович Хурхангырь, сморщенный старик без единого волоска на лице. Даже ресниц и бровей не было у лесного жителя, не знающего пыли.

На шаманше была сильно поношенная эвенкийская парка, украшенная цветными тряпочками и ленточками. Глаза ее были скрыты надвинутой на лоб меховой шапкой, а нос и рот закутаны драной шалью, словно от мороза.

Мы сидели в темном чуме на полу, на вонючих шкурах.

— Зачем пришел? Больной? — спросила шаманша низким бархатым голосом. И я сразу вспомнил утреннюю песнь на болоте.

Подчиняясь безотчетному порыву, я пододвинулся к чернокожей шаманше и сказал ей:

«Слушай, бае шаманша. Ты слышала про Москву? Там много каменных чумов. Мы там построили большой шитик. Этот шитик летать может. Лучше птиц, до самых звезд летать может, — я показал рукой вверх. — Я вернусь в Москву, а потом полечу в этом шитике на небо. На утреннюю звезду полечу, которой ты песни поешь».

Шаманша наклонилась ко мне. Кажется, понимала.

«Полечу на шитике на небо, — горячо продолжал я. — Хочешь, возьму тебя с собой, на утреннюю звезду?»

Шаманша смотрела на меня совсем синими испуганными глазами.

В чуме стояла мертвая тишина. Чье-то напряженно-внимательное лицо смотрело на меня из темноты. Вдруг я увидел, как шаманша стала медленно оседать, потом скорчилась и упала на шкуру. Вцепившись в нее зубами, она стала кататься по земле. Из ее горла вырывались клочковатые звуки — не то рыдания, не то непонятные, неведомые слова.

«Ай, бае, бае, — закричал тонким голосом старик Хунхангырь, — что наделал, бае!.. Нехорошо делал, бае. Очень плохо... Иди, скорей иди, бае, отсюда. Священный звезда, а ты говорил — плохо...»

«Разве можно задевать их в-в-верования? Что в-в-вы наделали?» — злобно шептал Сергей Антонович.

Мы поспешно вышли из чума. С непривычной быстротой бросился Лючеткан за оленями.

Я не знаю более миролюбивых, кротких людей, чем эвенкийские лесные охотники, но сейчас я не узнавал их. Мы уезжали из стойбища, провожаемые угрюмыми, враждебными взглядами.

«В-в-вы сорвали этнографическую экспедицию Академии наук», — с трудом выговорил Сергей Антонович, придерживая своего оленя, чтобы поравняться со мной.

«Гипотеза ваша не верна», — буркнул я и ударил каблукками своего рогатого коня.

Мы поссорились с Сергеем Антоновичем и все три дня, прошедшие в ожидании гидроплана из Красноярска, не разговаривали с ним ни разу.

Один только Лючеткан был доволен.

«Молодец, бае, — смеялся он, и глаза его превращались в две поперечные морщины на коричневом лице. — Хорошо показал, что шаманша только порченный человек. В эвенкийскую лесную газету писать буду. Пускай все лесные люди знают!»

Странные мысли бродили у меня в голове. Прилежавший гидроплан от быстрого течения уже подрагивал на чалках. Уже шитик доставил меня к самолету, но я все не мог оторвать взгляда от противоположного берега Подкаменной Тунгуски.

За обрывистой, будто топором срезанной скалой река как бы нехотя поворачивала направо, туда... к месту атомной катастрофы. По на противоположном берегу ничего нельзя было разглядеть, кроме раскачивающихся верхушек уже пожелтевших и покрытых ранним снегом лиственниц.

Вдруг я заметил над обрывом подпрыгивающую фигуру. Послышались выстрелы. Какой-то человек, а рядом с ним сохатый!

Эвенк на лосе!

Ни минуты не колеблясь, я сел в шитик, чтобы плыть на ту сторону. Неожиданно в лодку тяжело прыгнул грузный Сергей Антонович. Ангарец налег на весла. Эвенк перестал стрелять и стал спускаться к реке.

Шитик с разбегу почти наполовину выскочил на камни.

«Бае, бае! — закричал эвенк. — Скорей, бае! Времени бирда хок. Совсем нету. Шаманша помирает. Велела тебя привести. Что-то говорить хочет».

Впервые со времени пашей ссоры с Сергеем Антоновичем мы посмотрели друг на друга.

Через минуту лось мчал нас по первому снегу, между обрывистым берегом и золотисто-серой стеной тайги.

Когда-то я слышал, что лоси бегают со скоростью восьмидесяти километров в час. Но ощущать это самому, судорожно держась за сани, чтобы не вылететь... Видеть пронсящие, слитые в мутную стену пожелтевшие лиственницы... Щуриться от летящего в глаза снега... Нет, я не могу вам передать ощущения этой необыкновенной гонки по тайге! Эвенк неистовствовал. Он погонял сохатого диким криком и свистом. Комья снега били в лицо, словно была пурга. От ураганного ветра прихватывало то одну, то другую щеку.

Вот и стойбище. Я протираю запорошенные глаза. Очки разбиты во время дикой гонки.

Толпа эвенков ждет нас. Впереди старик Хурхай-гырь.

«Скорее, скорей, бае! Времени совсем мало!» — По щекам его одна за другой катятся крупные слезы.

Бежим к чуму. Женщины расступаются перед нами.

В чуме светло. Трещат смолистые факелы. Посреди на каком-то подобии стола или высокого лежа распростерто чье-то тело.

Невольно я вздрогнул и схватил Сергея Антоновича за руку. Окаменевшая в предсмертном величии, перед нами, почти не прикрытая, лежала прекрасная статуя, словно отлитая из чугуна. Незнакомые пропорции смолисто-черного лица были неожиданны и ни с чем не сравнимы. Да и сравнишь ли красоту скалы из дикого черного камня с величественной красотой греческого храма!

Мужественная энергия и затаенная горечь создали изгиб этих с болью сжатых женственных губ. В напряженном усилии поднялись у тонкой переносицы стро-

гие брови. Странные выпуклости надбровных дуг делали застывшее лицо чужим, незнакомым, никогда не встречавшимся.

Рассыпанные по плечам волосы отливали одновременно и медью и серебром.

«Неужели умерла?»

Сергей Антонович наклонился, стал слушать сердце.

«Не бьется», — испуганно сказал он.

Ресницы черной богини вздрогнули. Сергей Антонович отскочил.

«У нее сердце в-в-в правой стороне!» — прошептал он.

Вокруг стояли склонившиеся старухи. Одна из них подошла к нам.

«Бае, она уже не будет говорить. Помирать будет. Передать велела. Лететь на утреннюю звезду будешь, обязательно с собой возьми...»

Старушка заплакала.

Черная статуя лежала неподвижно, словно и в самом деле была отлита из чугуна.

Мы тихо вышли из чума. Надо было уезжать. Ледостав мог сковать реку, гидроплану — не подняться в воздух. Ну вот... и я здесь.

Физик кончил. Он встал и, видимо в волнении, прошелся по комнате.

— Она умерла? — нерешительно спросил я.

— Я вернусь, обязательно вернусь еще раз в тайгу, — сказал мой посетитель, — и, может быть... увижу ее.

К его гипотезе об атомном взрыве метеорита мы уже дописали несколько фраз, когда в комнату вошел тоже обросший бородой Сергей Антонович.

— Опубликовали мою гипотезу о чернокожей? — спросил он, даже не здороваясь от волнения.

Вместо ответа я протянул ему страницу, на которой я начал писать под диктовку физика. Ошеломленный Сергей Антонович несколько минут сидел молча, не выпуская из рук бумажки. Потом встал, попросил у меня свою статью и методически разорвал ее на аккуратные мелкие кусочки.

Я еще раз перечитал добавление к гипотезе физи-

ка: «Не исключена возможность, что взрыв произошел не в урановом метеорите, а в межпланетном корабле, использовавшем атомную энергию. Приземлившись в верховьях Подкаменной Тунгуски путешественники могли разойтись для обследования окружающей тайги, когда с их кораблем произошла какая-то авария. Подброшенный на высоту пяти километров, он взорвался. При этом реакция постепенного выделения атомной энергии перешла в реакцию мгновенного распада урана или другого радиоактивного топлива, имевшегося на корабле в количестве, достаточном для его вращения на неизвестную планету».

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО

ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА СТРАННУЮ ПЛАНЕТУ

1

Косматый пылающий диск Ближайшей стремительно погружался за желто-красные зазубрины горизонта. Вместе с ней торопливо ныряли за скалы окрестные звезды. Вся ослепительная пиротехника заката длилась не более минуты.

Разведывательная ракета стояла наклонясь на каменистой площадке. В кабине было тихо и темно, хотелось молчать.

Вверху засветился овальный экран, на нем показалось продолговатое лицо телеметриста Патрика Лоу, дежурного по звездолету:

— Капитан, они снова что-то передавали о нас! Удалось записать. Смотрите замедленную запись.

Экран мигнул. Появились расплывчатые светлые линии, затем замелькали быстрые и яркие, как вспышки, изображения.

Вот их ракета-разведчик медленно планирует в магнитном поле над поверхностью Странной планеты. Абстрактный пейзаж из разноцветных скал и камней. Вот они — Антон Новак и Сандро Рид — неуклюже выпрыгивают из люка ракеты на площадку. Бредут, опустив головы в прозрачных шлемах, наклоняются, что-то поднимают... Вот они приникли к скале в нелепо напряженных позах.

— Все это было и так и не так, — заметил Сандро.

Вот именно. Они высадились, ходили, наклонялись, приникали к скалам — все это было. Однако изображения, появлявшиеся сейчас на экране, не были ни фотографиями с натуры, ни кинорепортажем — все выглядело гораздо выразительнее, яснее. И еще было

в них нечто — то нечто, которое заставляет человека подолгу смотреть на самую заурядную по сюжету картину талантливого художника; в жизни прошел бы и не заметил, а так — стоишь, смотришь, вникаешь. Это нечто — точная обобщающая мысль, которую художник потому и изображает красками и линиями, что ее не выразить словами... И в изображениях на экране тоже была какая-то мысль. Но какая?

— Антон, а прошлый раз, в первую экспедицию, было такое?

— Нет.

Новак вздрогнул от неожиданности: из экрана к нему приблизилось его же лицо, упрощенно, но точно схваченное немногими штрихами. Это был гениальный живой рисунок, и Антону стало не по себе, когда он всмотрелся в него. «О природа, неужели у меня такие недобрые глаза, такая безапелляционно властная складка губ!.. Самодур какой-то, а не капитан звездолета». Лицо вдруг перекосила ужасная гримаса, потом оно паралитически задергалось, сократилось, как мяч, на который наступили ногой. Исчезло. Сандро хихикнул.

— Это вчера, когда их «ракетка» пикировала на меня, — пробормотал Новак. — Ага, вот и ты!

Сандро Рид на экране разыграл такую пантомиму, на какую Сандро Рид в жизни не был способен. Карикатурно шаржированные штрихами движения губ, глаз, подбородка, повороты головы рассказали все о нем: и что он еще молод, невинен и восторжен, что он преклоняется перед капитаном и побаивается его, и что он скучает по Земле, по дому, и что он болезненно самолюбив и мнителен. «Комики, тоже мне! Какое их дело...» — хмуро проворчал Рид.

На экране тем временем появилась целая группа: Максим Лихо, Патрик и Юлий Торрена. Мелькнули какие-то упрощенные разноцветные изображения. Потом в овал экрана влетела «ракетка»: были отчетливо видны четыре острых выступа на носу, частые ребристые полосы вдоль фюзеляжа, оканчивающегося тремя плоскими треугольными выростами, похожими на стабилизатор бомбы крупного калибра.

— Я не понимаю одного: зачем у «ракеток» хвос-

товое оперение? — молвил Сандро. — Ведь планета не имеет атмосферы.

— Хм... а все остальное ты понимаешь?

— Смотри!

«Ракетка» исчезла. На экране появилось сосредоточенное лицо Ло Вея — без шлема и на фоне звезд. Экран погас.

— Но Ло Вей ведь не опускался на планету! Как же?..

— Значит, они наблюдают и за «Фотоном». Он не раз выходил наружу, проверял рефлекторы.

— Наблюдаают... — протянул Сандро. — Что же они сами-то прячутся? Боятся нас, что ли? Где они? И какие они?

Телепередача и слова Рида снова всколыхнули в душе Новака досаду и самые недобрые чувства к этой Странной, будь она неладна, планете. Он уже ясно понимал, что и вторая экспедиция сюда закончится, как и первая, ничем. Ну, будет масса мелких наблюдений, которые обрадуют гравитологов, магнитологов и космологов... но главная цель, из-за которой летели — контакт с иной цивилизацией, — не будет достигнута. «Не желают они вступать с нами в контакт — что тут поделаешь? А на Земле нас ждут... Как стыдно будет вернуться ни с чем!..»

— Скажи, Анти, а в первую экспедицию здесь тоже были «ракетки»?

— Нет. Были «самолетики» — с крыльями. Они летали, опираясь на атмосферу. Была здесь довольно плотная атмосфера из инертных газов. Красивейшие переливчатые закаты и восходы Ближайшей были — красно-зеленые, радужные... Когда мы прилетели сюда второй раз, я подумал, что мы ошиблись планетой! Но других-то планет здесь и близко не найдешь.

— Действительно... за каких-то двадцать лет не стало атмосферы. А ведь инертные газы не могли соединиться с почвой. Да и почвы, как таковой, здесь нет... Скажи, а вы тот раз не пробовали изловить или посадить эти «самолетики»?

Новак помолчал, сказал глухо:

— Пробовали. Из-за этой затеи погибли Петр Слав-

ский и Анна. Они поднялись на вертолете развесить металлическую сеть. «Самолетки» разбили винт вертолета.

— Антон... скажи: а ты очень любил ее? Анну?

Новак пошевелился в темноте, но ничего не ответил. Сандро смутился.

— Извини, Антон, я глупо спросил... Я ведь еще никого не любил, понимаешь?

В этот момент полуторачасовая ночь кончилась. Ближайшая резво вылетела из-за горизонта. Через задний иллюминатор в кабину хлынул прожекторный снап света. Он резкими, без полутонов контурами извлек из темноты две сидящие в креслах фигуры. Одна — массивная, с крепко посаженной между широких плеч головой; короткие седые волосы сверкнули мраморными завитками, глаза запали в черные тени от надбровий. Вторая — юношески стройная — откинулась в кресле; свет ясно очертил профиль: крутой лоб, тонкий нос с небольшой горбинкой, мягкие черты губ и подбородка.

Лучи выхватили из тьмы часть пульта с приборами, стойку с полупрозрачными, нескладными, как манекены, скафандрами, квадрат обитой кожей стены.

Скалы за окном вспыхнули, засверкали гранями.

Новак встал.

— Собирайся, Малыш, пойдем, — он усмехнулся, — искать следы материальной культуры. Черт побери, если есть культура, должны же быть какие-то следы! — Он наклонился, поворошил черные кудри на голове Рида. — Эх, ты! Разве можно любить «не очень»?

Планета вращалась так стремительно, что у экватора центробежная сила почти уравнивала тяготение. В средних широтах, где опустилась разведочная ракета, быстрое вращение Странной вызывало своеобразный гравитационный эффект: стоять на поверхности можно было, только наклонясь градусов под пятьдесят в сторону полюса. Новак и Рид карабкались по скалистой равнине, вздыбившейся горой до горизонта, рассматривали в бинокли окрестности, ворошили камни под ногами и в выемках.

Этот поиск был безуспешен, как и предыдущие. Здесь — как и более чем в пятидесяти иных исследованных ими местах планеты — не обнаруживалось никаких намеков на «культурный слой»: на скопления мусора, обломков и обломков, которые неизбежно остаются там, где хоть ненадолго располагаются разумные существа.

В шлеме Новака мигнул красный вызов звездолета.

— Капитан! — послышался певучий голос Ло Вей. — У нас возникла идея... Вы слышите?

— Слышу. Так что же?

— На частотах, на которых передают эти существа, транслировать им не тесты Комиссии по контактам, а просто подробную информацию о нас. Так сказать: позвольте представиться...

— Отлично! — включился в разговор Сандро. — Действительно, что им эти египетские треугольники и таблица Менделеева в двоичной системе!

— Что же вы намереваетесь передать? — спросил Новак.

— О Солнечной системе, о ее месте в Галактике, о Земле, о наших городах и сооружениях... Торрена предлагает: наше искусство. Конечно, все придется передавать в ускоренном ритме, иначе не воспримут.

— Так... — Новак в раздумье остановился, ухватившись за край скалы. — Информацию о солнечной системе и ее координаты сообщать не надо. Остальное — попробуйте.

— Почему, Антон? — снова вмешался Сандро. — Надо же им знать, откуда мы взялись.

— Нет, пока не надо! — отрезал Новак. — Доверие должно быть обоюдным... Ло, об искусстве тоже не стоит, не поймут.

— Ясно, капитан. У меня все. Буду монтировать кинограмму.

Ло Вей отключился. Некоторое время Новак и Рид молча пробирались по наклонной скалистой пустыне. Звезды были вверху и под ногами — бесконечная звездная пропасть, за неровную степу которой они цеплялись. Созвездия перемещались так ощутимо быст-

ро, что это вызывало головокружение. Длинный сверкающий корпус «Фотона-2», неподвижно висевший в вышине, казался единственной надежной точкой в пространстве.

Новак оглянулся на Сандро, увидел капельки пота на его лице.

— Привал, Малыш!

— Уф-ф... воистину: Странная планета. Где «верх», где «низ» не разберешь! — Сандро опустился рядом, начал устраиваться поудобнее, но замер. — Антон, «ракетки»! На северо-западе.

Капитан поднял голову:

— Вижу.

Невысоко над северной частью горизонта среди звезд появились маленькие серебристые капли. Их движение было похоже на огромные плавные прыжки: они то падали к поверхности планеты, то, не долетев, снова резко взмывали вверх и вперед. «Ракетки» описывали над равниной правильный круг.

— И все-таки в них нет живых существ, — как бы продолжая давний спор, сказал Сандро. — Никакое живое существо не перенесет такие ускорения. Смотри, что делает!

Одна «ракетка» отделилась от улетевшей стаи и мчалась к ним бесшумной серебристой тенью. Вот она внезапно, будто ударившись о невидимую преграду, остановилась, повисла в пространстве; начала падать со все возрастающей скоростью на острые зубья скал... Потом произошло нечто, похожее на бесшумный выстрел: «ракетка» взмыла в высоту, описала там петлю — и снова начала падать.

— Не иначе как ищет нас.

— Да... — Новак следил за «ракеткой» исподлобья, раздумывал: «Ну, попытаться? Иначе ведь так и улетим ни с чем...» Он нажал кнопку вызова звездолета. — «Фотон-2»! «Фотон-2»!

— Зачем?! — встревожился Сандро. — Она нас запеленгует!

— Ничего. Поиграем с ней в пятнашки... «Фотон-2»!

— Слышу вас, капитан!

— Патрик? Включите систему радиопомех, держите нас под ее прицелом. По моему сигналу пошлете луч на нас.

— Хорошо.

...«Ракетка» пикировала прямо на них — беззвучная и ослепительная, как молния перед ударом грома. Сердце Сандро сжалось в тоске, ему захотелось закрыть глаза, упасть наземь или побежать неизвестно куда; он еле сдержался. Серебристая капля выростала так стремительно, что глаза не успевали улавливать подробности. Но в неуловимое мгновение, оставшееся ей, чтобы не врезаться в скалы, она затормозила и повисла в пустоте. От сильного удара магнитного поля искривился горизонт и контуры ближних утесов раскалились добела и тотчас потемнели, остыв, какие-то металлические брызги. «Ракетка» кувыркнулась, сделала горку... Новак и Рид одновременно выдохнули воздух из легких.

— Ну и локаторы у этого устройства! — восхитился Сандро. — Куда нашим!

— Патрик! — снова радировал Новак. — Переключите систему помех на управление от моих биотоков. И установите максимальную энергию луча.

— Готово! — тотчас доложили из звездолета.

...Темно-сизую косую стену дождя над степью кто-то раскалывал белыми извилистыми молниями. Пятилетний мальчуган бежал босиком по скользкой траве, по жидкой грязи, по лужам, кричал и не слышал собственного голоса в грохоте бури. Дождь стегал тугими струями по лицу и плечам. Но вот совсем рядом завесу дождя проколола слепящая сине-белая точка — молния, направленная прямо в него! В нестерпимом ужасе мальчик шлепнулся в грязь, зажал уши...

Это воспоминание из глубокого детства мелькнуло в сознании Новака, когда «ракетка» пикировала на них второй раз. Он напряг волю, сосредоточился. «Не пропустить нужный момент... и не засопить». «Ракетка» была уже в десятке метров над скалами. «Сейчас начнет тормозить». Сознание Антопа материализовалось в одной непроизнесенной команде: «Луч!»

Система помех ответила сразу. Навстречу «ракет-

ке» метнулся мощный хаос радиоволн — он отозвался в наушниках разведчиков скрежетом и воем. На ничтожную долю секунды «ракетка» потеряла управляемость и врезалась в камни. Без звука содрогнулась почва. Сверкнув в пологих лучах заходящей Ближайшей метнулись во все стороны осколки «ракетки», смешались с лавиной камней, устремились «вниз», в сторону экватора.

Новак вскочил, едва не потерял равновесия.

— Скорее! — бросил он Сандро. — До темноты надо найти хоть несколько кусков!

Эту скоротечную ночь они провели в экспресс-лаборатории ракеты. Новак рассматривал поверхность осколков «ракетки» в микроскоп, водил по ним острыми электрических щупов, смотрел показания осциллографов. Сандро сначала помогал ему, сделал спектральный анализ вещества «ракетки» — получилась комбинация почти всех элементов менделеевской таблицы; потом, сморенный усталостью, задремал в мягком кресле.

...Коричневые шестигранные ячейки, прослойки белого и красного металла, вкрапления желтых прозрачных кристалликов, серые прожилки какого-то минерала — все это образовывало сложную, но, несомненно, не произвольную структуру. Новак снова и снова рассматривал ее в микроскоп — и то верил, то пугался зревшей в мозгу догадки. «Вот оно что! Вот оно как... И оно тоже успело пережить за последние миллисекунды страх смерти, отчаяние, боль. Жажда жизни, страх смерти — это, пожалуй, единственное, что роднит нас с ним и. Роднит — и разделяет».

Бело-розовая Ближайшая снова взлетела в черное небо. Новак поднял покрасневшие от напряженного всматривания глаза на дремавшего Сандро, тронул его за плечо:

— Переходи в кабину, закрепись. Улетаем.

— Уже?! Нам еще полагается шесть часов работать.

— Да, уже. Мы с тобой убили живое существо. Причем, похоже, более высокоорганизованное, чем мы, люди.

— Как?! — Сандро широко раскрыл глаза. — Неужели в «ракетке»?..

— Нет, не в «ракетке», — перебил Новак. — Не в «ракетке», а — хм, нам бы следовало понять это раньше! — сами «ракетки» живые существа. И иных на этой планете нет...

За стеклом иллюминатора быстро, как светлячки, ползли звезды. Сверкали, нагромождаясь к полюсу в гористую стену, скалы. Из-за горизонта невидалье вылетела «ракетка» и помчалась «вниз» пологими многокилометровыми прыжками.

— Почему «мы с тобой убили»? — глядя в сторону, неуверенно пробормотал Сандро. — Я же не знал, что ты сделаешь это...

Новак удивленно глянул на него, но промолчал.

2

Ло Вей и Патрик просматривали смонтированную кинограмму.

...Земля на экране была такой, какой ее видят возвращающиеся из рейса астронавты: большой шар, укутанный голубой вуалью атмосферы, сквозь нее смутно обозначаются пестрые пятна континентов и островов в сине-сером пространстве океана; белые наплывы льдов на полюсах и, будто продолжение их, белые пятнышки туч и айсбергов. Контур материков расширялись, наполнялись подробностями: коричневыми ветвистыми хребтами, сине-зелеными лесными массивами, голубыми пятнами и линиями рек и озер. Горизонт опрокинулся чашей с зыбкими туманными краями. Внизу стремительно проносятся тонкие серые линии автострад, скопления игрушечно маленьких зданий, желтые прямоугольники пшеничных полей, обрывающийся скалами берег и — море, море без конца и края, в сине-зеленых бликах играющей под солнцем воды.

Вот телеглаз мчит их по улицам Астрограда — мимо куполов и стометровых мачт Радионавигационной станции, мимо отделанных разноцветным пластиком жилых домов, мимо гигантских ангаров, где собирают

новые ракеты. Всюду люди. Они работают в ангарах, идут по улицам, спорят, играют в мяч на площадках парка, купаются в открытых бассейнах. Рослые, хорошо сложенные, в простых одеждах, с веселыми или сосредоточенными лицами — они красивы. Эта красота лиц, тел, движений, осанки не была печальным даром природы, щедрой к одним и немилостивой к другим, — она пришла к людям как результат чистой, обеспеченной, одухотворенной трудом и творчеством жизни многих поколений. Шли обнявшись девушки по краю улицы. Под темнолистым дубом возлились в песке дети.

Город кончился. Теперь Ло и Патрик мчались между скал и строений по извилистому шоссе — к космодому, к жерлу пятисоткилометровой электромагнитной пушки, нацеленной в космос. Они снова поднялись в воздух и сейчас видели целиком блестящую металлическую струну, натянутую между Астроградом и высочайшей вершиной Гималаев — Джомолунгмой. Вот из жерла пушки в разреженное темно-синее пространство алюминиевой стрелой вылетела вереница сцепленных грузовых ракет...

Экран погас, кинограмма кончилась. Ло Вей и Патрик молча сидели в затемненной радиорубке звездолета, боясь хоть словом спугнуть ощущение Земли. В напряженной работе, в бесконечном потоке новых впечатлений астронавтам некогда было думать о Земле. Они сознательно отвыкали от мыслей о ней. Но сейчас Земля спокойно и властно позвала их — и они почувствовали тоску... Нет, никаким кондиционированием воздуха не заменить терпкий запах смолистой хвои и нагретых солнцем трав, никакие миллиарды космических километров, пройденных с околосветовой скоростью, не заменят улиц, по которым можно просто так идти — руки в карманы — и смотреть на прохожих; никогда мудрая красота приборов и машин не вытеснит из сердца человека расточительной, буйной и нежной, яркой и тонкой, тихой и грозной красоты земной природы.

— Эх, под дождь бы сейчас, — вздохнул Патрик. — Босиком по лужам, как в детстве. «Дождик, дождик, пуще — расти трава гуще!»

— А на лужах от капель пузыри выскакивают, — подхватил Ло. — Веселые такие. И лопаются...

— Ладно, хватит об этом, — сказал Патрик, сердясь на себя и на товарища. — Готовь телемонитор. Странно, что капитан не разрешил показать им весь наш участок неба. Осторожничают...

Пол радиорубки вдруг мягко дрогнул, будто уходя из-под ног: это электромагнитная катапульта «Фотона» приняла разведочную ракету с Новаком и Ридом.

— Что это они так рано? — удивился Патрик, отправляясь встречать.

Ло Вей настроил передатчик монитора на частоты «ракеток» и включил его. То, что при просмотре длилось полчаса, в ускоренной передаче заняло меньше минуты. Дипольные антенны «Фотона» распространили электромагнитные лучи во все стороны планеты. Ло Вей по многим наблюдениям знал, насколько быстрее счет времени и восприятие у существ Странной: чтобы улавливать их видеоинформацию, приходилось применять экраны с послесвечением, затягивать вспышки изображений на доли секунды. Он несколько раз повторил передачу кинограммы, потом переключился на прием: не удастся ли чего-нибудь поймать?

В радиорубке было сумеречно и покойно. Восемь телеэкранов слабо мерцали от помех. На стене светились два циферблата: земные часы, отсчитывавшие с учетом релятивистских поправок время Земли, и часы звездолета.

Десять минут спустя на крайнем левом экране вспыхнуло и пропало смутное изображение. Ло Вей насторожился, включил видеомagnetную запись. Изображение мелькнуло снова, на этот раз яснее: двое в скафандрах около темно-красной скалы, пикирующая на них «ракетка», потом какие-то абстрактные мелькания. Экран погас. Немного подождав, Ло выключил запись.

Всё последующее произошло ровно за те доли секунды, которые понадобились пальцам Ло Вей, чтобы дважды перебросить рычажок видеозаписи: сначала на «выкл.» и тотчас снова на «вкл.». Естественно, что на магнитной ленте ничего не зафиксировалось, и в со-

бытиях, которые вскоре последовали, Ло Вей руководствовался лишь субъективным впечатлением от увиденного.

Одновременно засветились два средних экрана. Изображения чередовались: будто двое переговаривались между собой. На левом экране вспыхнул упрощенный, без деталей, почти символический силуэт звездолета. На правом в ответ замелькали отрывочные кадры недавно переданной кинограммы: застывшие волны моря, улица Астрограда, лица людей, горы, ракеты, вылетающие из жерла электромагнитной пушки. Из-за послесвечения экрана кадры накладывались друг на друга, изображения причудливо переплетались. Ло Вей различал их лишь потому, что знал, что это... Второй экран ответил несколькими непонятными символами. Первый показал звездолет (на этот раз детально): из кормовых дюзов его вылетали столбы пламени. На втором появилось четкое изображение Астрограда и Радионавигационной станции; вспыхнув, оно вдруг завертелось в странном вихре. Будто скомканное, исчезло голубое небо, кучей бесформенных линий рассыпались матчи и купола станции, дома, деревья. Но прежде чем полностью стерлись земные очертания, через экран промчалась стайка «ракеток».

Оба экрана погасли — «диалог» двух существ окончился раньше, чем Ло включил запись. Он недоуменно размышлял над последними вспышками изображений. «Что это было? Накладка? А эти линии-изломы — будто трещины в стенах домов... И «ракетки» летели как будто над Землей. Померещилось? Или... что они имели в виду?»

Ло Вей дежурил у экранов еще несколько часов, досадуя на свою оплошность. Но ничего больше не увидел.

3

Как ни торопился Новак, но команде необходимо было объяснить причину преждевременного старта. Все собрались в общем зале. Антон показал осколки «ракетки», описал свои наблюдения.

— ...Мы столкнулись с кристаллической жизнью, понимаете? Именно столкнулись, потому что не были готовы к этой встрече. Слишком долго держалось на Земле самодовольное убеждение, что возможна лишь наша органическая жизнь, высшим проявлением которой являемся мы, люди; что, если доведется встретиться с разумными существами в иных мирах, они будут отличаться от нас лишь деталями: формой ушей или там размерами черепа... Наиболее радикальные умы допускали, что возможна высокоорганизованная жизнь на основе других химических элементов: германия или кремния вместо углерода, фтора или хлора вместо кислорода. Все предпринявшие экспедиции не могли ни подкрепить, ни опровергнуть это мнение, так как не удалось обнаружить сложные формы жизни ни на планетах солнечной системы, ни у других звезд. И когда мы во второй раз отправились сюда, на Странную, чтобы установить контакт с какими-то неизвестными, но, несомненно, разумными существами, мы представляли их себе подобными! Если бы не этот случай, то, возможно, мы и не поняли бы очевидное: эти «летательные аппараты», эти «ракетки» и есть живые существа. Странная планета — странная жизнь... По-видимому, она сродни не нам, а скорее тому, что создано руками и умом человека: электрическим двигателям, фотоэлементам, ракетам, электронным машинам на кристаллах...

Новак помолчал, раздумывая, потом продолжал:

— Я грубо объясняю себе различие между ними и нами так: мы растворы, они кристаллы. Мы «собранные» природой из клеток, которые есть не что иное, как сложные растворы сложных веществ в воде. Наша жизнь основана на воде, наши ткани на две трети состоят из нее. Они, «ракетки», состоят из сложных и простых кристаллов — металлических, полупроводниковых, диэлектрических.

— Словом, как роботы, — вставил Торрена.

— Совсем не как роботы, Юлий! В том-то и дело, что наши электронно-шарнирные роботы порождены умом и фантазией людей для своих целей, приспособлены к нашим движениям, к нашему быту... А «ракет-

ки» — продукт естественной эволюции кристаллической жизни...

— Даже так?! — иронически-недоверчиво промолвил Максим Лихо, немолодой рыжеволосый верзила с умными синими глазами — товарищ Новака по первой экспедиции.

— Именно так, иначе не объяснить, — повернулся к нему Антон. — Давайте рассуждать: жизнь, возникающая сама по себе, начинается на атомно-молекулярном уровне. То есть применительно к нам, с объединения белковых молекул в клетку, а применительно к ним — с кристаллической ячейки. В белковой ткани основным носителем энергии является ион. В кристаллах же электрон. И все непроходимое различие между этими двумя формами жизни — органической и кристаллической — определяется простым физическим фактом: при равных электрических зарядах ионы обладают в тысячи, в десятки и сотни тысяч большей массой, чем электроны. В нас все жизненные процессы — и нервные и мышечные — происходят благодаря перемещению и изменению энергии ионов и нейтральных молекул, благодаря обмену веществ. В кристаллических же существах нет и не может быть обмена веществ — только обмен электронной энергии. Нам, чтобы получить какой-то жалкий киловатт-час необходимой для деятельности энергии, надо добыть, съесть, переварить, разложить и выделить изрядное количество пищи. «Ракетки» же могут «питаться» непосредственно светом, теплом, колебаниями магнитного поля, как кристаллические термо- и фотоэлементы. Это с самого начала развития исключило у кристаллоидов потребности в мелких механических движениях органов — с помощью мышц ли, рычагов и шарниров ли, все равно...

— Словом, ты хочешь сказать, — Максим откинулся в кресле, — что неспроста в природе не было колеса. Колесу ни к чему быть колесом...

— Именно: колесо нужно было человеку... «Ракетки» запросто могут сосредоточивать в себе огромные заряды, огромную энергию и развивать поистине космические скорости движения. Но главное различие не в скоростях движения, а в скоростях внутренних про-

цессов. В нашем теле любой элементарный процесс ограничен скоростью перемещения ионов, поэтому скорость процессов у нас в организме не может быть больше скорости распространения звука в воде. Скорости же электронных процессов в «ракетках» ограничены лишь скоростью света. У них и счет времени иной и представления о мире иные. Все то, чего человек достиг после тысячелетий труда и поисков, естественным образом вошло в организм «ракеток»: электромагнитное движение, телевидение, радиолокация, космические скорости...

— Ах, черт! — хлопнул себя по колену Патрик. — И в самом деле! Теперь я понимаю, почему быстро движущиеся «ракетки» транслируют изображения не на той частоте, что при малой скорости — помните, мы головы-то ломали? Ведь они же учитывают поправки теории относительности! — Он даже вскочил. — Очень просто: они движутся со скоростью до двадцати километров в секунду, отсчет времени у них тоже в сотни тысяч раз более точный, чем у человека... Вот и получается. Но вы понимаете, что это значит! — Лоу обвел всех пальными глазами. — «Ракетки» в своем повседневном быту чувствуют и используют то, что мы едва можем представить: изменение ритма времени, сокращение длин, возрастание масс, искривление пространства. Наверно, вот так же они чувствуют волновые свойства частиц микромира?..

Юлий Торрена подался вперед в своем кресле, откинул ладонью черные волосы.

— Антон, но какая же это жизнь без обмена веществ? Разве это можно считать жизнью?

— Действительно, — сочувственно поддержал Максим, — ни поесть, ни выпить!

Все засмеялись. Слабость Торрены была хорошо известна — недаром он чаще других соглашался дежурить на кухне.

— Перестань, пожалуйста, — возмущенно зыркнул в его сторону Юлий. — Я серьезно.

— Почему же не жизнь? — пожал плечами Новак. — Они движутся, обмениваются информацией, развиваются.

— Развиваются ли?

— И очень стремительно, Юлий. В прошлую экспедицию мы видели не «ракеток», а «самолетики» — так они изменились за двадцать лет. Это, пожалуй, не меньший путь, чем от питекантропа до современного человека.

— Подождите, подождите, Антон. — Торрена в полемическом задоре поднялся на ноги. — Разумная жизнь должна быть созидательной. Где же то, что они создали? Ведь планета имеет дикий вид!

— Я думал об этом, — кивнул капитан. — Все объясняется просто: им, кристаллическим существам, не нужно это. Им не нужны здания и дороги, машины и приборы, потому что они сами мощнее и универсальнее любых машин, совершеннее и чувствительнее самых точных приборов. Они не проходили стадию машинной цивилизации и не будут ее проходить. Вместо того чтобы строить и совершенствовать машины и приборы, они совершенствуются сами...

— Но можно ли уверенно считать их разумными существами, если нет и следа их коллективной деятельности? — не сдавался Юлий. — Может, это еще «кристаллические звери»!

— Есть! — вмешался Максим Лихо. — Есть следы, хотя вряд ли это можно назвать созиданием. Исчезновение атмосферы Странной. Должно быть, она мешала им летать, наращивать скорости. «Ракетки» уничтожили ее — вот и все...

— Послушайте! — воскликнул Сандро и оглядел всех. Глаза и щеки его горели. — А ведь они должны быть практически бессмертными, эти разумные кристаллоиды! Во всяком случае, в своей системе отсчета. Смотрите: во-первых, условия существования для них нынче идеальны — вакуум, никакой атмосферы, никакой влаги и коррозии. Вероятность выхода из строя любой детали ничтожно мала, раз в год по нашему счету времени. Но наш год для них равноценен нескольким тысячелетиям полноценной жизни!.. Подумать только: за минуту они могут придумать, узнать и понять больше, чем я за месяц! Целая Ниагара мыс-

лей — и каких... Хотел бы я побыть «ракеткой» хоть несколько часов.

Антон с некоторым удивлением наблюдал за товарищами: как-то они слишком уж академически обсуждают проблему «ракеток». Неужели не понимают, чем эта проблема может обернуться для экспедиции? Впрочем, понятие «опасности», а тем более «опасности со стороны разумных существ» давно уже стало абстрактным для землян.

Торрена все не успокаивался:

— Но если они разумны, почему не общаются с нами? Почему не отвечают на наши сигналы, тесты, на кинограмму накопец?!

— Боюсь, что им понять нас несравнимо труднее, чем нам их, Юлий, — ответил Новак. — Стремительность движений и мышления «ракеток» так огромна, что наблюдать за нами им труднее, чем нам увидеть рост дерева. Помните: чтобы внимательно рассмотреть нас, «ракетки» пикировали?.. Кто знает, не принимают ли они за «живые существа» наш звездолет и развед-ракету, а не нас?

Максим Лихо сквозь прозрачную часть пола смотрел на Странную планету, смотрел по-новому: вот ты каким можешь быть, мир разумных существ! То место планеты, над которым висел звездолет, уходило в ночь. Извилистая, размытая рельефом граница света и тени захватывала все большую часть поверхности; черное пространство откусывало от планеты куски, как от краяхи. Только последние искорки — отражения от вершин самых высоких скал — еще теплились некоторое время в черноте. Дневная часть, играя резкими световыми переливами, отступала все дальше назад.

Максим поднял голову.

— Что ж, теперь все становится на места. Самое время исследовать!

— Нет, — сказал Новак, — сейчас самое время уносить ноги.

Дружные возгласы недоумения и возмущения были ответом на его слова.

— Спокойно, — Антон поднял руку. — Объясняю почему. Во-первых, мы узнали самое главное и самое

важное: здесь разумная кристаллическая жизнь. Это информация небывалой, без преувеличения, ни с чем, кроме разве тайны органической жизни, несравнимой ценности. Надо благополучно доставить ее на Землю. То, что мы сможем еще исследовать и понять, уже будет дополнением к этой информации, подробностями. Рисковать из-за них не стоит. А риск — и большой — есть в силу того печального обстоятельства, что мы... — он заметил невольный протестующий жест Сандро Рида, — хорошо... что я убил одну «ракетку». Сандри прав, они по-своему бессмертны, эти существа. Стало быть, каждая жизнь здесь имеет огромную ценность... да у них и нет иных ценностей.

— Так зачем же ты?.. — яростно вскинулся Максим. — Убить существо мыслящее, обладающее, возможно, большим разумом, чем мы... Этого нельзя было делать! Что они подумают о нас, людях Земли?

— Не забывай, что это все мы поняли уже после, — ответил Новак. — Все — и я тоже... Как бы там ни было, теперь надо поступать, исходя из обстоятельств.

— Но, может быть, они окажутся настолько умнее и выше нас, что поймут и простят нам... эту исследовательскую глупость? — сказал в пространство Максим.

Новаку не понравилась такая трактовка его опыта, но сейчас было не до мелких обид.

— Возможно, Макс, — сдержанно ответил он. — Но риск есть. А я с некоторых пор не люблю рисковать. Ты знаешь, с каких именно...

— Но вам все же следовало бы посоветоваться с нами, Антон, — хмуро заметил Патрик, — прежде чем осуществлять свою затею.

Остальные молчали.

— Бывают случаи, Патрик, когда нет времени устраивать собрания. Вот и сейчас... — Новак взглянул на часы, голос его стал твердым. — Объявляю предстартовую получасовую готовность. Всем занять места по расписанию!

...Первым заметил рой «ракеток» Сандро. «Фотон-2», набирая скорость, уже десятые сутки огибал по параболе Ближайшую, выходил на расчетную инерционную траекторию. Члены экипажа, прикованные к сиденьям перегрузкой, тяготились от вынужденного безделья и неподвижности. Сандро выбрал хорошее место — обсерваторию на корме — и наблюдал за звездами и туманностями. Он и заметил какое-то полупрозрачное пятно, частично заслонявшее уменьшающийся диск Ближайшей. Звездолет набрал скорость более сорока тысяч километров в секунду, но пятно не отставало, а, наоборот, приближалось. Слепящие вспышки антигелия, сгоравшего в дюзах, мешали как следует рассмотреть форму пятна.

Рид вызвал рубку управления:

— Антон! Надо остановить двигатели.

— ?! — На экране было видно, как Новак от изумления попытался приподняться в кресле. — В чем дело?!

— За нами летит какое-то тело.

Когда выключили двигатели, автоматически заработали два центробежных маховика на носу и корме звездолета. Они создавали противовращение огромной массы «Фотона» со скоростью десять оборотов в минуту: этого было достаточно, чтобы в жилой и рабочей частях корабля возникло нормальное центростремительное тяготение.

Небо за кормой стало казаться устремленным вдаль конусом из тонких светящихся окружностей, стремительно прочерчиваемых звездами. Диск Ближайшей описывал яркое огненное колесо. В этой головокружительно вращающейся вселенной трудно было что-либо разобрать. Новаку пришлось переключить маховики на обратный ход, чтобы приостановить вращение звездолета. Через полчаса небо приняло нормальный вид.

Пожалуй, это нельзя было назвать телом: в пространстве мчался плотный рой из нескольких десятков тысяч «ракеток»! «Ракетки» сновали внутри роя, а сам он то принимал форму шара, то вытягивался в эллип-

соид. Изнутри роя исходило яркое переменное свечение. Была ритмическая связь между пульсациями свечения, изменениями формы роя и его движением. Похоже было, что эти вспышки-импульсы толкают рой вперед, растягивают его в эллипсоид. Потом «ракетки» снова перераспределялись в шар.

Астронавты собрались в кормовой обсерватории и молча наблюдали за приближением роя. С каждым импульсом он вырастал в размерах.

— Интересно, как они движутся? — задумчиво проговорил Максим.

— Капитан, они догоняют нас! — всегда молчаливый и сдержанный, Ло Вей казался встревоженным. — Осталось десять-двенадцать тысяч километров. Не пора ли включить двигатели?

— Подождем еще. — Новак смотрел в окуляр.

...Когда между «Фотоном» и роем осталось не более тысячи километров, свечение в центре роя прекратилось. Он стал невидим в космической пустоте. Сандро включил радиотелескоп: на экране его появился неподвижно висящий в пространстве шар «ракеток».

— Кажется, они не собираются нападать на нас, — облегченно вздохнул Ло.

— Разумеется! Они отлично могли бы сделать это на Странной. «Ракетки» намереваются лететь за нами в солнечную систему, вот что! — Новак требовательно оглядел собравшихся. — Что вы думаете по этому поводу?

— Вот здорово! — Сандро был в восторге. — Вот это будет исчерпывающая информация о кристаллической жизни! Вот, мол, наши соседи по космосу, дорогие земляне. Прилетели в гости, просим любить и жаловать.

— Так... Вы что думаете, Патрик?

— По-моему, пусть летят. Нападать они на нас не собираются, это главное. Лететь долго, возможно, в пути наладим взаимопонимание...

— И в солнечной для них база найдется, — добавил Максим. — Меркурий. Там условия сходные со Странной. Все равно пропадает планета без дела... Я знаю, что тебя беспокоит, Антон. — Он посмотрел

на капитана. — Напрасно. Человечество достаточно сильно, чтобы справиться с ними в случае чего. Но я не верю, что дело дойдет до конфликта. Мыслящие существа всегда найдут способ понять друг друга.

Новак стиснул челюсти, но, ничего не ответив, повернулся к Ло Вею:

— Ваше мнение, Ло?

Этот ответил не сразу:

— Они не хотели с нами общаться, не пытались сообщить нам, что будут лететь за нами... Меня это настораживает... Я не верю, что они не могли передать нам информацию.

— Вы, Юлий?

— Ну... надо хотя бы выяснить, как они летят? Здесь ведь нет магнитных полей. Нет замкнутой конструкции, двигателей — а рой уже достиг скорости сорока тысяч километров в секунду. Может быть, они добывают энергию движения непосредственно из вакуума? Интересно, смогут ли они достичь околосветовых скоростей?

— А если смогут, тогда?..

— Тогда? Ну... не знаю. А вы что думаете, капитан?

— Мое мнение такое... — Новак помолчал и сказал, чеканя каждое слово. — Нам следует любыми путями отделаться от них.

5

...Новак и Ло Вей, выбиваясь из сил, тащили по коридору к входной камере электромагнитной катапульты контейнер со сжатым антигелием. Огромная масса этого небольшого цилиндра из нейтриума при каждом толчке вырывалась из рук, при неверном шаге заносила в сторону, норовила припечатать хрупкое человеческое тело к стене. «Фотон-2» летел с околосветовой скоростью, и сказывался эффект возрастания масс. От непосильного напряжения бешено колотилось сердце, дрожали руки.

Из-за наглухо запертой двери общего зала в коридор несся грохот и гневные крики: там были Сандро,

Максим, Торрена и Лоу. Люк входной камеры был близко, когда Антон опустил контейнер на пол, почувствовав, что иначе пальцы разожмутся сами. Он распрямился, глубоко вдохнул воздух. В этот момент крики в общем зале прекратились.

— Они, наверно, что-то задумали, — прислушавшись, сказал Ло Вей. — Советуются...

Новак нагнулся, ухватил край холодного цилиндра.

— Взяли!

И они, шатаясь из стороны в сторону, снова потащили его вперед.

...Сказанное тогда Антоном вызвало горячие возражения. Его поддержал только Ло Вей:

— Да, я тоже считаю, что мы приведем на Землю неизвестную опасность! — И он попытался пересказать то, что увидел на экранах.

Но (по-видимому, Ло и сам не был уверен в своих впечатлениях) рассказ получился сбивчивый и никого не убедил. Однако время не терпело, решили продолжить дискуссию в полете. Все разошлись по своим кабинам. Новак вернулся в рубку управления, включил двигатели.

Тогда он еще надеялся, что рой «ракеток» не выдержит соревнования в скорости.

Однако минули сороковые сутки разгона, скорость «Фотона» близилась к полусветовой, но рой не отставал. Гигантскими прыжками-вспышками он настигал звездолет, как только тот удалялся от него на несколько тысяч километров. Изменился лишь цвет вспышек — вместо бело-желтого он стал бело-голубым. Юлий Торрена и Сандро внимательно исследовали спектры, однако могли сказать только, что это не аннигиляция. «Ракетки» знали иной принцип движения, не менее эффективный.

Дискуссия о том, как быть с «преследователями», не затихала, а, наоборот, все более разгоралась. Астронавты переговаривались из кабин с помощью телефонов; когда же капитан на несколько часов останавливал двигатели, чтобы люди могли отдохнуть от связывающей тяжести инерции, все собиравшись в общий зал, и спор продолжался с неослабевающей страстностью.

— Не только вести их за собой, но даже указать направление на солнечную — значит, поставить человечество под удар, — доказывал Новак. — Смешно думать, что они будут поступать так, как мы им укажем!

— Ты их почему-то считаешь завоевателями, Антон! — восклицал Сандро. — Разве нас, людей, влечет в другие миры стремление покорить кого-то? И их тянет за нами жажда знаний.

— Я не считаю их завоевателями, Малыш, — отбивался Новак. — Все гораздо проще: мы не знаем, чего они хотят, не знаем их замыслов и намерений. По-моему, этого достаточно...

— Простите, капитан, но, по-вашему, выходит, что все непонятное — враждебно, — вступал в бой Патрик Лоу. — Очень примитивный подход! Зачем подозревать, что «ракетки» будут стремиться уничтожить людей?

— Да хотя бы потому, что они могут это сделать. Есть у них такие возможности.

— Да, но зачем им это нужно?

— Да просто затем, чтобы мы, люди, не путались у них под ногами! — включался Ло Вей. — Между нами и этими кристаллическими тварями нет и не может быть ничего общего. Бред испортившейся электронной машины имеет больше сходства с нашим мышлением, потому что все-таки мы программируем машины. А они... они не знают наших чувств, наших восприятий и не поймут наших мыслей. Мы принципиально различны с ними. Нам нужен воздух — «ракеткам» он мешает летать. Нам нужна вода — для них она вреднее азотной кислоты. Нам нужна органическая пища — они потребляют лучистую энергию.

— Но нельзя забывать, что речь идет о первом контакте между двумя видами разумной жизни! — волновался Торрена. — Все дальнейшее будет зависеть от того, каким окажется этот контакт. Мы и так довольно плохо начали...

— Не следует забывать, что речь может пойти и о судьбе человечества, Юлий!

— Не нужно нагнетать настороженность, Антон, — раздавался уверенный бас Максима. — Между мыслящими существами не может быть пропасти. Они поймут нас.

— Нам от этого будет не легче! — Тонкий голос Лю Вея после максимовского баса сам по себе звучал не убедительно. — Они поймут, что мы комочки студеной материи с ничтожно малым запасом внутренней энергии, с черепашным темпом мыслей и движений. Поймут, что мы, люди, несовершенное, из рук воп неудачное творение природы, и не почувствуют к нам ни уважения, ни симпатий, ни жалости...

Когда после спора расходились по своим кабинам, Новак с отчаянием в душе понял, что им, видимо, так и не удастся прийти к общему взгляду.

...Был один момент, который решил все. Именно о нем вспоминал сейчас Новак, когда, висая в пустоте жерла электромагнитной катапульты, укреплял на носу разведочной ракеты контейнер.

На шестьдесят восьмые сутки разгона приходился последний расчетный маневр «Фотона», далее звездолет выходил на инерционную прямую длиной в четыре световых года. Вторым концом эта прямая упиралась в солнечную систему... Новак в оцепенении сидел в рубке перед приборами: вся борьба, разгоревшаяся в звездолете, сосредоточилась сейчас в нем, в одном легком движении правой руки. Небольшой поворот рукоятки регулятора курса, незначительное усилие большого, указательного и среднего пальцев — и в правые кормовые дюзы «Фотона-2» начнет поступать чуть больше ядерного горючего; ровно настолько больше, чтобы корабль с безопасным для экипажа поперечным ускорением смог описать большую дугу в пространстве и устремиться к Солнцу.

Движение рукоятки... Оно укажет «ракеткам» нужное направление. Дальше они, вероятно, не станут следовать за «Фотоном», а обгонят его. «Мы не успеем даже предупредить Землю. А когда они появятся в солнечной — события могут развиваться очень быстро. Того времени, за которое люди лишь успеют их заметить, «ракеткам» будет достаточно, чтобы сориентиро-

ваться, принять решение и начать действовать. Их «дни» сосредоточены в секундах... Какое решение они примут? Какие действия последуют за ним? Что им надо от нас, людей?.. — Антон прикрыл глаза, потер лоб. — Я не знаю. И я боюсь... Может быть, я глупо боюсь? Атавистический страх перед чужеземцами...»

...Когда-то, века назад, приплывали корабли к чужим землям. На берег выходили люди и начинали истреблять, сжигать, грабить, загонять в гиблые места других людей: за то, что у них иной цвет кожи, иные — странненькие! — обычаи, за то, что они верят в другого бога, за то, что они слабее и боятся тех, кто приплыл. За все. И просто так, для своего удовольствия... Это была коллективная подлость. Немало таких подлостей совершили люди против людей — и в эпоху парусников, и в эпоху пара, и в эпоху напалма, ядерных бомб и электроники. Память о них давила сейчас на психику Новака. Он был человек — потомок и тех, кто убивал, и тех, кого убивали...

На движущейся ленте звездной карты, на которой самописец вычерчивал курс звездолета, красная линия начала заметно отклоняться вправо от расчетной синей. Новак, как загипнотизированный, смотрел на перо самописца: оно с муравьиной скоростью ползло по масштабным клеточкам, отсчитывая миллионы километров... «Ну, прав ты или не прав, Антон Новак? Сможешь ты взять на себя эту огромную ответственность или предоставишь событиям развиваться, как им заблагорассудится?» Он снова взвесил все доводы и возражения Максима, Сандро, Патрика Люу и Торренны; вспомнил, как в первую экспедицию погибли Петр Славский и Анна. «Нет! Мы люди — со всем тем, что было и что есть. Этим все сказано...»

Ручка регулятора осталась в прежнем положении. Теперь звездолет в каждую секунду уклонялся на сотни тысяч километров от расчетной кривой. На душе Антона стало спокойно и холодно: проблема, как быть с роем кристаллических существ, становилась строгой математической задачей. Ее следовало поскорее рассчитать.

«Итак, дано: два тела, разделенные расстоянием в

тысячу километров, летят в пустоте со скоростью, близкой к световой. От тела, летящего впереди, отделяется некий предмет и, ускоряясь, летит навстречу второму телу. Из этого предмета в нужный момент выделяется газовое облако, обволакивает тело... В какой момент? И сколько нужно антигелия? И при каких скоростях это получится наверняка?..»

Новак с сомнением посмотрел на укрепленный рядом куб навигационного робота-вычислителя, покачал головой: такая задача не предусмотрена в типовых программах робота. Программировать заново?.. Пожалуй, проще решить самому. Он тяжело придвинул к себе лист бумаги, углубился в расчеты. Через несколько часов он знал: надежно решить эту задачу возможно лишь на скорости 0,9 от световой. Еще около четырех суток (по внутреннему счету времени) дня работы двигателей.

...Первым заметил отклонение от курса все тот же Сандро; из кормовой обсерватории провода связи передали в рубку его тревожный голос:

— Антон, что случилось? Мы сбились с курса?!

Новак взглянул на релятивистский указатель скорости: 0,87 от световой. «Рано заметил, — с досадой подумал он. — Нужно еще около тридцати часов ускорения. — Он ощутил холодок в груди. — Ну, начинается...»

— Сейчас объясню, Сандро. — Капитан включил связь со всеми кабинами. — Внимание! Внимание всем! Звездолет идет под углом сорок два градуса к расчетному курсу в направлении Бота Большой Медведицы. Скорость относительно звезд двести шестьдесят тысяч километров в секунду. Субъективная скорость пятьсот восемьдесят пять тысяч километров в секунду...

— Это... это удар в спину! — первым яростно закричал Патрик Лоу. — Ты хочешь, чтобы мы не вернулись на Землю?!

— ...Нам не удалось уйти от роя «ракеток». Через тридцать часов будет предпринята попытка уничтожить рой.

— Ты не сделаешь этого! — громыхнул в динамике голос Максима. — Ты сошел с ума! — На контроль-

ном экране было видно, как Максим тяжело поднимается, тянется к двери. Новак чуть-чуть шевельнул регулятор подачи топлива, ускорение возросло до 4,5g. Сломленный перегрузкой Максим рухнул обратно в кресло. «Итак, двое... Пока работают двигатели, никто не сможет ничего сделать».

— Это позор! Неслыханное предательство!

«Трое... И Торрена с ними. Жаль, его наблюдения за движениями «ракеток» внутри роя очень пригодились бы».

— Это месть! — Голос Сандро звенел от возмущения. — Я знаю: он мстит «ракеткам» за первую экспедицию, за то, что тогда на Странной погибла Анна Новак.

«Четверо... И Малыш с ними. Плохо... — Новака на секунду охватил страх. — Неужели я останусь один? Я ничего не смогу сделать. Тогда только одно: звездолет не свернет с этого пути. Мы не вернемся на Землю...» Он продолжал говорить:

— В нашем распоряжении около пятидесяти часов по субъективному счету времени. Если за этот срок мы уничтожим рой, запасов антигелия хватит для возвращения на инерционную траекторию. В противном случае «Фотон» не сможет выйти в район солнечной системы.

— Неправда, Новак! — крикнул Торрена. — У нас гораздо больше антигелия. Его хватит на месяц отклонения.

— Следует учитывать, — с максимальной бесстрашностью возразил капитан, — что часть антигелия придется истратить на истребление «ракеток». — Он помолчал. — Повторяю еще раз: в той ситуации, в которой оказались мы, подозрение, что «ракетки» несут опасность агрессии против Земли, является решающим. Даже если вероятность такого события — одна тысячная... Поэтому предлагаю членам экспедиции прекратить ненужную дискуссию. После остановки двигателей всем собраться в общем зале для разработки плана действий.

— Я с вами, Новак! Слышите? — это сказал Лоу

Вей. Его тонкий голос звучал очень решительно. — Вы правы — и я с вами.

И тотчас из другого динамика крикнул Максим Лихо:

— Вас двое — нас четверо. Мы не дадим вам совершить преступление! Слышите: не дадим!

Они не прекратили «дискуссию». Те времена, когда за попытку бунта на корабле вздергивали на рею, ушли в далекое прошлое. Да и проблема — это понимали все — была серьезнее, чем жизнь и благополучие каждого. Обстановка в звездолете накалялась с каждым часом тем более, что каждый был прикован к своему месту перегрузкой и не мог ничего предпринять.

...Конечно, идти в общий зал не было никакого смысла. И Новак совершил еще одно преступление, обдуманной гнусности которого ему не забыть до конца своих дней. Он, выключив общий микрофон, предупредил по проводной связи Ло Вея, чтобы тот опоздал к началу сбора в общем зале. Они встретились около дверей. Ло был бледен, но решителен.

— Что вы думаете делать?

— Прежде всего запереть их здесь. — Антон мотнул головой в сторону общего зала. — Иначе они помешают...

— Что вы, Новак, — Ло Вей нахмурился, опустил голову, — это же... — он с трудом нашел почти забытое слово, — обман. Нам еще три года лететь вместе. Как мы сможем смотреть им в глаза?

— Иначе нельзя! Иначе мне не остается ничего, как вернуться в рубку и разбить навигационный пульт, как вы не понимаете! Если они будут мешать, мы ничего не сделаем... Может, потом они поймут, что мы поступали так в интересах человечества. Ну — действовать!

Вверху в стене была утоплена герметическая «дверь безопасности», которой еще ни разу не пользовались: она была предусмотрена во всех отсеках звездолета на случай, если метеорит пробьет оболочку корабля и воздух из коридора начнет вытекать в пространство. Новак сломал стекло автомата, приводящего дверь в действие, подвинул нужные рычажки — и сплошная масса бле-

стящей брони мягко опустилась по направляющим до пола. Ло Вей накрепко завинтил два затвора — вверх и вниз.

Все это было сделано быстрее, чем в зале успели что-то понять. Но как только Новак отнял руку от автомата, на него навалилось никогда еще не пережитое ощущение совершенной подлости. За дверью были его товарищи, с которыми он жил, работал, делил и мысли, и опасности, и удачи. Правда, они противостоят друг другу сейчас; но одно дело — спорить, а другое — предпринять против них такое... — Антон взглянул на Ло Вея и увидел в его глазах то же: омерзение, отвращение к себе.

Реакция была настолько сильной, что они едва не бросились вместе отвинчивать затворы. Потом овладели собой.

6

— Зачем вы разогнали звездолет до такой скорости, Антон? Трудно будет возвращаться на расчетную траекторию.

— Чтобы уничтожить рой наверняка. Так вышло по расчетам. — Голос капитана звучал прерывисто. Он только что окончил устанавливать контейнер на носу ракеты и сейчас, устало прислонясь к стене кабины, расшивал скафандр. — Видите ли, ракета-разведчик не может развить ускорения больше километра в секунду за секунду. При малых скоростях «Фотона» и роя она покроет расстояние между ними за сорок пять — пятьдесят секунд. Это солидное время в восприятии «ракеток» — они успеют заметить опасность и разлететься. Пришлось бы выпустить огромный заряд антигелия, почти половину нашего запаса. Это было бы опасно для звездолета...

— Понимаю: вы решили использовать релятивистские эффекты? — Ло Вей кивнул, не отрывая взгляда от пульта управления ракетой: он настраивал ее для автоматического полета.

— Да. При такой скорости мы выигрываем во времени в шесть раз. Теперь «ракетки» если и заметят

встречное тело, все равно не успеют уклониться... Все готово?

— Готово.

Через соединительную камеру они вышли из разведракеты в коридор звездолета. Новак отключил электромагнитные держатели: теперь ракета висела в жерле катапульти, связанная с «Фотоном-2» лишь малыми силами тяготения.

Антон и Ло направились в камеру управления катапультой. Гулкая тишина коридора настороженно слушала их быстрые шаги. Ло Вей остановился у двери общего зала:

— Смотрите!

В бронированном щите зияла овальная дыра с неровными оплавленными краями. Ло просунул в нее голову, посмотрел в зал — там было пусто.

Новак потрогал край дыры пальцами.

— Вырезали током. Теперь они ищут нас. Идем скорей!

...Ближайшая уже затерялась во вращающемся пространстве. В том месте, куда, как в туннель, сходились звездные круги, в темноте парил рой. Ло Вей направил на него параболические антенны радиотелескопов. На экране появился ступок из множества зеленых точек. Было видно, как «ракеты» медленно сновали в рое. Ло принялся промерять точное расстояние между звездолетом и роем, чтобы передать автоматам ракеты-разведчика последние поправки.

— Ну? — спросил Новак. Прошло не более трех внутренних часов со времени остановки двигателей, но Антон уже устал от напряжения. «Скорей! Скорее закончить с этим!»

— Сейчас... — Ло Вей повернул несколько рукояток на пульте, потом, вспомнив, поднял голову. — Антон, будет сильный толчок. Надо предупредить их.

— Верно, еще покалечатся. — Капитан включил микрофон общей связи. — Внимание! Максим, Сандро, Патрик, Юлий — слушайте! Через пять секунд звездолет испытает толчок силой в три-четыре «жэ». Где бы вы ни находились, закрепитесь в креслах или возьмитесь за поручни. Начинаю счет: пять... четыре... три...

В этот момент под ударами загремела дверь камеры. Новак растерянно посмотрел на Ло Вей.

— Они не слышали. В этой части коридора нет динамиков... Что делать? — Секунду поколебавшись, он подошел к двери, рывком открыл ее и, не дав никому опомниться, оглушительно заорал:

— Отойдите от двери! Возьмитесь за поручни! Сейчас будет сильный толчок!!!

Здесь были все четверо: Максим, Патрик, Сандро и Торрена — тяжело дышащие, с яростными лицами. На мгновение они опешили, но тут же молча все вместе рванулись в камеру. Новака выручило лишь то, что они мешали друг другу.

— Ло, включай! — последним усилием сдерживая натиск, крикнул Антон.

Все опешили. Но вместо толчка отдачи, который должен был известить о том, что заряженная антигелием ракета выброшена катапультой в пространство, прозвучал растерянный возглас Ло Вей:

— Смотрите! Смотрите, что делается!

Сейчас это можно было видеть не только на экране радиотелескопа, но и в иллюминаторы: рой «ракеток» ожил и светился! Он как бы выворачивался наизнанку — «ракеты» расходились во все стороны от центра. Рой распустился празднично сверкающим бутоном, который скоро превратился в большое кольцо.

«Они поняли опасность, — мелькнуло в голове Новака. — Готовятся! Ну вот...»

Однако «ракеты» снова сошлись в плотный шар. Внутри него замигали вспышки. В первый момент астронавты не поняли, почему каждая последующая вспышка оказывалась тусклее предыдущей.

— Уходят! — шумно выдохнул Максим.

— Улетают к Ближайшей...

— Возвращаются...

Вскоре ритмически вспыхивающую точку стало трудно различить среди звезд. Вот и на экране изображение роя поблекло, сошло на нет. Астронавты молча смотрели друг на друга.

— Испугались они, что ли? — пожал плечами Патрик.

— Нет. Они поняли... — в раздумье заговорил Максим. — Испугались! Несколько «ракеток» из этого роя шута смогли бы разбить наш звездолет. Они поняли нас, вот что. Даже не то слово «поняли». «Ракетки», по-видимому, давно поняли, что мы такое, может быть, еще на Странной. Судя по тому, как они с расстояния в тысячу километров сумели разобраться в том, что творилось в звездолете, для них это не проблема... Но сейчас они впервые приняли нас всерьез. Да, да! — Он тряхнул головой. — Они поняли, что мы не только «что-то»: слабая и еле-еле живая белковая материя, но и что мы — кто-то. Ты был прав, Антон: для «ракеток» это явилось несравненно более трудной задачей, чем для нас... и все-таки они постигли! Поняли, что встретились с иной высокоорганизованной жизнью, которая развивается по своим законам, стремится к своим целям. И что нельзя ни пренебречь этой жизнью, ни бесцеремонно вмешаться в нее. Трудно сказать, что им внушило уважение: нацеленный на рой контейнер с антигелием, наши схватки...

— ...или, может быть, наша кинограмма дошла до их сознания? — вставил Патрик.

— Во всяком случае, единственное, в чем ты был прав, Антон: к ним нельзя подходить с нашими мерками и нашими представлениями, — заключил Максим.

— Что ж... — устало опустил глаза Новак, — если вы считаете, что во всем остальном я был не прав, то... мне нельзя быть вашим капитаном. Выбирайте другого.

— Ну зачем так? — примирительно сказал Торрена. — Собственно, пока еще никто не прав. Мы так и не узнали, что они хотели...

— Э! Зачем слова, зачем выяснять отношения, Антон? — с ленивой и холодной усмешкой молвил Максим. — Долетим как-нибудь... Хотел бы я знать, что будет на Странной через десять лет?

А Новак думал о том, что согласие в команде восстановится не скоро.



С улыбкой

МАСКАРАД

Ритмично пощелкивая, автомат проводил замеры. Я полулежал в глубоком кресле, закрыв глаза, ожидая окончания осмотра.

Наконец раздался мелодичный звонок.

— Так, — сказал врач, разглядывая пленку, — пониженное кровяное давление, небольшая аритмия, вялость, общий тонус оставляет желать лучшего. Ну что ж, диагноз поставлен правильно. Вы просто немного переутомились. Куда вы собираетесь ехать в отпуск?

— Не знаю, — ответил я, — откровенно говоря, все эти курорты... Кроме того, мне не хочется сейчас бросать работу.

— Работа работой, а отдохнуть нужно. Знаете что? — Он на минуту задумался. — Пожалуй, для вас лучше всего будет попутешествовать. Перемена обстановки, новые люди, незнакомые города. Небольшая доза романтики дальних странствий куда полезнее всяких лекарств.

— Я обдумаю ваш совет, — ответил я.

— Это не совет, а предписание. Оно уже занесено в вашу учетную карточку.

Я брел по улице чужого города.

Дежурный в гостинице предупредил меня, что раньше полуночи места не освободятся, и теперь мне предстояло решить, чем занять вечер.

Мое внимание привлекло ярко освещенное здание. На фронтоне было укреплено большое полотнище, украшенное масками:

Большой весенний студенческий бал-маскарад

Меня потянуло зайти.

У входа я купил красную полумаску и красный бумажный плащ. Какой-то юноша в костюме Пьеро, смеясь, сунул мне в руку розовую гвоздику.

Вертя в руках цветок, я пробирался между танцующими парами, ошеломленный громкой музыкой, ярким светом и мельканием кружащихся масок.

Высокая девушка в черном домино бросилась мне навстречу. Синие глаза смотрели из бархатной полумаски тревожно и взволнованно.

— Думала, что вы уже не придете! — сказала она, беря меня за руки.

Я удивленно взглянул на нее.

— Не отходите от меня ни на шаг! — шепнула она, пугливо оглядываясь по сторонам. — Магистр, кажется, что-то задумал. Я так боюсь! Тсс! Вот он идет!

К нам подходил высокий, тучный человек в костюме пирата. Нелепо длинная шпага колотилась о красные ботфорты. Черная повязка скрывала один глаз, пересекая щеку там, где кончалась рыжая борода. Около десятка чертей и чертенят составляли его свиту.

— Однако вы не трус! — сказал он, хлопая меня по плечу. — Клянусь Наследством Сатаны, вы на ней сегодня женитесь, чего бы мне это ни стоило!

— Жених, жених! — закричали черти, пускаясь вокруг нас в пляс. — Дайте ему Звездного Эликсира!

Кто-то сунул мне в руку маленький серебряный флакон.

— Пейте! — сурово сказал Пират. — Может быть, это ваш последний шанс.

Я машинально поднес флакон ко рту. Маслянистая ароматная жидкость обожгла мне нёбо.

— Жених, жених! — кричали, притопывая, черти. — Он выпил Звездный Эликсир!

Повелительным жестом Пират приказал им замолчать.

— Здесь нам трудно объясниться, — сказал он, обращаясь ко мне, — пойдемте во двор. А вы, судары-

ня, следуйте за нами, — отвесил он насмешливый поклон дрожащей девушке.

Он долго вел нас через пустые, запыленные помещения, заставленные старыми декорациями.

— Нагните голову, — сказал Пират, открывая маленькую дверцу в стене.

Мы вышли во двор. Черная карета с впряженной в нее четверкой лошадей была похожа на катафалк.

— Недурная повозочка для свадебного путешествия! — захохотал Пират, вталкивая меня и девушку в карету. Он сел на козлы и взмахнул бичом.

Окованные железом колеса гремели по мостовой. Вскоре звук колес стал тише, и, судя по покачиванию кареты, мы выехали на проселочную дорогу.

Девушка тихо всхлипывала в углу. Я обнял ее за плечи, и она неожиданно прильнула ко мне в долгом поцелуе.

— Ну нет! — раздался голос Пирата. — Сначала я должен вас обвенчать, потом посмотрим, будет ли у вас желание целоваться! Выходите! — грубо рванул он мою попутицу за руку.

На какое-то мгновение в руке девушки блеснул маленький пистолет. Вспышка выстрела осветила придорожные кусты и неподвижные фигуры, стоявшие у кареты.

— Магистр убит, умоляю вас, бегите! — крикнула незнакомка, отбиваясь от обступивших ее серых теней.

Я выскочил ей на помощь, но тут же на меня набросились два исполинских муравья, связали мне руки и втолкнули опять в карету. Третий муравей вскочил на козлы, и карета помчалась, подпрыгивая на ухабах.

Я задыхался от смрада, испускаемого моими тюремщиками. Вся эта чертовщина уже совершенно не походила на маскарад.

Карета внезапно остановилась, и меня потащили вниз по какому-то наклонному колодцу.

Наконец я увидел свет. В огромном розовом зале важно сидели на креслах пять муравьев.

— Превосходительство! — сказал один из моих стражей, обращаясь к толстому муравью, у ног которого я лежал. — Предатель доставлен!

— Вы ведете вероломную и опасную игру! — заорал на меня тот, кого называли превосходительством. — Ваши донесения лживы и полны намеренных недомолвок! Где спрятано Наследство Сатаны?! Неужели вы думаете, что ваши неуклюжие попытки могут хоть на мгновение отсрочить день, когда мы выйдем на поверхность?! День, который подготовлялся двадцать пять тысяч лет! Знайте, что за каждым вашим шагом следили. Вы молчите, потому что вам нечего сказать. Ничего, завтра мы сумеем развязать вам язык! Вы увидите, что мы столь же жестоки, как и щедры! А сейчас, — обратился он к моим стражам, — бросьте его в яму, ведь сегодня его брачная ночь.

Громкий хохот присутствующих покрыл его слова. Меня снова поволокли в темноту.

Вскоре я почувствовал, что падаю, и услышал звук захлопывающегося люка над моей головой.

Я лежал на мягкой, вонючей подстилке. Сдержанные рыдания слышались поблизости. Я зажег спичку и увидел девушку в маске, припавшую головой к стене.

— Это вы? — шептала она, покрывая поцелуями мое лицо. — Я думала, что они вас уже пытаются! Вы не знаете, на что способны эти чудовища, лучше смерть, чем ужасная судьба оказаться у них в лапах! Нам нужно во что бы то ни стало бежать!

Ее отчаяние придало мне мужества. С трудом разорвав пути на своих руках, я подошел к стене. На высоте человеческого роста была решетка, через которую виднелся длинный коридор.

Собрав все силы, я вырвал руками прутья и помог незнакомке влезть в образовавшееся отверстие.

Мы бесконечно долго бежали по скупо освещенному коридору, облицованному черным мрамором, пока не увидели у себя над головой звездное небо.

На траве, у выхода, лежал труп Пирата. Я нагнулся и вытащил у него из ножен длинную пилу.

Трое муравьев бросились нам навстречу. Я чувствовал, с каким трудом острие пилы пронзает их хитиновые панцири.

— Скорее, скорее! — торопила меня незнакомка. — Сейчас здесь их будут сотни!

Мы бежали по дороге, слыша топот множества ног за своей спиной.

Внезапно перед нами блеснул огонек. Черпая карета стояла на дороге. Крохотный карлик в красной livрее держал под уздцы лошадей.

— Мы спасены! — крикнула девушка, увлекая меня в карету.

Карлик вскочил на козлы и яростно стегнул лошадей.

Карета мчалась, не разбирая дороги. Нас кидало из стороны в сторону. Неожиданно раздался треск, и экипаж повалился набок.

— Скорее, скорее! — повторяла девушка, помогая мне выбраться из-под обломков. — Необходимо попытаться спасти карту, пока Слепой не узнал про смерть Магистра. Страшно подумать, что будет, если они завладеют Наследством Сатаны!

На полутемных улицах предместья редкие прохожие удивленно оборачивались, пораженные странным нарядом моей спутницы. Свой маскарадный костюм я потерял в схватке с муравьями.

Я подвел девушку к фонарю, чтобы снять с нее маску.

— Кто вы?! — воскликнула она, глядя мне в лицо широко раскрытыми глазами.

Испутив протяжный крик, она бросилась прочь. Я кинулся за ней.

Белые бальные туфельки незнакомки, казалось, летели по воздуху. Несколько раз, добегаю до угла, я видел мелькающее за поворотом черное домино. Еще несколько поворотов, и девушка исчезла.

Я остановился, чтобы перевести дыхание...

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросил врач, снимая с моей головы контакты.

Я все еще не мог отдышаться.

— Отлично! — сказал он, просматривая новую пленку. — Сейчас примете ионный душ, и можете отправляться работать. Это трехминутное путешествие даст вам зарядку по крайней мере на полгода.

КОГДА ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ...

Эти ежегодные встречи мы называли капустниками в память о далеких призрачных временах, когда мы были студентами. Уже давно стоит на Ленинских горах шишлястый университет, и его пятиэтажный ковчег физфака обжит новыми поколениями будущих Ломоносовых и Эйнштейнов, а мы не можем забыть сводчатые подвалчики под старым клубом МГУ на улице Герцена. И каждый год мы собираемся здесь, смотрим друг на друга и ведем учет, кто есть, а кого уже нет. Здесь мы разговариваем про жизнь и про науку. Как и тогда, давным-давно...

Так было и на этот раз, но только разговор почему-то не клеился. Никто не высказал ни одной интересной идеи, никто не возразил тому, что было высказано, и мы вдруг почувствовали, что последняя интересная встреча состоялась в прошлом году и что теперь мы можем только повторяться.

— Мы вступили в тот прекрасный возраст, когда идеи и взгляды, наконец, обрели законченную форму и законченное содержание,— с горькой иронией объявил Федя Егорьев, доктор наук, член-корреспондент академии.

— Веселенькая история, — заметил Вовка Мигай, директор одного «хитрого» института. — А что ты называешь законченным содержанием?

— Это когда к тому, что есть, уже ничего нельзя прибавить, — мрачно пояснил Федя. — Дальше начнется естественная убыль, а вот прибавления никакого. Интеллектуальная жизнь человека имеет ярко выраженный максимум. Где-то в районе сорока пяти...

— Можешь не пояснять, знаем без твоих лекций. А вообще-то, ребята, я просто не могу поверить в то, что уже не способен воспринять ничего нового, ни одной новой теории, ни одной новой науки. Просто ужас!

Леонид Самозванцев, кругленький маленький физик с уникальной манерой говорить быстро, проглатывая окончания и целые слова, вовсе не походил на 45-летнего мужчину. При всяком удобном случае ему об этом напоминали.

— Тебе, Ляля, жутко повезло. Ты был болезненным ребенком с затяжным инфантилизмом. Ты еще можешь не только выдумать новую теорию пространства — времени, но даже выучить старую.

Все засмеялись, вспомнив, что Ляля, то бишь Ленья, сдавал «относительность» четыре раза.

Самозванцев быстро отхлебнул из своей рюмки.

— Не беспокойтесь, никаких новых теорий не будет.

— Это почему же? — спросил Мигай.

— Не то время и не то воспитание.

— Что-то непонятно.

— Я не совсем правильно выразился, — начал пояснять Ляля. — Конечно, новые теории будут, но, так сказать, в плане уточнения старых теорий. Бродя как вычисление еще одного десятичного знака числа «пи» или прибавление к сумме еще одного члена бесконечной прогрессии. А чтобы создать что-то совершенно новое — ни-ни...

Самозванцев сделал ударение на слове «совершенно»...

Услышав, что у нас завязывается разговор, к нам начали подходить ребята с разных углов низенькой, но широкой комнаты.

— Тогда определи, что ты называешь «совершенно новой теорией».

— Ну, например, электромагнитная теория света по отношению к эфирной теории.

— Ха-ха, — как бы очнувшись от дремоты, громыхнул Георгий Сычев. Он поднял алюминиевый костыль — грустный сувенир войны — и, ткнув им Лялю в бок, обратился ко всем сразу. — Этот физико-Гегель

хочет сказать, что Максвелл не есть следующий член бесконечной прогрессии после Юнга. Ха-ха, батенька! Давай новый пример, а то я усну.

— Ладно. Возьмем Фарадея. Он открыл электромагнитную индукцию...

— Ну и что?

— А то, что это открытие было революционным, оно сразу объединило электричество и магнетизм, на нем возникла электротехника.

— Ну и что? — продолжал настаивать Сычев. Как большинство безногих, он был склонен к полноте. Сейчас он был просто толстым, с рыхлым, сильно составившимся лицом.

— А то, что Фарадей не имел никакого понятия о твоем Юнге и его упругом эфире. И ни о каком Максвелле. Это Максвелл толкал Фарадея в свои уравнения.

Сычев закинул голову и неестественно захохотал.

— Перестань ржать, Жорка! — прикрикнул на него Мигай. — Что-то в Лялиных словах есть. Говори дальше, Ляля, не обращай на него внимания.

— Я уверен, если бы Фарадей был умным, ну, хотя бы таким, как мы...

Ребята вокруг весело загалдели.

— Не смейтесь, если бы он был таким умным, он бы не сделал ни одного открытия...

Все мгновенно утихло и усталились на Самозванцева. Он растерянно бегал глазами, держа рюмку у самых губ.

— В методе «тыка» что-то есть. У нас в институте работает целая группа толковых парней и девочек. Они никогда не лезут в журналы для того, чтобы найти там намеки на решение задачи. Они просто пробуют. Делают и так и сяк, как попало. Вроде Фарадея.

— Вот видишь! У них что-нибудь получается?

— Представьте себе, да. И нужно сказать, самые оригинальные решения получаются именно у них...

Наш членкор не выдержал.

— Вас повело. Сейчас вы начнете доказывать, что научной работой лучше всего заниматься, ничего не зная. У физиков всегда есть склонность поиграть в парадоксы. Но сейчас не тот возраст...

— Надоел ты со своим возрастом. Пусть говорит Ляля. Значит, Фарадей, говоришь, работал методом «тыка»?

— Конечно. Он был просто любознательным парнем. А что будет, если по магниту стукнуть молотком? А что будет, если его нагреть докрасна? А будут ли светиться у кошки глаза, если ее подержать голодной? И так далее. Самые нелепые «а что будет, если...». И, вот задавая себе кучу вопросов, он отвечал на них при помощи эксперимента. Поэтому он и наоткрывал там всяких явлений и эффектов, которые дальше оформились в новые теории. А вот нам, умным, кажется, что больше не существует никаких «а что будет, если...». У нас теория на первом плане...

— Н-да, — неопределенно промычал членкор и отошел в сторону. За ним пошли еще несколько человек.

— Придется поддерживать «тыкачей», — грустно усмехнувшись, сказал Вовка Мигай. — А вдруг среди них объявится Фарадей?

— Есть очень простой способ обнаружить Фарадея, — вмешался в разговор Николай Завойский, наш выдающийся теоретик, тоже доктор и тоже членкор.

Мы всегда его недолюбливали за его чересчур аристократические манеры.

— Ну-ка выкладывай твой способ выявить Фарадея.

— Нужно объявить всесоюзный конкурс на наибольшее и наилучшее количество «а что будет, если...». Участники конкурса сами себе задают вопросы и сами отвечают. Конечно, при помощи эксперимента.

— Недурно. В твоем предложении есть изюминка. Но вся беда в том, что на многие «а что будет, если...» можно ответить и не ставя эксперименты.

— Так вот, «фарадеевским» вопросом будет тот, на который современная теория ответа дать не может.

Нужно отдать должное Завойскому. Его идея всем понравилась, и вскоре до сих пор неразговорчивые физики оживились и начали «играть в Фарадея». «А что будет, если?...» — слышалось с разных концов зала, а после народ собрался вместе, и игра приняла бурный

и веселый характер. Сами задавали себе самые дикие вопросы и сами же на них отвечали.

— А что будет, если кашалоту надеть очки?

— А что будет, если в коровьем молоке сварить метеор?

— А что будет, если сквозь человека пропустить импульс тока в миллион ампер за миллионную долю секунды?

— А что будет, если...

Вопросы сыпались непрерывно. Отвечали на них все сразу. Пошли вычисления, уравнивания, ссылки на источники — в общем был привлечен весь арсенал физических знаний, и вскоре выяснилось, что задать «фарадеевский» вопрос очень трудно, но можно. И черт возьми, таким вопросом почти всегда оказывался тот, над решением которого как раз и билась современная физика. Ляля Самозванцев, заваривший эту кутерьму, разочарованно вздохнул:

— А я-то думал, что мы войдем в ходатайство перед президиумом академии о создании НИИ фарадеевских исследований.

— Ребята, а вы помните Алешку Мони́на? Ведь мы его на курсе так и называли — Фарадей!

Мы стихли. Все взоры обратились на Шуру Корневу, главного организатора нынешнего капустника. Рыжая, веснушчатая, она никогда не пыталась казаться красивой.

— Шуренок, почему среди нас нет Али́ка?

— Ребята, сегодня он не может.

— Почему?

— У него ночное дежурство в клинике... Кроме того, он сказал...

— Что?

— Он сказал, что ему неловко посещать наши вечера. Там, говорит, собираются академики, в крайнем случае кандидаты, а я... В общем понимаете...

В общем мы понимали. Мы считали, что Мони́ну крупно не повезло и виноват он в этом сам. Достаточно было посмотреть, как он выполнял лабораторные работы по физике, чтобы убедиться, что ничего путного из него не получится. Вместо того чтобы, как положено, снять

частотную характеристику генератора, он усаживался у осциллографа и часами любовался дикими фигурами, которые выписывал электронный луч. «Алик, заэкранируй провода, иначе ничего не выйдет...» — «Это и дурак знает, что если заэкранировать провода, то все получится. А вот что будет, если они не заэкранированы?» — «Чудак, обыкновенные наводки. Сетевой ток, рентгеновская установка в соседней лаборатории...» Алик таинственно улыбался и экранировал провода. Фигуры на экране изменялись, но оставались такими же дикими. «Ты плохо заэкранировал. Закрой крышку прибора». Он закрывал, но положение несколько не улучшалось. «Заземли корпус». Он заземлял, и картина становилась еще хуже. Ни у кого другого не получалось так, как у Али́ка. Вместо того чтобы найти характеристику генератора, он исписывал толстенную клеенчатую тетрадь. Его отчет о проделанной работе читался как фантастическая повесть о странном поведении генератора, когда он заэкранирован, когда не заэкранирован, когда усиленную лампу обдувает воздух от вентилятора и когда на ней лежит мокрая тряпка. В конце концов все окончательно запутывалось, и ему ставили очередной «незачет».

У нас в общежитии на Стромынке всегда была проблема умыться побыстрее. Студенты любили поспать и в семь утра мчались к умывальникам все сразу. Там начиналась жуткая толчея. Однажды Мони́н стал организатором коллективного опоздания на лекции. Стояла большая очередь к умывальнику, а он склонился над раковиной и что-то колдовал.

«Фарадей, ты что, уснул?»

«Нет. Вот посмотри...»

Раковина засорилась, в ней почти до краев стояла мутная вода. Алик бросил на воду щепотку зубного порошка, и комочки быстро разбежались по сторонам.

«Подумаешь! Поверхностное натяжение... Отойди...»

Алик и не думал отходить. «А вот смотри теперь...»

Он снова бросил в воду щепотку порошка, но на этот раз частички бросились навстречу друг другу и собрались кучкой. Мы остолбенели.

«А ну сделай еще...»

Он повторил опыт. Оказывается, если сбрасывать порошок с одной высоты, то он разбегался, если с другой — собирался в кучу.

Физики от первого до пятого курсов позатыкали в раковинах трубы и стали сыпать на воду зубной порошок. Будущий членкор Федя Егорьев экспериментировал с табаком, вытряхнутым из папиросной гильзы. Элегантный теоретик Завойский принес три сорта пудры и присыпку от потения ног. Притащили толченый сахар, соль, серу от спичек, порошки от головной боли и еще черт знает что. В туалете установилась напряженная исследовательская атмосфера. Порошки вели себя самым чудовищным образом. На поверхности воды они собирались в комки, разбегались по краям раковины, тонули, вновь всплывали, кружились на месте, образовывали туманности и планетные системы, бегали по прямой линии и даже подпрыгивали. И все это зависело от высоты, с которой их сбрасывали, от того, как их сбрасывали, от уровня воды в раковине, от того, есть ли в воде мыло или нет и бросали ли раньше в воду другие порошки. Все, что знали физики о поверхностном натяжении еще со второго курса, рухнуло как карточный домик здесь, в туалетной комнате, и виновным в этом был Алешка Монин.

— Жаль, что его здесь нет. Любопытный парень, — вздохнул Федя Егорьев. — Настоящий Фарадей. Только не удавшийся.

— Наверное, задавал себе не те вопросы...

— Товарищи, а что будет, если... я не приду вовремя домой?

Был час ночи. Мы расхохотались. Это сказал Абрам Чайтер, атомщик-любитель, как мы его называли за страсть публиковать популярные статьи по атомной физике. Специальность у него была совсем другая. Всем было известно, что у Абрама страшно ревнивая жена.

— Дети потеряют любимого писателя про войну, — сказал Ляля.

Мы стали одеваться и расходиться.

На улице моросил дождик. Прощаясь, ребята торопились к стоянкам такси. У входа в клуб задержалось

четверо: Федя Егорьев, Вовка Мигай, Ляля Самозванцев и я. Несколько минут мы молча курили.

— Здесь в наше время ходил трамвай, — сказал Федя. — Однажды я застал Алика на этом самом месте с поднятой вверх головой. Знаете, что он наблюдал, наверное, часа два?

Мы не знали.

— Цвет искры между трамвайной дугой и проволокой. Он мне сказал, что стоит здесь уже целую неделю и что есть связь между цветом искры и погодой. Совсем недавно я прочитал об этом как об открытии...

— А не навесить ли нам его сейчас? — предложил я. — Неудобно как-то... Мы собираемся, а он на отшибе...

— Идея. Пошли, — откликнулся Федя.

Мы всегда очень любили Федю за его решительность. И сейчас, много лет спустя, он остался таким же. Высокий, тощий, он быстро зашагал по проспекту Маркса в сторону улицы Горького. У гостиницы «Националь» мы остановились. Членкор сказал:

— Пойду куплю в ресторане бутылку вина.

Федя знал ход в буфет через кухню. Он скрылся в темной подворотне, и через несколько минут мы услышали, как кто-то, наверное дворник или повар, кричал ему вслед:

— Пьяницы несчастные! Мало вам дня! Лезете через запрещенное помещение!

Но задача была выполнена. Вскоре такси мчал нас в другой конец города, где работал Алик Монин.

Больница помещалась в большом парке. Мы пошли по мокрой асфальтовой дорожке между высокими кустарниками и деревьями. Моросил весенний дождик, и молодые листья, как светляки, трепетали в лучах электрических фонарей. Мигай громко и вдохновенно рассказывал, как ему удалось наблюдать в пузырьковой камере треки К-мезонов и процесс рождения резонансных частиц. Самозванцев хвастался своим квантовым генератором, для которого все необходимое можно купить в любой аптеке, а Федя назвал их «чизжиками», потому что их штучки не пили ни в какое сравнение с его универсальной цифровой машиной, которая вчера

обучала его игре в шахматы. На мгновение мы остановились. Дорожку переходили два санитар с носилками, закрытыми простыней.

— Этому до форточки наши генераторы и резонансные частицы, — вздрогнул Мигай. — Там, наверное, морг...

Мы посмотрели на невысокое здание с колоннами. На сером фронтоне четко выступал барельеф, изображавший борьбу римских воинов с галлами.

— Все-таки унизительно в конце концов попасть в эту организацию, — заметил Ляля.

— Не рентабельная, но не закроют...

До здания нейрохирургического отделения мы дошли молча.

Алик Монин встретил нас растерянно и смущенно. На нем был незастегнутый белый халат, в руках он вертел вечную ручку, которая мешала ему пожать наши руки.

— Слушай, ты совсем доктор, я имею в виду лекарь! — рявкнул Мигай.

Уточнение было совсем нестати. На языке двух наук — медицины и физики — титул «доктор» звучит очень двусмысленно. Алик совсем ступешался. Мы пошли за ним по затемненному коридору. Он только шептал:

— Теперь сюда, мальчики. Сюда. Наверх. Направо...

— Громко говорить не полагается, — назидательно сказал Федя, обращаясь к басистому Мигаю.

В небольшом кабинете, освещенном только настольной лампой, мы расселись вокруг письменного стола. Федя вытащил из карманов две бутылки цинандали и торжественно поставил перед смущенным Мониним.

— Ух вы, черти полосатые! — вполголоса воскликнул он. — С капустника?

— Точно. Болтали о Фарадее, вспомнили тебя. Ты чего прячешься?

— Да нет, что вы... Я сейчас...

Алик скрылся в коридоре, и мы привнялись рассматривать кабинет дежурного врача. Ничего особенного. Шкафы вдоль стен, забитые бумагами, наверное, исто-

риями болезней, сбоку какой-то прибор, у раковины столик со склянками. И письменный стол.

Федя взял со стола книжку и шепотом прочитал:

— «Электросон». Физика заползает и сюда.

— Не хотел бы я заниматься физикой здесь... — невнятно пробормотал Самозванцев. — Физика и морг по соседству. Как-то не вяжется...

— Может быть, физика когда-нибудь поспособствует закрытию этой нерентабельной организации.

Алик вошел бесшумно, неся целую охапку химических мензурок самых различных размеров.

— Случай, когда размер сосуда не имеет значения, — сказал членкор. — Все с делениями.

Разлили.

— За двадцать пять лет...

— За двадцать пять лет...

Выпили еще и за здоровье друг друга. Теперь этот тост стал почти необходимым.

— Рассказывай, что ты здесь делаешь.

Алик пожал плечами.

— Всякую всячину. Вожусь с больными...

— Ты и впрямь научился лечить?

— Что вы! Конечно, нет. Я на диагностике...

— Это?..

— Это значит — помогаю нейрохирургам.

— У вас оперируют мозг?

— Бывает и такое. Но чаще всего операции, связанные с травмами нервных путей.

— Интересно?

— Бывает интересно...

— А исследованиями можно заниматься?

— У нас что ни больной, то исследование.

— Страсть люблю рассказы об интересных больных. Расскажи что-нибудь, Алик. Какой-нибудь экстравагантный случай.

Мигай выпил еще и придвинул свой стул поближе к письменному столу. Алик первым движением руки поправил очки в тонкой металлической оправе.

— Меня больше всего интересуют случаи потери памяти в связи с различными заболеваниями...

— Как это — потеря памяти?

— У одних — полная потеря, у других — частичная.

— Недавно я прочитал работу Маккалоха «Робот без памяти», — сказал Федя.

— Я тоже читал эту работу. Чепуха. То, что получил Маккалох на основе математической логики, совершенно неприменимо к людям, потерявшим память. Их поведение куда сложнее...

— Я всегда задумывался над тем, где она помещается, эта память, — сказал Федя.

Алик оживился.

— Вот именно, где? Можно с большой достоверностью сказать, что в мозге нет специального центра памяти.

— Может быть, в каких-нибудь молекулах...

— Вряд ли, — заметил Алик. — Память слишком устойчива, чтобы быть записанной на молекулярном уровне. В результате непрерывного обмена веществ молекулы все время обновляются...

Мы задумались. Когда говоришь с Мониным, вещи, которые кажутся простыми, вдруг начинают выглядеть чудовищно сложными и запутанными.

— Что это за машина? — спросил Мигай, приподняв чехол над небольшим столом.

— Это старая модель электроэнцефалографа.

— А, ну да, волны головного мозга?

— Да. Восемиканальная машина. Сейчас есть лучше.

Алик открыл ящик стола и вытащил кипу бумаг.

— Вот электроэнцефалограммы людей, потерявших память...

Мы посмотрели на графики кривых, имевших почти строго синусоидальную форму.

— А вот биотоки мозга нормальных людей.

— Здорово! Значит, можно при помощи этой шарманки сразу определить, есть у человека память или нет...

— Совершенно безошибочно. Правда...

— Что?

— Откровенно говоря, я не считаю термин «биотоки мозга» законным.

— Почему?

— Ведь мы снимаем электропотенциалы не с мозга. Он заэкранирован черепной коробкой, затем слоем ткани, богатой кровеносными сосудами, кожей...

— Но частоты-то малые...

— Все равно. Я сделал расчет. Если учесть проводимость экранировки, то нужно допустить, что в мозге гуляют чудовищные электропотенциалы. На животных это не подтвердилось...

Мы выпили еще.

— Тогда что же это такое?

— Это биотоки тканей, к которым мы прикладываем электроды.

— Гм... Но ведь доказано, что эти кривые имеют связь с работой мозга. Например, вот эта память...

— Ну и что же?.. Разве мозг работает сам по себе?

— Ты хочешь сказать, что память...

Алик улыбнулся и встал.

— Хотите, я сниму биотоки с ваших голов?

Федор Егорьев почесал затылок и обвел нас глазами.

— Рискнем, ребята?

Мы рискнули, но почему-то почувствовали себя очень неловко. Как будто оказались на приеме у врача, от которого ничего не скроешь.

Первым сел в кресло Мигай. Алик приладил у него на голове восемь электродов и включил электроэнцефалограф. Медленно поползла бумажная лента. Перья оставались неподвижными...

— Никакой работы головного мозга, — прокомментировал Самозванцев.

— Прибор еще не разогрелся.

Вдруг мы вздрогнули. Тишину резко пререзало громкое скрипение острого металла о бумагу. Мы уставились на ленту. По ней, как сумасшедшие, с огромным размахом паралили восемь перьев, оставляя после себя причудливую линию.

— Когито эрго сум, — облегченно вздохнув, продекламировал Мигай. — Теперь проверь мозги у членкора. Это очень важно для ученого совета нашего института. Он там председатель.

Мы выразили удивление, когда обнаружили, что у членкора биотоки точно такие же, как у Мигая, у Самозванцева и у меня. Если разница и была, мы могли ее не заметить. Мы вопросительно уставились на Алика. Он таинственно улыбнулся.

— Ребята, электроэнцефалограммы одинаковые потому, что вы, так сказать, на одном уровне опьянения. У пьяных всегда так... Как у психопатиков или эпилептиков перед приступом...

Нам стало неловко, и мы выпили еще. Монин оставил ленту и, покопавшись в бумагах, показал нам еще несколько электроэнцефалограмм.

— Вот запись биотоков мозга спящего человека. А вот типичная кривая бодрствования. На альфа-ритм накладывается тета и гамма...

— Любопытно, — задумчиво произнес Федя. — Так где же, по-твоему, находится память человека?

Алик начал нервно заталкивать бумаги в стол. Потом он сел и по очереди посмотрел на каждого из нас.

— Не темни, Фарадей. Мы чувствуем, что ты что-то знаешь. Где память, говори!..

Мигай приподнялся и шутиливо взял Алика за борта халата. Он у него был расстегнут, под ним виднелся старенький потертый пиджак.

— Ну, если вы так настаиваете...

— Хорошенькое дело, настаиваем! Мы просто требуем. Должны же мы знать, куда мы складываем нашу драгоценную эрудицию, за которую государство так щедро платит!

Мигай никогда не был тактичным человеком. Его мышление было идиотски логичным и отвратительно прямолинейным. Когда он так сказал, мне показалось, что в глазах у Монина блеснула недобрая искорка. Он плотно сжал губы, встал из-за стола и подошел к одному из шкафов. Он вернулся, держа в руках человеческий череп, обыкновенный череп, который можно увидеть в биологическом кабинете в любой школе. Ни слова не говоря, он поставил его на стол рядом с электроэнцефалографом и начал прилаживать на нем электроды. Мы окаменели от изумления.

Когда электроды оказались на месте, Алик при-

стально посмотрел на нас из темноты, затем повернул тумблер.

Восемь перьев, все одновременно, пронзительно взвизгнули и заплесали на бумаге. Как загнипнотизированные, мы смотрели в насмешливо пустые глазницы. А прибор продолжал торопливо и взволнованно выписывать лихорадочную кривую биотоков бодрствующего человека.

— Вот так... — назидательно сказал Монин.

Мы встали и поспешно попрощались с ним, боясь еще раз взглянуть на столик рядом с электроэнцефалографом.

В темноте мы сбились с пути, долго шли по высокой мокрой траве, обходя низкие темные здания, шагали вдоль металлической решетки, за которой простиралась тускло освещенная серая улица. Ветки шиповника цеплялись за плащи и противно царапали по поверхности. Когда, наконец, мы вышли из ворот и остановились, чтобы передохнуть, наш членкор Федя Егорьев сказал:

— Наводки. Конечно, наводки от сетевого тока...

С этой удобной, успокоительной мыслью мы разъехались по домам.

НАХАЛКА

Впервые я увидела ее года три назад. Тогда это была тишайшая девочка. Она робко выпрашивала автографы и смотрела на писателей круглыми от изумления глазами.

За три года она не пропустила ни одного заседания литобъединения фантастов. Собственно говоря, никто ее не приглашал. Но никто и не гнал (тут мы, безусловно, виноваты и несем полную меру ответственности). Она сидела на краешке стула и жадно ловила каждое слово. Даже тех, кто мямлил или нудно бубнил чепуху, она слушала с таким восторженным вниманием, с каким, вероятно, слушали Цицерона его современники.

Постепенно мы привыкли к ней. Мы привыкли к тому, что она молчит. И когда она заговорила, это было для нас полной неожиданностью. Случилось это при обсуждении нового романа, водянистого и перегруженного научно-популярными отступлениями. Автору роман очень нравился, и наши критические замечания как-то не оказывали действия.

— Вот что, — сказал автор, благодушно улыбаясь, — давайте обратимся к ребенку. Как говорится, устами младенцев... хм... Ну, деточка, тебе что-нибудь понравилось в моей книге?

Деточка охотно отозвалась:

— Да, конечно.

— Отлично, отлично! — воскликнул автор и, поощрительно улыбаясь, спросил: — А что именно?

— Стихи Антокольского. На четырнадцатой странице есть восемь строчек — это здорово!

Тут только я увидела, что нет робкой девочки с круглыми от изумления глазами. Есть нахальный чертенок в зеленых брючках и сиреневой кожанке с оттопыренными от книг карманами. Есть ехидные глаза, подведенные (еще не очень умело) карандашом.

С этого времени наши заседания превратились, по выражению первого пострадавшего автора, в перекуры у бочки с порохом.

Ко мне Нахалка относилась с некоторым снисхождением. Наиболее каверзные замечания она высказывала не при всех, а позже, провожая меня домой. Как-то я пригласила ее к себе, с тех пор она приходила почти каждый вечер. Мне это почти не мешало. Она копалась в книгах и, когда отыскивала что-то интересное, часами молча сидела на диване. Конечно, молчание было относительное. Она грызла ногти, одобритительно фыркала, а если ей что-то особенно нравилось, тихо присвистывала. Так, по ее мнению, свистели фантастические ракопауки из какого-то рассказа. Читала она все, не только фантастику.

— Между прочим, Ромео дурак, — сказала она, откладывая томик Шекспира. — Я вам объясню, как надо было украсть Джульетту...

Но по-настоящему она любила только фантастику. Она читала даже самые убогие рассказы и потом долго смотрела в потолок невидящим взглядом. От этого ее невозможно было отучить: она ставила себя на место героев, перекраивала сюжет и очень скоро теряла представление, где прочитанное и где то, что она сама придумала.

Однажды, например, она совершенно серьезно заявила, что встретила невидимую кошку.

— Звук есть, а кошки не видно. Я сразу подумала, что это она.

— Кто?

— Кошка, с которой делал опыт Гриффин. Кемп тогда спросил Невидимку: «Неужели и сейчас по свету гуляет невидимая кошка?» А Гриффин ответил: «Почему бы и нет?» Ну, как вы можете не помнить такие вещи?! У невидимой кошки и котят должны быть невидимые. Представляете?..

Вообще Нахалка замечала в фантастике детали, на которые редко обращают внимание. Куда, скажем, делась модель машины времени? Именно модель, а не сама машина. В романе Уэллса мельком говорится, что модель отправилась путешествовать во времени.

Так вот, почему после Уэллса написали множество рассказов о машине времени и ни одного — об этой путешествующей модели?..

Впрочем, больше всего Нахалку интересовало «почему не сейчас?». Она произносила это как одно слово: «почему-несчас». Можно ли, например, оживить отрезанную голову какого-нибудь профессора — «почему-несчас»? Можно ли наполнить ванну жидким гелием и сунуть туда кого-нибудь для анабиоза — «почему-несчас»?..

Как-то ей попался рассказ о полете человека на крыльях, имеющих «электропластмассовые» мускулы. Она долго вертела журнал, рассматривая картинки, потом спросила:

— Почему-несчас?

Она перестала читать и три дня изводила меня этим «почему-несчас». В конце концов я повела ее к знакомому инженеру. У него было потрясающее терпение, он мог спокойно разговаривать даже с изобретателями вечных двигателей.

Нахалка сразу же выложила журнал с рассказом и затянула свое «почему-несчас». Тогда инженер достал книги по теории полета и обстоятельно разъяснил, почему не сейчас.

Чем больше размер живого существа, тем менее выгодно соотношение между развиваемой им мощностью и его весом. Поэтому большие птицы — дрофы, лебеди — плохо летают. Лошадь не могла бы летать, даже если бы у нее были крылья. Вес человека находится где-то на границе допустимого: развиваемая человеком мощность достаточна, чтобы поднять в воздух 70—80 килограммов. Но нужно учесть и вес крыльев, а тогда соотношение получается неблагоприятное.

Все это инженер самым тщательным образом втолковывал Нахалке — с цифрами, графиками, примерами. Она слушала, не перебивая, и презрительно морщила нос. В сущности, я тогда ее еще мало знала. Я не понимала, что это означает.

Дней десять Нахалка не появлялась. Потом пришла с потертым чемоданом, обвязанным веревкой. Я подумала, что она уезжает.

— Тут крылья! — выпалила она.

Она просто подпрыгивала от нетерпения. Меня удивило, что Нахалка что-то сделала; до сих пор она ограничивалась теоретическими рассуждениями.

— Крылья сделали мальчишки, — вопреки обыкновению она говорила сравнительно медленно и даже торжественно. — Я придумала, а они сделали.

Это было что-то новое: у Нахалки появились мальчишки.

— Сейчас я объясню, — сказала она, дергая за веревку, которой был обвязан чемодан. — Мы уже пробоvalи, здорово получается!

Я привыкла к ее выдумкам и ожидала, что услышу нечто фантастическое. Но она выложила свою идею, и это в самом деле было просто, ясно и, во всяком случае, правдоподобно. Она объяснила все в нескольких словах.

Человек слишком много весит, чтобы летать на крыльях, значит не надо строить мускулолеты — эту истину Нахалка перекроила по-своему. И получилось: значит, надо строить мускулолеты для животных, которые легче человека.

— Вообще это эгоизм, — заявила Нахалка. — Почему тысячи лет человек думает о крыльях только для себя? Почему бы не сделать крылья для животных?..

В самом деле — почему? Поворот был неожиданным, и я не знала, что ответить.

В чемодане оказался большой рыжий кот. Он лежал на дождевом зонтике. Точнее, на бывшем дождевом зонтике, потому что это были крылья, сделанные из зонтика.

— Сейчас увидите, — сказала Нахалка и принялась надевать крылья на кота.

Кот отнесся к этому абсолютно спокойно. В жизни я не видела такого невозмутимого кота. Он ничем не выражал своего недовольства, пока Нахалка с помощью ремней пристегивала ему крылья. С широкими черными крыльями кот стал похож на птеродактиля из иллюстраций к фантастическим романам. Но, повторяю, это был удивительно флегматичный кот. Его несколько не волновало, что он стал первым в мире

крылатым котом. Прищурившись, он лениво оглядел комнату, добродушно помахал пушистым хвостом и поплелся к креслу, подобрал под себя крылья, улегся на них и мгновенно заснул.

Я объяснила Нахалке, в чем ее просчет. Мало иметь крылья, надо, чтобы весь организм был приспособлен к полету. Тут важна не только анатомия, но и психика животного. Нужно уметь и хотеть летать.

Это было очень логично, однако Нахалка морщила нос и крутила головой.

— Подумаешь, психика, — пренебрежительно сказала она. — У него тоже есть психика...

Она принесла из передней свою куртку, порывлась в ее необъятных карманах и выложила на стол мышь. Натуральную, живую мышь. Все остальное произошло в какие-то доли секунды. Рыжий кот молниеносно прыгнул на стол. Он рванулся так, словно им выстрелили из пушки. Вероятно, кот безупречно рассчитал прыжок. Но он забыл про крылья. Они с треском раскрылись, когда он уже был в воздухе. И вот перелетел через стол. Это был гигантский прыжок: если бы не стена, кот пролетел бы метров тридцать, не меньше. Он врезался в стену, ошалело замотал головой и взвился к потолку. Крылья скрипели и хлопали, это пугало кота, и он, как угорелый, метался вокруг люстры. Потом с крыльями что-то случилось, потому что кот, куврыкаясь и шипя, свалился в кресло...

Некоторое время мы молчали, и было слышно тяжелое дыхание кота.

— Обидно, — сказала, наконец, Нахалка. — Надо было взять летучую мышь. А что? Он бы ее свободно догнал! Как вы думаете, нужны народному хозяйству летучие коты?

Я заверила Нахалку, что народное хозяйство вполне обойдется без летучих котов. И без летучих собак тоже обойдется. Я была уверена, что Нахалка придет к мысли о собаках.

— Летучие собаки? — переспросила она задумчиво. — Вообще-то они бы здорово охраняли стада. Но лучше, чтобы эти... как их... сами летали. Тогда и охранять не придется, сами улетят.

— Кто?

— Бараны, — нетерпеливо сказала Нахалка. — Бараны, овцы... Будут летать на горные пастбища, вот здорово, а?

Тут только я поняла, что с Нахалкой нужно быть очень осторожной. Любую мысль она могла повернуть по-своему — и неизвестно, чем бы это все кончилось. Тщательно подбирая слова, я объяснила Нахалке, что отнюдь не случайно одни животные имеют крылья, а другие — нет. В сущности, здесь очень четко выражен принцип целесообразности: крылья полезны лишь в тех случаях, когда животное значительную часть времени проводит в воздухе. Иначе крылья будут только помехой, бесполезным грузом.

Нахалка молча упрятала кота в чемодан.

— Ты не унывай, — сказала я, когда она надевала свою кожанку.

Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом и рассеянно ответила:

— Да, конечно...

Через неделю в городской газете появилась заметка: «Могут ли курицы летать?» Автор заметки, кандидат биологических наук, писал, что на днях многие жители города наблюдали удивительное явление природы — курицу, которая долго летала на большой высоте. Раньше полагали, писал кандидат, что крылья куриц плохо приспособлены для полета, но, видимо, мы еще недостаточно изучили такое, казалось бы, известное существо, как курицу. Заканчивалась заметка так: «Нет сомнения, что наука со временем раскроет и эту загадку природы».

Я не сомневалась, что никакой загадки природы тут нет и во всем виновата Нахалка. Впрочем, я тоже была виновата. Я сама сказала Нахалке, что крылья не должны быть бесполезным грузом. Может быть, это и натолкнуло ее на мысль о бесполезных куриных крыльях.

Я позвонила инженеру, к которому приходила с Нахалкой.

— Знаете, в этом что-то есть, — сказал он, выслушав мои сбивчивые объяснения. — Нет, в самом деле.

Существует же бионика: техника копирует природу. Почему не быть, так сказать, обратной отрасли знания? Девчонку можно считать основоположником новой науки, занимающейся внедрением технических средств в природу. Судите сами, ведь коней, например, подковывают... Так вы говорите, летающие бараны? Не знаю, не знаю, но если взять зайца или тушканчика... Я сейчас прикину, сделаю вчерне небольшой расчетик...

На следующий день в газете появилась новая заметка. На этот раз под рубрикой «Происшествия». В заметке меланхолично отмечалось, что лебеди, восемь лет благополучно содержащиеся на прудах городского парка, внезапно поднялись в воздух и с огромной быстротой исчезли в неизвестном направлении.

Я перечитывала заметку, когда в коридоре раздался звонок. Это была Нахалка. Еще ни разу я не видела ее в таком превосходном настроении.

— Есть гениальная идея! — выпалила она с порога. Она была ужасно довольна собой, и ее несколько не смутил мой мрачный вид. — Сейчас я вам все расскажу...

— Насчет курицы? — поинтересовалась я.

— Курица — это чепуха! — махнула рукой Нахалка. — Подумаешь, курица...

Тогда я спросила о лебедях. Нахалка нетерпеливо поморщилась.

— Лебеди — это тоже чепуха. Может, они решили большую часть времени проводить в воздухе... Вы же сами так говорили. Мы только удлиннили им крылья. Подклеили перья. Чтобы крылья не были бесполезным грузом. Знаете, даже у голубей можно удлинять крылья. Для скорости. Но с рыбами будет интереснее.

— С рыбами? — переспросила я, пытаюсь выиграть время.

— Ну да! Ведь их плавники тоже как крылья. Допустим, дельфин: представляете, как он здорово будет летать! Или меч-рыба... Она и так восемьдесят километров в час развивает. А если нацепить ей крылья... Вот скажите — нужны народному хозяйству летающие рыбы?..

Было мгновение: я почувствовала, что теряюсь и

просто не знаю, что возразить. Нахальная девчонка, стоявшая передо мной, вдруг показалась мне самой фантастикой, живым воплощением фантастики. Воплощение было нетерпеливое, не желающее знать преград, с поцарапанным носом и острыми огоньками в глазах. Надо было что-то делать, и я сослалась на эволюцию: крылья и плавники — результат долгого отбора, приведшего к наиболее целесообразным формам.

— Подумаешь, эволюция! — не дослушав, сказала Нахалка. — Так ведь эволюция не кончилась. Она идет дальше, только медленно. А почему несчаст? Ведь все можно сделать быстрее. Ну, подстегнуть эту эволюцию. Вы понимаете?

Я уже очень отчетливо представляла «подстегнутый» мир, в котором летучие коты преследовали летучих мышей, крылатые собаки гонялись за крылатыми зайцами, слоны на подводных крыльях обгоняли крылатых дельфинов, а рыбаки подвешивали сети к воздушным шарам... У меня мелькнула мысль, что я выпустила джинна из бутылки. Я почувствовала — вполне серьезно! — ответственность перед человечеством.

И тогда появилась спасительная идея. Это была удачная идея, а главное — очень своевременная. Еще немного, и ничто уже не остановило бы Нахалку.

— Подумаешь, крылья, — сказала я, старательно подделываясь под ее тон. — На крыльях всякий полетит. В конце концов старомодно летать на крыльях. Вот антигравитация — другое дело. Правда, кое-кто считает, что это дело далекого будущего. Но почему? Почему несчаст?..

* * *

Сейчас, когда я пишу эти строки, Нахалка сидит у окна, с ногами забравшись в кресло. Она читает «Физику для всех» Ландау и Китайгородского. Второй месяц она читает только физику. Никаких происшествий за это время не было. Она сидит, уткнувшись в книгу, грызет ногти и машинально наматывает волосы на палец. Все тихо и спокойно.

Пока тихо и пока спокойно.

БОРИС ЗУБКОВ,
ЕВГЕНИЙ МУСЛИН

НЕПРОЧНЫЙ, НЕПРОЧНЫЙ, НЕПРОЧНЫЙ МИР

Путешествие началось в подвале. Опасное путешествие через весь Вольшой Город. Ему вручили огромный неуклюжий сверток и когда он взял его в руки, он стал преступником. Его наспех обучили мерам предосторожности: каких улиц избегать, как вести себя при встрече с агентами службы безопасности, что отвечать на возможном допросе... Хотели дать провожатого, но он отказался. Зачем? Двое подозрительнее. Опасность, поделенная на две части, остается опасностью. Это все равно, что прыгать с моста... вдвоем. Вместо одного утопленника будет два. И только. Пусть уж лучше он один потащит через весь город страшный груз, останется наедине с неуклюжим ящиком, где лежит ЭТО.

...Какой все же неудобный сверток! Дьявольски неудобный! Будто весь он состоит из углов. Когда держишь его на коленях, острые углы вонзаются под мышки, твердое ребро раздавливает грудь, а руки, охватившие сверток сверху, деревенеют.

Но пошевелиться нельзя, обратишь на себя внимание. И без того всем мешает твой ящик. В вагоне подземки тесно, как в банке с маринованными сливами. Он любил маринованные сливы. В детстве. Теперь нет настоящих слив. Теперь главная пища — галеты «Пупс». В вагоне все жуют эти галеты. Их жуют всегда. С утра до ночи. Знаменитые ненасыщающие галеты «Пупс». Заводы, синтезирующие галеты, работают круглые сутки. «Галеты «Пупс» обновляют мускулы, разжижают желчь и расширяют

атомы во всем организме...» Как бы не так! Здесь простой расчет — выгоднее продать железнодорожный состав дряни, чем автофургон настоящей еды... Во рту галеты тихо пищат: «пупс... пупс...» — и тут же испаряются. словно раскусываешь зубами маленькие резиновые шарики, надутые стопроцентным воздухом.

Проклятый сверток сползает с коленей. Руки онемели и словно чужие.

У его отца были камни в почках. Старинный городской недуг. Сейчас редко кто им страдает. С какой гордостью мать готовила горячую ванну, когда отца одолевала очередной приступ. Пусть все знают, что ее муж болен исключительной, благородной болезнью! Про галеты «Пупс» не скажешь, что они ложатся камнем на желудок или другие органы. Можешь сожрать пятифунтовую пачку галет и тут же вновь почувствовать зверский аппетит. И жажду. Кругом все жуют пищащие галеты и облизывают сухие губы. Он знает, о чем мечтают пассажиры подземки, — на ближайшей станции броситься к автоматам, продающим напиток «Пей-За-Цент». Напиток не утоляет жажды, его пьют в огромных количествах, автоматы торгуют порциями по два галлона каждая, жаждущие подставляют под коричневую струю бумажные ведра...

Сверток все же сполз с коленей!.. Ужасная неосмотрительность!.. Уперся острым углом в чей-то живот, обтянутый зеленым плащом... Только этого не хватало!

Кен Прайс почувствовал, что владелец зеленого плаща пристально разглядывает его. Он ощущал этот взгляд кожей лба и кончиками ушей. Взгляд — тяжелый, как свинцовая плита, и пронзительный, как фары полицейской машины. Прайс втянул живот, стараясь запихнуть ящик куда-то себе под ребра, прижался к спинке дивана, страстно желая уменьшиться в размерах, сплюснуться в лепешку... О ужас!.. Обшивка свертка! Она лопнула!.. Сейчас все увидят ЭТО — его позор, его преступление!.. Скандал, шум, негодующие лица... Тип в зеленом остановит поезд прямо в туннеле. Холодная сталь наручников вопьется в кожу... В Службе Безопасности его ждет шар — изолятор для

особо опасных... Он видел их в кино: стеклянные шары-клетки, висящие на здоровенных кронштейнах вокруг высокой железобетонной башни... Прайс вздрогнул и, не поднимая головы, нелепо выворачивая вверх глаза, отважился взглянуть на владельца зеленого плаща. Тот, сняв очки и близоруко щурясь, протирал стекла бумажным платком. Прайсу повезло! Тип в зеленом носил дешевые быстротускнеющие очки — через неделю после покупки в них не увидишь и собственного носа. Все тот же Универсальный Торговый Принцип — непрочные вещи покупают чаще. Пусть даже покупают по дешевке, но все чаще и чаще. Ежемесячно, потом еженедельно, ежедневно, ежечасно... В кармане у Прайса громко и протяжно зазвенело, затем так же протяжно заскрипело и глухо хрюкнуло. Взорвались часы с одноразовым заводом. «Когда кончается завод, часы взрываются удивительно мелодично». Рекламные побасенки! Ничего себе — мелодично! Скрип гвоздя по стеклопластику — вот она, ваша мелодия! Пусть его перепилят быстрозатупливающей пилой, если он еще хоть раз купит такие часы. Конечно, если ему вообще придется когда-нибудь что-нибудь покупать. Если он и ЭТО не попадут в лапы агентов безопасности. Прайс сунул руку в карман. Пальцы нащупали нечто вроде комка слизистой глины. Брр... Это все, что осталось от часов. Новейший блицметалл, теперь из него делают массу вещей, даже автомобили. Кажется, его зять имел отношение к этому патенту. Специальный блицметалл с особой структурой, ровно за две недели размягчается в слизистую пакость...

Тот, в плаще, все еще протирает очки, ему теперь не до подозрительных свертков. Зря перепугался! Ясно, что этот, в зеленом, не имеет касательства к Службе Безопасности. Не такие же они дурни, чтобы напильник на своих агентов быстротускнеющие очки.

Обшивка свертка!.. Прайс похолодел. Как он мог забыть про нее! Обшивка треснула сверху и сбоку и расплзается на глазах у всех! Еще секунда — и конец!.. Нет, нет! Все в порядке. Все идет хорошо! Ведь он завернул ЭТО в кусок старой брезентовой накидки, которой его дед прикрывал свой грузовичок. Только

снаружи ЭТО обернуто в быстросползающийся однодневный мешок, а внутри — надежный брезент. Отличный кусок брезента, теперь ему цены нет, достался по наследству, другой кусок дед завещал Мэди. Старый брезент надежно скрывает содержимое свертка.

И все же надо сделать еще одну пересадку. Замести следы. С безразличным видом стоять возле двери и выскочить в последний момент, когда поезд уже трогается. Потом повторить эту процедуру в обратном порядке: дожидаться, пока все не войдут в вагон, и прошмыгнуть между створками закрывающейся двери. Если никто не устремится за тобой, значит слежки нет. Так его учили там, в подвале.

Прайс сошел у Сентер-ринга и пересек платформу. Прозевал первый поезд, дождался второго, услышал сигнал к отправлению, помедлил еще секунду и, когда створки дверей начали сближаться, ринулся в вагон. Неожиданно навстречу ему выскочил замешкавшийся толстяк. Прайс попятился, пошатнулся и, желая удержаться свертком от падения, инстинктивно выставил его вперед на вытянутых руках. Створки двери зажали ящик и выдернули его из рук Прайса. Состав тронулся рывком. В какое-то мгновение Прайс успел заметить, что сверток больше чем на половину свисает снаружи вагона. Мелькнул красный огонек в хвосте состава, и мрак туннеля поглотил вагоны. Прайс бросился бежать по перрону вслед поезду. Его толкали. Он разбивал толпу. Перрон кончился. Поезд уносил сверток. Уже ничего не соображая, Прайс соскочил на рельсы. Сзади кричали. Завыла сирена, раскалывая пронзительным звуком плотный и жаркий воздух. Прайс бежал между рельсами. Они казались ему толстыми блестящими змеями, и он боялся, что они ухватят его за ноги. Поэтому он бежал, неестественно высоко подпрыгивая. Сирена продолжала завывать. Прайс заткнул уши, упал, сильно ушибся. Вскочил на ноги и помчался вперед. Сбоку, сверху, снизу мелькали световые сигналы, перемигивались светофоры, ярко желтели надписи. Огни сливались и чертили вдоль тьмы сверкающие линии. Он падал еще три или четы-

ре раза. Элегантные ботинки с быстропротирающейся подошвой расплозились, как кожура гнилого банана. Пластмассовым градом сыпались саморасстегивающиеся запонки и самоотрывающиеся пуговицы. Воротник однодневной рубашки растаял и жирными каплями стекал по спине. Из кармана выскочил быстротеряющийся кошелек. Пояс из быстрогниющей кожи лопнул. Он бежал, спотыкаясь, придерживая одной рукой брюки. Мир непрочных вещей издевался над ним. А рядом бежал страх. Пожиратель пространства грохот обрушился сзади. Его настигал поезд. Но своды туннеля обманули Прайса — грохот возвещал о приближении встречного. Ослепительный свет одноглазой фары парализовал Прайса, ноги прилипли к рельсам, он почувствовал дыхание металла — поезд надвигался и рос. Шквал горячего воздуха отбросил в сторону и спас его. Раскаленная пыль вонзилась в лицо, и грохот умчался.

С трудом переступая босыми ногами, он добрался до следующей станции. Его втащили на платформу. Разгоряченные лица. Как их много! Где его сверток? Подошел полицейский. Штраф? Он согласен, получите деньги... Где сверток?... Он сумасшедший? Нет, вот карточка его психиатра, можете узнать... Где сверток?... Вызвать санитаров? Спасибо, ему уже лучше... Где сверток?..

Сверток принесли. Изрядно помятый, но целый. Старый брезент выдержал испытание. Никто не увидел, ЧТО скрывается внутри. Никто... О боже! Все обошлось!

Волоча ногу и тихо постанывая, Прайс выбрался на свежий воздух. Он был полураздет и тащился к ближайшим торговым автоматам. Он опускал монеты и всовывал руки, ноги и шею в полукруглые дыры. Автоматы напялили на него однодневные ботинки, приклеили к рубашке одноразовый воротник, пристегнули теряющиеся запонки, залепили дыры быстроотклеивающимся пластырем и всучили модную шляпу «Носи-Бросай». Когда автомат с веселым скрежетом проглатывал монету, мощный динамик выкрикивал: «Все-Для-Вас-На-Один-Раз-Все-Для-Вас-На-Один-Раз». Желез-

ные молодчики торговали непрочной дешевкой. Вещи-однодневки. Ненадежные, как веревка из теста. Недолговечные, как кусок льда на раскаленной жаровне. Горсть праха, пригоршня дыма — не больше. Здесь были книги с исчезающим текстом — через неделю перед тобой белые страницы. Чернеющие газеты, которые не успеваешь прочесть и вынужден приобретать следующий ежечасный выпуск. Быстрохолодеющие утюги и легкоплавкие сковородки. Микродырявые канистры. Твердеющие подушки. Засоряющиеся краны. Духи «Коко», начинающие через неделю мерзко вонять. Гвозди из блицметалла. Бумажные телевизоры. Их дешевизна не компенсировала их недолговечность. Напротив, дешевизна разоряла покупателя. Карусель вынужденных покупок вертелась все быстрее и быстрее, выматывая душу, опустошая карманы...

Последнюю монету Прайс опустил в щель на желтом столбике. В тротуаре откинулся люк, и из него поднялась одноместная скамейка для кратковременного отдыха. После всех передрыг он мог позволить себе такую роскошь. Возле желтого столбика остановилась собачонка. Прайс нагнулся, чтобы придвинуть сверток ближе к скамейке. Собачонка злобно оскалила зубы, и Прайс отпрянул от нее. Бродячие собаки опасны! Крайне опасны! Следуя общему Торговому Принципу компания «Шниц-Такса лимитед» снабжает старых леди комнатными собачками, которые через три недели становятся бешеными. Естественно, что владелицы собачек выбрасывают их на улицу, не дожидаясь истечения гарантийного срока. Получить в ногу порцию ядовитой слюны — кошмар! Прайс схватил сверток, вскочил на скамейку и угрожающе замахнулся на собаку. Собачонка поджала хвост и метнулась в сторону, но тяжелый сверток вырвался из рук Прайса и плюхнулся на асфальт. Тут же прохожие затолкали его ногами, отшвырнули на край тротуара. Болван! Дырявые руки! Испугался жалкой собаки!.. Подними сверток!.. Нет! Но доверяйся первым порывам! Будь осторожен, как верхолаз на телевизионной мачте. Если за тобой следят, то выгоднее сделать вид, будто ты не имеешь касательства к этому ящику, к этой ужас-

ной улике преступления. Сейчас никто не сможет доказать, что сверток принадлежит тебе: ты — здесь, сверток — там. Успокойся! Сядь! Сделай вид, что ты занимаешься своей пляпой, она тоже упала от резкого движения. Подними ее, приведи в порядок. Вот так! Отличная пляпа, специально для хождения по солнечной стороне улицы. Есть и другие пляпы, очень похожие на твою, но они только для теневой стороны, на солнце улетучиваются как дым. Пшик — и все тут! А внутри этой пляпы ярлык «четырнадцать часов под солнцем». Потом, конечно, тоже улетучивается... Сверток лежит на старом месте. Все спешат, проходят мимо, никто им не интересуется...

Никто не интересуется? Как бы не так! Блондинка в клетчатом костюме! Остановилась в пяти шагах от Прайса и делает вид, что рассматривает свое изображение в стекле витрины. Можно поклясться, что она притормозила именно в тот момент, когда он швырнул свертком в собаку. Женщина — агент безопасности? Многие домохозяйки подрабатывают в свободное время, выполняя щекотливые поручения Службы Безопасности. Что она рассматривает в этой дурацкой витрине? Ведь это магазин «Для мужчин». Что ей там понадобилось? Бальзам для лысых, превращающийся в Истребитель Волос? Или подтяжки из бумажных веревок?.. Ах, вот в чем дело! Она рассматривает в стекле свой клетчатый костюм. Коричневые полосы, образующие клетки, становятся все шире и шире. Костюм расползается!

Блондинка взвизгнула, обхватила себя руками, придерживая остатки костюма, и с видом купальщицы, входящей в холодную воду, побежала к ближайшей кабинке для переодевания. На всех перекрестках стояли такие пестрые кабинки, внутри которых ждали очередную жертву автоматы, торгующие готовым платьем.

Прайс неожиданно упал, это скамейка для кратковременного отдыха ускользнула из-под него обратно в люк. Поднявшись, он впервые за этот ужасный день вдруг почувствовал душевное облегчение. С безразличным видом, даже позволяя себе насвистывать, подобрал

сверток и зашагал в сторону четыреста сороковой улицы.

Там был его дом, там его ждали и волновались. Он должен как можно скорее избавить их от страха за его судьбу. И лишь там он почувствует себя в сравнительной безопасности...

Жена встретила его в подъезде. Бедняга! Сколько раз она выбегала встречать? Сколько раз прислушивалась к шагам, стукам, шорохам? Милая! Только ради нее он решился на столь кошмарное путешествие.

Они прошли прямо в кухню, где единственное окно выходило на безлюдный пустырь. Из дальней комнаты доносился визг циркульной пилы. Разумеется, там ничего не пилили, визжала недолговечная пластинка. После десяти проигрываний скрипичный квартет превратился в соло циркульной пилы.

— Ты принес ЭТО? — спросила Сали.

Она не решилась назвать содержимое свертка своим именем, как суеверный дикарь не называет вслух предмет своей охоты.

— Я принес. Ты так просила.

— Разверни, я хочу увидеть.

— Задержи штормы.

— Они рассыпались перед твоим приходом. Но не бойся, милый. Еще утром потемнели стекла в окне. Никто не увидит.

Он снял брезент. Внутри оказался продолговатый ящик из серого картона. Они разорвали картон и поставили посреди комнаты ЭТО.

Это была Кухонная Табуретка. Настоящая! Прочная! Из настоящей сосны. Ее сделали утром в подпольной мастерской, и свежие янтарные капельки настоящего столярного клея блестели так аппетитно, что их хотелосьлизнуть языком.

Продажа и покупка прочных вещей были запрещены Федеральным Торговым Законом. Ослушников ждала суровая кара. Но Прайс все же сумел, не боялся подарить жене в день ее рождения Настоящую Прочную Кухонную Табуретку!

МОРЕПЛАВАНИЕ

НЕВОЗМОЖНО

Совет Мудрых заседал уже две луны. Две луны достун в священную хижину был закрыт для всех, кроме двух старух, трижды в день приносивших пищу и питье. Но и они не смели вымолвить ни слова. Никто не имел права влиять на решение Совета.

Да, две луны! Вопрос был достаточно серьезен.

И все-таки пора было кончать.

— Итак, — сказал председатель Совета Мудрых, старый Кич, прославленный создатель переносной колыбели, — прежде всего мне хочется еще раз поздравить молодого ученого Че с выдающимся успехом. Выдолбленное бревно, которому решением нашего Совета дано имя лодки, позволило расширить район рыбной ловли у берегов нашего Единственного острова. Однако группа совсем юных безумцев хочет использовать лодку, чтобы отправиться на поиски каких-то других островов. При всем моем уважении к достижениям Че я должен отметить, что его лодка перевернется, едва только подует сильный ветер. Путешественники идут на верную гибель. Море, только море вокруг! А рифы! Акулы! Осьминоги! Священное уважение к жизни человека... — оратор неожиданно вскрикнул. — Все вы понимаете мое волнение... Мой сын...

Великий Гр, получивший свое прозвище за открытие хлебопечения, говорил раздраженно и резко.

— Эти разговоры об отплытии заставляют незрелые умы сочинять нелепые сказки, которые они называют гипотезами.

Охотник Оге нашел недавно в далеком лесу нож из такого камня, какого мы до сих пор не видели. Он заявил, что этот камень могли когда-то привезти пришельцы с «других островов».

С каких, когда, где, на чем?

Недостойно мудреца прибегать для объяснения непонятных явлений к таким фантастическим догадкам.

Что же касается самих сумасбродных планов... Никто из моих родных не собирается уплывать с острова, и естественная тревога не мешает мне в отличие от почтенного Кича трезво оценивать возможности лодки.

Уважаемый Че и его ученики недавно предложили такие усовершенствования, как весла и парус. Так называемый киль не дает лодке перевернуться. А рифы всегда можно обойти. Словом, за жизнь путешественников можно не бояться.

Но меня возмущает сама бесцельность этой затеи. Куда им плыть, этим сорвиголовам? Вон та черная точка на горизонте, как они утверждают, еще один остров. Но если это так, зачем бы наши предки называли наш остров Единственным? И даже если там есть какая-то земля, то на ней наверняка нет ничего, что было бы достойно внимания. Тем более нет других людей. Правде надо смотреть в глаза. Я не люблю иллюзий, к которым так тянется молодежь. Мы единственные люди на Единственном обитаемом острове среди безграничного океана.

Словом, дерзких юношей надо заставить прослушать мой курс географии.

— И это уже будет для них достаточным наказанием, — пробурчал себе под нос Кич... и предоставил слово Биру, обессмертившему себя изобретением денег.

— Не надо быть пессимистом, — мягко заговорил великий финансист. — Кто-то утверждал во время оно, что никогда не станут люди отдавать за никому не нужные ракушки кур и плоды только потому, что эти ракушки названы монетами. Но прогресс остановить нельзя. Все мы знаем массу примеров торжества нового.

Лодка куда-нибудь да приплывет. Что, однако, получит от этого остров? Уплыть в море хотят молодые сильные люди, лучшие охотники, рыболовы и земледельцы. Кто вместо них возделает их поля, добудет зверя и рыбу? А ведь им еще придется взять с собой много мяса и хлеба, ананасов и бананов. Да и на паруса уйдет столько шкур, что можно было бы одеть

десятки людей. Я уже не говорю о лучших деревьях, которые рубятся для изготовления лодок.

Никогда еще ученые и изобретатели не требовали от островитян таких больших жертв. А что они обещают взамен? Ничего конкретного! Разве что рыба вдали от берегов лучше пойдет в сеть, но никто еще не был в открытом море и не может этого подтвердить, да и рыбы нам пока хватает. Словом, вся эта выдумка просто нерентабельна!

— Всегда вы так, меркантильный вы человек! — выкрикнул Зит, лучший врач острова. От гнева он, казалось, готов был накинуться на Бира с кулаками. — Значит, если бы эти молодцы доказали вам, что дело может дать прибыль, вы бы их на него благословили? Стыдно! Знаете ли вы, какая горькая участь ждет человека в открытом море?

В течение луны я наблюдал за людьми, сидящими в лодках. Ничего не жалея для науки, готовый к любым жертвам, я поставил эксперимент и на себе.

Могу вам доложить, что лодку все время качают волны, все кажется зыбким и неустойчивым. От этого кружится голова, тошнота подступает к горлу. Я был вынужден прервать опыт и не рискнул повторить его. Я предостерегал наших новоявленных мореплавателей, говорил об ужасных последствиях этой болезни. Увы, слово старших так мало значит для современной молодежи! Эти юнцы утверждают, что болезнь, которую я назвал морской, быстро проходит, что они больше не страдают ею. Мальчишки забывают, что чем дальше в море, тем выше волны, и болезнь набросится на них с новой силой.

Но это, поверьте мне, еще не самое страшное.

Вдали от родных берегов путешественников будет окружать только море. Ни клочка земли, ни зеленого деревца, ни хотя бы голого обломка скалы. Они не услышат ни пения птиц, ни шелеста листьев. Только волны, волны и их бесконечный однообразный рокот. Страшнее пытки не придумаешь! Говорю вам, если бы их лодка сразу перевернулась, это было бы еще не самое худшее.

Простая гуманность велит нам не дать бедным

смельчакам осуществить их замысел. Я каждого из них лечил от кори и свинки, мне тяжело предлагать это, но выход только один: всех «путешественников» надо связать и держать под замком, пока они не откажутся от задуманного и не станут снова добропорядочными гражданами...

— Принято единогласно, — объявил председательствующий Кич.

Разминая ноги и откашливаясь, члены Совета Мудрых вышли на площадь.

Первым, кого увидел Кич, был его собственный сын.

— Папа, мы уже два солнца дожидаемся возможности поговорить с вами! — крикнул юноша, бросаясь к отцу. — Мы побывали вон на том острове, что чуть виднеется на горизонте. Привезли семена удивительного дерева, которое приносит плоды не сладкие, а жирные. С нами приехал специалист по его выращиванию, познакомься, пожалуйста. И потом, папа, те люди хотят обмениваться с нами товарами. А какие там девушки!

ПОТОМКИ ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ

Петру было грустно. Здесь, в Беловежской пуще, его предки охотились на медведей и зубров. Но даже о зубрах известно куда больше, чем о людях прошлого. Сколько документов утеряно безвозвратно! Вот и возникают споры, вроде вчерашнего...

Он включил аппарат вечной памяти.

Сергей, педагог со столятидесятилетним стажем, говорил рассудительно, но пылко:

— Молодой философ Вородис недавно выдвинул новую гипотезу о литературе прошлых эпох. Он утверждает, что даже отрицательные герои в книгах древности — обобщенные, но реальные образы. Просто смешно! Неужели на маленькой планете Земля нашлось место хотя бы для одного Гобсека? Урии Гипа? Иудуш-

ки Головлева? Ведь их черты противоречат нравственной природе человека! Я не знаю, зачем потребовалось отрицать тот очевидный и общепризнанный факт, что вся большая литература на протяжении многих столетий была научно-фантастической. Великие писатели прошлого показывали человечеству, к чему могут привести зародыши дурных чувств и страстей. Увы, до нас дошли лишь отдельные отрывки из немногих книг. Только это еще позволяет нашему юному другу бороться за свою опрометчивую гипотезу!

Поворотом рычажка Петр оборвал вспыхнувшие аплодисменты. И тут же услышал:

— Дружище, ты уже здесь!

В следующую секунду он оказался в объятиях Намре Буга.

Мгновением — и недавно изученным приемом Петр перебрал товарища через плечо и приготовился к отражению новой атаки. Но Намре Буг, смеясь, поднял руки вверх:

— Сдаюсь! Побережем силы для медведей.

— А как старички из общества защиты животных?

— Да ну их! Требуют, чтобы каждому медведю после борьбы предоставлялись три дня отдыха. И предлагают еще раз сузить шкалу разрешенных приемов. Это после того, как какой-то увалень на Иллинойской спортбазе сломал лапу старому гризли.

— Фу! Этак нам никогда не догнать предков. Так и останемся на веки вечные хилыми потомками богатырей. Человечество вырождается на глазах! Ты слышал о последней находке археологов?

— А что такое?

— Обнаружили обрывки двух древних печатных книг. В одной из них утверждается, что человек будущего, то есть нашего времени, будет жить без зубов и без волос, на его руках останется только по два пальца. В другой — что часть людей станет странными ночными животными — морлоками. Непонятно, почему авторы пришли к таким выводам. Но — предки предупреждают! Срочно собран Совет Мудрости.

— Ага, спохватились! То-то уже предложено использовать для спортивной борьбы львов, тигров и

криномусов с планеты Фай, — злорадно отметил Намре Буг.

Друзья остановились у скромного сорокаэтажного здания на большой поляне.

Перед входом стояла великолепная скульптура, изображающая борьбу человека с медведем. На постаменте горели древнерусские буквы: «Трех белок и соболя взял и того же дни... пятнадцать медведей оборол».

— Вот позавидуешь, — сказал Намре Буг, — в день можно было встретиться с пятнадцатью, а теперь жди очереди месяц.

— А вдруг в рукописи пропущен срок, за который он поборол медведей?

— Не будь таким осторожным, товарищ программист! Если мы с тобой справимся за день с пятком медведей, то, представляешь, наш предок! Могу сообщить тебе как историк: сохранились особые документы, которые за точность зовут былинами. В них говорится о людях, носивших посохи в сорок пудов — шестьсот сорок килограммов — и вырывавших из земли дубы с корнем.

— Позволь с тобой не согласиться, — начал Петр, но тут их перебил голос, хозяин которого предпочел остаться невидимым:

— Только что получено от генеральной медицинской коллегии важное сообщение. Наконец-то девушкам разрешено принять участие в борьбе с медведями. Естественно, мы все уступили спортсменкам очередь. Как вы, товарищи?

— Разумеется, — вздохнули друзья.

— Нет, пора придумывать какой-то новый вид спорта, — покачал головой Петр.

— Давай разработаем правила по вырыванию деревьев с корнем, — подхватил Намре Буг.

— Хорошо бы, — с сомнением произнес Петр. — Только что скажет комиссия по озеленению?

ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРКИ

Я люблю дерево, отполированное
прикосновением рук, ступеньки
лестниц, истертые шагами людей...

Фредерик Жолио-Кюри,
*Размышления о человеческой
ценности науки, 1957 г.*

Как трудно изобретать подарки

В эту ночь доктор Бер засиделся в своей лаборатории гораздо дольше обычного. Его мучила проблема, над которой раз в год приходилось ломать голову каждому женатому жителю Марса. Завтра день рождения его жены, а он еще так и не решил, какой преподнести ей подарок. В прошлом году он подарил ей готовальню. И жена осталась очень довольна. Разумеется, это была не обыкновенная готовальня. Каждый инструмент в ней доктор сам покрыл никелем, полученным буквально из всех уголков Галактики. Задумав сделать этот подарок, доктор долгое время, исследуя метеориты, тщательно собирал и сортировал никель. Он завел целую коллекцию банок, на каждой из которых была соответствующая этикетка: «Никель из метеорита № 67, район планеты Оро», «Никель из созвездия Диф», «Никель из туманности Асиниды». Всего у доктора накопилось двадцать два различных никеля. Конечно, все они ничем не отличались друг от друга, никаким физическим или химическим анализом нельзя было бы отличить их от обыкновенного марсианского никеля, но, что ни говоришь, приятнее держать рейсфедер или циркуль, если знаешь, что покрывающий его металл проделал изрядный путь в космосе, прежде чем попал к тебе в руки. Можно было бы на этот раз подарить жене алюминиевый транспорт, сделав его из металла, добытого из огромного метеорита, который чуть было не позволил доктору по-

бить рекорд академика Ара. Такого алюминия у доктора оказалось 80 килограммов, а потребовалось всего лишь три грамма для того, чтобы установить его абсолютное сходство с марсианским. Но доктор так часто говорил жене о том, что не знает, куда девать этот алюминиевый порошок... Нет, лучше пустить его для каких-нибудь других целей... Решительно ничего не приходит в голову. Может быть, сделать все-таки транспорт, выгравировав на нем дату поимки метеорита?

Во всех своих делах и расчетах доктор неизменно обращался к помощи электронной вычислительной машины. Но здесь-то она не сможет ему помочь. Однако почему бы не посоветоваться с ней? Доктор взял обрывок перфорированной ленты и решил, что если счетчик покажет в ответе число, последняя цифра которого будет четная, то можно будет сделать транспорт, если же нечетная, то он просто подарит пойманный им недавно крошечный метеорит, на котором, если положить его под микроскоп, можно увидеть причудливый узор, чем-то напоминающий инициалы его жены. Кстати, он давно уже собирался показать ей этот камешек.

Счетная машина сработала мгновенно, но, увы, число оканчивалось нулем. Доктор с досадой посмотрел на своего электронного советчика, который так решительно предоставлял ему полагаться на самого себя.

Впрочем, доктор хорошо знал, что он все равно не послушался бы совета машины. Подарок, сделанный по чьему-либо совету, уже не подарок. Это известно каждому школьнику, выучившему первую страничку нормативной грамматики: «Все окружающее нас можно подразделить на одушевленное и неодушевленное, к одушевленному относимся мы и подарки. Подарком называется вещь, задуманная вами и сделанная вами для другого». Учение о подарках преподается с первого по восьмой класс и по количеству отведенных для него часов занимает треть мосто после математики и физики. Это очень трудный предмет, и доктору никогда не удавалось иметь по нему хорошей отметки. Ему приходилось даже посещать дополнительные занятия с отстающими учениками, многие из которых, впро-

чем, стали впоследствии крупными физиками и математиками, весьма уважаемыми учеными.

Доктор снял очки, провел рукой по лбу, облокотился о стол и твердо приказал себе не менее чем через пять минут принять какое-нибудь решение, так как дальше медлить было уже невозможно. Но решение пришло даже раньше. Очки?.. Ну конечно же, можно сделать прекрасные очки, взяв для этого стекло, которое он получил из метеорита M223. Разве не приятно смотреть сквозь стекла, которые сами столько повидали на своем веку? Отличная мысль, а вот оправу действительно стоит изготовить из алюминия. Это будет вполне уместно. Все-таки не у каждого на счету имеется метеорит в четырнадцать тонн весом.

Завтра с утра он примется за стекла, а сейчас надо отправляться домой, уже совсем поздно. Доктор был у двери, когда из радиоприемника послышались резкие позывные, означавшие, что кто-то собирается передать не терпящее отлагательства сообщение. Только в таких чрезвычайных случаях ученые прибегали к мета-волнам, автоматически включающим все радиоприемники на Марсе. Что могло произойти в такой поздний час? Доктор напряженно вслушивался.

«Внимание, внимание, — оглушающе громко донеслось из репродуктора, — говорит лаборатория 602, говорит лаборатория 602. Говорит академик Ар. Приступаю к вскрытию искусственного небесного тела, пойманного мной в квадрате 7764. Включены все микрофоны лаборатории, следите за моими передачами. Следите за моими передачами. Говорю из лаборатории 602. Говорит академик Ар».

Доктор Бер бросился к радиопередаточной установке. Он пытался понять, что могло произойти. Искусственное небесное тело? Почему академик не подал сигнала сразу же, как он убедился в искусственном происхождении метеорита? Почему он решил доставить это тело именно в лабораторию 602? В лабораторию, расположенную на Фобосе? Почему он считает необходимым немедленно вскрыть искусственный метеорит? Почему он решил это сделать один, не призвав никого на помощь? И главное, почему он молчит?

Этот поток мыслей и неразрешимых вопросов, наконец, был прерван раздавшимся в приемнике голосом академика Ара. Академик говорил взволнованно и торжественно, но слова его были обращены не к тем, кто затаив дыхание слушал его на Марсе.

— Дорогой и глубокоуважаемый коллега, — говорил академик, — я счастлив от своего имени и от имени всех ученых и жителей планеты Марс сердечно приветствовать вас, первого гостя, прибывшего к нам из космоса. Я отдаю себе отчет в том, что посещение нашей планеты, быть может, не входило в ваши научные планы, которые оказались нарушенными по моей вине. Я приношу вам по этому поводу свои глубочайшие извинения. Я вижу, судя по той тревоге, с которой вы осматриваете своды этой мрачной лаборатории, что прием, оказываемый вам на Марсе, не кажется вам радужным. Я позволю себе быть с вами совершенно откровенным, и тогда, может быть, ваши недоумения и опасения рассеются. Мы, марсиане, — единственные живые существа, населяющие нашу планету. Однако древнейшие периоды нашей истории, полные жестоких войн, когда достижения науки нередко использовались для уничтожения жизни, заставили нас прийти к прискорбному выводу, что даже живые существа, во всем подобные друг другу, не сразу могут обрести язык мира и согласия. Удивит ли вас после этого, что я не мог не питать величайшей тревоги, когда у меня возникла мысль, что в вашем космическом корабле, перед техническим совершенством которого я преклоняюсь, возможно, есть живые существа? Вот почему мы с вами оказались здесь. Я еще не знаю, что вы скажете мне в ответ и смогу ли я также понять вашу речь, как вы понимаете мою, в чем меня убеждает внимание, с которым вы меня выслушали, но я прошу вас, дорогой коллега, верить, что я и все жители Марса, которые сейчас слушают нас, бесконечно рады вашему прибытию. Мы с волнением ждем вашего слова...

Но никакого слова не последовало. Вместо него вновь воцарилась тишина, повергнувшая доктора Бера в новый водоворот тревожнейших мыслей и сомнений.

Представитель Меркурия не получает слова

Меркурий... Венера... Земля... Марс... Юпитер... Сатурн... Уран... Нептун... Плутон. Кто же выступит первый? Впрочем, порядок не имеет особенного значения. Пускай начинает Юпитер: он самый большой и толстый.

Старший научный сотрудник Музея необыкновенных метеоритов Кин еще раз лукаво посмотрел на нарисованные им забавные фигурки, каждая из которых изображала какую-нибудь планету, а все вместе они должны были представлять первое межпланетное совещание по упорядочению названий. Вопрос очень серьезный. Когда представители всех планет собрались для того, чтобы обсудить насущные задачи солнечной системы, оказалось, что им очень трудно разговаривать между собой, так как все их имена перепутались.

Но тут вдруг выяснилось, что планета Венера во всех уголках солнечной системы хотя и на разных языках, но всегда называлась всеми планетой Любви. Это очень заинтересовало участников совещания. Они обрадовались такому замечательному совпадению, позволявшему предполагать, что произошло это не случайно, а потому, что у жителей всех планет общее представление о любви, а значит в конце концов они смогут обо всем договориться. Решено было, чтобы каждый представитель объяснил, почему на его родине Венеру называют планетой Любви.

На этом месте написанной им истории Кин остановился, задумавшись, кому же первому предоставить слово. Сочинение таких историй очень увлекало Кина, хотя многие другие ученые считали, что такое времяпрепровождение несовместимо с научной работой. Итак, что же скажет представитель Юпитера?

— Мы, — начал забавный толстячок, — долго мучились, пытаясь разгадать, почему Венера светится ярче, чем все другие планеты, и даже в тринадцать раз ярче Сириуса. Мы определили, что она отражает половину падающего на нее солнечного света. Но почему? Вот загадка. Наконец удалось установить, что этот свет отражают белые облака, густой пеленой

окутывающие планету. И тогда мы назвали Венеру планетой Любви, ибо любовь тоже тем ярче, чем непроницаемое пелена тайны, которая ее покрывает.

— Прежде чем объяснить причины, по которым мы назвали Венеру планетой Любви, — сказал застенчивый плутоник, — я должен принести свои извинения представителю Меркурия. К сожалению, так как мы очень удалены от центра и находимся в глухой периферии, мы вообще не знали о существовании Меркурия и считали Венеру самой близкой спутницей Солнца. Как вы знаете, у нас довольно холодный климат, даже летом температура не поднимается выше абсолютного нуля. Наблюдая в сверхмощные телескопы Венеру, мы радовались тому, что она так близко расположена к центральному светилу, что ей так хорошо, тепло и светло. Не такое ли же чувство радости за любимое существо охватывает нас, когда мы видим, что оно счастливо и наслаждается жизнью? Может быть, это наше плутоническое представление о любви покажется кое-кому устаревшим и отсталым, но так-то уж мы, плутоники, живущие в суровых условиях и не избалованные окружающей средой. Поэтому мы и назвали далекую планету, внушающую нам такие чувства, планетой Любви.

Кин перечитал все написанное, поправил несколько неудачных слов, хитро улыбнулся и стал придумывать, что же должны сказать о любви и другие представители и сама обворожительная обительница Венеры. «Представитель Меркурия...» — начал писать он. Но в этот момент раздались резкие позывные сигналы по радио.

Первое сообщение академика Ара вывело Кина из себя. В гневе он стукнул кулаком по столу, так что содрогнулась вся солнечная система; удар пришелся по листку, на котором был изображен представитель Меркурия. Стукни Кин с такой же силой по самому Меркурию, одной планетой в солнечной системе стало бы меньше. Безобразие! До каких же пор это будет продолжаться, до каких пор будут попираться права, предоставленные Музеем метеоритов необычайных

форм?! Ни к каким физическим и химическим исследованиям нового метеорита не разрешается приступать, пока работники музея не снимут с него слепок, в точности воспроизводящий все особенности его поверхности, вплоть до самых мельчайших деталей! Что из того, что некоторым ученым снятие слепка кажется никому не нужной формальностью. Это невежды, не понимающие, какие великие тайны хранит поверхность материи. «Приступаю к вскрытию искусственного небесного тела...» Академику Ару, разумеется, не терпится изувечить и искалечить драгоценную находку, попавшую к нему в руки. Он наконец-то уверовал в то, что могут быть метеориты искусственного происхождения. А разве Кин не говорил этого тысячи раз, разве не доказывал он, что обширная коллекция музея располагает по крайней мере десятком метеоритов, на которых можно явственно различить отпечатки неизвестных цивилизаций. «Игра воображения, фантазии, догадки домыслы» — вот что приходилось слышать всякий раз тем, кто посвятил свою жизнь кропотливому изучению поверхности камней. Посмотрим, что теперь скажет сам академик Ар. Какая игра воображения заставила его поднять на ноги всю планету?

Кин был в таком разгоряченном состоянии, что даже не сразу задумался над тем, к кому обращается академик Ар с приветственной речью. Но когда, наконец, до его сознания дошло, что искусственное небесное тело оказалось обитаемым, что на Марс прибыл представитель жизни с какой-то другой планеты, сотрудника Музея необыкновенных метеоритов охватило буйное ликование. Он ощутил такую необходимость поделиться с кем-нибудь своим восторгом, что стал говорить, тыча пальцем прямо в живот представителю Юпитера: «Вы понимаете, что теперь будет?! Теперь многое станет ясным. Мы узнаем, нет ли на планете, откуда прибыл наш уважаемый коллега, мощных действующих вулканов. Мы узнаем, не бывало ли случаев неожиданных грандиозных извержений, когда целые острова с находившимися на них каменными строениями уносило в космос? Мы попросим нашего почтеннейшего коллегу осмотреть коллекцию музея, и,

быть может, он опознает некоторые из причудливых обломков, и тогда те, кто позволял себе потешаться над нами, будут посрамлены, а истина восторжествует!» Кин уже видел, как он вместе с обитателем другого мира идет по галереям музея, как охваченный любопытством, гость склоняется над стендами, внимательно рассматривая каждый камень, и, наконец...

— Я вижу, — донесся вновь из приемника голос академика Ара, — что наш уважаемый гость очень утомлен после своего необычайного путешествия. Я был бы счастлив, если бы вы приняли мое приглашение и согласились бы провести первые дни на Марсе в нашем академическом павильоне на Большом Сырте. Там, в обстановке полного покоя, вы сможете хорошо отдохнуть и собраться с силами. Вас встретят мои друзья — доктор Бер и маэстро Кин, общество которых, я надеюсь, будет вам приятно. Если вы не возражаете против моего приглашения, то мы можем сейчас же покинуть эту лабораторию. Прошу вас, мой вертолет к вашим услугам.

После короткой паузы, когда все слушавшие академика Ара напряженно ждали, не последует ли от него еще каких-нибудь сообщений, слово взял президент академии.

— Уважаемые коллеги, — сказал он, — произошло событие чрезвычайной важности, все последствия которого нам трудно сейчас представить. Обстоятельства вынуждают меня быть кратким. Я считаю, что доктор Бер и маэстро Кин, если они не имеют обоснованных возражений, должны немедленно вылететь на Большой Сырт. Мне неизвестны причины, по которым академик Ар призвал на помощь именно их, но, очевидно, у него были на то свои веские соображения.

Скудость фактической информации, полученной во время сообщений академика Ара, не дает мне возможности реально оценить создавшуюся обстановку. Я могу лишь призвать участников экспедиции к величайшей бдительности. Прошу высказываться.

Радиоперекличка ученых Марса еще продолжалась, когда Бер и Кин были уже на Большом Сырте.

Магнитофонная запись первой беседы, состоявшейся между академиком Аром, доктором Бером и Кином

Академик Ар. Мои дорогие коллеги, я предложил вам, воспользовавшись тем, что наш гость крепко уснул, подняться наверх и произвести первый обмен мнениями. Я еще не имел возможности проинформировать вас и весь научный мир Марса обо всех событиях этой необычайной ночи. Я должен это сделать, так как для успеха нашей дальнейшей совместной работы вам необходимо знать все, а мои сообщения из лаборатории 602, в силу ряда обстоятельств, которые я собираюсь изложить, не могли полностью ввести вас в курс происходившего.

Начну с фактической стороны. В 3 часа 15 минут 22 секунды радиоманитный луч моего прожектора вошел в соприкосновение с метеоритом в квадрате 7764, пространственные координаты 29 и 648. По показаниям массметра, вес заабордажированного небесного тела равнялся 3,5 тонны. При включении контрлуча массметр отметил неожиданное резкое уменьшение веса метеорита до 120 килограммов. Вошедший в поле видимости метеорит поразил меня своим блеском и необычайностью формы. Осмотр его на фиксационной площадке убедил меня, что это небесное тело искусственного происхождения, и зародил во мне мысль о том, что внутри него могут находиться живые существа, создатели межпланетного снаряда. Я решил немедленно проверить это предположение, учитывая, что пилоты могли нуждаться в экстренной помощи, так как программа их полета была резко нарушена моим невольным вмешательством. С другой стороны, по вполне понятным вам причинам я опасался произвести демонтаж снаряда на Марсе. Вот почему я отправился в лабораторию 602. После того как я разобрался в системе креплений наружного люка, я сделал свою первую передачу. Открыв люк, я увидел в кабине снаряда пилота-исследователя, который добровольно покинул свое летное помещение, не захватив с собой ничего, что могло бы напоминать средство обороны или нападения. Тем не менее в момент встречи с межпланетным пилотом я испытывал чувство величайшей

тревоги и, лишь преодолев ее, смог обратиться к водителю снаряда с приветственной речью, которую вы все слышали.

С волнением я ожидал ответа, но пилот, не спускавший с меня глаз, оставался совершенно безмолвным. О возможных причинах этого молчания я позволю себе высказаться ниже. Сейчас же скажу, что хотя внешний облик таинственного пришельца из космоса внушал мне опасения, в самом его поведении не было ничего, позволявшего предполагать дурные намерения.

Дальнейшее проявление какого-либо недоверия к нему могло бы иметь самые нежелательные последствия, и тогда я произнес свое заключительное обращение, которое вам известно. Свои слова: «Мой вертолет находится в вашем распоряжении», я сопроводил пригласительным жестом, и наш гость без какого-либо понуждения с моей стороны сам поднялся по откидной лесенке, ведущей в кабину. Во время перелета Фобос — Большой Сырт он вел себя очень спокойно, хотя по-прежнему не отвечал ни на какие мои вопросы. В 6 часов 30 минут, за 20 минут до посадки вертолета, пилот уснул. Я вынужден был вынести его из кабины на руках. Он, как вы знаете, не проснулся и после того, как мы перенесли его в отведенную для него часть павильона. Таковы вкратце произошедшие события.

Доктор Бер. Чем вы можете объяснить внезапное изменение показаний массметра при включении контрлуча?

Академик Ар. Это остается для меня загадкой. Однако я предполагаю, что контрлуч благодаря радиотехническим совпадениям, возможно, привел в действие разъединительные механизмы крупного космического корабля, распавшегося на части, одной из которых и является пойманный нами снаряд. В случае правильности этой гипотезы, согласно закону Леза, мы могли сохранить в сфере притяжения лишь частицу с наименьшей массой.

Кин. В чем вы видите основную цель работы нашей группы?

Академик Ар. Мы должны попытаться уста-

новить контакт с нашим инопланетным коллегой, найти способы общения с ним, выяснить, чем мы можем быть ему полезны в создавшейся обстановке.

Кин. Вы говорили, что у вас есть особые соображения, позволяющие понять причины молчания пилота. Я думаю, что мне, доктору Беру и всем слушающим нас было бы очень полезно познакомиться с этими соображениями.

Академик Ар. Сейчас я их изложу. Но я должен предупредить вас, что это пока не более чем рабочая гипотеза.

За те двадцать минут, которые я провел в кабине своего вертолета, глядя на моего уснувшего спутника, я продумал очень многое. Вот существо, думал я, которое преодолело миллионы километров в безднах космоса. Оно победило и подчинило себе стихийные силы природы, но потерпело неожиданную катастрофу, столкнувшись с силами разума, которые оказались более слепыми, чем сама стихия. Вас может удивить, что я говорю о катастрофе. Но она, несомненно, произошла, и я — невольная ее причина.

До того мгновения, когда вступил в действие луч, корабль шел по строго намеченному курсу. Его водитель был свободен, он наслаждался свободой, он был властелином космоса, и вот что-то неведомое, непостижимое, непокорное отнимает эту свободу и превращает укротителя стихий в игрушку обстоятельств. Для того чтобы ощутить это, не требовалось ни взрыва, ни грохота, ни стремительного падения — достаточно было загадочных перемен в показаниях приборов.

Межпланетный снаряд, покорный нашему разуму, покорный созданным нами силам, спокойно опустился на Марс. Но разум водителя корабля пережил в эти минуты катастрофическое падение с космических высот свободы, с космических высот познания. Мог ли он остаться невредимым?

Но, во всяком случае, мы не должны терять надежды на то, что наш инопланетный коллега может оправиться от шока. Мне кажется, что он не утратил способности воспринимать обращенную к нему речь. При звуках голоса в его глазах всегда вспыхивает свет

мысли и чувства. Мы окружим нашего гостя условиями, ни в чем не напоминающими ту обстановку, в которой произошла катастрофа. Мы изолируем его от всего, что хоть в какой-либо мере может напоминать научную лабораторию, подобную той кабине, в которой находился пилот во время полета. Никаких приборов.

Время и естественная среда — вот наши единственные союзники в той нелегкой борьбе, которую нам предстоит вести за возвращение нашему гостю дара речи.

Палка о двух концах

Доктор Бер рассматривал фотографии. Их нужно было выслать в редакцию академического бюллетеня. На столе лежало несколько снимков. Живой — так предложил академик Ар назвать космонавта — был сфотографирован во весь рост, в профиль, анфас. Доктор внимательно изучал снимки. Это было нечто привычное — чертеж, схема, на которую можно смотреть часами, проникая во взаимоотношения частей и деталей. В обществе Живого доктор чувствовал себя связанным. Всякий раз, когда Живой неожиданно поворачивал голову в его сторону, как бы уловив пытливый взгляд ученого, доктору становилось не по себе. Ему казалось, что Живой упрекает его в бестактности. Что вы рассматриваете меня, как какую-нибудь колбу? Будьте любезны спросить, хочу ли я, чтобы вы на меня смотрели... А спрашивать Живого и вообще разговаривать с ним с такой непринужденностью, как это делал Кин, доктор никак не мог научиться. Он даже сказал как-то академику Ару, что сомневается, сможет ли принести какую-нибудь пользу в работе их научной группы. И не напрасно ли академик пригласил именно его. Какая связь между специальностью доктора — строение метеоритных кристаллов — и теми задачами, которые стоят перед их экспедицией?

— В ваших работах, — ответил ему академик Ар, — меня всегда привлекала справедливость и точность выводов, которые вы делали, сопоставляя факты, на первый взгляд казавшиеся несопоставимыми, не имеющими никакого отношения к сфере проводимого

вами исследования. Это как раз то, что сейчас нам очень нужно. Наблюдайте и сопоставляйте. Но как сопоставлять наблюдения, которые нельзя фиксировать? Даже для того чтобы сделать эти снимки, абсолютно необходимые для информации других ученых, пришлось выдержать борьбу с Кином, утверждавшим, что нельзя фотографировать Живого, поскольку фотоаппарат — это сложный механический прибор и вид его может усилить душевную травму космонавта. Академик Ар тоже склонился на сторону Кина, и доктору Беру пришлось прибегнуть к сильному телеобъективу и снимать Живого с большого расстояния. Но так ли уж правы Ар и Кин, считая, что нужно оградить Живого от всего, даже отдаленно связанного с наукой, с приборами, с обстановкой, окружавшей его в момент катастрофы? И какие же наблюдения без приборов? И где взять тогда материал для сопоставлений?

На вечернем совещании, когда все трое ученых собрались в библиотеке, у Кина был радостный и взволнованный вид.

— Дорогие друзья! — начал академик Ар. — Приступим к работе. Закончился пятый день нашего пребывания на Большом Сырте. Он был отмечен весьма важным событием. Вы оба понимаете, что я говорю о палке. Необходимо, чтобы маэстро Кин во всех подробностях изложил нам ее историю, историю первого тесного и добровольного контакта Живого с окружающим его миром марсианской природы.

Кин откашлялся, быстро проглотил вечно торчавшую у него за щекой глюкозную таблетку — привычка Кина постоянно засовывать себе в рот эти таблетки ужасно раздражала доктора Бера, — провел рукой по своим всклокоченным волосам и, взглянув на часы, начал сообщение:

— Осуществляя программу послеобеденных наблюдений, я прогуливался с Живым в лощине, прилегающей к парку нашего павильона. Как всегда, Живой совершал массу движений, и мне никак не удавалось проследить, что побуждает его к такому постоянному и хаотическому перемещению. Поскольку вчера доктор Бер очень подробно охарактеризовал, сколь

различно поведение Живого в закрытых помещениях и на природном ландшафте, я не буду на этом останавливаться. Скажу только, что кривая наблюдавшихся мной перемещений Живого ничем существенно не отличалась от той, которую начертил перед нами наш уважаемый коллега. Но внезапно Живой, за мгновение до этого скрывшийся в кустарнике, появился передо мной, держа вот эту палку.

Кин торжественно показал рукой на лежавший на столе обломок засохшей ветки.

— Это было столь неожиданно, что я оторопел. Но затем, заметив, что Живой очень пристально и как-то вопрошающе смотрит на меня, я подошел к нему и сказал: «Уважаемый коллега, разрешите мне посмотреть вашу находку». Живой очень любезно положил палку передо мной. Я взял ее в руки, отлично сознавая ее огромную научную ценность и не решаясь вернуть Живому, так как он мог бы унести палку назад в кусты, оставить ее там, и я ни за что бы не нашел ее среди хвороста, которого так много в лощине. Я понимал, что нам дорога именно эта палка, первая среди тысячи других привлекавшая внимание Живого. Вместе с тем я не решался оставить ее в своих руках, так как Живой смотрел на меня с выражением недоумения и даже сделал слабую попытку вновь завладеть своей находкой. Тогда, положив палку перед Живым, я постарался объяснить ему вкратце ее значение. «Отличная палка, — сказал я, — очень хорошая палка. Поздравляю вас, коллега, я очень рад, что, наконец, что-то понравилось вам у нас на Марсе. Это очень, очень хорошо. А теперь пойдемте домой, наши друзья уже ждут нас, они тоже будут рады познакомиться с вашей находкой, с вашей прекрасной, великоленной, отличной палкой». При этом я погладил палку рукой, желая этим жестом еще раз подчеркнуть ее значение.

Всю обратную дорогу Живой, держа палку, шел впереди меня. Его поведение резко изменилось. Хаотические метания из стороны в сторону прекратились, он нигде не сворачивал и лишь время от времени опускал свою находку, чтобы взять ее потом поудобнее.

Когда мы вошли в павильон, Живой не отнес палку в свою комнату, а положил ее перед моей дверью, выражая всем своим видом, что он хочет мне ее подарить. Я сердечно поблагодарил его за такой подарок.

Кин умолчал о том, что, растроганный, он со своей стороны преподнес ответный подарок Живому: три глюкозные таблетки. Конечно, это нарушило режим питания. Но Кин не мог иначе выразить своих чувств. К тому же он сразу убедился в том, что Живой умеет хранить такие секреты в глубокой тайне.

После короткой паузы, во время которой все трое ученых сосредоточенно рассматривали палку, доктор Бер взял ее в руки, подержал на ладони и произнес несколько смущенным, но уверенным голосом:

— Я вижу в этом факте пока что только одно: Живой способен поднять кусок дерева весом около трехсот граммов и перенести его на расстояние приблизительно в восемьсот метров — иными словами, совершить работу, равную примерно двумстам пятидесяти килограммометрам.

— И это все, что вы можете сказать по поводу палки? — запальчиво воскликнул Кин.

— Все, — хладнокровно ответил доктор. — Факты не позволяют мне сказать большего.

— Ну, тогда я вам скажу, что думаю об этом я. Я очевидец и, если хотите, соучастник всего происшедшего. Мы вступаем в область психологии. Так забудьте же ваши граммы, килограммы, метры, большие и малые калории. Забудьте о них, наблюдайте, наблюдайте глазами сердца! Когда я увидел эту принесенную Живым палку, я очень хорошо понял, что он мне хотел сказать. Он говорил: я нашел и принес вам в подарок то, что напомнило мне о моей родной планете; у нас тоже растут деревья, мы строим из них жилища, мы делаем из них столы, чертежные доски, книжные полки. Вот что он хотел сказать этим маленьким кусочком дерева.

Я вижу, вы улыбаетесь, но знайте, ваша скептическая улыбка не убьет во мне уверенности в том, что я с помощью этой палочки сумею узнать о Живом больше, чем вы со всеми вашими приборами и аппа-

ратами. Эта палочка — знак доверия, может быть единственный знак, который способен сейчас подать наш несчастный коллега, это отчетливый проблеск сознания и поиска общения, а вы собираетесь измерять его в граммах и сантиметрах. Стыдитесь, доктор, нельзя быть таким педантом!

Будь что будет

После бурного вечернего совещания академик Ар долго не мог уснуть. В конце концов ему удалось утихомирить своих разбушевавшихся коллег, но они так и не пришли к согласию. Вопрос о палке решено было обсудить еще раз. Сейчас, беспокойно ворочаясь с боку на бок, академик раздумывал над тем, как лучше провести это новое совещание, на котором с первым докладом должен выступить он сам.

Академик пытался привести свои идеи в строгий порядок. Но внезапно, когда ему уже казалось, что он достиг какой-то системы, блеснувшая в его голове мысль опрокинула все предыдущие построения. Он встал с постели, зажег свет, накинул халат, прошел в ванную комнату и там, взяв в зубы пластмассовый чехол от зубной щетки, стал внимательно рассматривать себя в зеркало. Зажатый в зубах чехол придавал безобидному лицу академика непривычное злодейское выражение, глаза его лихорадочно блестели. Но в этом блеске было одновременно и что-то умиротворенное. «Дорогие коллеги», — попытался проговорить академик, не вынимая чехла изо рта. Говорить было очень трудно, почти невозможно, членораздельность явно утрачивалась. Из рта академика вырывался лишь поток гортанных звуков, в котором сам ученый не узнавал произносимых слов. От напряжения на лбу выступили капельки пота. Ар вытер их полотенцем, вынул изо рта чехол и торжественно произнес, обращаясь к самому себе в зеркале: «Если это так, то тяжкий груз скоро спадет с моих плеч!»

Вернувшись в свою комнату, академик сел за письменный стол, положил перед собой лист бумаги и взял карандаш. Крепко зажав неотточенный конец карандаша в зубах, он склонился над бумагой. Сначала бук-

вы получались очень нечеткими и расплывчатыми, но постепенно они стали приобретать все более определенные очертания.

Свет еще долго горел в кабинете академика Ара. А когда он решил, наконец, снова лечь в постель, то от волнения опять не мог заснуть, но это было радостное волнение. Академику хотелось немедленно поделиться своими мыслями с Бером и Кином. Но он не решался будить их среди ночи. Напрасные опасения!

Доктор Бер, вернувшись с совещания, просидел за своим письменным столом еще дольше академика. Доктор был в очень дурном расположении духа. Все эти психологические способы изучения Живого казались ему по меньшей мере преждевременными. Нет, он будет придерживаться своей программы. Он хочет располагать хотя бы минимумом точных математических данных, и он их получит.

Доктор достал пачку фотографий и отобрал те, где Живой был снят во весь рост, в профиль и анфас.

Ну что же, раз ему не дали взвесить Живого, то он по крайней мере хотя бы приблизительно узнает, в каких отношениях находится вес отдельных частей его тела. Доктор взял фотографию и аккуратно вырезал Живого по всей извилистой линии профильного контура. Затем он положил вырезанную фигуру на лабораторные весы. Четыре грамма сорок шесть миллиграммов. Отлично. А теперь... Крепко сжав Живого большим и указательным пальцем левой руки, доктор Бер осторожно ввел его шею в раздвинутые лезвия ножниц. С секунду он поколебался, не следует ли взять немного правей, а потом решительно сдвинул ножничные кольца. Отделившаяся от туловища голова Живого упала на стол. Доктор Бер взял ее пинцетом и положил на чашу весов. Один грамм двадцать два миллиграмма. Таким образом, можно предположить, что вес головы Живого относится к весу туловища примерно как один к четырем. Обычное соотношение веса головы жителя Марса к весу туловища один к семи. Сравнение явно в пользу инопланетного коллеги.

Доктор Бер положил в конверт части принесенной

в жертву науке фотографии и задумался. «Наблюдайте и сопоставляйте», — вспомнились ему слова академика Ара.

Доктор достал новые снимки и принялся их внимательно изучать, вооружившись циркулем, линейкой и транспортиром.

Вид спереди. И вид сбоку. Рассматривая их поочередно, Бер прежде всего обратил внимание на то, что голова Живого не только представляет собой высшую часть его тела, но и наиболее выдвинутую вперед. Этот факт как-то особенно подчеркивает подчиненность всех других органов голове. Вид сбоку убедительно свидетельствует о том, что все служебное и второстепенное решительно отодвинуто назад и имеет чисто подсобное значение. Вместе с тем, будучи отличным знатоком механики, Бер без труда определил, что при такой конструкции на передние конечности Живого должно приходиться не менее двух третей нагрузки от его общего веса. Примаат переднего над задним совершенно очевиден.

Еще более поразительную картину представляет собой вид спереди. Бер порывлся в своей записной книжке и достал свою собственную фотографию, где он был запечатлен рядом со своим четырнадцатитонным метеоритом. Голова Живого составляет одну треть от общей высоты его тела. Голова Бера всего лишь одну восьмую. Это, конечно, не очень приятно, но нужно уметь смотреть в лицо фактам.

Таким образом, следует обратить особенное внимание на изучение головы. Первое, что бросается в глаза, — это расположение ушей. Они находятся непосредственно над предфронтальной частью мозга и обращены прямо к собеседнику. Если провести прямую от ноздри Живого через зрачок его глаза, то она будет одновременно и биссектрисой угла, в вершине которого находится кончик уха. Такое расположение всех важнейших центров восприятия на одной оси может и должно способствовать чрезвычайной концентрации внимания. Бер соединил соответствующие точки на своей фотографии и получил тупой угол в 105 градусов с вершиной, приходящейся на зрачок. Не вытекает ли

из этого, что марсианскому ученому требуется дополнительное умственное усилие, когда необходимо направить и зрение, и обоняние, и слух на один определенный предмет?

Но при всем своем своеобразии, оригинальности формы и расположения уши Живого все-таки не так примечательны, как его нос. Он центральная и абсолютно доминирующая часть его лица; в сущности, все лицо Живого, исключая лобовой и глазной участок, это один разросшийся нос. Не следует ли в таком случае предположить?.. Доктор не знал, как точнее сформулировать свое предположение, но он чувствовал, что его выводы имеют далеко идущие последствия. Обоняние... Мир запахов... Вот где, судя по всему, может таиться разгадка Живого.

Бер вышел на балкон, чтобы немного подышать перед сном свежим воздухом. Дурное расположение духа сняло с него как рукой. Ощувив у себя под ногами твердую почву фактов, доктор уже с улыбкой вспоминал свою недавнюю полемику с Кином. Он снисходительно посмотрел на темное окно соседа. Горячая голова, что-то ему сейчас снится?

Но Кин не спал. Всю ночь он не смыкал глаз, терзаемый самыми жестокими сомнениями, которые когда-либо выпадали на долю ученого. То, что он задумал сделать, было близко к попытке проверить закон всемирного тяготения прыжком из окна десятиэтажного здания. Но если бы у великого древнего мыслителя, открывшего этот закон, не было никакой другой возможности убедиться в истине, разве не прибегнул бы он к этому крайнему способу?

Четыре уравнения с пятью неизвестными

Профессор Ир, сидя за своим письменным столом, просматривал свежие академические бюллетени. Он никак не мог привыкнуть, что именно с этого начинается теперь его рабочий день. И хотя на дверях кабинета профессора висела табличка: «Директор Универсального академического издательства и Универсальной единой библиотеки», это громкое звание не доставляло ему никакого удовольствия. Он продолжал

считать, что после всей этой раздутой истории с метеоритами с ним поступили несправедливо, отстранив его на три года от научных лабораторных изысканий и переведя на административную работу. Сколько было шума, когда выяснилось, что камни, которые профессор выдавал за метеориты, были просто собраны им в заброшенной каменоломне около Асидолийского моря. Но как бы там ни было, с профессором поступили слишком жестоко. Никакой профанацией науки он не занимался, а если и нарушил второй пункт нового академического устава, так сделал это потому, что бедняге уж очень не везло на метеоритной ловле. Но устав есть устав, и в нем написано ясно и четко: «В связи с завершением работ по изучению материальной структуры Марса и во избежание топтания науки на месте академия предлагает заниматься исследованием только тех видов материй, которые не встречаются на поверхности и в недрах нашей планеты».

В эти дни, когда внимание всех ученых Марса было приковано к экспедиции на Большом Сырте, профессор Ир особенно остро переживал свое опальное положение. Он не сомневался в том, что при других обстоятельствах академик Ар, несомненно, пригласил бы его в свою исследовательскую группу. Они много лет работали вместе, и академик весьма ценил неутомимую энергию профессора, сочетающуюся с выдающимся талантом экспериментатора.

На новом месте профессору не к чему было по-настоящему приложить свои силы. Издательство и библиотека работали как хорошо налаженный механизм, без особенного вмешательства профессора.

Единственное, что он мог бы назвать собственно своим детищем, — это задуманное им юбилейное издание трудов Рига, выдающегося ученого, основателя академии. В этом году исполняется столетие со дня выхода в свет его фундаментальной работы «Кризисы и взлеты познания». К этой дате решено было издать новое академическое собрание сочинений Рига, снабдив их подробными комментариями, позволяющими, с одной стороны, оценить все своеобразие научной мысли Рига, с другой стороны — продемонстриро-

вать, как далеко шагнула наука за минувшее столетие.

Сначала это представлялось профессору Иру делом не очень сложным, но неожиданно в работе над комментариями возникли серьезные затруднения, связанные с тем, что Риг жил и творил за два века до печально знаменитой четырехсотлетней войны, вошедшей в историю под названием «Физики против лириков». Поводом к этой войне послужило изобретение синтетических продуктов питания. Представитель лирических наук маэстро Тик выступил на торжественном заседании академии и поздравил физиков с их выдающимся открытием, освобождавшим жителей Марса от тиранической власти природы. Но в своей речи несчастный маэстро позволил себе сказать несколько добрых слов и по поводу старинной марсианской окрошки и древнего марсианского винегрета. Этого оказалось достаточно, чтобы физики обвинили лириков в чудовищной неблагодарности. «Лирические науки развращают разум! Долой лириков!» Сопровождаемый такими выкриками, маэстро Тик покинул трибуну. Торжественное заседание неожиданно превратилось в ожесточенное перечисление взаимных обид. Прорвались наружу страсти, сдерживавшиеся в течение тысячелетий, вспыхнула война, в которой лирики потерпели полнейшее поражение.

Торжествовавшие победу физики, математики и химии подвергли физическому и химическому уничтожению все, что не имело непосредственного касательства к их наукам. От «лирической скверны» были очищены все библиотеки, музеи и прочие культурно-просветительные учреждения. Напрасно покоренные лирики пытались доказать, что среди гибнущих книг имеются ценнейшие исследования по истории материальной и духовной культуры Марса. Физики были неумолимы. Даже из оставшейся собственно физической литературы они повывчеркивали все сравнения, эпитеты и метафоры, встречавшиеся, правда, там довольно редко. Картинные галереи, консерватории, даже цирки — все было превращено в просторные физические лаборатории, где представители других

наук и профессий первоначально использовались на подсобных работах.

Безраздельное владычество физиков продолжалось несколько тысячелетий. Потом, в период застоя физико-химической мысли, предшествовавшего метеоритной эпохе, вновь пробудился некоторый интерес к нефизическим наукам. Возникло и пышно расцвело подарководение. Стали по крупницам разыскивать и собирать оставшееся от древности. Но практически ничего не осталось. Правда, среди 56 миллиардов книг, хранившихся в академической библиотеке, случайно удалось обнаружить с десяток гуманитарных произведений. Какие-то хитроумные лирики, чтобы обмануть бдительность физиков, вклеили эти книжки в корешки и обложки от физических трудов. Но даже и эти книги не удавалось прочитать, так как редко встречалась фраза, где бы не было трех, четырех, а иногда и больше непонятных слов и идиом, установить значение которых, пользуясь словарями физического периода, было совершенно невозможно. В библиотеке академии был создан специальный отдел по расшифровке древней лирической литературы, но дело продвигалось крайне медленно, натываясь на бесчисленные непреодолимые препятствия.

Труды Рига были написаны отличным физическим языком. Очевидно, именно это обстоятельство ослабило в свое время внимание проверочной комиссии, не вычеркнувшей из них ни одной фразы. При тщательной же подготовке текста к переизданию обнаружилось, что в одной из своих работ по определению коэффициента диффузии оптическим методом почтенный ученый позволил себе весьма странное выражение. «Я, — писал он, — проделал сотни опытов с коллиматором, и теперь, подобно древним тидам, могу сказать, что съел на этом деле бусуку». Профессор Ир знал, что «тид» — это древнейшее название жителей Марса, вытесненное впоследствии словом «ученый», но что такое «бусука», на этот вопрос не мог дать ответа ни один из имевшихся в библиотеке словарей.

Оставить без комментариев это место в статье бы-

ло невозможно, а объяснить его никак не удавалось. Можно было, разумеется, написать: «Бусука — вид лици, распространенный во времена древнейших тидов». Но профессор Ир, типичный физик по своему характеру, не терпел никакой неточности и неопределенности. Он решил во что бы то ни стало разгадать тайну этого странного выражения. С этой целью он распорядился произвести осмотр и перепись всех 56 миллиардов книг в библиотеке, надеясь, что среди них обнаружатся новые, не открытые до сих пор издания, которые помогут разрешить загадку. Проверка 25 миллиардов книг не привела пока к положительным результатам.

Собственно говоря, в глубине души профессор сознавал, что, может быть, не стоило проделывать такую огромную работу из-за какой-то одной несчастной строчки. Но вместе с тем эти поиски бусуки принесли ему огромное моральное удовлетворение. Он снова чувствовал себя исследователем, готовым вот-вот прикоснуться рукой к чему-то неизведанному. Исследовательская страсть была в его сердце неистребима. Именно она заставила профессора, когда в его лаборатории истощились запасы метеоритов, притащить туда эти злополучные камни. Он не мог жить не исследуя, сам процесс поисков доставлял ему безграничное наслаждение.

Разумеется, профессор не просто отдал распоряжение пересмотреть все книги, он сам принимал в этом живейшее участие. Просмотрев утреннюю прессу, подписав два-три приказа, профессор надевал черный рабочий халат и отправлялся в помещение, где хранились наиболее древние книги. Здесь он и проводил целые дни.

«Дипольная молекула...», «Микрофарада...», «Зонная теория проводимости...», «Азимутальное квантовое число...» Профессор не просто берет с полки очередную книгу и открывает на первой попавшейся странице. Так можно и пропустить что-нибудь важное. Ведь в «Наблюдении аномальной дисперсии» Сида среди подлинных страниц этого классического труда были обнаружены сходные по формату вклеенные

листы. Их не удалось до конца расшифровать, но речь там идет о какой-то жестокой катастрофе, постигшей древних тидов в пятидесятом тысячелетии до основания академии. Очевидно, какого-то лирика почему-то заинтересовала эта катастрофа, он постарался уберечь несколько страничек из подлежавшей уничтожению книги. Такие находки могут быть всюду. И поэтому профессор, держа книгу в правой руке, левой осторожно отгибает все ее листы, а потом постепенно, отводя большой палец, заставляет страницы быстро промелькнуть перед глазами. Книга объемом в шестьсот страниц просматривается таким образом примерно за 45 секунд. За час не удастся проверить больше ста. Дневная выработка профессора равняется тысяче.

«Эффективное сечение молекул...», «Флуктуации силы тока...», «Универсальные физические константы. Выпуск 7». Профессор давно заметил, что на просмотр маленькой брошюры уходит иногда больше времени, чем на солидный том. Страницы толстого тома при отводе пальца быстрее принимают исходное горизонтальное положение, подвергаясь большему пружинящему действию остальных отогнутых листов. Эти «Физические константы» — совсем маленькая книжечка, она перелистывается очень медленно. Наметанный взгляд профессора сразу обнаружил, что на средних листах отсутствуют числа и формулы. Константы без формул и чисел? Здесь что-то неладно. Профессор стал рассматривать брошюру внимательнее. Так и есть! Нумерация страниц не совпадает. После восьмой идет сразу сорок вторая.

Профессору свойственна была исследовательская страсть, но он никогда не горячился, он не выносил торопливости. Когда нужно было изучить привлекавший его внимание предмет, профессор действовал методично, он даже становился пунктуален.

Поднявшись в свой кабинет с «Универсальными физическими константами» в руках, профессор положил брошюру на стол, достал стопку бумаги и, усевшись поудобнее, принялся за исследование своей находки. Прежде всего он посмотрел на выходные данные книжки. Брошюра была довольно древняя: она вышла

в свет за 153 года до рождения Рига и представляла собой учебное пособие для студентов физико-математических высших учебных заведений. Вставленные в нее 32 страницы в точности соответствовали формату. Сорт бумаги казался тоже одинаковым.

Но уже при чтении первых строк профессор встретился с массой незнакомых слов. Физические константы на вставленных листах были напечатаны в виде отдельных предложений. На первых трех страницах профессор смог до конца понять только две константы. Одна из них гласила: «Капля камень точит». Вторая — «Под лежащий камень вода не течет».

Профессор выписал эти слова на отдельный лист бумаги и продолжал чтение. На четвертой странице ему удалось прочесть: «Куй железо, пока горячо», «Палка о двух концах» и «Не все то золото, что блестит». На следующих пяти страницах он не смог разобрать ни одной константы. Наконец на двадцатой ему снова повезло, и он пополнил свой список еще тремя константами: «Нет дыму без огня», «Близок локоть, да не укусишь», «Нельзя объять необъятное».

Профессор отложил в сторону брошюру и задумался. «Универсальные физические константы. Выпуск 7»? То, что ему удалось разобрать, несомненно, имело прямое отношение к физике, но находилось в каком-то явном противоречии с содержанием страниц, предшествующих вставленным. Профессор раскрыл книжку на восьмой странице: «Гравитационная постоянная...», «Объем грамм-молекулы идеального газа при 15°», «Скорость света (в пустоте)». И каждая константа сопровождается неопровержимой формулой и числовым значением. Выписанные же профессором константы лишь регистрируют то или иное, но тоже, несомненно, постоянное физическое явление: «Палка о двух концах», «Не все то золото, что блестит». Профессор еще раз посмотрел на обложку книжки: «Выпуск 7». Возможно, эти странные константы не вставлены умышленно, а попали сюда благодаря небрежности при верстке книг в типографии... Возможно, они относились к выпуску первому, где были собраны древнейшие выводы из первичных физических наблюдений.

«Не все то золото, что блестит» — это безусловная истина и зачаток спектрального анализа металлов; «Нельзя объять необъятное» — сжатая формулировка теории относительности; «Куй железо, пока горячо» — итог наблюдений над изменением агрегатного состояния железа при увеличении температуры.

Все это очень интересно и ведет нас к истокам физики. Профессор снова углубился в чтение брошюры, но десять просмотренных им страниц не привели ни к каким результатам. Он понимал значение некоторых отдельных слов, но связать их вместе не удавалось. Как все-таки изменился наш язык и каким безумием было уничтожить все словари! Этого никак нельзя было делать.

Наконец, на последней из вставленных страниц профессор Ир сразу же разобрал еще одну константу: «Бусука — лучший друг тида». Несколько секунд он сидел совершенно неподвижно. Потом, преодолев оцепенение, снова весь погрузился в лежащую перед ним страницу. Одну за другой он выписал еще три константы, подчеркивая незнакомые слова.

БУСУКА ВОЕТ, ВЕТЕР НОСИТ.
ЛЮБИТЬ, КАК БУСУКА ПАЛКУ.
ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРКИ, ДВЕ РАСТОПЫРКИ,
СЕДЬМОЙ ВЕРТУН — БУСУКА.

На этом вставные константы заканчивались. Профессор Ир с раздражением посмотрел на следующую страницу. Увы! Здесь уже снова шли знакомые физические постоянные. Удельный заряд электрона!.. Все, что он смог узнать о таинственной бусуке, свелось пока к этим выписанным строчкам, четырем уравнениям с пятью неизвестными.

Из дневника академика Ара

Есть простейшие истины, которые никогда не следует забывать, но они почему-то забываются чаще всего. Сегодня утром, вспоминая все, что произошло со мной вчера ночью, я вдруг почувствовал себя смущенным и озадаченным школьником. Мне вспомнился наш первый урок физики.

Учитель, поставив на стол сосуд с водой и держа в руках термометр, обратился к нам с вопросом: «Кто

из вас может измерить температуру воды в этом сосуде?» Мы все подняли руки. Только один мой сосед по парте не поднял руки. Ну и тушица, подумал я. Не может сделать самой простой вещи. Учитель спросил, почему он не вызвался отвечать. И мой сосед сказал: «Я не могу измерить температуру воды, я могу узнать лишь, какова будет температура термометра, если опустить его в воду». — «Разве это не одно и то же?» — спросил учитель. «Конечно, нет, — ответил ученик, — когда я опущу термометр в воду, она станет или немного холоднее, или немного теплее, чем была раньше. Термометр или чуть-чуть охладит ее, или чуть-чуть согреет, разница будет малозаметной, но все-таки температура воды изменится, она будет не такой, какой была до того, как я опустил в воду термометр». Учитель очень похвалил ученика за его ответ и весь наш первый урок рассказывал о том, с какими трудностями сталкивается физик, когда он хочет достичь точности в своих измерениях. «Никогда не забывайте, — говорил он, — что всякий прибор вмешивается в производимый вами опыт, умеете находить и вносить соответствующую поправку в ваши выводы и расчеты». Простейшая истина, но как часто она забывается. Вероятно, и сейчас я бы не сразу вспомнил о ней, если бы мои вчерашние опыты с футляром и карандашом не показались мне вдруг страшно нелепыми. Я представился себе чем-то вроде термометра, нагретого на спиртовке воображения. Таким термометром, пожалуй, еще можно измерить температуру воды в море, ошибка будет невелика, но ведь Живой — это капля. Живой — это точка, и через нее можно провести бесчисленное количество линий, бесчисленное количество гипотез, и каждая из них будет утверждать, что Живой принадлежит только ей. Если бы в космическом снаряде оказался не один Живой, а несколько, если бы у нас были хотя бы две точки, наши построения, наши выводы носили бы более определенный характер. Мы могли бы установить линию, связывающую двух Живых.

В чем мне хотелось убедиться, когда я пробовал говорить с футляром в зубах? Еще и раньше мне и моим коллегам стало ясно, что основным органом труда

в отличие от наших рук у Живого должны служить его рот, шея, челюсти, зубы. Зажав в зубах палку или камень, Живой и его соопланетники могли переносить их с места на место, могли складывать в различных комбинациях — это начало трудового процесса, который в конечном счете мог приобрести самые сложные формы, породив все то, что мы называем наукой и техникой. Мои опыты с карандашом убедили меня в том, что, держа карандаш в зубах, можно писать, можно чертить: шея способна осуществить массу самых точных движений, почти не уступая в этом отношении руке. Разумеется, для этого нужно выработать навык. Вспоминая рассказ Кина о том, как Живой принес палку, я отчетливо, зрительно представил себе Живого в процессе труда. И тогда мне показалось, что при таком специфическом характере труда, когда зубы, рот несут рабочую функцию, должны были развиться какие-то другие формы речи, позволяющие Живому и его собратьям координировать их усилия во время трудовой деятельности. Эта мысль показалась мне очень плодотворной и вытекающей из конкретных наблюдений. Но так ли это? Не возникла ли она по совсем иным причинам?

До сих пор я не могу освободиться от сознания своей невольной вины перед Живым. В первые мгновения нашей встречи это сознание было наиболее остро, сейчас я думаю, что именно оно и продиктовало мне мою гипотезу катастрофы. Ощущал ли Живой что-нибудь катастрофическое в результате столкновения с магнитным лучом, это еще требуется доказать. Но то, что я был потрясен всем происшедшим, это не требует никаких доказательств. Когда я вскрывал космический снаряд, мое воображение было накалено до предела. И таким накаленным термометром я продолжаю оперировать во всех своих выводах. Моя новая гипотеза о том, что Живой не говорит потому, что он обладает другими, неизвестными нам способами речи, не диктуется ли прежде всего моим желанием опровергнуть мою же собственную гипотезу катастрофы? Первая возникла из ощущения вины, вторая порождена стремлением убедить себя в том, что я не причинил Живому

му вреда. Как отречься от самого себя в наблюдениях и выводах? Как измерить подлинную температуру Живого? Ведь если прямо взглянуть в лицо фактам, мы знаем о нем пока только то, что он живой. Мы затрагивали десятки тысячелетий на изучение своей планеты. Тысячи поколений ученых проникали в ее тайны. Мы не сможем так долго изучать Живого. Наш опыт ограничен во времени. Тем яснее и отчетливее должны мы представлять себе цели, которые мы преследуем. Слепое вмешательство магнитного луча роковым образом нарушило опыт, который производил Живой.

Какими глазами мы должны смотреть на Живого, чтобы не повторить ошибки наших приборов?

Письмо доктора Бера своей жене

Дорогая Риб! Сегодня на вечернем совещании я собираюсь выступить с весьма ответственным заявлением. Мне не хочется этого делать, не посоветовавшись с тобой, поэтому я решил написать тебе это радиописьмо. Приняв его, передай мне, пожалуйста, что ты думаешь по поводу изложенных в нем мыслей. Мы привыкли понимать друг друга с полуслова, и поэтому я буду конспективно краток, особенно в тех местах, которые не затрагивают сущности моей гипотезы.

Зрение. Слух. Обоняние. Если бы какие-либо обстоятельства поставили нас перед необходимостью отказаться от одного из этих трех чувств, каждый, несомненно, пожертвовал бы обонянием. Потеряв зрение, мы стали бы слепыми, потеряв слух — глухими, потеряв обоняние... Как видишь, в нашем языке даже нет слова, обозначающего этот физический недостаток, настолько малое значение мы придаем обонянию вообще. У нас есть врачи, специальность которых — «ухо, горло, нос». И здесь нос оказывается на последнем месте. Мы говорим: «беречь как зеницу ока», но никому не придет в голову сказать: «беречь как свою правую или левую ноздрю». Мы относимся к своему носу без всякого уважения. Многие из нас, вероятно, считают, что нос — это вообще всего лишь естественное приспособление для ношения очков. Пренебрежение к носу проявляется уже в детском возрасте. Ребенок никогда не ко-

выряет у себя в глазу, но вспомни, сколько трудов нам стоило отучить нашего Биба от дурной привычки запустать палец то в одну, то в другую ноздрю. «Подумаешь, что с ними сделается», — отвечал он нам уже в довольно зрелом возрасте. Сама возможность столь грубого вмешательства в деятельность нашего обонятельного органа могла бы навести на мысль о том, что этот орган сконструирован весьма примитивно и далеко не совершенен.

Между тем обоняние, несомненно, оказывает нам некоторые услуги в нашей жизненной и научной практике. Они, однако, не идут ни в какое сравнение с тем, чем мы обязаны зрению и слуху. И если бы потребовалось определить всю нашу цивилизацию, исходя из какого-либо одного органа чувств, мы назвали бы ее зрительной цивилизацией, а определение «зрительно-звуковая» почти исчерпало бы ее характеристику. Менее всего подходило бы к ней название «парфюмерическая».

Чем все это объяснить? Прежде всего тем, что мы обладаем весьма слабо развитым обонянием. До последнего времени я, как и все мы, был уверен в противоположном. Наш нос обнаруживает присутствие миллиардных долей грамма пахучих веществ в одном кубическом метре воздуха. Великолепный прибор, есть чем гордиться! Но вот появляется Живой, и оказывается, что наше обоняние — это не лабораторные весы, а не более чем прикидывание веса на ладони. Дело, разумеется, не в ущемленном самолюбии, а в том, что размеры носа и обусловленная этим необычайная острота обоняния, которую мы наблюдаем у Живого, обязывает нас выработать к нему совершенно особенный подход. Живой — это нос! Живой — это обоняние! Я несколько упрощаю, но истина, несомненно, такова. В сознании Живого, по моим предположениям, главную роль играет не зрительный, не звуковой, а парфюмерический образ предмета.

Я позволю себе отвергнуть или, во всяком случае, временно отклонить теорию катастрофы, предложенную академиком Аром. Я считаю Живого абсолютно нормальным представителем парфюмерической цивилиза-

ции. Мы должны отдать себе отчет в том, каков внутренний мир существа, для которого главным и решающим признаком предмета служит запах. Мы должны стать на ту точку зрения, что Живой видит и слышит носом. Ноздри — это замочные скважины Живого, мы не проникнем в его тайну, пока не подберем к ним ключа. Я не хочу, разумеется, сказать, что зрение и слух не имеют для Живого никакого значения. Но, возможно, они играют в его жизни такую роль, какая в нашей отведена обонянию, то есть весьма второстепенную, почти не участвующую в формировании нашей психики и научных воззрений.

Вот, дорогая моя Риб, примерные наброски того, что я собираюсь сказать, но, разумеется, разбив и уточнив отдельные положения. Я посылаю тебе несколько фотографий Живого, часть из них опубликована в сегодняшнем номере «Академического вестника», другие, видимо, будут напечатаны позднее. Жду твоего ответа.

Твой Бер.

Коротко и вразумительно

Дорогой Бер! Я внимательно проштудировала твое письмо. Ты отлично исследовал нос Живого. Все твои построения весьма логичны. Но помни, пожалуйста, что гипотеза, когда она забывает о том, что она гипотеза, начинает водить своего создателя за нос. Спасибо за фотографии Живого. Он очень симпатичный, только не понимайте его опытами и исследованиями. Всем привет.

Крепко целую, твоя Риб.

Формула бусуки

1. РИГ СЪЕЛ БУСУКУ.
2. БУСУКА — ЛУЧШИЙ ДРУГ ТИДА.
3. БУСУКА ВОЕТ, ВЕТЕР НОСИТ.
4. ЛЮБИТЬ, КАК БУСУКА ПАЛКУ.
5. ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРКИ, ДВЕ РАСТОПЫРКИ
СЕДЬМОЙ ВЕРТУН — БУСУКА.

Первые попытки анализа способны были обескуражить кого угодно. Профессор Ир заменил во второй константе непривычное слово «тид» на равное по зна-

чению слово «ученый». Затем, действуя по принципу подстановки, он совершил замену в первой константе. В итоге получился еще более запутанный ряд переходных значений: «Бусука — лучший друг ученого», «Риг съел бусуку», «Риг съел лучшего друга ученого». Все замены произведены правильно, но что же все-таки съел Риг, оставалось совершенно непонятным. Тогда профессор сосредоточился на анализе третьей константы. Прежде всего следовало попытаться установить значение слова «воет». Профессор выписал всю копстапту на отдельную карточку и направил запрос ученому секретарю отдела остатков древнелирической литературы. Через два дня от секретаря пришел ответ: «Вить, очевидно, означает — сливать свою грусть и печаль в единое слово».

Профессор попросил прислать ему источник, на основании которого был сделан такой вывод. Он получил бланк с отпечатанными на машинке четырьмя строчками:

Хотел бы в единое слово
Я слить свою грусть и печаль
И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер унес его вдаль.

Далее следовала сноска: «Надпись, сделанная от руки на обратной стороне экзаменационного билета по древнейшему курсу дифференциального и интегрального исчисления. Значение слова «вить» устанавливаем из анализа контекста, базируясь на симметричном построении константы: «Бусука воет, ветер носит».

Профессор решил проверить справедливость вывода, сделанного ученым секретарем, и углубился в сопоставления. «Бусука воет, ветер носит». Следовательно, можно предположить, что ветер носит то, что воет бусука. С другой стороны, в присланном фрагменте ветер уносит вдаль, то есть несет, носит слитые в единое слово грусть и печаль. Вывод секретаря оказался профессору справедливым. Но древнелирический текст требовал еще дополнительного анализа. Это был первый образец древней лирики, попавший в руки профессора, и он решил досконально проштудировать эти стро-

ки, так как, на его взгляд, кое-что в них ускользнуло от внимания ученого секретаря.

Хотел бы в единое слово
Я слить свою грусть и печаль...

Древний лирик, отметил профессор, не слил свою грусть и печаль в единое слово, а только хотел это сделать. Практически почему-то такое слияние казалось лирику труднодостижимым. Между тем из текста явствовало, что ветер мог унести грусть и печаль только в таком слитом состоянии; если бы лирик бросал их на ветер порознь, сепаратно, то ни грусть, ни печаль сами по себе не могли подвергнуться уносящему действию ветра. Очевидно, в результате их слияния в единое слово между ними должна была произойти какая-то реакция, порождающая нечто новое, качественно отличающееся от составляющих частей. Не физическая смесь, а химическое соединение. В таком случае лирику необходимо было знать, какое именно количество грусти, соединяясь с каким именно количеством печали, способно образовать новое, легко улетающее соединение. Очевидно, древние лирики и занимались тем, что искали пропорции, в которых следовало сливать различные слова для того, чтобы полученное целое оказывалось качественно новым. Сделать это удавалось не всегда. Вероятно, тут были свои трудности и секреты.

Между тем третья константа утверждает со всей категоричностью: «Бусука воет, ветер носит». Значит, бусука хорошо владела секретами мастерства, и если она сливала свою грусть и печаль в единое слово, то ветер всегда носил образовавшееся соединение. Бусука добивалась успешного результата не время от времени, а постоянно, так как в противном случае эта ее способность не была бы занесена в число таких же бесспорных констант, как «Под лежащий камень вода не течет» или «Не все то золото, что блестит». Умение хорошо «выть» — точнее, сливать свою грусть и печаль в единое летучее слово, было постоянной отличительной чертой бусуки; следовательно, она должна была считаться выдающимся лириком.

Вывод этот представлялся профессору Иру столь бесспорным, что он решил составить новую таблицу констант, заменив везде «бусуку» на «лирика». Может быть, это несколько упростит проблему других свойств бусуки.

1. РИГ СЪЕЛ ЛИРИКА.
2. ЛИРИК — ЛУЧШИЙ ДРУГ УЧЕНОГО.
3. ЛИРИК ВОЕТ, ВЕТЕР НОСИТ.
4. ЛЮБИТЬ, КАК ЛИРИК ПАЛКУ.
5. ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРКИ, ЧЕТЫРЕ РАСТОПЫРКИ, СЕДЬМОЙ ВЕРТУН — ЛИРИК.

Профессора несколько не смущала некоторая парадоксальность полученных формулировок. Он хорошо знал, что истину следует искать в переплетении противоречий. Во всяком случае, самая сложная и запутанная пятая константа при такой подстановке стала сразу легче поддаваться исследованию:

Четыре четыреки + две растопырки + вертун = лирик.

Отсюда можно заключить, что

вертун = лирику — четыре четыреки — две растопырки.

Хотя значение слов «вертун», «четырки» и «растопырки» по-прежнему оставалось неизвестным, профессор смело выделил «вертуна». Он исходил из того соображения, что главный отличительный признак предмета или явления чаще всего бывает единичным, а второстепенные выступают в большом количестве. Наличие одного вертуна при четырех четырехках и двух растопырках убедительно говорило, что именно вертун воплощает в себе сущность бусуки как лирика.

Однако, что такое «вертун», оставалось непонятно. Профессор хорошо знал, что представляет собой «шатун». Это часть кривошипного механизма, преобразующего поступательное движение поршня во вращательное движение вала. При конструировании приборов профессору приходилось иметь дело с вертлюгом — соединительным звеном двух частей механизма, позволяющим одному из них вращаться вокруг своей оси. Вертун, шатун, вертлюг. Весьма возможно, что вертун — это важная деталь лирика, преобразующая внутренние порывы в определенный вид эмоционального движения.

Конечно, это не более чем рабочая гипотеза, но она

не лишена некоторых фактических оснований. В сложном процессе слияния грусти и печали или радости и веселья в одно слово бусуке, возможно, необходим был специальный орган, вращательное движение которого, подобно стрелке весов, отмечало бы точность взятых пропорций. При отсутствии лирической нагрузки вертун находился в некотором определенном исходном положении.

Вертун позволял бусуке действовать безошибочно, в то время как обыкновенные лирики испытывали неуверенность в своих расчетах, что доставляло им, вероятно, массу огорчений. Профессор Ир чувствовал, что он на верном пути. И хотя ему по-прежнему оставалось непонятно, почему Риг съел бусуку, почему бусука — лучший друг ученого и почему она любит палку, профессор, окрыленный уже достигнутыми успехами, не сомневался в том, что упорный анализ приведет его в конце концов к раскрытию истины.

Зараженный примером древних лириков, он даже выразил эту свою уверенность в двух коротких строчках:

Будет формула бусуки,
Не уйти ей от науки.

Кто подарил глаза Живому?

— Мне остается добавить очень немного, — сказал профессор Бер, закрывая объемистую папку с чертежами, таблицами и расчетами, — я хочу закончить тем, с чего начал. Возможно, моя парфюмерическая гипотеза не охватывает всей сложности стоящей перед нами проблемы, возможно, мои выводы покоятся на недостаточно проверенных фактах и потому ошибочны. Но я хотел бы напомнить вам, что произошло в свое время с профессором Гелом. Это забытый, но очень показательный пример.

Профессор Гел задался целью всесторонне исследовать влияние солнечной энергии на жизненные процессы. Он располагал огромным количеством фактов. В том числе он запросил у Центрального статистического бюро точную информацию о количестве рождений, приходившихся на каждый день первого тысяче-

летия академической эры. Сопоставив полученные цифры с соответствующими данными метеорологического архива, профессор Гел пришел к выводу, что рождаемость резко повышается в светлую, солнечную погоду и катастрофически падает в пасмурную, дождливую. Когда он опубликовал результаты своих вычислений, мнения ученых по этому поводу разошлись. Одни утверждали, что профессор Гел не совершил никакого открытия, что это явление было отмечено уже давно. Не случайно, говорили они, на нашем языке «родиться» и «появиться на свет» означает одно и то же. Профессор всего лишь статистически подтвердил эту истину. Задача состоит в том, чтобы найти естественное объяснение такой закономерности. В своей многотомной работе «Мы — дети солнца» профессор Гел изложил ряд гипотез, объединенных единой мыслью: солнечная энергия — источник жизни. Противники взглядов профессора утверждали, что его наблюдения о рождаемости носят случайный характер и необходимо обобщить данные не одного, а нескольких тысячелетий. Приступив к этой работе, они обнаружили, что в результате ошибки электронной счетной машины профессору были в свое время направлены сведения не о количестве рождений, а о регистрации новорожденных родителями. Выводы профессора, таким образом, убедительно свидетельствовали лишь о том, что марсиане и в первом тысячелетии предпочитали выходить из дому не в дождливую, а в солнечную погоду.

Итак, профессор Гел ошибался? Несомненно! Но именно в «Детях солнца» он высказал те мысли, которые легли позднее в основу гелеологии — науки, неопровержимо доказавшей связь деятельности нашего организма с различными моментами солнечного цикла. Я не претендую на то, что моя парфюмерическая гипотеза дает исчерпывающие ответы. Но она заслуживает серьезного рассмотрения.

Академик Ар задал профессору Бери несколько вопросов, а затем спросил у Кина, каково его мнение о парфюмерической гипотезе. Кин сказал, что все это следует тщательно обдумать. Он был чем-то явно расстроен. Вначале он слушал сообщение Бера очень вни-

мательно, делал в своем блокноте какие-то заметки, казалось, он готовится к полемическому выступлению, а затем отложил свой карандаш, и лицо его приняло какое-то отсутствующее выражение. Профессор Бер предполагал, что Кин отнесется к его сообщению со свойственной ему горячностью и запальчивостью. Но Кин хранил молчание до самого конца вечера. Лишь незадолго до того, когда Ар предложил закончить беседу, Кин спросил у профессора: «Уверены ли вы в том, что ваша гипотеза открывает, а не закрывает перед нами пути к Живому?» Бер ответил, что он не совсем понимает этот вопрос. Кин покачал головой и ничего не сказал.

Сейчас, лежа на койке дежурного в комнате Живого, Кин пытался ответить самому себе на мучительные вопросы, которые вызывало у него сообщение Бера. Он размышлял над тем, что практически должна означать парфюмерическая гипотеза, если она справедлива. Отдает ли себе в этом Бер достаточный отчет?

В комнате было темно. Кин знал, что там, у противоположной стены, спит Живой. Кин знал это, но сейчас он не видел его и не слышал. Ничто не выдавало присутствия Живого. Между ним и Кином — пелена мрака. Если зажечь свет, Кин увидит Живого, но увидит ли его Живой, даже если проснется? Что такое для него Кин, если, как предполагает Бер, главным и определяющим признаком предмета в сознании Живого служит парфюмерический образ? Кин понюхал свою ладонь. Ему показалось, что она ничем не пахнет, во всяком случае, он не смог уловить никакого запаха. И вот это неуловимое, совершенно неизвестное самому Кину и есть Кин, такой, каким он представляется Живому? Если это так, то они никогда не смогут понять друг друга.

Когда Кин шел на вечернее совещание, ему не терпелось рассказать своим коллегам, к каким потрясающим результатам привели новые опыты с палкой. Кин установил совершенно точно, что Живой принес ему палку не случайно. Это был рискованнейший опыт. Кину пришлось собрать все свои душевные силы, чтобы на него решиться. Когда он, наконец, в первый раз

бросил палку, он от волнения закрыл глаза и боялся их открыть. И когда он все же увидел стоявшего перед ним Живого с палкой в зубах, он пришел в буйное ликование. Живой приносил палку двадцать раз. Значит, между ним и палкой была определенная связь. До совещания Кин был уверен в этом. А сейчас?.. Живой мог приносить палку потому, что на ней оставался запах ладоней Кина, связь была между палкой и Кином, а не между палкой и Живым. Парфюмерический образ — в сущности, это значит, что Живой навсегда останется на таком же расстоянии от Кина, как та неизвестная планета, с которой он прибыл: ведь расстояние между живыми существами следует измерять тем, как они способны понимать друг друга. И все-таки Кин чувствовал, что Живой ему близок. Но это всего лишь чувство, оно может быть обманчиво.

Кин беспокойно ворочался, он не мог уснуть. Его продолжали одолевать самые грустные мысли. Неужели Живой останется всего лишь живым метеоритом? Таким же загадочным и чужим, как те камни, которые собраны в коллекциях музея? По своей форме и своему химическому составу они — родные братья гранитам и базальтам в марсианской коре. Кин даже писал когда-то, что если бы у метеоритов был язык, он немпогим отличался бы от языка марсианских камней, они легко могли бы договориться друг с другом. Как видно, он сильно преувеличивал значение химического состава. Но то, что камни не могут понять друг друга, так на то они и камни. Впрочем, Кин без всякого стеснения заставлял их разговаривать в своих фантастических историях. Теперь он не сможет этого делать с такой легкостью. Где уж камням говорить друг с другом, если даже живое не имеет общего языка.

Нет, лучше бы профессор Бер не развивал своей парфюмерической гипотезы, лучше бы она не казалась такой убедительной. Гипотеза академика Ара позволяла надеяться, что со временем Живой оправится от шока, но от самого себя, от своей парфюмерической природы он не освободится никогда. И как бы Кин ни любил Живого, а он очень привязался к нему за эти дни, все равно при всем желании Кин не сможет стать пар-

фюмерическим существом, не сможет ощутить мир так, как Живой, и они никогда не поймут друг друга. И все-таки странно, почему даже сейчас, в темноте, в тишине, когда ничего не видно и ничего не слышно, Кин чувствует, что он здесь не один. А ведь ему случалось иногда ощущать одиночество даже в стенах музея, хотя он так любил свои камни, мог разглядывать их часами и думать о них.

Прикасалась ли хоть к одному из этих крохотных осколков далеких планет рука разумного существа? Об этом можно было спорить. И сам Кин был уверен, что среди его камней есть и такие, которые несут на себе отпечатки пальцев неведомых цивилизаций. Но он был также уверен и в том, что все эти камни попали на Марс случайно. Это результаты вулканических катастроф, потрясших затерянные в космосе острова жизни. Это не письма, не вести, не подарки, посланные разумом с одной планеты на другую. Кин часто задумывался над этим. Глядя на собранные им метеориты, он размышлял: а что бы он, Кин, изобразил на камне, который можно было бы направить во вселенную, точно зная, что это каменное письмо попадет на какую-нибудь обитаемую планету? И он не мог найти такого изображения, такой формы, которые могли бы раскрыть мир его чувств перед никогда не видевшими его существами. Он боялся столкнуться с их непониманием. Нет, он не считал других обитателей вселенной невежественными. Наоборот, он исходил из того, что они могут быть наделены весьма богатыми познаниями. Но именно это не позволяло ему остановить свой выбор ни на одной из форм, которые подсказывались воображением. Кина пугала возможность бесчисленных истолкований. И он полагал, что эти же опасения должны были останавливать и жителей других планет. Письмо разумно посылать, только надеясь быть правильно понятым. А что может подкрепить такую надежду?

Вот если бы он мог создать такую вещь, которая была бы способна просто впитать его чувства и потом передать их другим, совершенно независимо от своей формы. Какой бы это был замечательный подарок! Его нельзя было бы истолковать по-разному. Он исключал

бы само толкование. Но такой метеорит мог быть сотворен лишь из какого-то особенного вещества, наделенного способностью вбирать в себя чувства, хранить их и излучать. Однако такого вещества нет. Во всяком случае, его нет на Марсе, и не из такого вещества созданы все собранные Кином камни. Это должно быть живое вещество, подвластное рукам и сердцу художника. Есть ли оно на какой-нибудь из планет во вселенной? Живое вещество, из которого можно было бы извлекать живую радость, грусть? Живое вещество, способное на такую степень самоотречения, чтобы стать живым произведением искусства, не только впитавшим в себя чувства, которые вложил в него художник, но и любящим его, художника, этими созданными, сотворенными чувствами?

А может быть, Живой создан из такого вещества? Не весь, конечно, а его глаза... Может быть, когда на него, Кина, смотрят такие добрые, такие все понимающие глаза Живого, этот взгляд принадлежит не только Живому, но кому-то еще? Парфюмерический образ?.. Уважаемый профессор Бер, теперь вы не хотите видеть дальше кончика носа Живого, этот нос заслонил от вас его глаза. Вы боитесь, вы не умеете в них глядеть, они для вас всего лишь сочетание окружностей.

А Кин смотрел в эти глаза часами, он пытался увидеть в них отражение того, что видели эти глаза там, на той планете, откуда прилетел Живой. Кин много фантазировал, его воображение рисовало самые невероятные картины, но в одном он был уверен совершенно твердо: глаза Живого привыкли смотреть в глаза друга, где-то в их глубине запечатлен его образ, и он воскресает, когда Живой видит перед собой Кина. И никакой шок не замутил этого взгляда.

Конечно, профессор Бер в чем-то, несомненно, прав. Да, обоняние играет очень важную роль в жизни Живого. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно наблюдать за ним на прогулках. Кажется, что каждый предмет, как магнит, притягивает его своим запахом. В эти минуты Живой действительно как бы весь подчиняется своему носу, идет у него на поводу. Но стоит только подойти к Живому, обратиться к нему с каким-

нибудь словом, и он весь превращается в глаза. Может быть, если бы Марс был обитаемой планетой, если бы он весь был таким, как этот заповедник на Большом Сырте, то для знакомства с ним Живому хватило бы одного носа. Но к одушевленному Живой обращает свой взгляд. И не потому ли так бесконечно выразительны его глаза, что в них нет застывшего отражения мертвых вещей, а есть лишь теплый свет других глаз, которые смотрели на Живого, делясь с ним радостью, печалью, надеждами, сомнениями, ища у него участия и поддержки?

Нос Живого — это его естественное достояние; но глаза — разве они принадлежат только их владельцу? Если они внимательные, умные, добрые, то это потому, что к ним было обращено чье-то внимание, ум, доброта. Глаза — это драгоценные камни, они принадлежат нам, но их искренность и чистота — подарок наших друзей. Кто подарил глаза Живому? И как упростилась бы вся эта загадка, над которой Кин, Бер и Ар ломают себе сейчас голову, если бы можно было с уверенностью сказать, что и сам Живой — это подарок, посланный с какой-то неведомой планеты на другую и случайно попавший на Марс.

Как существо — Живой загадочен, но таит в себе много непонятого для нас. Но как подарок — он воплощенная откровенность, именно таким могло бы быть живое произведение искусства, если бы оно вообще было осуществимо.

Разве мы изучаем подарки? Разве нас интересует, из чего они сделаны? Мы ищем, нет, не ищем, а находим в них и ценим особые, не уловимые никакими приборами признаки, которые говорят нам о тех, кто хотел подарить нам частицу самого себя. И как трудно вложить эту частичку в камень, в металл, в дерево. Они покорно принимают ту форму, которую мы желаем им придать, но как ожесточенно сопротивляются, когда мы хотим заставить их перешагнуть грань, отделяющую мертвое от живого, форму от выражения. Кажется, что в одном камне собирается тогда упорство всех камней вселенной, и он, принимая новую форму, отступая под натиском резца и молота, упрямо хранит свое камен-

ное молчание, каменное равнодушие ко всему живому.

Но жизнь, комочек жизни в руках художника, уже наделенный способностью чувствовать и выражать свои чувства, разве он не оказывал бы такого же сопротивления, разве он не вступил бы в ожесточенную борьбу за право оставаться самим собой, за право чувствовать и выражать свои чувства по-своему? Сколько времени должна была бы длиться такая борьба? И что надо было сделать, чтобы победить в ней? Каким оружием сражаться? Но как счастлив был бы тот, кто, глядя в глаза Живому, мог бы сказать себе: «Вот капельки жизни, которые не знали, что такое радость и тоска, дружба и одиночество, это я зажег в них мир своих чувств, и они способны перенести их в любой уголок вселенной и рассказать обо мне каждому, кто заглянет в них с той ласковой тревогой, с какой все живое должно смотреть в глаза друг другу».

Кто создал твои глаза, Живой? Кто был твоим другом, кого ты видишь, когда с таким доверием смотришь на меня? Ведь не здесь же за несколько дней я завоевал твою любовь? Я еще не успел ничего для тебя сделать такого, чтобы заслужить твою признательность. Но я постараюсь, я не дам тебя в обиду никаким гипотезам, посягающим на нашу дружбу. Я докажу всем... Доказательство — сухое, колючее, недружелюбное слово. Кин тяжело вздохнул. В комнате послышался легкий шорох, и влажный холодный нос Живого уткнулся в свесившуюся с постели руку ученого.

Деликатное выступление профессора Ира на диспуте о «живживках»

— Профессор, пожалуйста, не забудьте, что вы обещали выступить сегодня на диспуте о живживках, — сказала профессору Иру молоденькая сотрудница отдела звукозаписи, специально в ожидании его прихода караулившая у двери кабинета.

— Я обещал выступить... Но позвольте, я не имею о живживках ни малейшего понятия.

— Это еще раз доказывает, профессор, что вы совершенно оторвались от жизни. Вы, наверное, даже газет не читаете?

Газет профессор Ир действительно ни разу не брал в руки с тех пор, как началась его лихорадочная погоня за бусукой. Он не умел заниматься двумя делами сразу, а ко всякому чтению он привык относиться очень серьезно.

— Но вы же знаете, что я ужасно занят. Через несколько дней мы должны сдать в печать девятый том Рига, а комментарии еще не готовы.

— Но, профессор, вы же обещали выступить...

— Да, я, кажется, что-то действительно обещал, но я думал тогда, что моя работа будет к этому времени уже закончена, а сейчас я решительно не могу.

— Но ваше имя стоит на пригласительных билетах. Получится очень неудобно: библиотека устраивает диспут, все в нем горячо заинтересованы, будет масса студентов, будут живживки, а директора библиотеки не будет. Это нехорошо. Придите и произнесите хотя бы несколько слов!

— Я охотно бы это сделал, но, повторяю, я ничего не знаю об этих живживках.

— Я могу включить ваш радиоприемник, вы прослушаете доклад, вам станет все ясно, а потом вы придете, посмотрите сами на живживок и скажете, что вы о них думаете. Профессор, это совершенно необходимо и займет у вас не больше двадцати минут.

— Ну, раз вы так настаиваете, хорошо, я постараюсь. — Профессор улыбнулся обрадованной сотруднице, вошел в свой кабинет и сразу же погрузился в разложенные на столе бумаги.

За последние дни его изыскания продвинулись довольно далеко. Профессор пришел к выводу, что древние лирики были вынуждены иногда прибегать к иррациональным выражениям: ведь есть же в математике иррациональные числа. Лирики неизбежно должны были иногда за отсутствием необходимого им слова прибегать к комбинациям слов, где нарушались их обычные, рациональные, осмысленные связи. Так, скажем, описывая сложности, с которыми сталкивался древний тид, пытаясь вычислить длину диагонали квадрата, сторона которого равна одному метру и соответственно $X = \sqrt{2}$, лирик мог бы написать:

Диагональ, диагональ,
Тебя мне жаль, тебя мне жаль,
Из двух квадрат нельзя извлечь,
Бессильны здесь число и речь,
Но все имеет свой предел —
На этом тид бусуку съел.

Здесь выражение «тид съел бусуку» передает иррациональный, практически недостижимый характер извлечения квадратного корня из двух. Профессор посмотрел на толстую папку, где лежала рукопись его работы «Введение к бусуке». По своему объему рукопись во много раз превышала статью Рига. Ясно, что включать всю работу в комментарий не следует. Очевидно, придется выпустить ее отдельным изданием, а в комментарии к сочинению Рига сделать соответствующую сноску: см. «Введение к бусуке» профессора Ира. Это позволит своевременно выпустить в свет сочинение Рига и даст возможность профессору еще некоторое время поработать над своей рукописью, уточнить некоторые формулировки в главе о растопырках.

В правильности своих выводов о четьырках и верту-не профессор почти не сомневался, они естественно вытекали из лирической природы бусуки. Но растопырки продолжали его беспокоить. Что такое растопырки и зачем они нужны лирику, профессор не мог еще сформулировать достаточно точно. Между тем медлить с этим было нельзя, так как «Введение к бусуке» станет действительно необходимо сразу же после выхода в свет сочинений Рига. Профессор стал перечитывать раздел о растопырках, но громкий голос докладчика оторвал его от работы. Профессор досадливо поморщился и хотел выключить радио, но вспомнил свое обещание, вздохнул и стал слушать.

— Живживки, — говорил оратор, — болезненное явление в среде нашего студенчества. Мы должны решительно осудить живживок. Что такое живживочество? Это слепое, поверхностное подражание жителям неизвестной нам планеты. Оно размагничивает нашу научную молодежь. (Голос из зала: «Неправда! Это еще требуется доказать!») Я как раз и собираюсь перейти к доказательствам и прошу не перебивать меня вы-

криками с места. Представители живживок получают слово и смогут высказаться. Некоторые думают, что живживчество — это всего лишь мохнатый беретик с торчащими ушками и пришитая сзади к брюкам или юбке длинная живживка из ворсистой материи. Некоторые утверждают, что это лишь невинные знаки межпланетной солидарности живых существ. Так ли это? Имеем ли мы дело с признаками межпланетной солидарности или, наоборот, с желанием противопоставить себя другим жителям своей собственной планеты? Я думаю, что последнее гораздо вернее. (Голос из зала: «Неправда! Живживки хорошие товарищи!») Я не отрицаю, что среди живживок есть много хороших студентов, есть даже отлично успевающие по всем предметам и помогающие другим.

Но посмотрите, посмотрите, какую песню сочинили живживки, ее текст очень показателен:

Живживки в своей песне утверждают, что космическая весть — это улыбка, но на улыбке в космос не по-

летишь! Я уверен, что полет в космос, осуществленный жителями неизвестной нам планеты, это результат упорной научной работы, а не легковесных песенок и улыбочек. Готовясь к своему сегодняшнему докладу, я специально вновь прочитал все сводки, поступающие в академический вестник с Большого Сырта. В них ничего не говорится об улыбках уважаемого коллеги Живого. Тем более нечего улыбаться нам. Я вижу, что некоторые улыбаются, слыша эти мои слова, но это не мешает мне их повторить: да, нам нечего улыбаться.

— Предыдущий оратор закончил свое выступление вопросом, почему мы, живя-живки, улыбаемся. Я отвечу ему: мы улыбаемся потому, что у нас очень хорошее настроение. Мы очень рады тому, что на нашей планете появилось новое живое существо. Я думаю, что, когда наш уважаемый докладчик появился на свет, это тоже доставило всем окружающим радость, а не огорчение. Он говорил о том, что в сводках ничего не упоминается об улыбках почтенного коллеги Живого. Я позволю себе предположить, что, когда родился докладчик, он тоже первое время не улыбался, никто не родится с улыбкой на губах, но рождение нового существа вызывает радостную улыбку на лицах других! Мы считаем, что мы должны приветствовать коллегу Живого улыбкой, и мы верим в то, что когда-нибудь он улыбнется нам в ответ. (Возглас из зала: «Правильно!»)

Докладчику не нравятся наши ушастые береты и живживки. Но пусть он ответит мне прямо: если бы уважаемый коллега Живой подарил ему такой берет и живживку, отказался бы он их носить или нет? Я думаю, что он счел бы для себя высокой честью принять такой подарок. Возможно, в той части космического корабля, которая не попала на Марс, и были какие-нибудь подобные подарки, которые вез с собой Живой на другую планету. Что же дурного в том, что мы сами решили изготовить себе что-нибудь постоянно напоминающее нам о Живом и воспользовались для этого его характерными отличительными признаками? Напомню докладчику то, что известно каждому школьнику: «Подарок есть вещь, изготовленная для другого и несущая на себе отпечаток создавшей его личности». Коллега Живой не мог нам ничего подарить, мы сделали эти подарки сами. Сейчас мы думаем о том, какой приготовить подарок Живому от имени марсианского студенчества. Мы объявили конкурс на лучший подарок и предлагаем всем принять в нем участие.

— ...На нашем диспуте, — профессор Ир узнал голос молодой сотрудницы отдела звукозаписи, — обещал выступить директор библиотеки и издательства. Мы должны прислушаться к мнению старших товарищей... Я думаю, что профессор Ир...

Но сам профессор Ир решительно не знал, что и думать об этой странной дискуссии. Ему ясно было только то, что какие-то молодые люди в чем-то подражают в своей одежде космонавту, над изучением которого работает грунца академик Ара. Но профессор был так увлечен все это время проблемой бусуки, что совсем перестал интересоваться сообщениями с Большого Сырта. «Пусть каждый занимается своим делом», — такого правила профессор Ир придерживался с юношеских лет и никогда в этом не раскаивался. Однако надо все-таки спуститься в зал. Надо посмотреть на этих живживок. Во всяком случае, выступление их представителя пришлось профессору по душе. Конечно, он воздержится от того, чтобы навязывать кому бы то ни было свое мнение. Ну что может он, профессор Ир, сказать им полезного об этих самых живживках?

В разгоревшемся споре чувствуется, что обе стороны вкладывают в эту полемику весь жар своей души. И профессор, наверное, так же бы горячился, если бы и перед ним стоял вопрос, носить ему эту живживку или нет. Но увы, он уже вышел из того возраста, когда фасон и покрой его брюк могли вызывать в нем какое бы то ни было волнение. А вот насчет улыбки живживки, несомненно, правы. Тут он хотел бы их поддержать. Но надо это сделать как-нибудь потоньше, поделikatнее, чтобы никого не обидеть.

Выйдя из лифта, профессор направился по коридору к актовому залу, где происходила дискуссия. Но, не доходя нескольких шагов до двери, он вдруг остановился как вкопанный перед большим объявлением: «Все на дискуссию о живживках!» С листа бумаги прямо на него в упор смотрела... бусука! Четырки, вертун и злополучные загадочные растопырки — все мгновенно встало на свои места. Профессор распахнул двери, как вихрь ворвался в зал, метнулся к представителям живживок, сорвал с первого же попавшегося ему под руку ушастый беретик и с торжествующим криком бросил его в воздух!

Эпилог. Разговор на площади имени Живого

— Значит, он все-таки участвовал в создании межпланетного корабля?

— Да, несомненно, я мог бы назвать его нашим главным советчиком.

— Маэстро Кин тоже был в этом уверен. Они были неразлучными друзьями. После шести месяцев наблюдений академик Ар сказал: «Кин, вы та среда, в которой Живой чувствует себя лучше всего, и он должен всегда оставаться с вами». Но в городе Живой очень грустил, и тогда было решено перенести Музей необычайных метеоритов сюда, на Большой Сырт. Живой прожил здесь двенадцать лет. Его все очень любили, он был веселый и добрый. Но иногда он тосковал, особенно в звездные ночи, он садился, прижимал к себе задние четырки и выл тихо и протяжно. Один маэстро Кин мог его тогда успокоить. Когда Живой заболел, его лечили наши лучшие доктора, они лечили

его долго, но не смогли вылечить. Маэстро Кин очень боялся, что он не сумел окружить Живого всем необходимым, и Живой умер от тоски.

— Нет, он умер от старости.

— Сначала мы хотели поставить ему очень большой памятник, чтобы он был виден издалека. Но ведь вы знаете, Живой был невысокого роста, и поэтому маэстро Кин сказал, что статуя должна быть такой, каким был Живой, чтобы и через тысячи лет те, кто будет на него смотреть, видели его таким, каким мы его знали.

Маэстро Кин отобрал для статуи самый лучший метеоритный камень из сокровищницы своего музея. Он говорил, что статую надо обязательно изваять из метеорита, в память о том, что Живой пришел к нам из космоса. Было очень много проектов и памятника и постамента. Но в конца концов остановились на этом. На больших постаментах Живой смотрел на нас свысока, а это было не в его характере.

Вы хотели знать, что здесь написано? Эти несколько строк сочинила одна школьница:

ОН БЫЛ ВЕСЕЛЫЙ, ГРУСТНЫЙ И ЛОХМАТЫЙ,
ГОНЕЦ ВЕНЕРЫ ИЛИ СЫН ЗЕМЛИ,
ОН БЫЛ ВО МНОГО РАЗ СЛОЖНЕЙ, ЧЕМ АТОМ,
ВСЕХ ТАИН ЕГО ПОСТИЧЬ МЫ НЕ СМОГЛИ.
ОН БЫЛ СЛОЖНЕЕ И ГОРАЗДО ПРОЩЕ,
ДОВЕРЧИВЫЙ, ЖИВОЙ МЕТЕОРИТ.
МЫ В ЧЕСТЬ НЕГО НАЗВАЛИ ЭТУ ПЛОЩАДЬ.
ОН БЫЛ ЖИВОЙ, ЗДЕСЬ ПРАХ ЕГО ЗАРЫТ.

Высокий космонавт подошел к гранитному постаменту, ласково потрепал каменную голову собаки, потом вынул из петлицы комбинезона красный цветок и бережно положил его к ногам Живого.

Содержание

Сто лиц фантастики (вместо предисловия)	
И. Бестужев-Лада	5

1. ВГЛЯДЫВАЯСЯ И РАЗМЫШЛЯЯ

Генрих Альтов. Ослик и аксиома	31
Евгений Войскунский, Исая Лу- кодьянов. Прощание на берегу	63
Север Гайсовский. День гнева	99
Геннадий Гор. Мальчик	127
М. Емцев, Е. Парнов. Снежок	178
Игорь Росохватский. Тор I	198
Виктор Сапарин. Суд над Танталусом	213

2. ЗОВ КОСМОСА

Генрих Альтов. Богатырская симфония	241
Илья Варшавский. В атолле	259
Георгий Гуревич. Функция Шорина	264
Валентина Журавлева. Астронавт	302
Летающие во вселенной	322
Александр Казанцев. Взрыв	330
Владимир Савченко. Вторая экспедиция на Странную планету	355

3. С УЛЫБКОЙ

Илья Варшавский. Маскарад	389
Анатолий Днепров. Когда задают вопросы... 394	
Валентина Журавлева. Нахалка	408
Борис Зубков, Евгений Муслин. Не- прочный, непрочный, непрочный мир	416
Роман Подольный. Мореплавание невоз- можно	424
Потомки делают выводы	427
Никита Разговоров. Четыре чепырки	430

АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ. Состави-
тель *Биленкин Дмитрий
Александрович*. М., «Моло-
дая гвардия», 1968. 480 с.
(Б-ка современной фанта-
стики в 15-ти т. Т. 14).
Редактор *Б. Клюева*.
Художественный редактор
А. Степанова. Техниче-
ский редактор *И. Егорова*.
Сдано в набор 5/VIII 1967 г.
Подписано к печати 25/I
1968 г. А04118. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага типо-
графская № 1. Печ. л.
15 (усл. 25,2). Уч.-изд. л.
23,5. Тираж 215 000. Цена
93 коп. Зак. 1593. Тип. изда-
тельства ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодая гвардия». Москва,
А-30, Суцевская, 21.

98 K.H.

ROHONATI